

НОВЫЙ
МИР

6

1935

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Ш Е С Т А Я

И Ю Н Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 5

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

МНОГОКРАСОЧНАЯ ВКЛАДКА: Портрет **К. Е. Ворошилова** —
худ. Е. Кацмана

1. Г. НИКИФОРОВ.—Мастера, роман 3
2. ВС. ИВАНОВ.—Похождения факира, роман, продолжение . . . 24
3. ЛЕВ ДЛИГАЧ.—Три стихотворения 63
4. РАИСА АЗАРХ.—Пятая армия, роман, продолжение 65
5. МАРК ШЕХТЕР.—Два стихотворения 83
6. М. ЧУМАНДРИН.—Год рождения 1905-й, хроника, одного
детства, окончание 85
7. Ш. СОСЛАНИ.—Дом № 10 на Страстном, московский рассказ 117
8. МАКС ЗИНГЕР.—Гольфштрем, роман, продолжение 126
9. Н. МХОВ.—Коломенский завод (Два мира) 155

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

10. Д. АРАНОВИЧ.—Архитектура московского метрополитена,
с иллюстрациями 169
11. Б. ЛАВРОВ.—Первая Ленская, с иллюстрациями 181

ЗА РУБЕЖОМ:

12. Проф. Д. ЛИФШИЦ.—Япония и морские вооружения на
Тихом океане 206
13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА 221

НАУКА И ТЕХНИКА:

14. Проф. Н. М. ФЕДОРОВСКИЙ.—Наши минеральные богат-
ства, с иллюстрациями 225

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

15. С больной головы на здоровую 237
16. В. КИРПОТИН.—«Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина
в классовой борьбе шестидесятых годов 240
17. Н. СОКОЛОВА.—Рисунки В. А. Серова, с иллюстрациями . 269
18. Н. СЛАВЯТИНСКИЙ.—«Литературные манифесты француз-
ских реалистов» 287

Уполн. Главлита Б—1456. Объем 18 п. л. по 64.000 зн. Техн. ред. В. Белокопъ.
Дано в набор 7/VI. Подписано к печати 1/VII. Зак. 1202. Тираж 55925.
Статформат Б/5 176 × 250.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.



ПОРТРЕТ К. Е. ВОРОШИЛОВА

Худ. Е. Кацман.

Мастера

Роман

Г. НИКИФОРОВ

Часть первая

I

Калужская дорога пошла навзлет, прямо через Воробьевы горы. Дорога рыхлая, толстослойная, «ни пройти, ни проехать», а тут еще весна, разморенная, вся в солнце, какой отродясь не видывали. У каждого, кто пеший, — макушка дымится, кто на возу, — того валит дрема. От лошадей пар в разные стороны, будто кипятком окачены; шагают они натужно, жирная грязь сосет ноги. Всю дорогу пахло молодым ветром, приторным лошадиным потом и еще чем-то, непонятным и раздумчивым.

По сторонке, прыгая с кочки на кочку, выбирая, где посуше, бредут мужики, — которые в лаптях, которые так себе, в опорках на босу ногу. Мужики посвистывают на заморенных лошадей веревочными кнутиками, и все это лишь для «блезиру», а когда телега устрянет в грязь, бьют по лошадям выломанной холудиной, рыча от боли душевной и безысходного озлобления.

Обоз тянется на версту, не видать конца-краю. Над землей — испарина, лень и сонливая тягота. Идут мужики небольшими группами, где четверо, где пятеро. Говорят, как думают, вздыхая, крикая, сморкаясь.

— Чьи будете?

— Мы-то? Мы господ Ржевских, ажно от самой Оки, из деревни Рудневой.

— Эва! Чего вас?

— Да ведь чего... Живем больно сугубо, пробавляемся... Господа наши из худородных, службишкой держутся. Все остатнее забирают, которое у нас, вот мы и гоняем...

Ближе к городу начали подбираться, лошадей гнали в упор. Вымахнули на гору.

— Эй, Карпуха, очкнись, голубок!..

Из-под рядна высунулась молодая всклокоченная голова подростка, глаза ошалелые.

— Каво? Аль приехали?

— Знамо, приехали.

Первый воз, с овсянной соломой, остановился. До города рукой подать. День воскресный, веселый. Над крышами окраинных домов взлетают голуби, тянется к небу тонкоструйный дымок, будто седая трава растет. Переливаются на солнце вызолоченные главы и «луковки» церквей, от сиянья глаза ломит. Наплывает, от города к горе, тугой колокольный звон.

Мужики выбрали зеленую лысинку, закрестились все враз на московские крыши, отряхнули бороды. Обоз вразброд: одни выскочили сразгону на луговину, ближе к леску, другие застряли по ступицу в грязи — ни взад, ни вперед. Кто с сеном или с овсом, иные везут живность — телят, поросят, гусей. Москва большая, прожористая, чего хочешь, давай, — не бойсь, не откажется.

Отдыхали долго. Потягивались. Кое-кто сбежал по своей надобности за кустики. Лошади постепенно отходили, бока их осели, перестали дымиться.

— Похлебать бы чего, в самую пору сейчас, — подал голос Карпуха и вздохнул глубоко и безнадежно. Заглянул в далекие, запавшие глаза отца. — Похлебать бы, батяня!

Батяня, из оброчных, дворян Ржевских, широкоспинный мужик в затасканной дотканной рубахе, с красными «ластовками» подмышками, незряче устался на разношенные свои лапти и, пожалуй, не слышал сына. Свалившаяся борода его висела так вяло, что сразу, по одной бороде только, можно было определить, как давно и долго не ел этот мужик водостель.

Карпуха подшагнул ближе, очутившись под самой бородой отца.

— Внутри горит, батяня!

Отец перекрестился, пошел к телеге, бормотал, точно пьяный:

— Ничаво... Может, наторгуем чаво...

Заворотил рядно. Полугодовалая телка смиренхонько лежала в телеге, откинув голову к мешку с отрубями. Глаза у телки влажные, большой, почти разумной доброты.

Крестьяне, сбившись на зеленой лысинке горы, обирались, меняли разбитые лапти, поглядывая на город, такой размашистый и разноцветный, будто в сказке сказанный.

Карпуха следил за отцом с неотрывным любопытством; неспешная деятельность его стала понятна сыну, когда отец с тяжелой нежностью поднял на руки телку. Карпуха, очнувшись, побежал следом. И слышал крики тринадцатилетний подросток:

— Эй, Полуденов! Эй, Серафим Петров, куды тебя нелегкая?!

Карпуха принялся кричать, чтобы вернуть отца; кричал он жалобно, позаячьи, смутно догадываясь о намерении.

Серафим Полуденов направил упрямые шаги свои к невысоким кустикам, и, покуда спешил за ним сын его Карпуха, путаясь в собственной неуклюжей побегке, Полуденов успел завершить свое намерение. Он положил на край извили-

стой промоины телку, поцеловал ее сырым поцелуем в белую отметину на лбу.

Подоспевший Карпуха не успел задержать родительской руки. Жгучей остроты нож блеснул в карпухиных глазах, подобно веселой сосульке, об'ятой солнцем.

Кровь нежнейшим теплом обдала руки самого Полуденова и, еле слышно шипя и дымясь, полилась в промоину.

— Ну, и вот... — поднял Серафим Полуденов перед увлажненными глазами сына окровавленный нож. — Телочку все едино на убой везли. А тут мы будем большую выгоду иметь.

Примостился поудобнее около зарезанной телки и совсем уже миролюбив и любовно принялся разделявать тушу, не переставая объяснять сыну выгодность своего поступка:

— Мясо продадим, шкуру продадим, а кишечки себе, и требушинку тоже себе.

Молодое солнце бежало по кустам, высоко над головой успокоительно вирликал жаворонок. Карпуха вначале отворачивал взор свой от незакрытых еще и жалобных глаз только-что зарезанной телки, потом, в жаркой суетне, сбежав с ведерком раза три к реке, раздувая костерик, вкусно и жадно мечтал о предстоящей еде.

Обласканный солнцем, сытый и довольный, ехал потом Карпуха на базар, ноги его весело болтались, свисая с телеги, тепло было и внутри, и снаружи. Несуразные улицы криво бежали в самую глубь города, тая за каждым углом чудесную неожиданность.

— Эй, мякинное брюхо, — кричали городские ребятишки, — окосел, что ли? Не видишь: ось в колесе!

Карпуха испуганно дергался. Ось была, действительно, во втулке колеса, где ей и надлежало быть, но ошеломленный паренек, не понимая насмешки городских, долго еще вертел головой и озирался.

На базар приехали в самый разгар. Все привлекательное издали оказалось уродливым. Бревенчатые лабазы и амбары стояли на болоте (и самый базар называли Болотом). Лари, палатки, деревянные скамьи, брошенные на зем-

лю рогожи, кули с овсом, телеги, ска- ты колес, дуги, щедро заляпанные раз- водами всех цветов; на шестах гроздьа сапог, от которых шибало в нос дег- тем и кожей, и в середине этого раз- вала товаров — неудержимой ширины трактир, опалубленный тесом, с набух- шей крякающей дверью. Притоптанная грязь вздыхала под тяжестью ног, а поверху галдел, гулял народ. Мелкие торгаши с товаром на руках кричали в лицо первому, кто встречался на пу- ти, кричали, предлагая и расхваливая свой товар. Купцы, имевшие палатки и лари, были поважнее; они степенно стояли на своих местах и, приподни- мая над головой засаленные карту- зы, кланялись подходившим покупа- телям, вздыхая, отирали с лица жир- ный пот.

Серафим Полуменов скоро продал телку, мешок отрубей, домотканную хол- стину, — все, что у него было в теле- ге, — и немедленно затосковал. Он стоял, тяжело додумывая свою затаенную ду- му, не раз принимался кружить около телеги, пробовал заговаривать с город- скими людьми, а Карпуха сидел и гор- дился своим отцом, который был для него самым важным, умным и значитель- ным среди людской мелкоты, такой суетливой, горластой и растерянной, будто все тут качнулись умом от горя, нужды и отчаяния.

Играет в небе солнце, и карпухино невинное сердце тоже играет от всех невиданных им городских чудес и рос- кошеств. С телеги Карпуха зрит горы товаров: сотни открытых бочек с ры- бой, горы ситцу на прилавках, цыгана с медведем, и слышит за телегами мелкую трескотню «холодных» кузне- цов и ремесленников, расположившихся вдоль самого берега реки. Стон стоит над базарной площадью, и носятся тут удивительные запахи горячего сбитня, гостного масла, дегтя, рыбы, рогож и плесени самой реки.

Зазевавшись, Карпуха не заметил, когда и куда исчез отец. Подумал, со- брался было поголосить со страху, но плакать на людях было стыдно. Соскочил для разгулки наземь, при- вязал себя к телеге за вожжи, чтобы,

кой грех, не отбиться в сторону, и вдруг заметил отца, с необыкновенно веселой бородой, которой потряхивал он просительно и покорно. За отцом шел городской человек, недоверчиво и рас- сеянно улыбаясь; глядел этот человек все больше под ноги, улыбался мимо людей своими необыкновенно глубоки- ми черными глазами; лицо чистое, не- русского покроя, разговор тихий, — вид- но, для себя только, — курчавая борода обожала лицо, свисая коротким и не- острым клинышком. Природа, видимо, скупилаась на украшение человека, но человек этот понравился Карпухе ти- хим своим обхождением. Ощупав глаза- ми парня, он сразу учуял его располо- жение к себе, улыбнулся совсем откры- то и просто. Тихо и неспешно загово- рил:

— Парнишку возьму, отчего не взять? — глянул на Карпуху. — Ну, ты как скажешь?

Карпуха ничего сказать не мог. И не подозревал он, что речь шла о нем и о цене, которая была объявлена. Тогда за- говорил отец, затараторил, как цыган- барышник:

— Малец первеющий, тихий да сми- ренный... дай бог домой не вернуться, коли вру! Смышленный, и грамоту зна- ет. Ежели бы не нужда наша, так и не подумал бы...

— Ну? — спросил городской.

— Двадцать пять рублей на год, обувка-одежка ваша. Не прогневитесь, господин хороший. Малец стоящий, как перед истинным, говорю...

Серафим Полуменов тербил в руках шапку, забегал перед молчаливым чело- веком, когда тот отворачивался, тербил Карпуху, толкал его перед собой, хло- пал по спине, тасил за руки. Карпуха видел сейчас отца тощим, обдерганным, с опущенными плечами. С горькой жа- лостью в сердце, не понимая, о чем речь, Карпуха принялся в точности по- вторять за отцом его слова и движения. Все совершалось без участия карпухи- ного сознания, и похоже было на раз- метанный сноп соломы, где каждая бу- дылка сама по себе. Потом, уже в до- статочно возрасте, Карпуха называл происходившее «улыбкой счастья» и по-

учал других, щеголяя при этом взятыми напрокат городскими словечками.

Молчаливый человек улыбнулся на Карпухины ужимки.

— Ну, — сказал он (ощупал бороду), — будем знакомы на сто годов. Пойдемте!

Отец бросил телегу с лошадей «на божье произволение» и ударился вслед за городским прямо в трактир.

Карпуха пил чай с сахаром. Первый раз в своей жизни ел ситный, потел и совсем не слушал.

К их столику вскоре примостился обдерганый человек с углым лицом и бессмысленной улыбкой, длинную его шею обнимал толстый гайтан, и на гайтане том болталась привязанная бутылка с чернилами, пузатое свидетельство профессии, говорил он важно и поучительно, а городской все отмахивался с откровенным пренебрежением.

— Будем писать так-с, — произнес человек, ловко выплеснув в щель тонких губ стаканчик водки, — начнем этак-с: «Единокровного сына своего в лето тысяча восемьсот пятьдесят шестое...»

Задержал руку.

— Имя-с?

Карпуха, занятый чаепитием, не слышал. Отец, раздувая усы, тупо уставился в птичий нос писарька.

— Чаво?

— Как его звать? — кивнул городской в сторону Карпухи. — Записать надо. Не куда-нибудь, в обучение отдаешь.

— Какое же у мальчонки имя? — удивился мужик. — Карпухой кличем, только и всего.

Писарек насмешливо перекинул рот, тотчас же обнаглел, выбросил гусачью шею, и на тонкой вершинке ее завертелась хмельная голова.

— Кацап, ответствуй на вопрос доконально. Слова твои будут воспроизведены на бумаге под государственным гербом его величества, государя императора Александра Николаевича.

Серафим Полуденов, жарко вспыхнув, поднял с перепугу дрожащие руки, приложил их к груди, часто закланялся; язык его одеревянял.

— Умолжни, Елимах, — приказал городской писарьку. — Ты свое получаешь за то, — ты пиши. Пиши по статьям закона.

Улыбнулся оробевшему Карпухе, будто старому знакомцу, нацедил из полштофа стаканчик водки писарьку, отчего тот сразу укротил высокомерную шею свою и утерял петушиное величие.

За стенами трактира бледно отцветал пахучий городской день, утихала базарная суматоха. Карпуха прощался с отцом. Слезливо улыбаясь и счастливо всхлипывая, хмельной Серафим Полуденов расшарашился в телеге, едва владея мочальными вожжами. Хотел было благословить сына по всем правилам христианским, шлепнул разбрыкшими губами. Рванула отдохнувшая лошадевка, Серафим Полуденов упал набок.

— Вон как его! — засмеялся городской, беря Карпуху за руку. — Пойдем, Карпуха! Зовут меня Генрих Иванович Ланге, — ты не робей, зови меня Григорий Иванович.

Карпуха хотел пролить слезу, но было уже не перед кем. Отцова лошадевка мелким труском перебежала мост, в последний раз метнулась пьяная отцовская голова и скрылась. Видение это на всю жизнь осталось в памяти Карпа Полуденова и помнилось, как прощальная улыбка прошлого. Он приглушил свое плаксивое настроение, и город звал его к себе своим вечерним очарованием. С этого часа Карпуху называли Карлухой, и, не чувствуя большой обиды, он откликался на это имя, как на привычное.

В тесной мастерской, куда привел его Генрих Иванович Ланге, было необыкновенно уютно и пахло теплыми железными опилками. Диковинные вещи обступили Карпуху: колесики, винтики, трубы, ружья и пистолеты, и стоял еще токарный станок.

— Привыкай к жилью, — сказал Генрих Иванович. — Вон твой угол, — и указал на верстак. — Обиды тебе не будет, живи...

Он еще не успел сказать всего, дверь со свистом распахнулась, хлебнула полной пастью предвечернюю влагу и, застонав, закрылась.

— Тише, Фридрих, тише, — умиротворенно произнес Генрих Иванович, тайне желая успокоить перепуганного Карпуху.

Фридрих остановился у двери, полностью заслонив ее широкой спиной своей. Минутку постоял, как бы выбирая место, куда можно шагнуть, не повредив какой-нибудь вещи; нащупав глазами Карпуху, сердито выкатил глаза.

— Этот еще зачем тут? И без того дерьма много.

Легко сошвырнул Карпуху, будто не замечая живого человеческого существа, растянулся на верстаке во всю несоразмерную свою длину.

— Устал? — участливо спросил Генрих.

— Задумался, — буркнул Фридрих. — Задумался, брат мой, насчет дальнейшего. — Повернулся на верстаке, грузно, будто вывороченный с корнем пень; ворчливо разяснил: — Свое счастье упустить можно, ежели будешь на Ордынке жить, шлепать по грязи, душу в трущобе нашей коптить. На простор надо, времена идут другие.

— Ну?

— Вот и «ну»! Какой расчет самовары лудить?

— Расчета нет, — немедленно согласился Генрих Иванович, оглядел мастерскую, драные стены и все ржавое роскошество, заметил Карпуху.

Паренек сидел, затаясь, в углу, глядел на Фридриха Ивановича, будто мышь на кошку, и не смел пошевелиться. Генрих Иванович выволок его оттуда на середину, — похоже, готовился исследовать свое недорогое приобретение и еще раз оценить.

Лицо у Карпухи широкое, настоящий русак, глаза далекие, с тонкой плутней в зрачках. «Воровать будет, сукин сын, — определил Генрих Иванович сияние карпухиного зрачка. Слегка щелкнул ногтем в пуговку короткого носа ларня. — Может, такой-то и лучше. Жулики умнее честных» — заключил он.

Фридрих насмешливо кашлянул.

— Я думаю, — сказал он, — и днем, и ночью думаю.

Соскочил с верстака и встал, огромный, грудастый, швырнул Карпуху на верстак (явно было, Карпуха тут лишней). Покоился на дверь и, успокоившись, загудел:

— Что мы вызволили с тобой в этой трущобе? Пятаками капитала не наживешь, ты сообрази, не за этим я в компании с тобой. Признаться, так я, может, и по сей день на фабрике служил. Ведь ничего было, сытно, одно плохо: дело не свое, хозяйское.

Генрих молчаливо ширкал напильником по стволу ржавого пистолета, любопытствуя насчет фабричного клейма. Фридрих стоял перед ним неожиданно возникшей горой и загораживал свет. Он отодвинул Фридриха в сторонку, отодвинул властно, как подлинный хозяин и старший брат.

— Ты ничего не потерял, Фридрих. Ты все-таки кое-что имеешь. Не надо сердиться: мы с тобой кое-что имеем уже, вот как я скажу. И ты знаешь, ко мне заходил брат наш Павел... Ты погоди, не горячись. — Генрих подул в ствол пистолета. — Послушай, что говорил Павел. Он говорил: «Мы совсем азиаты и ничего не знаем. Теперь наших солдат побили в Севастополе французы и англичане, и теперь мы образумились, в России будут строить заводы». Так сказал мне Павел. Он читает газеты и отлично осведомлен. Он хочет бросить свою службу: ему нет расчета служить торговым агентом. Он сказал мне еще: «Генрих, поговори с Фридрихом, — я хочу работать с вами, у меня есть небольшие деньги».

Фридрих удовлетворенно заурчал.

— Видишь, мы можем неплохие дела делать, — с несвойственной ему торопливостью снова заговорил Генрих, — так что я очень хорошо думаю. Только не нужно горячиться, Фридрих. Иди и думай как следует, тогда будет все хорошо.

Выпроводил брата за дверь, шаркнул засовом. Сиреневые сумерки упали на подоконник. Карпуха, угнетенный тяжестью беседы двух взрослых людей, неожиданно уснул. На верстаке было уютней и надежнее, — так определил Карпуха, вспомнив кособокую хату отца.

II

Карпуха Полуменов прижился, щеки надулись, шея порозовела; вскоре применился к тяжелому нраву сурового Дрикса (Фридриха) Ивановича, — так и величал его: Дрикс Иваныч, ловко увертываясь от подзатыльников. Через год был страшным плутом, бойцом на всю Большую Ордынку и смьшленным исполнителем поручений. Карпухино счастье — что самоварное золото: тронеше толченым кирпичиком со слюной — и блестит. Резвые карпухины ноги почти со сказочной быстротой успевали во все концы города, за что и отличал Фридрих Иванович расторопного парня, награждая витиеватой матерщиной в веселые минуты свои.

Карпуха разносил по домам медные кастрюли, ружья и пистолеты, детские ванночки и коляски. Заказчику, если тот милостиво снисходил до разговора, объяснял наиподробнейшим образом, развязывая тряпочку, в которой находился починенный пистолет.

— Дрикс Иваныч сказывали-с, внутри новую дордочку («дордочку» тут же и выдумывал) пришлось поставить. Оружие, сказывали, бельгийской высокой марки, хвалили-с. А за дордочку пожалуйста пятьдесят копеек серебра.

Получал сверх условленной платы за «дордочку» и свистал по улицам до первой харчевни, прощряя ловкую выдумку свою пирожками с печенкой, запивая еду сладким квасом, и мчался дальше. Случалось, в конце разноса заказов засиживался в харчевне — послушать разнобойный разговор посетителей. В углу харчевни таинственно перемигивались лампы у перекошенных лиц «божьих угодников», карпухино воображение наскоро сочиняло праздничные ткани, среди которых было весело терять себя и вдруг находить взрослым и непременно богатым, с полным карманом. Пропитанный разговорам, точно ржавчиной, возвращался в мастерскую, честно выкладывал перед хозяевами все слышанное.

— Вышло замиренье. Истинный господь, вышло, Дрикс Иваныч, сдохнуть-помереть, не вру!..

— Не болтай! — отмахивался сердито Фридрих, бил Карпуху наотмашь и промахивался.

— Как угодно-с, сам слышал...

— Ну? — спрашивал Генрих Иванович, попискивая напильником.

— Врага давно повергли, Григорь Иваныч, как супостата супротив нашего отечества.

— Ты сколько нынче украл?

— Истинный господь, сдохнуть-помереть — ни копейки, Григорь Иваныч!

— Гляди у меня!..

— В трактире Толкунова за починку медного бака три рубли сорок, пистолет господину Теляткинову — два рубли. (Вспомнил «дордочку» — не моргнул глазом.) Сами сочтите-с, Григорь Иваныч, все в аккурат, как есть.

Карпуха делает сердитые глаза, отходит в сторонку; потея, чистит пузатый самовар. Завтра предстоит длинное хождение и тяжелая разноска: он увешает плечи медными кастрюлями, как лунами, упавшими с неба на его молодую спину. И чорт знает какую нужно придумать «дордочку», чтобы подработать.

Вечером братья уходят, Фридрих — молча, Генрих — с наставлением:

— Гляди, запирайся покрепче, Карлуша.

— Господи, поди-ка, я не знаю...

— Ну?

— Не сумлевайтесь, Григорь Иваныч, запру-с.

Притворив дверь, плевал в порог, подбрасывал в чугунок дров и с важностью полномостного хозяина разваливался на верстаке. Чугунку топил до высокого градуса, чтобы не выстыло к утру. Настелив рогож до «господской» мягкости, он лежал, перебирая в памяти события минувшего дня. По углам попискивали мыши, последним дыханием напоминала о себе улица. Развлекали мыши; они выползали артелью, гремели жестью, бегали по полу около чугунок. Тогда начиналась забава. Карпуха привязывал на бечевку сухарик, осторожно опускал его в освещенный круг. Мыши порскали во все стороны. Плутоской карпухин нос весело морщился.

— Ага, небось, потрусили! Ну, ладно...

Спать уже не хочется. До сна ли тут! И Карпуха опускает сухарик на пол. Изо всех щелей и прикрытий таращатся на сухарик мыши; наконец они смеются, начинают кружиться вокруг и около. Карпуха шепчет:

— Вот, окающие, завсегда так!

Мыши обнюхивают сухарик, толкают его острыми мордочками, сухарик повисает в воздухе; мыши поднимаются на лапках, начинают скакать друг через друга, драться и кувыркаться. Мышей не меньше трех десятков, они сбегались отовсюду, они танцуют, как бесноватые, под сдержанный карпухин хохоток.

В церкви «Живоначальные троицы», что за болотом, било десять. Карпуха бросал сухарик.

— Нате, жрите, окающие!

К одиннадцати в трубе начинает тоненько посвистывать, текут удивительно печальные переливы: не то скулит бездомная собачонка, или кричат далекие петухи, а может, плачет горькая сиротинка... Карпуха подбрасывает в прожорливую чугунку дров, звуки густеют и на время отходят.

Которая ночь так! И, сколько прошло их в тусклой мастерской братьев Ланге, карпухиной голове и не сосчитать. Укрывшись подобием одеяла из крапивных мешков, Карпуха принимается думать. Думает он обо всем.

Ах, как все заманчиво и великолепно в этом ребячем мечтании, где воображение, не тронутое растлением, играючи, расшвыривает ярчайшие картины, исполненные несуществующим художником! Вильнет тонким хвостиком затерянный в камышах ручеек или запоет птица, голос — серебряная дудка, и сама сейчас только в солнце окунулась. Карпуха устает, — так обильны его красочные видения.

В двенадцать на Ордынку выходит толстощекая луна, заглядывает в переулки, тычется в заборы и окна приосмиревших домов, цепляется за высокие маковки церквей, застревает в подворотнях и наконец, измученная, побледневшая, упадет на задворках, повиснет

на деревьях, — тогда в мастерской братьев Ланге становится совсем светло.

Карпуха размыкает глаза. Он ощущает себя как близкую, но постороннюю вещь; он разглядывает свои шершавые от работы пальцы, сгибает один, указательный, сжимает ладонь в кулак и удивляется: все повинуется его, карпухиной, воле.

— Гы-ы! — смеялся он. — Вот так штуковина!

Днем Карпуха бегал по заказчикам, переругивался с ребятами, ел в харчевне пирожки с печонкой, чистил вылуженные Дриксом Ивановичем самовары и совсем не замечал, как действовали руки, ноги, как слушал и как отвечал.

— Эй, эй, Карпуха! — позвал себя парень. И сейчас же откликнулся. Голос его метнулся и, как показалось ему, повис в глухой тишине мастерской. Сердцем овладел тяжелый, страшный страх... Карпуха вскочил, ошалело вытаращив глаза.

На улице, купаясь в нестерпимом сиянии весеннего солнца, трещали воробьи. За окном стоял Фридрих Иванович, барабанил кулаком по переплету:

— Спишь, чортова балалайка!

Карпуха порадовался веселому дню и тому, что отхлынул страх; он отодвинул засов, получил очередную оплеуху. Все произошло в одну минуту, точно повторившись. Иногда казалось, будто день не прерывался вовсе, а сон можно принять за провал памяти.

За Фридрихом прошел в мастерскую молчаливый Генрих Иванович, а за ним проскочил веселый господин, расторопный и говорливый, и не успел Карпуха оламятоваться, как тот уже теребил его за ухо, тянул вверх и с ехидной ласковостью допрашивал:

— Ты это что же, друг мой, того самого, чем занимался? Ну-ка, скажи? Мастерская не прибрана, сам не умыл... Ай-ай, не годится, так не годится!..

Острые ногти впились, как огненные. Терпеливый Карпуха извивался, приседал, становился на колени, подскакивал, делал все, что приказывала злая рука. Стиснув зубы, отчаянно мотнув головой, он наконец вырвался, оцупывал ухо. Слава богу, оно цело. На карпухи-

ной ладони яркое пятно крови. Все улыбаются, Дрикс Иванович — тоже.

— Забавный парнишка, — удостоверил Генрих. — Правда, Павел?

— Замечательный!..

III

— О чем вы изволите говорить, милостивый государь мой?

— Родовитое дворянство хиреет-с. Прибирает к рукам промышленное купечество, капитал-с...

Двое господ в легких весенних разлетайках прошли и скрылись.

Генрих Ланге толкнул под локоток брата своего, Павла.

— Ты слышал?

— Очень даже хорошо. «Родовитое дворянство хиреет-с, прибирает Россию к рукам промышленное купечество, капитал-с», — повторил Павел. — Хе! Ежели конечно да вдруг и в самом деле?

— Чтобы «вдруг», на то нужно оставить помыслы, — загудел тяжело шагавший позади Фридрих; сняв широкополую шляпу, обмахнул жаркое лицо. — Не вдруг, а с течением времени...

Утро шумливо бежит по кривым улицам. Грохочут телеги, громко восславляют родителей извозчики, нечестиво лают собаки, дремлют под солнцем пыльные деревья, перевалив тяжелые головы свои через ограды и заборы.

Братья выперли к Преображенской заставе, задержались около перекошенных дверей трактира. Позади, в замусоренном лесочке, бродили блудливые козы. Кривобокие деревья выбрались на пригорок, обежали трактир и остановились как бы в раздумьи перед широким пустырем.

— У чорта на куличках, — сказал совсем рассолодевший Фридрих, с вожаделением поглядывая на ободранный лесок. — Версты четыре отмахали.

— Ну? — спросил Генрих.

— Вот отсюда мы и начнем, да не как-нибудь, а по-настоящему, — приободряясь, заговорил Фридрих. — Место хорошее, просторное.

— И на большой дороге, — отметил Павел, — тут и есть самый ход.

Братья долго топтались, озираясь по сторонам; похоже было, не решались — входить или не входить в питейное заведение. И разговор этих людей был странным, не свойственным для обычных в этой местности гуляк.

Фридрих широко распахнул короткие ресницы, оголив холодные голубые глаза. Помолчав, спросил:

— Как вы думаете?

— Вот уж и не знаю, право. По мне, где угодно, тут или на другом участке, все равно, — отозвался Генрих, и его тонкое, несколько сухое лицо выражало полное безразличие. Он глядел по сторонам, как человек, который выбрался на окраину города с единственной целью отдохнуть и, пожалуй, немножко помечтать. Его радовали и солнце, и разбежавшийся лесок, и самый запах земли, заросшей чорт знает какой травой, которая буйствовала тут, почти не украшая природы.

Фридрих пошевелил плечами (пиджак явно был узок и стеснял его), выкатил могучую грудь, заурчав, пошел на собеседников, точно разгневанный буйвол. Тогда Павел, пощипывая узкий клинышек молодой еще бороды, заговорил:

— Видишь ли, Фридрих, я, по правде, доволен твоим выбором: ты ведь у нас во всех делах заглавную роль будешь вести, я на тебя полагаюсь. Не знаю, что скажет Генрих.

Генрих стоял по пояс в траве, нюхая польнку. «В конце концов, он старший, он может приказывать и распоряжаться». Поглядел на совещавшихся братьев, сказал кратко:

— По-моему, кадило раздуть, где хочешь, можно, только бы во-время.

Запавшие глаза Генриха ушли еще глубже, он выпутался из польниной чащи. Подождал братьев у трактира, толкнул ногой неприветливую дверь. Двое других тотчас же прошли за ним.

В трактире пахло ржавой селедкой, луком и дешевой колбасой. Павел поморщился, щеки его раздрябли, он в нерешительности остановился. Человек этот не переносил трактирной обстановки и не терпел водочного запаха.

Генрих тем временем выбрал солнечное пятно, в середине которого растопы-

рился столик, покрытый зеленой клеенкой. Все уселись молча и несколько торжественно.

Подсочил встрепанный половой, взмахнул широкой салфеткой:

«Господа чистые, не всегдашние, по одежде будто и не здешние» — определил он.

Согнув спину, угодливо осклабился:

— Графинчик прикажете-с? С приличной закуской?..

Павел побагровел, обронил веселую улыбку:

— Сами спросим. — Брезгливо отмахнулся: — Болван, голуба, убирайся!..

Сидел, нахохлившись, будто кровно обидели человека, и все порывался встать, отойти в уголок, чтобы скрыть разгневанное лицо свое.

— Надо все-таки чего-нибудь заказать, — равнодушно сказал Генрих, — в трактире ведь... — Обернулся к половому: — Поддай нам, братец, чаю... Да, да, чаю на троих. — Брату Павлу заметил с насмешливой укоризной: — Ты что ерзаешь? Эка ты чистоплюй какой! Гляди сюда, видишь вот? — указал глазами на растопыренную ладонь свою, заскорузлую, в ожогах и ссадинах, усмехнулся: — Перчатки носить буду потом, холить ручки буду. Хм! Ну, пей чаек-то, пей, трактирный...

Фридрих, как только подали чай, облокотился на стол и торопливо, будто хотел предупредить возражения со стороны братьев, несколько даже горячаясь, заговорил, сдавливая голос до смешного, почти детского, лепетания:

— Сторонка Россия наша; чудно ведь, родились, выросли тут. Ну, ежели родителя качнуло сюда, значит, судьба. Иоанн Ланге был плохой немец, мы плохие русские, так я думаю.

— Ты это к чему клонишь, то-есть? — полюбопытствовал Павел. — Я что-то не совсем понимаю тебя.

Фридрих опрокинул пустую чашку, положил на доньшко огрызок сахару, не замечая действий своих, подчиненных наследственной аккуратности.

— Понять меня невелика мудрость, Мы живем в таком царстве-государстве, в котором дельному человеку самый ход и капитал легче всего приобрести. На-

род, гляжу я, темный, да и ленив к тому же, среди начальства пьяницы, взяточники, вор на воре, воров погоняет...

Сидели. Каждый отыскал свою точку или пятнышко, и точка и пятнышко расплывались чорт знает во что. Одному чудесные видения давались с одного размаху досужей мысли: будто стоит русский мужик в несоразмерных лаптях, сам в дерьме весь, в одних лоскутках, а притоптывает лаптем золотую землю, притоптывает и заливается дурацким смехом беспечности. Другому чудилась ровная площадь (точно перед казармой), и на площади стоят аккуратенькие домики, чистые и светлые, как праздник. И видел третий, старший, Генрих, видел с ужасающей высоты свою точку, которая росла с упрямой стремительностью. («Надувают ее, что ли?» — мыслилось ему.) Но виденное уже не было точкой: нечто распирало небеса, как неуместный зонт, закрывавший солнце. Мыслительные шалости принимались в'явь, и оттого росла уверенность. Когда на необозримом пространстве начали вырастать чудовищные дома, под облака, и размашистые заводы с несметным количеством невиданных машин и станков, Генрих в забытии сделал неуклюжее движение, расплескав остывший чай.

У Павла тотчас же рассыпались аккуратенькие домики, и в памяти остались только последние фридриховы слова, они вызывали неудовольствие и беспокорство; он подобрал разбрыкшие щеки, поморщился.

— Вот уж выразаться совсем и не к чему, Фридрих, ах, как нехорошо это...

— Я и не выражаюсь, — возразил Фридрих. — Утерев лапотного мужика, я только удостоверю и даже радуюсь, ежели вы хотите знать: рабочие руки дешевые, промышленность какая-никакая только, господи благослови, начинает распространяться, — значит, наше дело может иметь полный успех, стоит нам только размахнуться по-настоящему. Я, можно сказать, обдумал все и обсудил. Ежели место по-душе вам, тогда мешкать нечего, исподволь начнем, дело само покажет...

Поймал раздумчивые глаза старшего брата, его чуть насмешливое внимание. Попросил:

— Говори, Генрих.

Старший шарил по карманам пиджака, извлек захватанную, в грязных пятнах, газетку. Не развертывая, помахал газеткой над столом: как будто хотел попугать мух, только и всего.

— Пишут... — сказал он. — Вы знаете, о чем пишут?

Снова затормозился Фридрих и тем же смятым голоском зашептал:

— Знаю. Я еще до газеты знал, — похвастался он. — Теперь вот кругом слухи такие ходят, будто молодой император склоняется к тому, чтобы, значит, всех крестьян от помещиков на волю. Это, я так мыслю, нашим козырям в масть: неминуемо народ к городам двинется, — пророчествовал Фридрих, — заработков будет искать, а мы — тут как тут, на большой дороге. Мы на каждый грош рубль наживем. Пораскиньте мозгами, как следует. Мужичку, надо полагать, задаром землю-то не отдадут, оработать землю нужно. Вот вы и разотчите, какие для вас проистекут выгоды.

Откинулся к спинке стула, заранее победно улыбаясь.

— Тебе в самый раз министром быть, — преувеличенно похвалил его Генрих, — широко голова мыслит.

— Министр для меня не соблазн и совсем не та ваканция, — дернул плечами Фридрих. — Я, может, хозяином утвердиться желаю! — захохотал громко и самоуверенно. — Значит, место будет наше. Торопиться надо, покуда не перебили.

Братья поднялись, стали расплачиваться. У стола вырос половой. Ощерившись, он кланялся еще угодливей. Податливая спина, покорная шея, усиленно смиренная физиономия красноречиво утверждали, что у каждого своя карьера. Ежели господа добрые, сами должны понимать.

Генрих заглядывал в кошелек, копался, отыскивая подходящую мелочь, и наконец выложил на стол два пятака. Павел яростно пошлепал губами, заглянул в кошелек, добыл монетку в три ко-

пейки, рука его вдруг стала неверной; он положил монетку на стол, незаметно смахнув один пятак в ладонь.

Трое братьев долго еще бродили в буйной заросли трав, оглядывая пустую землю, большак, пролежавший здесь, и худосочный лесок.

Половой, проводив гостей, подобрал деньги, подбросил к потолку три копейки, выругался...

Братья уходили к городу. Впереди шагал Фридрих, шагал тяжко, как воин в железных сапогах. Павел мелко смеялся, припухлые щеки его смеялись. Генрих брел раздумчивой походкой, будто человек не определил еще направления или был занят вызовом исчезнувших еще в трактире видений.

В отдалении вырастал город — большая деревня, с кривыми улочками и переулками, с глухими тупиками и грязными площадями. Братья подходили к сердцу азиатской страны, неся свои мысли, как ловчее, с наименьшей затратой средств, при помощи самих же азиатских и рабов нажить капитал и утвердиться настоящими хозяевами. Они были молоды, и город казался им незащищенной крепостью, которую можно взять сналета, они имели кое-какие деньги, но уже были уверены в удаче, как опытные игроки. И, может быть, благодарили случай за то, что живут в стране, где нет промышленности, где помещики проигрывают в карты крестьян, меняют людей на собак, где больше церквей, чем школ, где девять десятых населения не знают грамоты.

Город обнаружился сразу. Братья взошли на бугорок и очутились в начале слепо вычерченной улицы, где каждый дом, казалась, брел в свою сторону, неизвесную его хозяевам. Город пылел, перекликался колоколами монастырей и церквей. Зеленели косматоголовые сады, выскакивали на дорогу колодцы, и вздымалась пыль, когда заблудившийся ветер пробегал улицей.

IV:

Две груженных подводы остановились около небольшого сарайчика. Было раннее утро, и накрапывал дождь. Рябая

пыль на большаке, оцепенелый лесок и сероголовые тучи. Криво пробежала через пустырь бездомная собака, уныло раскочерились лошади, беспредметно ругались возчики.

В широко открытых дверях сарая стоял Карпуха, шмыгал носом и распрягался.

— Чего встали где! — шумел он на возчиков. — Ближе под'евайте. Эка, таскать откудова! Дрикс Иваныч придет, что скажет? Не управились, скажет. Я как-раз в ответе.

Из проходящей тучи хлопыснул крупный дождь, проплясал вдоль дороги, убежал за лесок, и... вдруг вымахнуло солнце.

— Ах ты, милость господня! — вслух восторгнулся кто-то. — Удивительна и капризна окружающая природа!

За возами неожиданно возникла человеческая фигурка, тонкая и растрепанная, вся увешанная рыболовными снастями и клетками, в которых метались мелкокалиберные птицы.

— Доброго здоровья вам, — пискнула фигурка, — бог на помощь! Это кто же тут собирается возникнуть? Гляжу — и не могу понять. Предполагаю, торговый лабаз?

Карпуха подался вперед.

— Завод по ремесленной части братьев Ланге, — важно объяснил он: — Григорь Иваныча, Пал Иваныча и Дрика Иваныча.

Помолчал, жмурясь на омытое дождем солнце, и снисходительно дополнил:

— А также исправляем оружие и всякое другое по домашней надобности.

— Ну, тогда будем соседями, я здесь неподалечку существую. Алфей Сусекин, вон там, за овражком. Звонкое, значит, соседство будет. Хорошее дело! — искренно похвалил Сусекин. — Ты что же, родственник будешь ихний?

— Сдан на механическое обучение за двадцать пять рублей в год, с харчами, — охотно сообщил Карпуха. Подшагнул, разглядывая клетки с птицами. — Все твой?

— Все... У меня их целый содом, — детски похвалился Сусекин, — этим и пропитанье добываю дочке моей, Тиноч-

ке. Освободишься — приходи. Вон он, видишь, за ветелками труба торчит? Там я и расположился. Просторно, река неподалечку, и, между прочим, воздуха много.

Сусекин поставил клетки вдоль стены сарая за тенью, сбросил рыболовные принадлежности.

— Сейчас больше малиновки идут и, конечно дело, камышевки, самые деликатные птицы.

Карпуха распялил глаза, присел на корточки возле клеток. Теперь он, пожалуй, готов был напрашиваться к Сусекину в гости, чтобы поскорее проникнуть в его приветливый и поющий мирок. (Железо оглушало и было холодно.) Ребячьи радости нахлынули со всех сторон.

— Камышевки? Ой-ой! — захлебывался Карпуха. — Поют?

— А то как же! Обязательно. Тря-виль-виль-тря... — сделал Алфей. — Божья музыка, умереть можно.

Карпуха глянул в просветлевшие от несказанного восторга алфеевы глаза и еще выше, через голову птицелова, заметил приближающийся к сараю третий воз, на котором стоял, раскочерив чугунные ноги, токарный станок. Рядом с телегой шагал Фридрих Ланге, такой же тяжелый, как и запряженный в телегу битюг.

— Дрикс! — взвизгнул Карпуха. Он вскочил со стремительностью, удивительной даже в его возрасте, вскочил, будто его ветром сдунуло.

— Эх, да! Жучат, должно, мальчика, если он так...

Сусекин связал клетки, крикнул в глухую стену: «Прощевай, друг!» — и ушел легкой, беспечной походкой, скрылся за косогором.

Суетливый Карпуха раскладывал в эту омраченную минуту всю немудрую механику завода по углам и полкам. В окна сарая било солнце, и вся жестяная и железная суета казалась веселой.

Братья Ланге устанавливали токарный станок, выкладывали горн, подвешивали мехи, возились с наковальней, сшивали передаточные ремни ручного привода и совсем не замечали карпухиного усердия.

К вечеру, когда отяжелевшее солнце ушло за лесок, Генрих сел на порожек, кратко об'явил:

— Обосновались...

Поймал пробежавшего Карпуху за штанину и приказал разводить костер, и даже пожалел при этом:

— Довольно, Карлуша, останавливай машину, выпускай пары, — наработались.

Насмешливую ласковость Генриха принял Карпуха чистым сердцем своим за настоящую и, расчувствовавшись, по нечаянности приблизился к веселому Павлу:

— А-а, миляга, — обрадовался Павел, уловив Карпуху за ухо. — Как же ты разбаловался! — Крутнул ухо, повернув парня лицом к братьям: — Поглядите, до чего красная морда у подльца...

— Подбрось-ка мне его, Павел, — попросил Фридрих, — я ему расскажу, как птички поют.

Воспользовавшись «передачей», Карпуха ловко перевернулся через голову, взбрыкнул ногами перед самым носом Фридриха и сразу очутился на сажень от фридриховых лап.

— Увертлив однако, — подивился Генрих. И уверенно предрек: — Толк выйдет из парня.

Отбежав в сторону, Карпуха проглотил горькую слезу (Дрикс страсть не любил слезливых), смочил слюной ухо. Мысленно пообещал Павлу: «Вырасту — из пистолета в пузо пальну!»

Пообещав, ушел в сарай, в облюбованный угол свой. Каменная тяжесть обиды сразу повалила его, — спал Карпуха без сновидений.

Поутру поднялось вчерашнее, неизменное солнце, и день явился таким же крылатым, но не вчерашним: не было туч и морщинок на небе, и стояла над пустырем отныне опечаленная тишина, прислушиваясь к железному звяканью и свирепому урчанью токарного станка.

Ошибки в расчетах братьев не произошло. По большаку ехали и шли днем и ночью, и все дивились шумливой хлопотне в сарае.

— Ишь ты ведь, куда выскочили!

— Гляди-ка, кузня, кажись?

— И то кузня!

— Давай, подворачивай, колесья обтянуть надо бы.

Карпуха в первые дни исполнял роль «уловителя» заказчиков. Он выбегал спозаранок на большак, встречал проезжавшие подводы, кричал неумело:

— Эй, дяденька, под'ехайте, кому подковаться надоть!..

Со временем, когда «наборзел», встречал подводы скороговоркой (птицелов Алфей научил):

— Починяем, исправляем, лошадей сполна куем, все на свете исполняем, эх, недорого берем!

В обеденный перерыв Карпуха получал свою заслуженную порцию. «Сердобольный» Генрих, отодвигая остатки хлеба, говорил:

— Подбрай, старатель, все твое. Хлеб-то помельче жуй, больше будет.

Братья валились в траву за сараем, законно отдыхали.

— Ах, дорогие мои, — посмеивался Павел, — жизнь быстротечна! Но, между прочим, без труда не проскочишь. Умственное, может быть, испытание человеку по предписанию высшего разума.

Фридрих старательно всхрапывал. Отвечал Генрих:

— Обойди предписание, длиннее жизнь будет.

Павел посмеялся откровеннее и, опершись на локоть, положил голову на ладонь.

— Что ж, голуба, мысль твоя, коль проникнуть в людской замысел, в любой голове копошится. Ах, какая мысль, Генрих, то-есть, если действительно обойти предписание.. Но опять вопрос, как?

— Как начали, так и будем продолжать, — наставительно указал Генрих, качнув головой в сторону сарая. Пощекотал сломанной полынкой лицо спящего Фридриха: — Гляди, проспишь царство небесное... — И Павлу: — Бывает весьма неплохо, когда человек не так уж много думает.

После обеда ковырялись в разной мелочи, приносившей все же отменный доход, заготавливали подковы, паяли чайники, а больше всего смекали насчет

крупного заказа, чтобы обеспечить зиму.

Осенью сарай опалубили, поставили чуганку, обложили кирпичом, начали загонять тепло. К токарному станку присоседился сверлильный. В это время тлинькали шустрые синицы, падали на кусты целыми стаями чижи и щеглы, веселая говорливая птица. Великая установилась тишина над пустырем, хотя и прожигла уже одна беспокойная улица новыми постройками к самой середине безлюдья и наносило хозяйственным дымком оттуда. Оттого вдруг и погрузнел Алфей Сусекин, жалуясь Карпухе на возникающую суету, и тащил парня за бугорок, в свою безмятежную хату, наполненную пением птиц и щебетанием дочери Алевтины.

— Ты, Карька, у меня душевный отдых иметь будешь, верное слово тебе говорю. У вас, в заводе вашем, один металлический звяк, и никакого собственного утешения.

Подходя к избе, кричал:

— Тиночка, гостя привел! Малинки завари нам в чайничек, усладиться будем.

«Услаждались», сидя под клетками, в которых копошилась пойманная птица. Алфей, держа блюдо на растопыренных пальцах, все поглядывал в доньшки клеток, ожидая голосистой россыпи пернатых пленников.

— В этом теремочке у меня третий год черноголовка живет, — объяснял он; оставив недопитый чай, потянулся за клеткой с полотняным верхом. — Ты не гляди, что она тихая, ее нужно весной слушать. Как солнышко пригревать начнет, тут она и обнаружит себя: дудки, переливы, прямо сердце заходит... Тина, изобрази, — приказывал Алфей. дочери, — пусть его послушает.

Алевтина взметывала длинными ресницами, складывала губы на особый, свой манер, — высвистывала она с большим искусством и охотно.

— Ах, как хорошо, ах, славно! — счастливо вздыхал Алфей. — Только ты, Тиночка, последнее колено так бери: сначала с выносом, а потом ноюви в оттяжку. Сразу не обрывай, не обры-

вай сразу: которая птица, с возможным голосом, вроде серебряную струю льет.

Карпуха видел, как играют румяные девичьи губы Алевтины, и все хотел поймать ее размашистые глаза, хотел, чтобы их теплая синева пролилась на него, — тогда будет все нипочем: и павловы побои, и тяжелая суровость Дрикса.

Алфей, лукаво подмигивая, говорил: — Девчонка у меня — липовый мед, только и свету в окошке — Тиночка. Ты, Карька, ходи к нам безо всяких. Глядел вверх, в доньшки клеток, прислушиваясь к птичьей возне, говорил:

— Замечательно поют!

Птицы молчали.

V

К зиме приделали к сараю бревенчатую пристроечку: ни конторка, ни сторожка, — так себе, теплая будка, где можно укрыться от разгульных метелей зимы. Жил в этой будке в ребячьем своем одиночестве Карпуха Полуденов, вроде доверенного братьев Ланге. Играли бураны, плескали седыми гривами снега. Прибегала к Карпухе Алевтина, заваривала горстку сушеной малины, а чтобы не было скучно ее другу, высвистывала песни на соловьиный лад. Потом приходил в будку Алфей с пойманными снегирями.

— Иду это я леском, — рассказывал он, — и вижу вдруг... господи боже мой, прямо умереть можно!.. стайка снегирей, красных-раскрасных, вроде кто с неба кровью слезы точит. Ну, я сейчас тайничок, раз-раз, — два десятка накрыл. Парочку себе оставлю, — больно хороши, пострелы! — других продам. Ежели по семишнику, и то тридцать шесть копеек. При нашем хозяйстве — на два дни пропитанья. Зима нынче вихрастая очень, неспособная для охоты, не каждый день выйдешь, завихаривает сильно.

Легонько пырлял пальцем в бок Карпуху:

— Как живешь-то?.. Скучаешь, говоришь?.. Ну; ничего, ты веселей гляди..

Скоро зима сойдет, соловьев ловить будем.

Пил малиновый чай, весело потя около печурки, нега полыхала на его лице широким румянцем.

Накрывал зимний вечер с волчьими запевами. Алевтина, потряхивая кудреватой головой, разливалась, единственно для Карпухи, веселой малиновкой. Алфей садился на пол, раскуривал трубочку. Алевтина, придвинувшись к Карпухе, щebetала, щекоча жаркими губами карпухино ухо:

— Ты слышал, как поют камышевки? Нет?.. Ты думаешь, я не умею?

— Не умеешь.

— Ая умею! Только я в другое воскресенье петь буду, нынче ты скучный. Я не люблю, если скучно.

— Не егози, Тина! — грозился Алфей. — Ты с отцом живешь, а он так, на чужих людях, вроде неприкаянный сирота. Тоже понимать надо. А ежели скучно, я сейчас вам сказку расскажу... Погодите, дайте подумать... сказку про девицу Выдумку. Вот как бы, это самое, зачинается та сказка, из головы обронил, — задумался Алфей. — Память у меня вроде обнищала, хотя живу естественно, на ветру, и спиртного не употребляю, как прочие другие птицеловы. Суть, главная вещь, в сказке, будто в темном государстве одном люди от роду родов не смеялись, и с самого начала одолевала их превеликая скука, вроде, сказать не соврать, на погосте в дождеватый денек: тучи на землю опускаются, на деревьях виснут, мертвые души, как положено, молчат, птица вся находилась, ветер приуныл, в горы забился, и никакого шевеленья на земле не происходит, тихота, будто в колодце, только дождик на листочки крап, крап... и оттого еще стеснительней, еще тише. А люди, которые назначены судьбой в этом государстве существовать, плутают, что сонные. Изображенье у всех серое, и глаза горькие, — некуда, значит, укрыться от скуки. И жил в том государстве смиренный человек один, охотой пропитанье добывал и себе, и жене своей, на мелкую зверюгу капканы ставил. Вот идет он один раз глухой протопкой и видит — попался в капкан

старый барсук. Сидит и не робеет, того человека ждет. Увидел и лапкой помахал этак: «Подходи, — говорит ему, — ты в жизни моей волен». Удивился охотник, стал озираться: кто такой говорит с ним? Тут барсук опять: «Подходи, подходи, я с тобой говорю» — и лапкой опять помахал. Охотник, без ума-головы, отвел пружину в том капкане, барсук — виль в сторону, забился промежду камней и кричит оттудова, смеется: «Эх, дурак-чудак, счастье свое упустил! Ну, да уж ладно, — говорит, — за твою простоту жена твоя принесет тебе дочь Выдумку, с ней и счастье на земле обретешь». Пришел охотник домой в свою избу и видит чудное чудо: сидит его жена на порошке, в руках новорожденную дочь Выдумку держит. Глаза у Выдумки — синь-озеро: куда взглянет, там солнце ложится, деревья зеленеют, яблоки медом наливаются, птицы поют, а скуки совсем и следа нет. «Ах ты, диво какое! — думает охотник. — Значит, и в нашем государстве без печали жить можно». Принял он из рук жены дочь Выдумку, прижал к сердцу и пошел вольготным шагом во все стороны, чтобы поскорее жизнь обрадовать. Где пройдет, там тучи розовеют и небо шветет, дожди золотой россыпью падают. Идет охотник, устали не знает, с дочкой Выдумкой разговаривает. И пришли они на берег реки, где виноград растет, сливы рдеют, в садах яблоки зреют, никак не созреют. Захотел охотник покушать, сорвал яблоко, отведал — кислое, сломил ветку виноградную, положил виноградину в рот — горькая, тряхнул сливу, видит — мелкая слива, неспелая. Загоревал человек, слезу по привычке обронил, как ему быть, как на свете жить, не знает. Тут заметила Выдумка отцовские слезы, засмеялась. «Ничего, — говорит, — не плачь, горю твоему я помогу». И приказывает: «Возьми, отец, лопату, вспуши землю вокруг, выбери зернышки из плодов и отдай те зернышки мне». Охотник так и сделал: землю вокруг вспушил, зернышки, как ему указала Выдумка, отобрал, отдал их дочери. «Ну, гляди теперь» — сказала Выдумка. Положила зернышки в горсть, метнула на восток — яблони выросли,

метнула на север — виноград закурдявился, метнула на запад — сливы поднялись. Отведал охотник яблоки — сахар чистый, положил винограднику в рот — сама тает, раскусил сливу — чуть язык не проглотил. Возрадовался охотник, подумал: «Теперь я не пропаду, жизнь налажу и людей уважу». Оглянулся он — все цветет вокруг, и скуки как не бывало. Захотел дочь на руки взять, чтобы в мир понести, а Выдумка поднялась в воздух, над цветущими садами, и кричит оттудова: «До свиданья, отец! Когда нужно будет, позови меня, я тотчас прилечу» — и понеслась вверх, и чем выше уходила, тем все ярче становилась, все заманчивей...

Зимнее утро было, как в алфеевой сказке: снега лежали, будто слоеный белый хлеб, морозное солнце перекатывалось по буграм, и в мертвой неподвижности стоял за большаком, в муаровом покрове, лесок.

Карпуха расчищал дорогу от сарая к большаку. Братья Ланге работали. Фридрих, как самый искусный в мастерстве, становился за токарный станок, Генрих с Павлом вертели привод передаточной трансмиссии.

Трещала под резцом медная стружка или завивалась железная, повизгивали на шкивах ремни, и покрикивал Фридрих:

— Нажимай, нажимай, не задерживай!

Отирая пот, побрякивая, братья «нажимали», что есть силы, и в работе их было самое доподлинное остервенение, ибо к вечеру рабочего дня они, случалось, «нажимали» до пятидесяти рублей.

А Карпуха расчищал дорогу и все думал про девицу Выдумку. Поглядывая на небо, видел солнце; поднималось оно все выше и становилось все ярче. Карпуха шел в сарай-завод — прибираться, стоять на-чеку перед хозяевами и не думать о Выдумке.

Самой незамысловатой работой на токарном станке была «обдирка» шкивов. Фридрих ставил в кулачки патрона шкив, проверял мелком полотно и, проверив, растачивал сначала нужное по валику отверстие. Если чугун попадался

мягкий, резец проходил, как по маслу, и, казалось, урчал он во внутренности муфты удовлетворенно и миролюбиво. Водящий винт станка тянул каретку равномерно. Тогда Фридрих приходил братьям на смену. Он объявлял «самород» и сам вертел передаточную трансмиссию. Но бывало, чугун попадался с жучками или раковинами, резец отжимало, он прыгал, скрежетал, проваливался в раковины и наконец, не выдержав борьбы, ломался. Фридрих мычал, как разъяренный бык:

— Чертогоны, лапотники, сволочи, лезут с заказами тоже!

Тоскливо и сумрачно озирали внутренность сарая. Заметив Карпуху, орал:

— Ты, собачья отрава, разводи горн, ну!

Алфеева сказка все еще поблескивала в смятенном сознании Карпухи и до того была не к месту здесь, что в растерянности не заметил парень, как угодил в Фридриховы объятия и повис в воздухе, приподнятый за шиворот.

— Ой, Дрикс Иваныч! — крикнул он, кувыркнувшись в угол сарая, — помереть, не буду!..

Тишина. Дрикс «отыгрался». Вдыхали мехи, разваливались угли нестерпимым жаром. Фридрих ковал новый резец, и злomu его веселью не было предела. Но к Фридриху как-раз приходила спасительная выдумка, брал он железную коробку, наполнял ее естественным отходом мочевого пузыря и в моче калил, без отпуску, жало резца.

— Учись, собачья отрава, — говорил Карпухе. — Утри нос, голову ставь выше!

Отходил к станку, укрепив в суппоре резец, командовал братьям неизменной командой:

— Давай, нажимай!

Работа продолжалась. Закаленный таким способом резец преодолевал жучки и благополучно растачивал муфту.

Карпуха вытирал кровоточащий нос, проклиная алфееву сказку, которая заставила его задуматься не во-время. Обида на Дрикса неожиданно перескочила на птицелова и сказочника Алфея, и, не умея разбираться в сложных

житейских событиях, Карпуха прожил в будке своей при заводе затворником целый месяц.

В апреле, когда тронулись снега и солнце разваливало нанесенные в овраги сугробы, Карпуха, сам того не замечая, обратился к спасительной выдумке. Разменяв пятнадцатый год жизни своей, он прибегнул к спасительной лести, стал усерден очень и боек, забегал с услугами к хозяевам, когда еще и не догадывались сами хозяева.

— Заказик отыскал, Дрикс Иваныч,—говорил он, плутуя глазами и заискивающей улыбкой своей,—сдохнуть-помереть, не вру! Пожалуйте за мной-с, на Даниловское кладбище.

— Хм! Какой-такой заказик?

— К памятникам железные оградки, Дрикс Иваныч. Золотая работа, сдохнуть-помереть!

— Ну? — спрашивал заинтересованный Генрих.

— Окромя того, чугунные памятники, железные кресты, литые херувимы и шатры над могилками, — бойко перечислял осведомленный Карпуха. — Пожалуйте-с, я сведу...

— Хорошо, голуба, очень даже хорошо! — лопотал в упоении Павел, поймав однажды Генриха за пуговицу блузы. — Мальчонка, скажу тебе, смысленный, клад обрел, сукин сын, тысячи на три заказу, если подсчитать.

Разыскивал Карпуху, чтобы потрепать за ухо, и не находил, — Карпуха жался больше к Фридриху Ланге, чуя в нем «заглавного» хозяина.

Фридрих, встречаясь с братьями, гудел:

— Работа, конечно дело, дураков любит.

— Ну? — хмуро спрашивал Генрих.

— Вот я и думаю, — медленно цедил Фридрих, — не пора ли принанять кого, чтобы станок вертеть. Думаю, для нас другое дело найдется.

— Мысль очень даже отличная, — тотчас же соглашался Павел. — Я иной раз тоже подумываю: как бы это исхитриться перевалить работу на других. Всецело одобряю и поддерживаю.

— Человечка бы нам, — вслух соображал Генрих, — который побойчее.

— Человек — не резец, его не заправишь, как тебе надо.

— Справедливо и весьма остроумно замечено, — посмеивался Павел на последние фридриховы слова. — Ну, а если запрошенного найти, готовенького отыскать? Ты в таком деле лучше нас смекаешь, тебе и книги в руки.

Карпуха с остервенением полировал клинок шашки дамасской стали, блестящую гордость дряхлеющего казачьего подесаула, участника войны 1812 года. Шмурьятая лещеткой, Карпуха размышлял о направлении судьбы своей. Судьба копошилась покуда в почти отдалении, но, уже облюбленная Карпухой, она внушала властелину своему соблазнительные мысли. «Нынче полтина, завтра полтина, а может, и рублевка» — загодя подсчитывал Карпуха разницу между действительной стоимостью заказа и чаевым приростом за услуги заказчику. Услуги были особые, нужные для утешения душ, омраченных печалью, доходная (как оказалось потом) печаль эта жила на обширных погостах Москвы, где каждый крестик или замысловатая отлитую из чугуна решетку на заводе братьев Ланге Карпуха мог опознать на ощупь. Переходя с погоста на погост, он счастливо открыл неиссякаемый источник легкого заработка.

В разгульный майский денек повстречал Карпуха однажды светлоглазого монашка, ходил тот монашек среди могилок и прикреплял к крестам расписанные цветочками жестянки.

— Гм, — подивился Карпуха, — это что же такое будет?

— Эпитафии, — охотно объяснил монашек, — в напоминание об усопших...

Среди винок и цветочков были вплетены искусною рукой художника слова:

О ты, супруга неземная!
Утратив свет своих очей,
Вернись с небес, моя драгая,
Для ради горестных детей.

Карпуха, вздохнув, осведомился:

— Сколько?

Монашек понял и улыбнулся.

— По доброму расположению родственников: за роспись—что положат, а за стихосложение отдельно два, бывает три и более рубля, ежели особо трогательно. Подал жестянку:

Под сению сего креста
Младое тело схоронилось.
Невеста светлая Христа
К нему, невинная, явилась.

Прочел Карпуха со вниманием, чувствуя щекотание в ресницах. Уходя, он еще долго бормотал про себя, подбирая складные слова: «Схоронилась, явилась, помолилась, удавилась». «Труда большого не составляет, — подумал тогда Карпуха, — только бы слова пожалостливее слепить, а концы завсегда подогнать можно». Припомнилась кстати вдова-купчиха, на румянощекоем лице которой тщетно пыталась расположиться скорбь. Роняя веселые слезы, купчиха умоляла Карпуху изобразить стишки, там, где завивался папирус, согнутый Карпухой из жестянки. Стишки нужны были самой высокой тоски и отчаяния, за что и предлагала вдова целых три рубля. Вот когда, сетуя на свою малограмотность, обратил Карпуха все свое внимание на книжную премудрость. Не без тайного умысла полировал он дамаский клинок. Видел у казачьего подесаула разбросанные по столу и стульям книги. (За неделю до того и разговор случился с купчихой.)

Клинок, отполированный до излучения, был аккуратно завернут в промасленную бумагу. И утром воскресного весеннего дня Карпуха Полуденов, пренебрегая красотами разгульной весны, читал, спотыкаясь на каждом слове, книгу стихов, милостиво подаренных ему старым подесаулом:

Чем я больше знаю, —
Больше знать я жажду,
В правде почиваю,
Под сомнением стражду.

— Ах ты, господи! — взмолился Карпуха. — «В правде почиваю, под сомнением стражду!» Что же это будет?

Отложил книгу, перевалился через подоконник. В недалеком монастырьке, там, где разбежалась за леском широ-

кая луговина, тихо и необыкновенно певуче позванивали. Майское, вольготное-жаркое солнце дрожало в самой середине широкого неба, прокаленного досиня. Напористо росла трава, изнемогал в зеленой истоме лесок, и чуть пылил уже большак.

Карпуха поднял голову, выставил грудь. Солнце немедленно оттеснило его вглубь комнаты.

— Хе-эх, ты! — удивился ослепленный Карпуха.

По ленивой дороге в город, мягко погромыхивая, катились крестьянские телеги. Целиной, заметно приминая еще неокрепшую траву, бойкой походкой шагал человек, направляясь прямо к окну сторожки. Подойдя, крикнул:

— Эй, кто жив тут?

— Я тут жив, — отозвался Карпуха, хозяйственно выходя на улицу. — Никого нет, праздник нынче.

Сощурился и без того узкие глаза, незнакомец произнес:

— А-а, праздник? Ишь ты, подишь ты! А ведь я, признаться, позабыл совсем. Ну, да уж что теперь поделаешь! — вздохнул протяжно и горестно. — Ты, выходит дело, за хозяина?.. Давай, становь самовар, угощай слесарного мастера Перелькина чаем для первого знакомства... Чего ж ты стоишь, Сань-Ваня?

— Я совсем Карпуха, — сердито уведомил Полуденов.

— Вон оно что! А зачем молчал? — веселился Перелькин. Сел на приступочку около двери и разговорился:

— Ишь ты ведь, куда вас вынесло... Фридрих-то Иваныч сказал: «Заходи. Мы, — сказал, — там, у Преображенской заставы». Ну, мне все едино, где зарабатывать деньги. Два дни шел к вам. На каждой улице теперь молотками стучат, будто их прорвало. Ну и завод у вас, ай-ай!

— Токарный станок... — похвалился Карпуха, чувствуя необыкновенную веселость в присутствии слесарного мастера.

— Ух! — важно надулся Перелькин.

— Один сверлильный...

— Эх, Сань-Ваня!

— Трое тисков...

— Ну, бабушке твоей контргайку!

— И горн есть.

— Тогда, значит, жители!—насмешливо заключил Перелькин. — Ты самовар-то взогрел?.. Эх, Сань-Ваня, стой-ка, я сам. Живешь ты—кум королю, сват министру. Не учит тебя, должно, Фридрих Иванович? И чего ты один обитаешь? Не страшно?.. Ну-ка волоки самовар. Э-э, не надо, я сам...

Налил в самовар воды, бросил в трубу зажженную лучину.

— Скажи, сделай милость, какой день веселый! (Перелькин разговаривал, должно быть, для себя, потому очень уж торопился, как бы не перебил кто.) Хозяину твоему, Фридриху Ивановичу, я так и объявил: «Так и так, не люблю кур доить; два рубля с полтиной в день. Не хошь — свое дело открой». Хел! «Приходи,—говорит,—сладимся». Ну, Сань-Ваня, раз пришел, беспреренно сладимся.

Развернул узелок, выложил черный кусок печонки.

Самовар посвистывал и отдувался. Карпуха заварил малинки. Спросил неверно:

— Ты, дяденька, насовсем к нам?

— А то как!—живо отозвался Перелькин. — Слесарным мастером. Сорок лет дяденька, а зовут Донат Евстигнеч...

Одним ударом ножа отхватил кусок печонки, густо посолил, из кармана извлек, совсем уж неожиданно, полштофа.

— Для укрепления новой вакансии рыщем,—сказал он. — Ты не смотри (налил водки в чашку), я человек всегда чверезый.—Поднял чашку.—Ну, что ж: господи, благослови, душа, лови, сердце, радуйся!

Выпил, крикнул и заговорил еще поспешней и веселей.

VI

Чуть продернулась изаря. Алфей Сусекин прошагал к реке, к далекой низине, заросшей кустарником. Через плечо птицелова болтались сети и тайники. Алфей глядел в разодранные облака, в синие провалы; он так высоко держал

голову, с таким напряжением, будто пел что-то необычайно трудное и, казалось, в этом положении способен был подняться над землей. Слезоточивая трава покорно ложилась под ноги птицелова. Так шел он в росистом дыму утра, и первый луч солнца обнял его плечи.

Донат Перелькин поднялся еще до зари. Любил слесарный мастер подстергать пробуждение дня в минуты его бесхитростного появления, когда все видимое кажется намалеванным рукой самодовольного и потому счастливого художника. Птицелов Алфей был первым самодвижущимся предметом в картине; он поклонился слесарному мастеру со свойственной ему любезностью.

Перелькин пососал чубук трубки, сплюнул, и за плевком воспоследовали слова:

— Ишь ты, подишь ты, какой прохладный человек, лодырь царя небесного.

На поклон не ответил, находя, должно быть, появление Алфея в эту пору нелепым мазком на фоне окружающей природы. Он ждал прихода братьев Ланге, единственных, по его мнению, людей, имеющих неоспоримое право изменять распорядок дня. Перелькин имел свои мысли — упорядочить незатейливую жизнь своим ремесленным вмешательством, дерзостно предполагая, что любой день можно пригнать точно так же, как пригоняется гайка в гайку искусным мастером. Поглядывая вслед Алфею и не замечая его, пел:

Как пошла наша Параша
На канаву за водой,
Да два ведерочка с собой..

«Вот он, «заправленный»! — ухмыльнулся Фридрих, заметив издали слесарного мастера. — Будем разговоры разговаривать. Пройдоха и жулик первостатейный, ну, зато ведь и мастер: из дерьма лягушку сделает».

Подошел и рукой этакий размах изобразил, будто готовился обнять слесарного мастера.

— Что скажешь, Донат Евстигнеч, каков заводилшко?

Мастер проследил за широким полетом руки, умилительно ощерился. «Заводишко» был непригляден, что-то среднее между лабазом и сараем, зато сами хозяева соответствовали замыслу.

— А что ж: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, Фридрих Иванович, — напомнил Перелыкин. — Не мечом клад копают, простой лопатой.

Прошел вслед за хозяевами в открытые ворота завода, повернулся туда-сюда, оглядел все углы, обласкал, как добрую лошадь, токарный станок, постоял у верстака... и вдруг, что было и не к месту, сорвал картузишко, истово закрестился, кланяясь во все углы.

Карпуха, будто сторонний, наблюдал за серьезными лицами хозяев и не мог определить, к чему все идет и зачем тут молитвенное усердие мастера. Еще больше был удивлен, когда Перелыкину, в его картузишко, бросил Фридрих пятишницу.

— Зачинай, Донат Евстигнеич, с богом.

Мастер сгреб кредитку. Картуз его, взлетев, утвердился на голове, оттопырив острые уши.

— Пожелайте скорого и счастливого успеха! — крикнул Донат, выскочив за ворота сарая. — Прибуду ко времени.

Сизое утро было свидетелем откровенного ликования слесарного мастера Перелыкина. Низкого роста, горячий и суевливый, мотался он по улицам города, заглядывая в трактиры, в лабазы купцов, шмыгал по лесным складам, побывал в монастырях, забегал раза три в управу. Многие видели, как ловко выудил он однажды из прокуренной канцелярии замызганного писарька в люстриновом пиджачке, однако с пышным бантом у воротничка и не менее пышной прической. Канцелярист этот с умопомрачительной быстротой глотал потом водку из пузатого стаканчика и, багровея, стучал себя в грудь.

— Все удостоверить могу, — доказывал он Перелыкину. — На основании существующего законоположения дарую и прекращаю жизнь, но ввиду грядущих

реформ воздерживаюсь от сего единственно по благородству души.

— Ах, Сань-Ваня, — дивился Перелыкин, — истинное вразумление от бога! Я так и рассудил: пойду-ка я к Епимаху Лазаревичу, он по душевной доброте своей, думаю, мне любую бумажку живым манером изготовит и за посильную благодарность нашу завод наш удостоверит по всем статьям.

— Ма-агу, одним росчерком пера, ма-агу! — пьяно бахвалился канцелярист. — Чи-ирк, и кончено дело! Для друзей я — что хочешь...

Канцелярист целился вилкой в тарелку, где плавали рыжие грибки, и каждый раз промахивался, хохоча, изрыгая ругательства и возносясь до небес в неопишемом величии своем.

— Ты есть ремесленник, лишенный деликатных чувств, — доказывал он Перелыкину, — но, коль скоро ты соприкоснулся с человеком просвещенным, значит, через сие соприкосновение способен будешь постигнуть некую государственную мудрость. Пойми и прикинься.

Выходя в сопровождении слесарного мастера на улицу, канцелярист Епимах Лазаревич уронил слезу, умиленный собственным великодушием, тем, что, будучи облечен властью, он обращает силу ее на обыкновенного мастерового, Доната Перелыкина. Садясь в извозчищью пролетку, милостиво принял из рук Доната мзду за предстоящие услуги свои. Сунул в грудной карман кредитку так величественно и небрежно, как будто бы хотел сказать: «Зри, смерд, до чего милостив и снисходителен я!»

Донат долго кланялся и ощерял зубы вслед дребезжащей пролетке, которая недолго маячила в наступающих сумерках.

Через неделю слесарный мастер шествовал на завод братьев Ланге во главе отряда из десяти человек мастеровых.

— Слесаречки за первый сорт, — доложил он Фридриху, — и работенка для них, Сань-Ваня, обнаружилась.

Снял картузишко. На дне его лежала толстая гербовая бумага с печатями и чьей-то размашистой подписью.

— Принимайте, дорогие хозяева, форменный заказ на исполнение запорных кранов городского водопровода.

Карпуха созерцал необычайное сияние на лицах хозяев, бегал, по распоряжению Перелькина, в трактир за водкой, в этот день, единственный за два с половиной года, подлинный праздник, случившийся в будничную пятницу.

Приминая на голове своей мягкую шляпу, Фридрих, сдерживая радостную возбужденность (на глазах посторонних радость, как находку, не следует обнаруживать), отозвал братьев в сторону, захотел передать им сложную свою отчетливость, в которой сквозили власть и некое превосходство. И начал он тоном распорядителя:

— Хорошо бы, конечное дело, раздвинуть участок-то,—сказал он, выжидательно поглядывая на братьев.

Генрих молчаливо потербил бородку, оглядывая замусоренный пустырь, который хлестал теперь высокими травами в несмелые улочки приближающегося города. Глаза у Генриха раздумчивые, с некоторым налетом неподходящей мечтательности. Старший брат отличался своей особой какой-то интеллигентностью мастерового, который, выходя на широкую дорогу предпринимателя, хотел уберечь некоторое родственное отношение к рабам своим, но уже сейчас было достаточно заметно, как тлела фальшивая ниточка, — оттого и напускная печаль в глазах.

— Что ж, — медленно выговаривает Генрих, — если надо, значит, надо.

— Вскочит нам это в копеечку, — весело предупреждает Павел, — а? Как ты думаешь, Фридрих? — Кивнул головой в сторону трактира: — Халявин — мужик прожженный.

— Обложу! — уверял Фридрих.

Он сделал это немедленно. «Если надо, значит, надо» — думал он словами старшего брата, шагая к знакомому трактиру.

Халявин, Сидор Семенович, — человек рыхлый; летняя жара вытопила сало ожиревшего трактирщика. Сидя в тени двух сиренек в одном исподнем, он лениво обмахивался полотенцем, отгоняя мух и полуденную духоту. Отягченные

сном, припухшие веки его чуть дернулись, как бы приветствуя неожиданного посетителя, и снова упали, скрывая глаза от нежелательного наблюдения.

— Землица — она, что же, она хлеба не просит, — ответил он на предложение Фридриха Ланге продать участок. — А какая ваша цена будет?

Почесал поясницу, вздохнул, уставившись полусонными глазами в широкую грудь Фридриха, насмешливо подумал: «Неужели дурак мертвую землю купит?»

Правда, на этой «мертвой земле» содержал он увеселительное заведение, а в летнее время шумел здесь балаган, и вертелась карусель под истошные вопли шарманки, но все же Халявин находил, что место, удаленное от центра города, не может представлять настоящей выгоды. Но «дурак» был налицо и с первого слова предложил хорошую цену — полтину за квадратную сажень. Халявин тотчас же насторожился, отошла полусонь, посвежели глаза.

— Ни к чему разговор, добрый господин... — как вас звать-величать, не знаю. Мне совсем не к спеху. Продать конечно завсегда можно, только мигни, охотников, сколь хошь: земляца — золотое дно. — Зевнул, закрестив мелко и торопливо широкую пасть. — Какие мои годы? Продать, добрый господин, я может, и продам, но только не сейчас.

Фридрих определил: «Халявина сразу не возьмешь» — и заломался, заиграл, хотя и с большим опозданием.

В палисаднике, в самой вершине размашистого клена, затилинькала невидимая птичка, весело барахтаясь в разливе солнца, роняя и перебрасывая легкое свое существо с ветки на ветку.

— Хорошо, — сказал Фридрих, — как угодно-с, могу и повременить. Прошу прощения за беспокойство, — чуть протрунуса к шляпе. — Участок не очень чтобы завидный, свалочное место к тому же.

Фридрих, повернувшись, зацепил ветхую опражку палисадника, невольно задержался. И вот, уже пыхтя и отдуваясь, встал за его спиной трактирщик Халявин; ветерок играл его широкой

рубахой, обнажая по временам тяжелое халявинское брюхо.

— Насчет земли напрасно выражаете сомнение, добрый господин, город-то во-на как разбежался. Год-другой, а там, глядишь, участок мой под застройку ляжет. Но ежели, как говорится, первый покупатель и хорошая с его стороны цена будет, я и не постою. Скажите, будьте милостивы, настоящую цену, а полтинка за квадрат—это что ж? Это, можно сказать, сущая обида-с...

Фридрих, обрядя оградку, двинулся дальше, выдерживая прямую линию от трактира к большаку. Ветерок здесь был порезвее, и открыты просторы на все четыре стороны. Думалось легко и отчетливо: «Убытка не будет. Может, и правду говорит Халявин. Смекалист, будь он проклят!»

Шагал и шагал, слыша за собой тяжкое пыхтение трактирщика. Так пересекли они бугорок и на бугорке остановились: Фридрих — чтобы определить выгодность расположения завода, Халявин — помочиться.

— Рублик-с, — говорил он, встав по ветру.—Рублик-с, и владей, Фадей...

Трепалась на тучном его теле длинная, до колен, рубаха, и широкие штаны неслись куда-то в сторону, и похож был Халявин в свете сквозного солнца на широкий парус, сорванный с прикола.

— Рублик-с, добрый господин, — повторял он, поддерживая сползающие подштанники.

— Восемь гривен.

— Напрасный ваш разговор-с.

Фридрих явился к братьям с купчей, в которой значилось, что участок земли, принадлежащий московскому мещанину Халявину, Сидору Семенову, размером в двенадцать тысяч квадратных сажень, переходит в полное владение братьев Ланге, по цене рубль серебром за каждую сажень.

Ликовал по этому случаю больше всех слесарный мастер Перелькин.

— Соорудили, ах, Сань-Ваня! Такому участку, по нынешним временам, цены нет.

Он обежал всю площадь пустыря, по-натыкал колышков, крича и восхищаясь — Теперь, по-настоящему, хорошую литейную воздвигнуть осталось. Э-ха-ха, Сань-Ваня!

Литейную действительно воздвигли, потратив на это сооружение пять недель. Бревенчатое здание выросло в самом углу участка, чтобы, кой грех, огнедышащая литейная не коснулась косматым пламенем своим слесарной мастерской.

Вечером полыхали на выбитом до пыли пустыре костры; рабочие (насчитывалось их теперь по ведомости сорок семь человек) жили поблизости, в доме трактирщика Халявина. Человек этот, радуясь соседству завода, открыл бакалейную лавочку, расширил трактир и приспособил обширный дом свой под общежитие для рабочих. До зимы существовали ладно, в воскресные дни шли в недалекий лесок или прятались в кустах по берегу реки. Один Карпуха, снедаемый тщеславием, сидел в своей сторожке и одолевал прамоту, проникая в смысл написанного. Красоты поэзии Николая Щербины увлекали его до самозабвения, до того, что перестал замечать окружающее и позабыл Серафиму, Алфееву дочь.

Не стучится гость желанщый
В портик сада моего,
Не идет он, долгожданный.
Мой венок благоуханный
Вянет ночью без него.

Даже такое откровенное напоминание поэта не всколыхнуло сердце парня, и думал Карпуха в эти минуты о купчихе, которая все еще ждала чувствительных стишков. Окруженный людьми практического склада, Карпуха видел свое будущее, как некое одеяло, сотканное из кредиток, и не откликнулся на сердечные зовы, объясняя такое свое состояние «дурью»—словом взрослым и слабыми не допускающим. Парень этот в пятнадцать неполных лет, сам не ведая того, первый стал применять поэзию, подобно огуречному рассолу, назначенному вышибать хмель, но не уголять душевной жажды.

(Продолжение следует)

Похождения факира

Роман

ВС. ИВАНОВ

Часть третья

ФАКИР ВХОДИТ В ЦИРК

(Продолжение ¹)

29

В купе на громадных тюках, укутанных кулисными холстинами, сидел Пашка Ковалев. Он так и не видал моего представления, а сидел где-то на постоялом дворе, возле вокзала. На нем заношенная солдатская одежда, погоны, с одной нашивкой. Лицо у него испуганное, немытое. Увидав нас, он обрадовался, а когда поезд тронулся, так он совсем развеселился.

— Дешево отделались. Могли бы нас в дисциплинарную роту шарахнуть. Теперь жизнь серьезная. Сплошной чирий, а не жизнь.

Жизнь для него оказалась действительно серьезной. Когда он испугался вконец и не мог больше терпеть, он поехал с петькиным письмом в Пермь к генералу Пышминскому, тому, у которого бородавка на верхней губе, схожая со сливой. Выяснилось, что генерал заведует аптекарским управлением 4-й армии, которая в это время «атаковывала противника на 45-километровом фронте от реки Вислы и до реки Быстрицы, прорывая позиции австрийцев и выходя в район Юзефова», и все еще не успел обратиться отправить свое упра-

вление поближе к фронту, что однако не помешало ему немедленно приписать Пашку добровольцем к аптекарскому управлению. Пашка решил, что при аптеках можно существовать, раз они не торопятся на фронт. Но, к сожалению, Пашка или по склонности своей к болтовне, или хвастаясь перед солдатами, проболтался о существовании Ковалихи. Тут же оказалось, что аптекарское управление обязано, «кроме прочих снабдий», поставлять на фронт жизнерадостных девиц, которых прикомандировали к аптеке в качестве «аптекарских помощниц». Еще до начала общего наступления 4-я армия, перейдя утром 2 сентября в частное наступление на обоих своих флангах, одержала крупные успехи, что дало повод генералу Пышминскому думать, что фронт должен усиленно пополниться для награждения победителей жизнерадостными девицами. Пермь была уже исчерпана. Пашке дали нашивки, прогонные, литер и отправили в Сибирь, откуда, по мнению генерала, «девицы еще все не вывезены». За каждую девицу, доставленную в Пермь, Пашке была обещана премия: 1 руб. 15 коп.

— Ну, а где я их наберу? Три тысячи за три недели? Какие тут надо «сети» раскинуть, вы понимаете? Да и кто

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 1, 2, 3, 4 и 5 с г.

поверит мне? Я ему говорил: «Дайте мне хоть чин прапорщика», а он орет: «Поезжай без разговоров и обратись в крайнем случае к мамашиному благословению».

Ирина Терентьевна сказала:

— Три тысячи рублей да еще три тысячи пятиалтынных — деньги хорошие. Я так понимаю, вы все-таки надеетесь собрать этих девиц, иначе бы не приехали к нам, а направились прямо к своей мамаше?

— Где мне собрать их? Да и надует он меня с этими тысячами и с этими пятиалтынными, если даже я наберу девиц! Откажись набирать — снимают дисциплинарными взысканиями. Вот если ничего не выйдет, скажу, что вы меня задержали. Вы мне обязаны помогать! Вы должны защищать отечество!

— Ну, что ты к нам пристал? У нас хора нет, балаганные дамы с тобой не поедут, они всю твою пустоту насквозь знают, — сказала Ирина Терентьевна. — Да я их сумею удержать.

— То-то, что вы держите, Ирина Терентьевна, а не будь вас, я бы их давно первой партией в Тюмень отправил.

Балаганщицы смеялись, а Пашка, достав из кармана клочок бумаги, перечитывал:

— «Табак, — это война накосила сена и подожгла своим фитилем! Московский, как и гренадерский полк, в котором находится среди прочих и грозный мастер Иоанн, вновь атаковали высоты у Тарнавки, сбили слабые части германцев и, выдержав ряд сильных контратак, овладели тридцатью орудиями 4-й германской ландверной дивизии, прорвав таким образом расположение корпуса Войрша. Тут подоспели мы! Успех прорыва распространился по всему фронту 4-й армии! Австро-германцы стали отходить в беспорядке. К вечеру 9 сентября 4-я армия захватила более пяти тысяч пленных, из них половина германцев! Надеюсь, что я действую пером не хуже, чем саблей, Пашка? Поэтому я говорю тебе: не верь ты себе, Павел. Ты способен из-за слуха, пущенного тобою же, набить соломой чучело из своей собственной кожи. Будь бодр. Твой испуг, как тень, будет делать все

то же, что делаешь ты, но, как и тень, никогда не окажет тебе помощи...»

Пашка положил письмо на колени:

— Вот видите, наши друзья тоже, может быть, нуждаются в подругах, достаточно веселых.

— Не нуждаются они в такой твоей помощи! — воскликнул я.

— Ой ли?

Я сразу узнал слог нашего курчавого павлодарца. И действительно, из дальнейшего можно было понять, что по приказу начальника 42-й уральской кавалерийской дивизии Петра Захарова наградили за храбрость Георгием первой степени и произвели в подпрапорщики. Петр Захаров не был охвачен гордостью. Он уговаривал Пашку не слушаться приказов генерала Пышминского, а директору «XX века» посылал совет:

«Если ты не в состоянии скупать мясо, то раствори последовательно двухромово-калиевую или двухромово-натровую соль, хлористый марганец и уксусно-натровую или муравьино-натровую соль (15° по Боме), точное определение количеств упомянутых веществ зависит только цвет окраски. Бумажная материя, желательный холст, опускается в раствор, держится в нем до получения желаемого тона, а затем промывается или только выжимается и еще во влажном состоянии погружается в раствор соды или поташу (14° по Боме). Щелочь закрепляет и делает ее нерастворимой. Так, Филиппинский, ты можешь получить холст цвета хаки и продавать его с выгодой. Храни тебя бог и молись ты усердно о победах русского оружия».

— Вот как поверил в бога, так и Георгия получил, — сказал вяло Пашка Ковалев, а затем он оживился и сказал уже то, что ему давно хотелось сказать: — Я вам предсказывал, господа Филиппинские, окончательно вы разоритесь на этих представлениях. А вы: надо еще раз попробовать. Вот и попробовали! Говорил, не дожидайтесь ответа и совета от Петра Захарова? А вы: он напишет. Вот и написал!

— Что же вы предлагаете, господин Ковалев?

— Я предлагаю вам, Ирина Терентьевна, тридцать процентов с предстоящей мне полочки.

— Надбавили десять-таки? Я сказала, что меньше как на восемьдесят процентов не согласны. Можете хоть год возле нас ездить. Умрем с голоду, но не согласимся на ваше издевательство. Скажите, пожалуйста! Он за какую-то бумажку от генерала Пышминского хочет получить семьдесят процентов, когда сам не ударит палец о палец.

— Как палец о палец не ударю! А мои знакомства? А барсиане?

— Ваши знакомства, ваши барсиане, господин Ковалев, только могут навредить. Здесь надо действовать по-новому. — Как?

— А как действовать, я вам не скажу, господин Ковалев. Когда дадите нам восемьдесят процентов, тогда и узнаете, как можно собрать в одном уездном городе три тысячи вполне жизнерадостных девиц, согласных быть аптекарскими помощницами, мало того, согласных отправиться на фронт, в 4-ю армию. Дайте-ка мне рецепт этот посмотреть.

— Дурацкий рецепт.

Рецепт был приложен отдельно. Ирина Терентьевна перечитала письмо, вернула его Пашке, а рецепт оставила себе. Она улыбалась. Филиппинский, взглянув на ее улыбку, вдруг развеселился, достал из кармана баранку, большой кусок свиного сала и стал есть, превкусно чмокая, так что на это причмокивание выползли из-под нар спрятанные, дабы не платить за билеты, всяческие паршивые животные. Пашка испугался и улыбки Ирины Терентьевны, и этих гнусных морд, которые выползли, как бы предчувствуя благополучие. Тревожило его также и мое лицо, которое после того, как Ирина Терентьевна признала захаровский совет дельным, успокоилась:

— Даю тридцать пять процентов!

— Восемьдесят. Давайте восемьдесят, господин Ковалев, пока мы не взялись за другое дело. Вы напрасно смеялись над рецептом.

— У меня копия есть.

— Нет у вас копии.

Копии у Пашки не было, потому что, разозлившись на мою улыбку, он воскричал:

— Главным разорителем был у вас Всеволод! Я предлагаю тебе, Филиппинский, взять его в денщики.

Размышления о войне способствовали, видимо, быстрому ответу Филиппинского:

— Что, я офицер?

— Лучше служить денщиком у офицера, чем быть рабом или лакеем. Вот почему Всеволод подготовит тебя на экзамен за четыре класса городского, чтобы ты, Филиппинский, попал в школу прапорщиков.

Как я ни обалдел от встречи с исправником, от торга Ирины Терентьевны с Пашкой, от ужасных процентов, я все же мог сказать:

— Вы совсем сдурели! Мне репетировать, когда я окончил сельскую школу?

— Подтянешься. Только ты, Филиппинский, наблюдай, чтобы он не сдал экзамена раньше, иначе быть тебе у него денщиком! А в прапорщики тебе пойти прямая выгода: обрати внимание на свою ногу. Ты ранен, еще не побывав на фронте, да и не попадешь туда, потому что изувечен навсегда! Кроме того, тебе дадут роту, и ты будешь разными способами перетягивать к себе своих знакомых, которым трудно живется. Ты будешь получать верное жалованье, а что ты сейчас зарабатываешь. Ты возьмешь меня. Мне, брат, трудно служить у генерала и набирать по три тысячи девок в три недели, когда я и в мирное время этим делом не занимался. Я не могу обслуживать весь фронт 4-й армии! У меня характера хватит разве что на роту.

— Восемьдесят процентов, господин Ковалев.

— Тридцать пять, Ирина Терентьевна.

— Да плюньте вы на него, — сказал я.

Ирина Терентьевна взглянула на меня:

— Вы 6 поменьше советов давали, господин Иванов.

Она вздохнула.

— Сколько мы прислуг ни нанимали, все требуют жалование, да и, получив это жалование, не соглашаются мыть наших несчастных животных.

— Совершенно верно, мадам. А теперь тем более вы не найдете прислуги. А денщик обязан мыть кошек и даже бесплатно.

— Я не буду денщиком и не буду мыть кошек! Мало того, я не понимаю, каким образом я мог очутиться в этой дикой компании.

Ирина Терентьевна оживилась. Всякое сопротивление ее доброте со стороны ли животных, со стороны ли человека она рассматривала как горестное событие, подлежащее немедленному уничтожению.

— Если вы, господин Иванов, не желаете мыть кошек господину офицеру, то вам предстоит мыть их тюремному надзирателю.

Она помолчала:

— Вы еще не знакомы наверно с тюремными кошками? Вряд ли, иначе зачем бы вам воровать эти тюки.

Теперь только я рассмотрел, какие тюки украшал собою Пашка Ковалев. В холщевые кулисы были запакованы мундиры австрийцев, полученные нами в казармах пленных чехов. Злость обожгла меня:

— Мало того, что украли, вы эту позорную кражу у несчастных пленных способны сваливать на другого?

— Позор не нам, господин Иванов, а этому другому. Благодаря вам, господин Иванов, мы повержены в ничтожество. Позор? Но мы все-таки не крадем пьесы у патриотических авторов, не смеемся над родиной, что же касается плененного имущества, так оно принадлежит России, а не чехам. Молчите уж лучше и радуйтесь тому, что в любом балагане, хотя бы у госпожи Татариневой, нас примут с нашей военной пантомимой на полонинных процентах со сбора.

— С какой военной пантомимой? У какой госпожи Татариневой?

— У такой госпожи Татариневой, которая работала с нами на Урале и которая теперь в селе Преображенском открыла свой балаган. Детей ее мобилизовали, откуда же ей взять денег, чтоб

посылать им? За слезы не платят. Пантомима наша называется «Горе Германии». Вы, господин Иванов, украли у господина Дальского его слова. Мы слов не крадем. А происшествия, которые происходят в нашей пантомиме, могут происходить в любой патриотической пьесе. Молчите, как буду молчать и я.

Она говорила неколебимо твердо. Где мне спорить с ней! Я устал, револьвер оттянул мне карман. Они смотрели на меня зорко, чтобы немедленно же, если понадобится, схватить меня. Я молчал.

Она сказала:

— Плохое у вас имя, господин Иванов. Всеволод? Такое имя может иметь князь, а не лакей. Мы вас будем называть Иваном. И чего вы, Иван, торчите в этом фраке? Кто носит фраки из сермяжного сукна? Исправник был прав, этот фрак только позорит вас. Снимите его, Иван, и надевайте передник.

— У меня нет передника. Кроме того, что это за денщик в переднике?

— Пока офицер ходит в штатском, лакей ходит в переднике.

Она дала мне свой ситцевый передник. Должен сознаться, что этот бабий передник совсем неожиданно внес некоторое успокоение в мои авторские и прочие чувства.

Мы ехали к селу Преображенскому, которое лежит на границе Ишимского и Тюменского уездов. Меня радовало то, что я избежал тюрьмы, радовала и ловкость, с которой я носился по вагонам, получив последним в очереди чайник кипятку и вспрыгнув на подножку, когда поезд уже трогался. Меня тревожило только то, что придется мыть кошек и прочих облезших зверей. Ловкость мою оценил даже Филиппинский. Описывая ногой круги возле кип, он сказал, тяжело пыхтя:

— Отличный из него метр-д'отель выйдет. Не открыть ли нам, милочка, ресторан на фронте?

Удивительно быстро в человеке зарождаются лакейские чувства! Я и не заметил, как уже ласково сказал своему хозяину:

— Что за ресторан без водки?

— На фронте важна не столько водка, сколько шантанная певица. Пение

приятно там, где вечно поют орудия. Если говорить о вине, то почему его не подавать в чайниках?

Филиппинский, кстати, рассказал несколько анекдотов о том, как люди опьяняются «вполну», затем «вполне» и более тяжелое «долу» и наконец, что достигается длительными сложнейшими упражнениями, они входят в «навзничь».

— Летний сад надо открыть, — вдруг сказал Филиппинский.

— Какой же Летний сад на фронте?

— Вот на фронте-то и надобен настоящий Летний сад.

Филиппинский шумно и гордо отдувался, ему несомненно тесен вагон. Его широкое жирное тело так выпирало отовсюду, что все проходящие мимо внимательно оглядывали нас, как будто удивляясь тому, что мы еще живы, а не задавлены этим толстым, пыхтящим и неприятно пахнущим существом. Филиппинский шлепал губами и взором отвечал им: глядите, глядите!

И как не гордиться Филиппинскому! Как ему гордо не осматриваться! Несмотря на множество врагов и козней, он все-таки вывернулся и благополучно устроил свою жизнь. Жена при нем, заботится попржежнему, а может быть, даже лучше прежнего, окружающие подобраны такие, что ей не засмотреться. Правда, имелся в балагане беспокойный красавец Петр Захаров, но тот, к счастью, скрылся далеко. Надо отдать ему справедливость, голова у Петра Захарова работает отлично, но остальное тело плохо повинуется этой голове и мечется, мало разбираясь в пространстве: из Восточной Пруссии вдруг в район Юзефова! И где только он выбрал такой полк, который мечется, подобно успехам русской армии?

Летний сад! Блестящая идея. Филиппинский сделал губами «прф-прф-ру». Теперь, когда всех гонят на фронт и поезда переполнены так, что в мирное время и вообразить было невозможно, он вдруг откроет в какой-нибудь роше, неподалеку от позиции Летний сад с подачей фруктовых вод и легкомысленных песен, вроде «Клик-кляк!», «Бедная Зизи», «Капиталист и подвязка», «Фатма-алжирка» и «Уж мы ели, ели,

ели; уж мы пили, пили, пили». Таким образом, исполнится мечта всей его жизни, он быстро наживется, так что сможет приобрести не только три лавочки, но и все вообще лавочки в Петропавловске, да и вдобавок Меновой двор, который городская дума, кстати сказать, перед самой войной хотела продать с торгов, но тогда никто не явился, а сейчас он скажет: господа гласные, организуйте торги! Неправдоподобно, скажете? Чего же неправдоподобного в Летнем саду, когда Пашка Ковалев, который трепещет, если на него летит осенью паутинка, вдруг ни с того ни с сего способен получить три тысячи да еще какие-то пятиалтынные!

Филиппинский, снисходительно улыбаясь, говорил мне:

— Чайник остыл, Принеси-ка еще, Иван.

Но тут же милостиво пыхтел:

— Выпьем и остывшего. Отдохни. Мы денщиков не гоняем, как прочие интенданты.

Они, точно, прекратили пить чай, но взамен чая Ирина Терентьевна придумала репетировать ресторан Летнего сада. Так как господ было много, а лакей один, да к тому же и неопытный, то на меня кричали все, вплоть до несчастных животных, которые лезли на меня теперь отовсюду. Но больше всех орала на меня Ирина Терентьевна:

— Иван, за такое подавание вас будут тарелкой по носу! Возможно вам быть, Иван, кухонным мужиком или посудомойцем, но никак ни лакеем, а тем более метр-д'отелем. Вы портите нашу репутацию всего Летнего сада!

За два перегона перед Преображенской ярмаркой господам Филиппинским встретилась необходимость в пробном обеде, потому что иного у них не было. Мне пришлось подавать воображаемые тарелки и провозглашать воображаемые кушанья, которые когда-то записал я от повара Софрония в свои серые тетради.

— Дикая утка с темноцветною подливкой по самому лучшему вкусу! — восклицал я на весь вагон, потому что мне хотелось есть и я полагал, что этими восклицаниями удастся прекратить голод: — Вам, Ирина Терентьевна, фарши-

рованные котлетки из телятины, а вашей собачке, мадам, протертый гороховый суп с жареным хлебом. Вам, господин Ковалев, согласно желанию, поташ из шпикованой дичины. В заключение разрешите, господа, предложить вам торт с померанцами и пряженые яблочные ломтики в тесте.

Филиппинский вздохнул:

— Иван, ты говоришь так грустно, что веришь существованию кушаний, хотя есть и не нужно, и не хочется. Теперь я понимаю, почему ты, Иван, никого в балагане не мог рассмешить.

Ярмарка в селе Преображенском существенно отличалась от виденных нами ярмарок. Продавцы суетились, но, что самое удивительное, необыкновенно суетились покупатели. Между ларей, возов, между скотом и сеном клочкотала толпа, раздавались выкрики чудовищно больших цен. Купцы, интенданты, подприторщики, врачи, — все скупало масло, мясо, кожи. Продавцы стояли с раскрытыми ртами, и у них нехватало фантазии просить больше предложенных цен!

Возле каждой лавки продавали лубочные картинки, и в каждом десятке этих картинок непременно встречался курчавый друг мой, Петр Захаров, и длинноухая разномастная лошадь Нубия, которой даже лубочный художник не смог удалить из глаз присущей ей грусти.

— Надо непременно открывать Летний сад, — сказал Филиппинский, увидав эту необыкновенную ярмарочную суматоху. Он так жаждал немедленного открытия этого сада, что не нашел в себе сил пойти в балаган тоспожи Федосьи Татариновой, ради милости которой мы сюда приехали. Попробовал было он пройти через ярмарку в балаган, но с полдороги вернулся на постоялый, приведя с собой двух высоких мужиков, закутанных поверх суконных курток в черные тулупы. Мужики эти кричали, не снимая шапок:

— Разве такую цену дают за масло? Ты нам цену сразу бы сказал, так мы бы тебе в шары плюнули. Есть нам когда ходить за вами, маклачниками!

— Ваше масло покупают на фронт, а мне надо особенное масло для ресторанного дела. Понимаете? Я посмотрел ваше

масло, подумал об нем и больше предложить не могу. Не могу! Таким маслом, как ваше, колеса мазать да солдатские глотки.

— Это ты зря! Наши коровы толстые, масло дают отличное. Немец идет на Россию ради наших коров.

— Коровы-то хорошие, но и масло-то хорошее вы продали, а мне предлагаете дрянь.

Мужики было пошли, но тут из-за ситцевого полога, держа в руках двух облезших кошек, выскочила Ирина Терентьевна. Свершилось удивительное дело! Филиппинский не только сговорился с мужиками, но и выложил им небольшой задаток, из чего выяснилось, что жена его сохранила некоторые средства и что мы напрасно голодали.

После покупки масла Ирина Терентьевна сочла унижительным наше дальнейшее пребывание на постоялом, и мы переехали к просвириям. Немедленно в просвириин двор вошли подводы, с которых перегрузили в амбар большие желтые круги замороженного масла. Оказалось, что у мужиков нехватило тары, дабы увезти это масло в Тюмень. Покупателей на масло «без тары» в Преображенском не нашлось. Покамест покупатели заказывали тару, Филиппинский сумел доказать мужикам, что скоро наступит оттепель, и хотя в эти месяцы оттепели в Сибири никогда не бывает, но мужики поверили, потому что Филиппинский сказал, указывая на погоны Пашки Ковалева: «Вот этот всю погоду знает и по глупости способен масло купить без тары. А мне что? Я при нем маклак. Я получу проценты и уеду, а он пусть поступает, как хочет, при оттепели».

Филиппинский очень боялся этой покупки: хватало только на задаток! Но через три дня нахлынули еще покупатели. Масло оказалось скупленным. Тару пришлось бы возвращать обратно. Тогда купцы пришли к Филиппинскому. Он перепродал им свое масло.

— Вот как решил открыть Летний сад, так дела и повернулись в счастливую сторону, Иван. Любуйся!

Действительно дела у него повернулись счастливо! Из Тюмени приехал

приказчик Логинов, которому удалось таки поступить на службу — «по бараньей части и мясу»! Логинов этот был приглашен к ужину. За водочкой он проболтался, что в Ишиме появился богатый киргиз, скупающий баранье мясо, причем разница на пуд между Преображенским и Ишимом — десять копеек. Эта цена показалась мне ничтожной, но Филиппинский взволнованно повернулся на правой ноге, как на оси, делая левой размышляющие круги.

— Меньше десяти тысяч пудов везти нет смысла, — сказала Ирина Терентьевна, как только Логинов ушел. Ирина Терентьевна уже успела завести ужасное количество полудохлых собак и кошек, достала ворону, обморозившую себе ноги, и заставила меня делать ей перевязки. Я подавал в тарелках еду собакам и кошкам, а Ирина Терентьевна внимательно наблюдала за мной, считая, что подача пищи есть лучшая школа для денщика.

Мне надоели полудохлые животные, спекулянты, бледное лицо Крины Терентьевны, пашкины размышления, и я пошел в балаган к Татариновой.

В конторе сидела сама мадам Татарина, а возле нее разглядывал через горлышко пустую бутылку милейший клишник Степан Ломов. Видимо, он все еще мечтал о стеклянном цирке.

— Возьмите меня, Федосья Аникиевна.

Ни мадам Татарина, ни Ломов не узнали меня. Он вяло посмотрел в мое лицо и только вспомнил почему-то грозного мастера Иоанна, о котором сказал:

— Вот кто бы мог выстроить аппарат, через который ты понял бы, почему эта война утащила с собой всю нашу ловкость. Кто остался в балагане? Или слабость, или женщина. То и другое для мужика мало любопытно. Мужик любит мужскую ловкость. А в крайнем случае мастер Иоанн сделал бы такой прозрачный и невидимый аппарат, который взял бы тебя в тиски и закрутил бы так по воздуху, как будто ты великий прыгун Август Сасадини! Нету мастера Иоанна.

Мадам Татарина рассуждала коротче. Она ткнула пальцем в мой фрак и сказала:

— Клоун?

— Клоун.

— Вы выступишь завтра с пробным антре.

— Какие условия?

— Условия зависят от удачи.

Она сказала Ломову, который опять уставился в бутылку:

— Смеяться мы не умеем, вот почему к нам в балаган и не идут. Не прыжки нужны, а такой аппарат, который бы вращал язык и мысли, чтобы зрители до упаду смеялись над своим горем. Можешь такое?

— О войне?

— О войне.

— Смешное трудно.

— А за скучное морду набьют. Вот и выбирай.

Я написал антре о войне и о смелости. Но занятия лакейством мало способствовали остроумию, и когда я перечел свое антре, то оказалось, что, в сущности, я изложил содержание «Позора Германии», причем все роли в этой укороченной пьесе я исполнял один. Я переоделся сначала в мундир австрийского офицера, затем в женский боярский костюм с кокошником, который одолжила мне Платонида Ломова, затем в польскую безрукавку, а в промежутках натягивал широкое шафрановое и синее клоунское одеяние.

В пустом балагане сидело несколько пьяных мужиков. Было очень холодно. Пар шел изо рта, и если бы даже смех был беззвучным, то по этому пару я мог узнать его очертания. Увы! Очертания шара были такими же, как и до начала представления.

— Все это, парень, совсем у тебя плохо, — сказала мадам Татарина, когда я после своего антре вернулся за кулисы. — Тут тебе даже и стеклянная машина не поможет. Очень ты грустный. Тебе надо залезть в мясорубку, превратиться в фарш, а там уже пытаться сделать из себя клоуна.

— Занялись лучше бы вы, мадам Татарина, этой операцией над зрителями.

Она рассердилась и сказала мне:

— Не в мясорубку тебе лезть, а самое удобное — вообще умереть.

30

Я быстро шагал к дому просвирни. После представления фрак мой казался еще более холодным. Я смотрел в морозное небо и думал, что Филиппинский, обидевшись на самоуправство денщика, не пустит меня в дом. Я останусь замерзать на высоком белом сугробе под необычно сильным светом сибирской луны, и оледенелая кровь моя, как утюгом, выпрямит наконец измятый сермяжный мой фрак!

— Что это еще? — спросит меня Филиппинский перед тем, как захлопнуть дверь дома. — С какого это времени воинские чины нашли себе право играть в балагане, хотя бы даже и с патристическими целями! Пошел вон, предатель России.

— Я не могу быть предателем, господин Филиппинский, потому что не чувствую Россию своей родиной.

— Ну, тем более ты должен замерзнуть!

Однако в дом просвирни меня пропустили беспрепятственно.

Двор заполняют подводы, прикрытые рогожами, из-под которых торчат бараньи туши. Мордастые ямщики в расширенных валенках пляшут между возов. В пригоне толстые лошади лениво едят овес.

Филиппинский, склонившись толстым лицом к бледному носу своей жены, шептал:

— Это понять нужно, на семьдесят пять копеек дороже, чем в Ишиме. На семьдесят пять копеек!

— А хоть и на пять рублей. Что ты, осмелишься на фронт баранину везти?

— Так ты, Иринишка, не веришь-таки, что я открою Летний сад?

Я развязно сел за стол. Они изумленно смотрели на меня, но я понял, что изумление вызвано не моей развязностью, а каким-то другим моим лицом. Я провел по лицу пальцами. Оказалось, что я забыл смыть сурик и мел. С горечью подумал я, что не эта ли размалеванная клоунская морда снабдила меня нахальством?

Я сказал:

— Впрочем, мне наплевать на вас!

— Встать! — завизжала Ирина Терентьевна.

Возле нее замаякала кошка, взвизгнула собака, и эти звуки были так отвратительны, что, дабы не слушать их, поднялась бы со своего пьедестала и чутунная статуя.

— Офицеры любят баранину, — сказал Филиппинский, рассматривая мой статуиный рост и думая о своем.

— Отойдите, Иван, к дверям, — прокричала Ирина Терентьевна, — и не мешайте размышлениям.

— На спекуляцию денег нехватает? — спросил я, отходя не к дверям, а к окну.

Пашка Ковалев провел рукой возле себя, как бы сбирая деньги, и сказал мечтательно:

— А если нам по захаровскому рецепту покрасить не холст, а сукно, которое в этих тюках лежит?

— Сукно продано, — сказала Ирина Терентьевна, — деньги в задаток пошли. Константин, вели запрягать коней. Первую партию везем в Ишим, а следующая партия отправится на фронт. Этот персонал не годится для фронтового Летнего сада. Вы можете идти куда вам угодно, Иван, так же, как и пойдут, куда им угодно, все остальные. Я сказала запрягать, Константин!

Филиппинский послушно вышел. Он уважал прекрасный совет о Летнем саде, который смог подать самому себе, но еще более уважал свою жену.

— Перед отъездом последний разговор, Ирина Терентьевна. Даю сорок процентов!

— И на девяносто не согласна. Направляйтесь к другим предпринимателям с визитами, господин Ковалев.

— Сорок пять процентов.

— Действуйте самостоятельно, господин Ковалев.

Меня не удивляло, что Пашка Ковалев говорит с Ириной Терентьевной слащаво, сощурился глаза и виляя задом. Но удивляло то, что она отвечала ему так же. Она смотрела в овальное зеркало, и он, вздыхая, говорил ей:

— Зеркало слишком тускло для вас. Разве оно отражает блеск ваших глаз, Ирина Терентьевна? Какие волосы у вас великолепные!

— У моей матери были еще лучше.

Он положил руку на ее руку. Она не убрала руки.

— Неужели вы будете сопровождать обоз с баранними тушами?

— Буду.

— Обморозитесь! А вот ваши животики эти передушат, тогда как?

— У меня, если кто издыхал, то по естественным причинам.

— Корсетов не держите? Да куда там, у вас от природы такая стройная талия, что затягивать ее бесполезно.

— А вам уж и проверять?

Они поступали так, как будто меня нет в комнате, как будто она уже офицера, которая может сказать на солдата любую напраслину, а муж отправит этого солдата в дисциплинарный суд. От тепла, от презрения, от горечи мне хотелось спать. Я сел на табурет, закрыл глаза и сквозь сон слышал:

— На такие пальчики нужны хорошие кольца, а на такую шею — цепочку, а в такие ушки надо серьги. Не хорошо, что на красоту и молодость не обращается внимания. Поехали бы вы со мной, Ирина Терентьевна, на фронт. Вот вы тоскуете по несчастным, а там перед вами, перед вашей благотворительностью, будут целые поезда несчастных.

— Для людей у меня мало сострадания. Я тоскую по несчастным животным.

— А вы думаете, Ирина Терентьевна, что там мало калечат животных? Мне в Перми пришлось случайно увидеть, как случайным снарядом убило четырех волков. Не баранину вам, мадам, возить на фронт! При ваших-то способностях — баранину!.. Семьдесят пять копеек с пуда цена конечно хорошая. Прибыль не дурна, но примите во внимание, что половину этого мяса в дороге растащат, а здесь вы доезжаете только до Перми, и генерал Пышминский дает вам по целковому за голову да, кроме того, пропитание, обмундирование. Вы понимаете, чем это пахнет, мадам?

— Будто вам известно, что я так удачно помогу вам?

— Велика ли помощь. Девушки повесят женщине, что только на фронте они способны выполнить свои желания.

Пашка вздохнул.

— Опасная штука. сыновья любовь. Распатывал я сердце у своей мамыши, распатывал, а на поверку вышло, что я только укрупил его. Различными способами получают железные сердца у людей! Ой, приглашу в дело свою мамашу, Ирина Терентьевна!..

Тут дремоту мою прервал Филиппинский.

— Проверил? Запрягли, правильно? А то ведь они народ хитрый: вдруг ни с того ни с сего распрягаются лошадь. Возчик отстает, а там, смотришь, у туши ляжка пропала, — усталым голосом спросила Ирина Терентьевна.

— Проверил. А ты чего не одеваешься? Теперь тебя дожидаться придется?

— Да я уже начала переодеваться, — сказала она, высовываясь наполовину из-за полога.

Когда везы отошли, Пашка вскочил с лавки и, отплеываясь, стал бегать по горнице:

— Такую морду хвалил! Такую тощую шею обнимал! Она даже и не обернулась, когда выходила, как будто ей на каждом шагу такие любовники встречаются.

Он побежал на телеграф и послал матери отчаянную телеграмму. Он решил действовать самостоятельно. Срок его литеры кончался, а он еще не отправил ни одной девицы. Я предложил ему скрыться навсегда от генерала Пышминского, но это-то предложение больше всего его и напугало:

— Под каторгу хочешь меня подвести?

Через два дня он получил перевод в пятьдесят рублей. Пашка устроил у прозвища вечеринку, на которую пригласил лучших девиц села Преображенского. Я не хотел этой вечеринки и пошел смотреть представление в балагане Татаринской. Тяжелая встреча ждала меня там. Незнакомый мне клоун исполнял то самое антре, которое несколько дней тому назад сочинил я и которое он на верное списал со слуха. Он кувырчался, переодевался, выкрикивал мои слова, — и очертания холодных паров, клубящихся возле уст посетителей, были совсем иными, чем до его представления. Мало того, я совершенно отчетливо слышал

их смех, а дешевые зрители на галерке стучали от восторга ногами.

Пашка, видимо, так удачно действовал на вечеринке, что когда я вернулся к просвирниному крыльцу, то Пашка стоял, сразу обнимая трех девиц, а из-за крыльца выскочил парень и опытным ударом кулака сначала кинул его вверх на крыльцо, затем спустил вниз, чтобы несколько позже, повернув его раз восемь, вонзить носом и прочими сооружениями в сугроб. Пашка заблеял. Вышло еще несколько парней. Они били его молча, усердно. Я стоял недалеко на сугробе, заложив руки за спину, и слышал, как один из парней деловито предложил стукнуть по башке колом, а другой возразил, что, умеючи, можно обойтись и при помощи кулаков. Из этой беседы было ясно, что смертоубийства не предполагается, и поэтому я для тепла соединил тесно рукав с рукавом. Не без удовольствия я наблюдал то, что происходило на снегу. Голос Пашки делался слабее и слабее, и когда этот голос стал совсем тоненьким и хрупким, из чего можно было заключить, что Пашку били преимущественно по носу, я поднял револьвер под яркий свет луны и сказал:

— Застегнитесь! Работа прекращена. Марш!

Парни убежали, ловко взметывая тяжелые валенки через синие сугробы.

Снег был окрашен кровью. Я довел Пашку до умывальника, достал ваты, чтобы заткнуть ему ноздри.

— Завещание можно писать? — спросил я его.

Он посмотрел на меня злобно, но, вспомнив о моем револьвере, сразу по добрел и сказал мне:

— Я буду тебе благодарен по гроб жизни, Всеволод. Я буду тебя слушаться. Мне очень жалко, что я сразу не послушался тебя и не уделил всю свою жизнь наборному делу.

— Это мы еще успеем.

Тут же Пашка Ковалев велел просвирне нанять ямщиков, чтобы ехать в Ишим.

— С этого дня я плачу тебе, Всеволод, сто рублей в месяц за то, что ты будешь охранять меня.

— Откуда ты возьмешь сто рублей?

— Через три дня я заработаю в Ишиме три тысячи.

— Однако, Павел, ты решил поступить в типографию?

— Но ведь ты сам же сказал, что мы туда еще успеем.

Я отказался от ста рублей и сказал, что буду до Ишима охранять его жизнь, если только он не возьмет ни одной девицы из Преображенского.

— Нехватало мне еще этого преображенского добра!

Преображенские девицы и без моего нравоучения сумели внушить ему отвращение.

Пашке казалось, что возле вагонов и в вагоне его легче убить, и поэтому он нанял ямщика, купил бараньи полушубки, шапки с ушами, а чтобы его не узнали, а может быть, потому, что я ему казался очень смелым, он купил у торговца иконами за семь рублей желтые очки, которые тот называл золотыми, даже пробу показывал!

Дорога ухабистая. Кошеву качало. Шел мокрый снег.

— Гони, ямщик! — кричал визгливо Пашка.

Далеко издали мы узнали громадную фигуру в бараньем тулупе, из которого выскакивала нога, делающая по снегу громадные круги.

— Гони!

Ямщик ударил по коням.

Мы пронеслись мимо обоза Филиппинского.

Пашка встал, снял шапку, махнул ею и крикнул что-то длинное, утонувшее в ухабе и волнах снега. Лицо Филиппинского не отразило в себе ничего, так же, как и эта снежная равнина. Тревога придет к нему позже! Неужели, — подумает он, — Пашке Ковалеву удалось нанербовать уже тысячу аптекарских помощниц? Неужели он уже получил от генерала Пышминского задаток? И мы не ошиблись в наших предположениях:

— Филиппинский еще будет угнетен! Ирина Терентьевна еще будет умолять, чтобы я ее обнял!

Но возле самого Ишима глубокое отчаяние овладело Пашкой. В особенности он бранил меня за очки:

— Четвертак им цена, а я заплатил семь рублей! Всеволод, и тебе не стыдно? Вот ты пробыл только три дня в лакеях, а уже на всю жизнь получил лакейскую душу! Зачем ты не воспротивился мне? Разве я тебе хозяин?

Я ухмылялся, а он кричал:

— Ты не изображай из себя Стеньку Разина. Вот возьму и сброшу тебя вместе с твоим револьвером в сугроб!

В Ишиме тоже ярмарка. Благодаря этой ярмарке все номера для проезжающих оказались заполненными, и нас с трудом пустили в чуланчик по три рубля в день. «Миллионные дела делаются» — сказал коридорный с ушами, которые походили на вышитую жилетку, когда мы спросили его, почему этот чуланчик стоит так дорого. Эта «миллионная» ярмарка совсем испугала Пашку. Он объявил, что у него болит голова, и немедленно свалился на единственную кровать номера. Оказалось также, что у него только восемьдесят копеек денег, из которых он мне дал тридцать копеек с тем, чтобы я купил пищи на четыре дня.

В полушубке мне было тепло и приятно. Мне мешало гулять по ярмарке тонкие мои ботинки, и поэтому я обошел только три булочных и пять колбасных. Мне нравились эти заведения, теплый запах хлеба и влажный и какой-то протяжный запах колбасы. Я купил фунт колбасы и две французских булки, и едва я их получил, как вдруг великая злость охватила меня. Я злился на то, что Пашка не кормит меня, на то, что он посылает меня за пищей, которую он съест только один, на то, что он разговаривает со мной, как со слугой, и наконец на то, что я все-таки не откажусь взять пищу из рук такого подлеца.

Тут же возле колбасной я съел обе булки и фунт колбасы.

Пашка дремал, прикрывшись полушубком. Лицо мое, еще носившее следы некоторого стыда, встревожило его:

— Так и знал! Деньги и паспорт украли?

Я постелил свой полушубок на полу, лег и сухо ответил:

— Съел.

— Медведь цыганский съел или собаки у тебя вырвали?

— Я съел. Собственноручно.

— Господи, за что мне такие страдания? За что сие? За что, о господи?..

Но все же, несмотря на фунт вареной колбасы, утром я проснулся голодным и унылым, как будто вчерашний день еще продолжался.

С порога, боком пробираясь в дверь, пыхтел Филиппинский. Ему нехватало места для размахивания ногой, да и Пашка, лежа на спине, тоже помахивал ногой.

— Надо воспитывать ноги, — говорил он. — В них должен иметься полный апломб, чтобы они выворачивались и обладали устойчивостью, когда ты разбежишься и прыгнешь на одну ногу. Освобожусь от своих дел и сделаюсь плясуном, специалистом по четке!

Пашка выскочил в коридор, разбежался, перепрыгнул через порог, хотел стать на одну ногу, но не удержался и упал возле меня. Филиппинский уже стоял у окна и дул на лед, который быстро таял под огромными волнами его дыхания.

— Какую ерунду вы опять придумали? — спросил я Филиппинского, встряхивая свой полушубок. — Взбеспокоило-таки вас, что мы на троечке проскакали?

— Вы теперь не лакей мне, Всеволод, но все-таки я требую общепринятой вежливости в разговоре.

Филиппинский рассказал несколько анекдотов о вежливости, которые относились преимущественно к застигнутым любовникам. Мне понятны были теперь эти анекдоты, эти узкие и хитрые глаза, которые всегда изображали лень, и я с удовольствием наблюдал, как он будет нас обманывать. Распустив лед на одной половинке окна, Филиппинский стал дышать на другую, и когда вторая половина почти растопилась, он сказал почтительно Пашке:

— Танцуйешь ты, Павел, прилично. Движения имеют быстрый темп и толчки тела вполне нужные. Капель-

мейстером в оркестр я бы тебя не взял, но танцевать ты под мой оркестр будешь отлично. Оркестр я нанял, как и всюду, из пожарных...

С укором я сказал Филиппинскому:

— Неужели вы, прогорев на баранине, надеетесь одним концертом исправить свои дивиденды? И неужели вы полагаете, что мы согласимся на концерт?

— Баранина—бараниной, спектакль—спектаклем, — вяло сказал Филиппинский. — Купцов здесь никто и не пытается развлекать. «Барсы» здесь совсем плохие.

Филиппинский говорил несколько пренебрежительно, но все-таки в голосе его чувствовалась лесть, мало уловимая, отдаленная. Это было последнее, чему сопротивлялся я, а дальше Филиппинский опять стал тем, кем он был для нас всегда, — ленивым обжорой, рассказчиком анекдотов, «размахивателем сломанной ноги». Но если я вначале хоть несколько сопротивлялся, то в конце разговора поверил этому скачущему лицу, ничего не ждущему, этому небрежному и совсем естественному голосу, а пашкину дружбу и веру он снискал сразу. Он умел в пустяке заметить самое важное, и таким пустяком для Пашки оказался танец, который и был его давно лелеянной мечтой, высказанной спросонья. Пашка смотрел ему в рот, когда Филиппинский говорил, зевая:

— Потанцуешь перед публикой, а там, глядишь, зайдешь в церковь грехи отмолить, как-никак рождественский пост. Бархатный костюм испанский будет тебе к лицу, Павел. Есть тут одна старушка, у ней сын в Барселоне репетитором служил, ну, оттуда и вывез. Она согласилась уступить на вечер, а если после вечера понравится, можно его или выкрасть, или купить. Думаю, что спокойнее выкрасть.

Он благодушно глядел нам в лица. Я уже забыл о том, что предо мною еще полчаса тому назад сидел наглый, толстый, противный лжец. Я верил ему! Я вместе с ним соглашался, что много мы на концерте не соберем, но рублей триста, несомненно, наберит, по-

тому что зритель сплошь теперь «тысячник», и хотя концерт будет «так себе», но со скуки все равно придут.

— Не слишком ли мои усы длинны для концерта?

Филиппинский добавил к этому своему размышлению:

— Но все равно, билеты надо назначить от десяти рублей.

Филиппинский достал афишу, сверху донизу восхваляющую танцора и балалаечника Павла Ковалева и позволившую мне подумать о жи, в которой только-что упрекнул Филиппинского, что она вызвана завистью и что, действительно, недолгое пребывание мое в роли лакея весьма многое испортило в моей душе.

— Прекрасная афиша, — сказал я по возможности искренно.

Филиппинский поднялся с кровати и, пробую ладонью шероховатости потолка, сказал, свертывая афишу:

— Пора итти к исправнику за решением.

Разрешение на спектакль всегда добывалось мучительно. Перед отправлением к начальству нас охватывало вседобострастие. Мы прикрашивались всячески. Мы подрезали волосы, ногти, чистили сапоги, а кто был победнее, тот даже слегка румянился. Чтобы убедить начальство в ценности и полновесности нашего предприятия, мы брали с собой напечатанную афишу «из больших городов». Вот почему нас не удивило, когда, уходя, Филиппинский сказал грустно:

— Солидности во мне мало, ребята.

— Уж в тебе-то мало солидности, — воскликнул Пашка растроганным голосом.

— Скажут: водянка, а не добротный купеческий жир. Очки разве надеть?

— Актеры каждый раз надевают, идя к исправнику, очки. Это стало редко помогать, Филиппинский.

— Рассуждения правильные, Всеволод.

Филиппинский вернул мне со вздохом стальное мое пенсне.

— Еще больше на жулика похож.

— Возьми мои золотые, — сказал Пашка.

Филиппинский нехотя нацепил пашкины очки.

— Но эти стеклышки для меня только повод. Концерт такое, ребята, важное дело, что я, с вашего позволения, дам исправнику двадцать пять целковых и пообещаю еще двадцать пять.

— Можно ему дать сейчас сорок! — сказал Пашка.

Азарт охватил его. Ему мерещились выигрышные на концерте тысячи. Он задрожал:

— Дай ему, чорт с ним, пятьдесят целковых!

— Можно и пятьдесят.

Филиппинский опять присел на кровать и, слегка покачивая ногой, лениво рассказал десяток коротеньких и звучных происшествий, а затем поднялся.

— Докуда же мне ждать? Вручай пятьдесят целковых.

— У меня нет пятидесяти, — сказал Пашка, — у меня всего полтинник.

— Зачем же ты меня на тройке церегонял?

Пашка был так ослеплен предстоящей славой, что жаждал, чтобы его узнали все ишимские девицы, которых здесь не меньше трех тысяч, так хотел получить деньги из кассы нашего концерта, как и из кассы аптекарского управления, что будь у него сейчас пятьсот рублей, он бы немедленно выдал их Филиппинскому.

— Вручай полтинник, — сказал, вздохнув, Филиппинский, — остальные у кого-нибудь займем.

Затем Филиппинскому вдруг понадобились наши полушубки, так как его пальто, видите ли, рваное, а полушубки он для солидности наденет один на другой. Мы верили ему, и, только когда он пожелал взять мой фрак и лаковые ботинки, я поспешно оделся и сказал, что хочу его сопровождать.

— Нет, Всеволод, даже в Ишине твой вид способен внушить подозрение.

— Сиди, — закричал Пашка. — Туда же лезешь, куплетист!

— Вернусь часа через полтора, — сказал лениво Филиппинский, перекидывая через плечо наши полушубки. — Морды у вас голодные. Ветчины вам

захватить, что ли, на обратном пути? Предупреждаю, больше двух фунтов кредита не найду. Хлеба дадут, сколько хотите.

— Хлеба тащи фунтов пятнадцать, — сказал я.

— Можно.

Часа два спустя мы не поверили в его ветчину, еще через час — в хлеб, а еще через полчаса мы стали сомневаться в том, что когда-нибудь наденем наши теплые и пушистые полушубки.

— Надо догонять, — сказал я.

— Обождем еще полчаса.

Мы подождали минут десять, а затем выскочили без полушубков в лютой ночной мороз.

Мы прибежали на станцию спустя сорок минут после того, как поезд увез Филиппинского, его жену, его животных, наши полушубки и всю прибыль, что он получил на бараньем мясе и коровьем масле.

31

Железнодорожная станция расположена километрах в пяти от города Ишима. Мы быстро бежали, конвоируемые ужасным морозным ветром. Мы бежали, подпрыгивая чуть ли не до самой луны. Было очень холодно, но мне почему-то хотелось пить, к тому же громадная янтарная луна напоминала нам самовар.

— Придется тащиться к Анике Кожурину.

— А кто он?

— Каторжник.

— Самовар у него есть?

— Есть.

— Потащимся.

Мы бежим вдоль стены низкого кирпичного здания, во дворе которого, не смотря на позднюю ночь, маршируют солдаты с необыкновенно длинными штыками.

— Да, придется к Анике Кожурину.

— А кто он еще?

— Барс! Надоели они мне, вместе с моей мамашей! Бог меня наказывает, Всеволод, что я не слушаюсь тебя. Как начну я заниматься этим делом, так меня несчастья постигают.

— Полагаешь, Аника набожный?

— Откуда мне знать его? Знаю об нем я со слов мамыши. Земля, брат, для барсиан тесна. Не всегда барсианин имеет возможность и желания останавливаться в гостинице. Вот почему в любом городе знают меня и мою мамашу так же, как мы знаем в Павлодаре барсианина из любого города. Ох, не добежать мне, Всеволод, до Аники, замерзну!

Силенок у Пашки, действительно, маловато. Он попробовал остановиться, дабы передохнуть, но мороз столь крепко схватил его за нос, что он так подпрыгнул, словно хотел перепрыгнуть через луну:

— Держи меня хоть за локоть, Всеволод, помоги!

Барсианин Аника Кожурин принял нас без особенной ласковости, но и не грубо. Он напоил нас густым кирпичным чаем, дал лепешку и уложил спать в кухне на печке, потому что «барс» его был небольшой, из двух горниц. Горницы отапливались плохо: Аника из скупости думал, что печи выдержат еще зиму, и поэтому тепло старались захватить из кухни, для чего двери горниц всегда открыты, а кухонную печку топят так сильно, что, дабы не изжариться, мы стлали поверх кирпичей доски. На печке удушливая и липкая жара, а на полу кухни кодят клубы мороза, так как дверь из кухни выходит прямо на улицу. Чтобы мы не смущали посетителей, Аника сшил нам из рваного платя своей жены ситцевые занавески. Если приподнимешь эту занавеску, то видна горница с ядовито-черемуховыми обоями, с ледяными окнами, цвета цинка, с бархатной скатертью и двумя фикусами.

Сам Аника Кожурин, высокий уса-стый мужчина, спал на узкой лавке против печки, но спал он всегда очень мало. Ему нравилось сидеть в гостях, когда у него не было «гостей», а когда они приходили, он бродил по сугробам вокруг дома, потому подозревал своих гостей в том, что они стремятся убежать, не заплатив денег. Бывало «барсианские» девицы выбегут на порог и, раскачивая дверь и ныряя в клубы мо-

розного пара, кричат во весь голос:

— Аника Родионович, пожалуйста с гостями рассчитываться!

— Иду, — отвечал Аника, и он вошел в своей неизменной синей поддевке, в длинной шапке из смушек. Он вынимал из кармана портмоне, круглое, громадное и плоское, похожее на поднос.

Девиц было три. Они отзывались на странные прозвища: Голубец, Бурак и Лыжа. Розовая девица, именовавшаяся Лыжей, показала мне знакомой, и я спросил ее:

— Балагана нашего, барышня, не посещали?

Не отвечая мне, а указывая толстым гальчиком на печурку, из которой торчал растрепанный веник, Лыжа сказала:

— Вчера мышь спрятала там кусочек кренделя в золу, а сегодня, слышишь ты, выкапывает. Тоже память имеет. Тоже проголодалась.

По этим словам я сразу вспомнил Татьяну, кроткую дочь пристава Тевтелеева, что из села Мокроусово.

— Ну, Петра-то Захарова вы должны, барышня, помнить.

— Мало их проходило, всех не упомнишь, — устало ответила она.

Тут в разговор вмешался Аника, который сказал, что «воспоминания зря сгущают пары и газы» и что лучше жить без «лишних лишаев». Трудно спорить с Аникой Кожуриным! Это человек весьма серьезный и обстоятельный. Еще больше я стал уважать эту обстоятельность, когда подтвердилось, что он действительно сидел восемь лет на каторге за убийство — «из засады с целью грабежа».

— Ограбить возможно. Мне это понятно. Но зачем же убивать?

Он ответил мне старательным басом:

— На суду как я, так и моя мать давали сбивчивые и разноречивые показания, потому что обыск не дал существенных результатов. Правда, найденная дробь по калибру подошла к дроби, извлеченной из раны убитого, а пыж имел сходство с пыжом, прилипшим к его щеке, но дробь в деревнях вообще одного калибра, а на пыжи

всеми употребляется пакля. На моей куртке найдены подозрительные пятна, которые при исследовании оказались кровью млекопитающего. Я был арестован и доставлен в Тихвинскую тюрьму, где тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого октября случились со мной припадки болезни, похожей на эпилепсию. Я бросался на спящего рядом арестанта, тащил его к двери и кричал: «Убью!»

Трепет потряс меня! Меня испугало, что человек способен говорить об свершенном им убийстве словами из обвинительного акта. Только позже я догадался, что Аника рассказывал мне так из вежливости: «для более удобного растворения в голове». Он считал себя человеком необыкновенно искусного тона и вежливости, так как испытал множество профессий.

— Существовал также я и кожевником. Поставлял также и чучела для музеев. Вот только теперь способен восстать выше, потому что каторжан на войну не берут, вследствие чего скоплю денег и навсегда займусь портновством.

Из всех своих профессий он чаще всего вспоминал кожевное дело, а в особенности сопровождающие это дело «сока»:

— Сока — это значит, господин ты мой Иванов, есть такая жидкость, которую ты получаешь от соединения дубильного вещества с теплой водой. Мне пришлось существовать возле кожевни, в которой я имел двадцать пять чанов с такими соками, которые были крепче один другого в последовательности лучшей, брат, чем ступеньки на лестнице.

Аника жаден и скуп. Если он навешивает и пригоняет плотно дверь, окно или ворота, привинчивает петлю или задвижку, он всегда, окончив работу, сам себе подает счет, а затем долго смотрит на бумажку, качает неодобрительно длинной головой и бормочет:

— Дешево взял, сукин сын.

Он усердно читал модные журналы, которые привозили ему посетители в подарок. Рано утром он садился к маленькому окну кухни и ожидал солнца, чтобы зря не жечь лампу. Он долго

рассматривал фасоны, чтобы старательно перевести на папиросную бумагу выкройки.

— Зачем тебе зря рисовать? Пока ты мастерскую откроешь, мода уже скроется.

— Руки набиваю, Иванов. Мода мне и без того понятна. Я еще на каторге понял ее законы.

В горницах смеялись прапорщики: и шуткам девиц, и тому, что они пришли так рано, и тому, что каторжник Аника делается военным портным. Девицы требовали угощения, стуча ножом в стол. Прапорщики заказывали водку. Аника, прикрывая полую поддевки бутыль, осторожно нес к ним «бражку». А нам пора спешить в типографию.

Ах, как трудно и холодно бежать и какие кругом невыносимые и синие морозы! Мы бежали переулками, стараясь миновать ярмарку, и думали с горечью о том, что где-нибудь, одетый в наши полушубки, скупает баранину Константин Филиппинский. Лаковые мои ботинки, узкие и длинные, все еще ужасно жали ноги, что давало мне повод удивляться, как это так в моих ногах смогло столько скопиться боли. Сермяжный фрак совсем не согревал меня, револьвер в кармане тоже лежал холодный и страшный.

Мы набирали, корректировали, верстали и печатали на «американке» приложение к «Ишимскому ярмарочному листку» — экстренные выпуски телеграмм, неизменно сообщавшие о победах российских войск. Типографщик положил нам обоим пятнадцать рублей в месяц.

Мороз-таки одолел нас, и мы решились для сокращения пути бежать через ярмарку. Вприпрыжку, обгоняя друг друга, мчались мы мимо возов с деревянными изделиями, с кожей, с мешками муки, мимо посеребренных балаганов, где стояли купцы в розовых валенках и невероятно теплых тулупах с мохнатыми, как тайга, воротниками.

Купцы смотрели на нас спокойно. Приказчики свистели нам вслед. Ночью, когда нас никто не разглядывал, мы укутывали ноги и живот бума-

гой корректур, а на уши делали картонные колпачки.

Однажды, закончив ночную работу, рысью возвращались мы, окруженные противным бумажным шелестом. Пашка всхлипывал, жаловался на судьбу, на то, что он благодаря мне не вернулся в аптекарское управление и что быть ему в дисциплинарном батальоне!

Мне жаль было его, и хотя я тоже страдал от мороза, но я радовался тому, что мне удалось так удачно устроить жизнь, что Пашка лишен возможности заниматься порученным ему пнусным делом. Я его утешал, что благодаря моему упорному мужеству мы попадем-таки в Индию, где вечное лето, где не нужно думать о дисциплинарных батальонах и генералах, заведующих аптекарскими управлениями.

Из высокого балагана нас окрикнул властный голос:

— Эй, вы, пленные!

Мы не убавили шагу, а только оглянулись.

Купец в бобриковой куртке, лихо перетянутой зеленой опояской, стоял у ворот своей торговли.

— Остановись. Вам говорят, пленные!

Все той же рысью мы сделали обратный полукруг и, бойко подсакивая, поровнялись с балаганом.

— В Христа веруете? — спросил он строго.

Я молчал.

Пашка поспешно ответил:

— Крещеные-с, ваше степенство.

— Из какой страны?

Тут пришлось замолчать Пашке, а мне ответить поспешно:

— Из Чехии.

Купец сказал еще более строго:

— Ты мне заключительный инвентарь давай. Я, парень, телеграммы умею читать. Там не значитя, чтобы чешская страна объявляла нам войну.

— Чехия, ваше степенство, с ее главным городом Прагой. входит в состав Австрийской империи.

— Австрийцы, значит? Так ты бы и говорил. Только к чему ты во фраке, а не в мундире?

У купца важное и сытое лицо пемзowego цвета. Он спрашивал медленно, нимало не думая над тем, что нам перед ним холодно стоять. Он злил меня, но еще более забавляла меня его тупость. Хотя Пашка дергал меня за рукав, но, чтобы продолжить забаву, я сказал ломаным языком:

— Мы пражданских пленных. Мы имел в Петербурге магазин золотых вещей и часы. Наш магазин подвергай немецкий разгром. Мы выскочили один фрак и один лаковых ботинок. Нас посылай в Сибирь. Это трудно! Мы каждую зиму живем в теплых Индий.

— Ишь ты! Купцы, значит. А с виду на инженеров похожи.

Он крикнул вглубь балагана:

— Илья, сконто! Приготовь чай и коньяк также. Честные купцы приехали.

Он пригладил бороду, как гладят ее купцы в тысячах романов и пьес, скинул фиолетово-голубую шапку и сказал с полупоклоном:

— Прошу почтить, чем бог послал.

Рассохин торговал кожей и валяным товаром. Он показал нам свой балаган и сына своего Иязу, пестрого и веселого болвана с усиками, закрученными в кольца, которые он готовил для будущих парадов, где ему командовать батальоном. Затем Рассохин показал нам свои коммерческие знания — записи в книгах, которыми очень гордился, в особенности же гордясь тем, что умеет прекрасно подводить результаты своей годовой деятельности, так же, как и тем, что все эти дебеты, вычеты, кассы, ценные бумаги, ожидаемые поступления, сомнительные платежи переплетены в зеленую кожу. Показав весь свой балаган, он пригласил соседей: Зыкова, торговавшего шелками, и Забейдуллу Галлимолина, привезшего из Казани в Ишим сушеные и засахаренные сладости.

Мы пили чай в тесной и хорошей отгородке, позади балагана. Купцы усердно угощали нас, подробно расспрашивая о Праге.

— Наша жизнь протекла, — говорил я старательно, — почти сплошь в Индии.

— Постой, ты же говорил, будто торговал в Петербурге?

— В Петербурге основную торговлю вел наш старший брат, Станислав. Мы приехали к нему погостить. Вдруг подлый австрийский император объявляет войну славной России. Мы хотим идти добровольцами, но для нас нет такого закона. Для нас есть закон ехать в Сибирь. Мы плачем.

— Недаром наши хотят Индию забрать. Смотри ты, как в ней отлично обращаются по-русски, — сказал вдруг Зыков, прислушиваясь к моему рассказу.

Пашка от испуга почернел. Слезы показались у него в глазах. Раньше, когда я обращался к нему, он хоть молчал какую-то чепуху, без конца повторяя «панове кшенски», но теперь совсем замолк. Тогда я ладонью утер его слезы и сказал:

— Мой брат Павел стеснительный. Видите, ему и по сне время хочется в добровольцы. Кроме того, он вокруг обернут бумагой, ему совестно, а ведь он обучался в консерватории.

— Где? — спросил татарин.

— Музыке учился в здании, которое называется консерваторией.

— Зачем врать? Зачем музыке учиться? Она всегда с уха дается.

Давид Кузьмич Рассохин поправил своего приятеля:

— Это у них в степи музыка с уха дается, а христианская музыка требует учения возле консистории. Вот тоже я дочерям своим привез пианино за семьсот пятьдесят рублей. Тоже город! Пианино стоит и не греет и на деньги не намекает. Так просто, вроде лакированного ящика. Разве здесь найдешь учителя? Здесь только движимое да недвижимое имущество, да процентные долги. Попы, и те все спились.

Он крикнул Илье:

— Дستانь, сконто, две пары поярковых валенок и два полушубка подлиннее, потому что ихние ступы мерзнут! Мы с пленными не воюем.

С величайшей радостью отложил я лаковые свои ботинки, которым я было сделал галоши из бумаги. Завернувшись в полушубок, я раздобыл, и от этого,

должно быть, ложь моя стала совсем правдоподобной. Теплая Индия без труда уместилась в прекрасную Чехию. Моя брехня так подействовала на Пашку Ковалева, что он попытался рассказать о подвигах своей мамы. Совсем не желая быть родственником Ковалихи, я резко прервал его:

— Что долго горевать? Смерть безжалостна. Нам надо относиться к ней тоже безжалостно. Наша мамаша умерла — и царство ей небесное! Хозяйством управляет наш старший брат Станислав, который, дабы загладить позор Германии, вместе со своим полком сдается возле Кракова.

— Отчего же ему не сдаться? — сказал Рассохин. — Зачем православным воевать с православными. Ты мне адрес его укажи. Глядишь, я ему валенки пошлю и полушубок.

Купцы добрили, прибавляя коньяку в чай. Я предложил валенки и полушубок нашего старшего брата Станислава унести с собой, потому что он завтра наверное придет в Ишим. Он толстый, ленивый, любит рассказывать анекдоты! Пашка испуганно замычал. Купец взглянул на него и, прослезившись от горячей доброты, которая посредством чая и коньяка наполнила его, вдруг вскопчил:

— Коней, Илья!

Пара коней, фарфорово-серых и неудержимых, подкатила кошеву к рассохинскому балагану. Разморенные хоршим «байхо», удачным враньем и нежданной лаской, мы, свалившись в кошеву, мгновенно заснули. Мы не слышали, как Илья мчал по ишимским улицам, как полозья раскидывали снег, скатывались в ухабы, вносились на жемчужные суробы, как ударились о ворота и крыльцо рассохинского дома.

Рассохинские дочери, Августа, что имела щеки совсем киноварные, и Гликерия с глазами почти фиалковыми, встретили нас нежно. Они хвалили в нас все, вплоть до моего сермяжного фрака, утверждая, что российским портным далеко до пражских. К нам подвигали многочисленные и прославленные российские варенья, а на кухне готовили пельмени.

Дмитрий Кузьмич поднял крышку пианино:

— Сколько брат твой Павел желает в месяц за ихнее обучение? Твоя поставка, а наше вычисление прибыли. Говори!

— Сорок пять рублей, — сказал я, тупо уставившись в клавиши.

— Дорого! Учить будете не оба. Другой будет торчать в тепле и уходе. Со скуки он сколько нажрет? Мне еды не жалко, но все-таки он пленный. Я бы тебя, Сиволод, мог в приказчики взять, но ты теперь уменьшенного капитала, да и как я пушу пленного в русскую торговлю? Музыка для вас — самое подходящее, тоскливое занятие.

— Пятнадцать рублей, — сказал я. — Десять.

Мы согласились на двенадцать, так как девицы явно страдали от невежливости отца, который торговался с иностранцами.

Теперь я взглянул на Пашку Ковалева. Он уперся обеими руками в пианино, весь блестящий, покрытый водой от ужаса.

Дмитрий Кузьмич требовал, чтобы урок начался немедленно. Я смотрел на пианино, на Пашку и думал, с чего бы начать этот удивительный урок. Задумчиво ударил я пальцем в клавиши:

— У-у-у... — уныло сказала пианино.

Тут я сразу вспомнил, что, когда в Екатеринбурге мне пришлось в последний раз проходить через «Орлиное зало» для разговора с хозяином шантана, в углу, возле пальмы, стояла пани Марина и, ударяя величественным своим пальчиком, пыталась обучить Пашку Ковалева «Чижик». Лицо у ней было надменное, и надо полагать, что, сопротивляясь этой надменности, Пашка кое-чему научился.

Я важно сказал девицам:

— Мой брат учился в консерватории. Он будет обучать вас консерваторски! Главный техник заключается в том, что вы должны бойко одним пальцем научиться «Чижик», который есть первая наука всех музыкантов.

Пашкины глаза радостно засияли. Он схватил стул, пригладил волосы, глубоко вздохнув, поднял руки, — и весьма лихо отбарабанил одним пальцем «Чижика».

Дмитрий Кузьмич чрезвычайно похвалил его игру, сказав, что сразу видна ловкая православная рука и что господь бог наконец услышал купеческие молитвы, признав, что не должно же пианино зря пропадать. Дмитрий Кузьмич слегка подсмеивался над страстями своих дочерей, но мне казалось, что он завидует им. А стоило позавидовать! Гликерия, что с глазами почти фиалковыми, умела повелевать и умела наслаждаться властью. Едва лишь в дом входил какой бы то ни было человек, он попадал под силу этой маленькой девицы в щеголеватом синем кашемировом платье. По ее воле конторские книги, которыми хвастался Дмитрий Кузьмич, велись отменно, и это она приказала переплести их в кожу. Она распоряжалась отцом. Она бранила приказчиков, — и бранила за дело, — поэтому вокруг нее постоянно кипела работа. Меня например, пока Павел обучал Августу выбивать «Чижика», Гликерия заставила переписывать деловые бумаги, а когда выяснилось, что почерк у меня плохой, она дала мне «перебелять» письма к подругам, которые она вела «для дела и постоянного знакомства», для чего в письмах менялись только обращения, — так, вместо «Милая Сашенька» вставлялось «Милая Со-нечка». Дня через три после нашего знакомства Гликерия осторожно спросила меня:

— Неужели-таки вы все позволили ограбить? Будто и припрятать не могли? Я тебе, Всеволод, сознаюсь, что если ты сейчас не наживешься, то ты никогда не наживешься. Ну, спрятал ты бриллианты. Ну, выкопал ты их. И тогда, и сейчас, и позже бриллиант остается бриллиантом. Он не зерно, он корней не пускает, он только блестит. В дело их надо пустить, Всеволод, в дело!

Она необыкновенно увесисто выговаривала это слово «дело». Затем она протяжно сказала:

— Миллион пора доставать.

Она непременно хотела добыть «миллион в дело», и я верил, что она добудет его. Сестру свою Августу она презирала, а музыку считала блажью. Она злилась, когда отец не допускал ее ближе к торговле.

— Сколько денег на байховом чае пропиваем! Мало им чаю, так они еще коньяк жрут. Разве так надо распоряжаться?

Она выспрашивала, как купцы распоряжаются в Чехии. Рассказами моими она осталась недовольна:

— Такая же неразбериха, как и у нас.

Августа, сестра ее, что со щеками со всем кинноварными, страстно любила лихих коней и лихое конокрадство. Она знала множество легенд о конокрадах и отлично их рассказывала, а когда я попробовал сказать, что мне это скучно слушать, что кони меня утомляют, так как в Индии лошадей мало, ибо климат позволяет жить только слонам, Августа фыркнула:

— Вот поэтому-то цыгане и покинули Индию.

Выстукивая пальцем пашкину песенку, она вдруг останавливала на мне свой пологий взгляд и восклицала:

— А ты понимаешь, чех, ведь «Чижики»-то любимая песня конокрадов? Эх, кабы ты понимал, чех, как бы ты мне угодил!

Ей было лет девятнадцать, но она все еще играла в куклы. Приглядываясь к ее играм, я понял, что она перенесла на куклы всю свою страсть к лихим коням и «лихим степям». Вот она прятала тряпичных коней под венский стул. Тихо крался цыган. Осторожно он открывал дверь, умелой рукой беззвучно взламывая замок. Цыган укутывал копыта кошмой и медленно выводил коня. Ох, как горели его глаза, когда мчался он через нашу гулкую и широкую степь! Месяц мчался над ним. Цыган переправлялся через реки, ночевал в камышах возле озер и наконец приближался к своему табору. Вот он скачет навстречу своей невесте!.. Августа, поднимая пыль юбкой, приседая, скакала вместе с цыганом по горнице. Она ставила у

порога горшок с аралией. Это было как бы столетнее дерево. Прислонившись к его стволу, в тени его больших дланевидно-лопастных листьев, прекрасного зеленого цвета, цыган рассказывал о своей великой удали и о том, как купец, вооруженный дробовиком, напрасно выходил на крыльцо, думая, что уберет коня, и напрасно сторож стучал деревянной колотушкой!

Вечером собирались гости. Яков Егорович Зыков, мужчина с короткими ножками, но столь чудовищно большими стопами, что галоши он носил только заказные, постоянно твердил, что он легче легкого привыкает к любому событию и что это и есть настоящее «человечье» счастье.

— Ярмарка три недели торгует, милые мои. Другим купцам и водка в глотку не идет, милые мои, а я привык, и мне легко. Ярмарка ушла. Другие купцы горюют, что прекратились дела, а уж привык к этому, милые мои, и мне опять легко. Пленные «Чижики» все время играют, другие бы с этого повесились, а я привык, милые мои, и этим доволен. Вот только к женам я с трудом привыкаю, да и они ко мне с трудом идут.

Он был вдов. Семья Рассохиных видела в нем будущего своего зятя. У него маленькие, словно кнопочки, глаза, так что даже сначала не заметишь, а не успел оглянуться, как все вокруг тебя уже утыкано этими кнопочками, да и сам ты прищиплен к сиденью:

— Привычка — очень нежное дело, милые мои. Вот вы посмотрите, как эти пленные быстро привыкли кушать купеческую пищу, а ведь это они наших братьев убивают на фронте, захватывают наши орудия, хоть мы и пишем в газетах, что ихние орудия захватываем. Да мне что, я привык, милые мои!

Забейдулла Галлимолин тоже холост. Но так как его вера чужая, то в женихах он не ходит, хотя уже два раза сватался за Гликерию. Сложив на коленях тонкокостные свои руки, он с ненавистью смотрит на Гликерию, на ее почти фиалковые глаза. Он ненавидит

ее умение властно распоряжаться людьми, и ему кажется, что она уже придумала нечто такое хитрое, что заставляет его, Забейдуллу, вне его воли любоваться ею:

— Зачем бабам другими людьми распоряжаться? Баба должна скотом распоряжаться. Если я торгую, если я в лавке сижу и туда начнет моя баба залазить, то кому моим скотом управлять?

Когда он чувствовал усталость от ненависти и все возрастающей любви к Гликерии, он пытался беседовать с нами. Он подробно расспрашивал, как в Чехии, в Индии употребляют сладости, но в конце каждой беседы непременно говорил:

— Вижу, и в тех странах бабы лезут в дело. Понятно, что они там лезут, у этих народов скота мало, а зачем же их пускать, когда всю нашу степь заполняют табуны?

Мои индийские повести, раньше казавшиеся мне нескончаемыми, теперь быстро иссякли. Я повторил рассказы моего отца. Затем мне пришлось рассказывать о том, как я с труппой бродячих факиров шлялся по Индии, какой у нас был замечательный руководитель Альберт Монти, удивительный строитель, грозный мастер Иоанн Чаракка, и бродячий фокусник, итальянец толстяк Филиппи. Я заменил названия русских сел индийскими, и наше путешествие вызвало смех и шутки. После этого я рассказал о работе на чайной фабрике, в типографии, о том, как пел в индийском шантане, о том, как индийские купцы устроили «камчугу». Все это не вызвало сомнения, только, когда я рассказал историю о том, как вдова индийского купца подарила мне изумрудное кольцо, Димитрий Кузьмич сказал:

— Вот это ты врешь, брат! Кольцо может подарить наша купчиха, потому что они с жиру бесятся, а чтобы индийская так поступила, не верю.

Гости согласились с ним.

Перед ужином мы сопровождали бабышень. Мы гуляли взад и вперед по переулку. Пашка брал Гликерию под руку. Ломаным языком он хвастался

замечательными бриллиантами, красовавшимися некогда в нашей витрине на Невском. Она жадно спрашивала:

— Небось, на шею-то у тебя ладанка с алмазами? Фунтов пять имеешь, а?

Повидимому, Пашка нравился ей. В конце концов она даже с удовольствием стала играть неистребимого «Чижики». Должно быть, ее прельщало то, что Пашка туго поддается ее власти, а пашкино неповиновение происходило из боязни, что если он ей поддастся, то проболтается и выдаст свою национальность.

Когда мы укладывались спать на досках печи, он спрашивал меня:

— Всеволод, если этих девиц в барсианок превратить? Откормлены они достаточно, а главное, для остальных девок будет хороший пример. Раньше мамашино дело считалось позорным, теперь оно лечебное, они будут утешать защитников родины.

Когда я ему говорил, что он скотина, которая не способна испытывать благодарности, потому что это я придумал ему «Чижики», он отвечал:

— Ну, какая же я скотина? Я к тебе две недели чувствовал благодарность, а ведь генерал Пышминский меня наверно через полицию разыскивает? Тут как быть?

Он барабанил пальцами по горячим доскам и тихо говорил мне:

— Сам ты скотина. Ты только запугиваешь своими упреками людей, и вместо благодарности они начинают ненавидеть тебя. Не ты, не твой благодарности, не твой револьвер страшны мне, Всеволод, а страшен мне Илья Рассохин, который способен ухлопать меня за угон сестер.

Я молчал, нежно вспоминая, как Августа шла рядом со мной. Весело поскрипывали ее ботинки на морозе. Указывая куда-то высоко, но все же ниже громадного месяца, она лихим грудным голосом говорила мне:

— Смотри, вон там цыган скачет!

В переулке появились приказчики магазинов, враждовавших с рассохинскими. Хотя молодые купцы подстрекали их, но они, страшась гнева Гликерии и для того прикрыв лицо воротниками

шуб и прячась за сугробы, кричали нам:

— Вон они какие, рассохинские дочери! С пленными разгуливают.

— Нам того и гляди в армию, в окопы!

— А им здесь пленным целовать!..

Меня обижала эта ложь, потому что никто меня не целовал, а мне хотелось, чтобы меня целовали. Мне скучно и горько существовать пленным. Я недоумевал. Все случившееся раньше и происходящее теперь не создало во мне ни огромной ненависти, ни огромной любви к Германии, следовательно, я не гордился тем, что меня взяли в плен в моей собственной стране. К тому же приключенческие авторы: Жаколио, Стивенсон, Майн-Рид, Сальгари, Жюль-Верн, Бред-Гарт, Купер, родились и писали вне Германии. Правда, эти авторы умерли и, следовательно, не могли измениться так, как изменились их ученики, которые только и сообщали, что русские, французы и англичане лихо бьют немцев, лихо и быстро ловят шпионов, мгновенно уничтожая адски хитрые замыслы, так, что стоило верить, что война кончится в три месяца, хотя эти три месяца давно миновали и битвы вдоль Нижней Вислы, и на линии Августов — Гродно — Осовец, и на реке Золотой Липе, и у Сталюпене-на, и Галицийская, и Гумбенен — Гальдовская, сменились другими битвами, а русские войска вышли из городов Браунонен, или Минкштамен, или Красностав и разгромленная 2-я русская армия, потерявшая два корпуса и командира генерала Самсонова, который застрелился, отошедшая вместе с другом моим Петром Захаровым к реке Наре, собирала свои силы, чтобы вновь наступать, а Петр Захаров давным-давно уехал со своим полком в Галицию, где на фронте Модлиборжица — Янов наступал гренадерский корпус, среди солдат которого шел грозный мастер Иоанн Михайлов, чтобы и под небом Галиции высмотреть свой «вседельный снаряд».

Я токовал.

Я перечел свои серые тетради. Я перечеркнул их! Там собрано множество

мыслей, полезных советов и дельных замечаний, так что казалось, что если заучишь все это, то в жизни твоей не произойдет ни одной ошибки. А на самом деле между мыслями и полезными сведениями существовали или громадные впадины, или колоссальные выступы. Гладка бумага моих тетрадей, но ухабисты выводы!

На обороте страниц, перечеркнутых мною, я решил написать то, чего я не мог найти во всех журналах, которые просматривал в ишимской общественной библиотеке. «Ишимский ярмарочный листок» закрылся вместе с ярмаркой. Шрифт освободился, и я решил предложить владельцу типографии, узкогубому мещанину Ивану Масарину, издавать журнал. Я не буду спать ни ночей, ни дней, набирая, корректируя этот новый и необыкновенный журнал. Он будет толстый, любопытный, весь наполненный мелким шрифтом, а кроме того, при нем будут ежемесячные приложения под названием «Волшебно-приключенческая серия», то-есть в ней вы найдете волшебство, которого нет на войне, и приключения, которых там тоже не встречается, потому что там стоят друг против друга две казармы с одинаковыми орудиями и одинаковыми офицерами, из которых выдерживает только та, которая обладает большим количеством хлеба и снарядов.

Окончив работу, я лил оставшийся в лампе керосин в бутылку, нес ее в «барс», переливал в крошечную светильню, которая стояла у меня на кирпиче в углу печки, завешенная весьма умело, так что она бросала только узкую полосу света как-раз на мои тетради. Я не хотел привлекать светом пьяных «гостей», которые орали в душных и грязных горницах, не хотелось мне также, чтобы девицы, веселящие гостей, смотрели на то, как я пишу. Журнал назывался «На краю света». Вместо «Его тайн» я писал мелким-мелким почерком, дабы вместить в мои тетради побольше текста, о том, что именно здесь, на краю света, в морозных и блестящих снегах, крадется еще мечта о битвах с природой или с людьми, которые мешают человеку побеждать эту природу. Так как у

меня не было родины, то естественно, что мне была безразлична моя фамилия, поэтому я писал:

«Альберт Монти. — СИЛА. — Роман в пяти частях».

Профессор Селин, исследуя муравьев, открыл состав пищи, которым они питаются. Профессор Селин попробовал свое изобретение на людях и в частности на самом себе. В непродолжительном времени профессор Селин стал обладать силой, которая пропорционально была равна силе муравья, то-есть человек стал сильнее в четырехста раз. Профессор Селин, правда, испытывая множество затруднений, смог однако тащить на плече вагон, он выдерживал одной рукой дерево вместе с корнями из земли, толчком ноги опрокидывал деревянный дом, а великое множество лошадей не могло его сдвинуть с места. Все это ничего, пока он силу эту применял к себе, но вот профессор пожелал иметь учеников, которые стекались к нему сотнями. Тут вмешалось государство, по мнению которого профессор не имел права распоряжаться своей силой, награждая ею, кого он хочет. В столкновении с государством профессор Селин погиб вместе со своим изобретением!..

«Алберт Монти. — БУТЫЛКА. — Роман в пяти частях».

Некий Н. Вальтер нашел бутылку, в которой спрятан рецепт, как человек может получить способность иметь ровно столько предметов и пищи, сколько их нужно для его существования. Едва лишь этот рецепт Вальтер попробовал применить на своей семье, как она сразу изменилась: его ближние утерjali жадность, у них много свободного времени, они могли наслаждаться природой, у них сразу изменился характер, но тут правительство возмутилось, что Н. Вальтер применяет рецепт к тем, кому не следует. Н. Вальтер после ряда злоключений погиб вместе со своей бутылкой...

Мрачные планы романов А. Монти не удовлетворили меня. Господин Альберт Монти тяжелым своим характером резко отличался от веселого директора «XX века». Война испортила и его! Тогда я пригласил мало знакомого мне романиста, который пожелал подробно описать полторы суток жизни человечества:

«В. Дорф. — ПЛАНЕТА. — Роман в пяти частях».

Земля узнает от астрономов: через тридцать шесть часов некое розовое тело, несущееся к нам из мирового пространства, столкнется с планетой и разобьет ее. Как люди относятся к тому, что скоро разрушится все, над чем много поколений трудилось? В. Дорф рассказывает, как некоторые из людей бросились громить магазины, где жрали и пили доотвалу, кое-кто жег дома, наслаждаясь пламенем еще до того момента, когда пламя охватит всю планету. Некоторые вечные франты скидывали и надевали лучшие платья, другие торопились убить своих врагов, третьи, не веря в астрономов, искали драгоценности, четвертые молились в церквях, но где-то там, на краю света, в Сибири, возле факира Бен-Али-бея собралась группа его друзей, которым он предложил, — дабы знания человечества не погибли даром, — собрать их! Друзья факира поспешно искали самые важные книги, самые важные изобретения, чтоб запаковать их в громадный сундук, который они собирались бросить под льды Ледовитого океана, надеясь, что айсберги защитят своим холодом этот сундук и он передаст свои знания будущим наследникам планеты...

Тщетно я перелистывал свои тетради. Что из них передадим мы будущим наследникам планеты! Для чего записано то, как готовить ликеры или как делать шпикованную ягнятину со шпинатом? Разве понадобится им секрет домашнего сыра? Или они должны знать, как готовить зеленые щи или как делать патроны для фейерверка —

«золотые звезды» или «цветные бечевки»:

«Для чего потребуется вам селитры две части, серы шестнадцать частей, к которым для белых огней вы прибавляете одну часть сурьмы, для синих — две части ярьмядьянки в порошке, а для красных — пять частей азотнокислого стронция».

Это ли я должен передать человечеству? Это ли есть знание? Стоило ли ради этого готовить громадный сундук, дно Ледовитого океана, величественные айсберги, словом, все то, что защитит мой сундук от пламени вулканов, рожденных розовым светилом?

Мало во мне знаний!

Еще меньше у меня друзей!

— В Индии на каком языке разговаривал? — спросил Дмитрий Кузьмич, после того, как ему достаточно надоели упражнения дочерей на пианино.

— На всяких языках, — ответил я осторожно.

— На французском случайно не приходилось?

— И на французском приходилось, — ответил я еще более осторожно.

— Так вот ты, Сиволод, занимайся-ка с моими дочерьми по-французски. Всякое случается: немцев побьем, и поедет царь с царицей осматривать подданных: с какими-такими имуществами они победили немцев. Ну, приезжает царь в Ишим, занимает все номера своей свитой, а сам разбивает палатку на Соборной площади, потому что нет ему в Ишиме ни одного дома подходящего. Наш царь Николай любит огромные дома! Ну, понадобилось купечеству представляться императору, а купеческим семействам — императрице. Так ты что же полагаешь, Сиволод, моим дочерям с императрицей на купеческом языке говорить?

— Купеческий язык, Дмитрий Кузьмич, мало пригоден.

— Верно! Сразу видать иностранца. С полслова понимает. Вот и учи ты их французскому языку.

Я безмолвно наклонил голову.

— За французский язык прибавляем вам еще десять рублей.

Я опять безмолвно склонил голову.

Сомнения мои продолжались недолго. Купцы меж собой часто разговаривали о киргизском князе Рахманове, который приехал в Ишим и его уезд скупать баранину для армии. Князю удалось в начале войны вложить в «баранье дело» крупные суммы денег, так что он сейчас обладал колоссальными капиталами, и никто в уезде не мог сопротивляться ему. Князь скупал баранину и в Омске, и в Петропавловске, и в Кокчетаве, и в Семипалатинске. Офицерство трех армий питалось его бараниной!

К императору Николаю девицы вряд ли попадут на прием, но к степному хану, торгующему бараниной, они попадут несомненно. Не лучше ли им выучить киргизский язык вместо французского:

— О, сале маликум!

— Маликум га салем!

Чем это хуже французского, хотя я и не знал его.

Как только я додумался о киргизском языке и о князе Рахманове, я сразу же вспомнил степь, наш обоз с товарами, кочевья хана Рахман-Аяза и его прекрасную и опрятную дочь Нюр-Таш.

— Дочь при нем?

— В лазарете у докторши на сестру милосердия обучается, — ответил мне Дмитрий Кузьмич, — очень чистая девка, куда поверить, что немаканная!

Рахман-Аяз остановился в тех номерах, где некогда обокрал нас Филиппинский. Пойти к нему? Я представил, как из его номера вынесены стулья и столы. Толстая белая кошма покрывает дно горницы. На кухне, возле чугунов, где варится баранина, суетятся киргизы-работники. Я узнаю их говор, их широкие малахай, их стяженные бешметы. Они не удивляются моему киргизскому языку, думая, что я пришел продавать баранов. В углу номера, окружив себя подушками, поджав под себя ноги, сидит Рахман-Аяз. Я сразу узнаю его ленивое лицо, вялые движения и голос, как бы маслянистый:

«— Великая война позволяет моему народу приблизиться к океану. Мы сильно разбогатели, потому что, заметьте, киргизы продают не свой скот, а чужой. Вы с какой целью, господин?»

Мне не захочется напоминать ему о прошлом, и я скажу:

— Не требуется ли вам, господин Рахман-Аяз, приказчика?

— Всегда так! Всюду меня осаждают посетители. Очень трудно быть ханом.

Нюр-Таш одета в форму сестры милосердия. Ее окружают прапорщики с папиросами в зубах и в новых сапогах и синих брюках с кантами. Толстый приказчик в лисьем малахае, несмотря на жару, надвинутым плотно на лоб, держит у колена узкую конторскую книгу и химический карандаш. Он пишет этим карандашом поперек графы. Приказчик совсем не умеет управляться с книгами! Нюр-Таш мельком взглянет на мой фрак и валенки. Подумав, что это грязно до такой степени, что никогда не отчистишь, отвернется и спросит прапорщика-артиллериста:

— Неужели такие громадные орудия поддаются чистке?

— Чистит не одна персона, а десятки. Тогда орудие блестит, словно ваши зубки, — галантно ответит ей артиллерист.

— Приказчики нам не требуются, — повторит слова своего хана толстый киргиз в лисьем малахае, еще более усердно водя карандашом поперек графы.

— Вот почему вы и портите хорошие книги, — скажу я им, уходя, и никто не расслышит моих слов».

Я размышлял об этом на печке поздним вечером. Пашка Ковалев все еще обучал девиц «Чижикю», а татарин Галлимолин, которому надоела моя рассказы об Индии, сказал, зевая:

— Знаешь, я бы тебе посоветовал: зачем зря тосковать? Парень ты здоровый, почему тебе не бежать через Сибирь и Туркестан в эту самую Индию? Раз у тебя там есть знакомые, они тебя доставят в Чехию. А пока иди спать на квартиру, куда ты приквартирован.

После таких обидных слов трудно писать роман «Планета». Кроме того, я привык писать под рев гостей, а они в этот день веселились в другом «барсе». Отогнув занавеску, я наблюдал, как Татьяна Тевтелеева ставила самовар. Она усердно раздувала его, потому что положенные внутрь щепки не разгора-

лись, а рука ее уже держала совок с углями. Она спросила меня, не дам ли я ей керосина, чтобы слегка брызнуть на щепки. Аника ушел, а перед уходом он прячет всё, что можно спрятать. Я подал ей спички, бутылку с керосином и почувствовал, что роман писать сейчас совсем невозможно:

— Петр Захаров-то уже три Георгия имеет.

— Он храбрый, — лениво ответила она, брызгая на щепки из бутылки. — А ты чего на войну не пошел? Грыжа, что ли?

— Я иду в Индию. Пойдем?

Она рассмеялась. Мне показалось, что она с нежностью выслушала мое предложение. Раздув самовар и вздохнув о моих страданиях, она вспомнила свои. Ей захотелось признаться в том, в чем раньше она стеснялась. Она быстро вскочила на печь. Я поднял занавеску. Она легла рядом со мной на горячие доски. Я отодвинул подальше от себя тетрадь с романом. Мне было приятно, что она выбрала такое удачное время для наших воспоминаний. Заложив руки за голову, робко и мягко глядя в сторону от меня, она подробно рассказывала, как у нее от Петра Захарова родился ребенок и как пристав выгнал ее из дому.

У Татьяны овальное лицо, замечательно кругло очерченное, и так же легко и приятно очерчены мутные круги глаз. Меня волновал ее совсем круглый подбородок, ее высокий лоб и страстные твердые волосы, которые завиты так, что похожи на корабельный канат.

— Работе я не обучена, и почерк плохой, не приставский, — говорила она, улыбаясь. — Ребенка отдала на воспитание, а за воспитание надо деньги. Откуда мне их взять? Вот спасибо, Аника Родионович приютил. Он хороший.

Улыбка у ней подвижная и слегка строгая, в особенности, когда она говорит о других, а не о себе.

— Какой же он хороший? Каторжник.

— Это ты зря. Он согласно закону аккуратно отдает мою четверть. А ты знаешь, в некоторых, даже самых богатых, барсах девицы годами не получают

своей четверти. Он закон блюдет. Вот по закону посетителю по воскресеньям до конца обедни к нам приезжать нельзя, так он отпускает меня к ребенку.

Она рассмеялась.

Я был очень благодарен ее нежному смеху и голосу. Меня умиляло, что она слышит, как за пригоном на супробе «смеются собаки». Вместе с нею я похвалил собак, что умеют смеяться. Она начала хвалить девиц, которые живут с нею вместе, а затем — и посетителей. Когда я выбрал ее:

— Чего же тут хорошего: вон вчера посетитель тебя по лицу грязным веником ударил, а третий солонку высыпал на голову и вылил бутылку пива.

Она сказала кротко:

— Так они пьяные, а пьяные, как сумасшедшие, что с них возьмешь. Ведь они пьют-то не оттого, что им хорошо, а оттого, что мутит их.

— Все так говорят. Меня тоже мутит, да я не пью.

Она погладила меня по щеке. Губы ее направлены в мою сторону. Она лежала все так же, положив руки за голову, только повернув ко мне свое круглое лицо. Я нес к нему мои губы.

На печке чрезвычайно душно. Коптилка, при которой я писал свои романы, от этой духоты и от нашего тяжелого дыхания, быстро потухла. Татьяна рассмеялась и спросила меня:

— Ты это все домашним пишешь? Чтобы денег прислали? Не пришлют. Вот подождешь месяца четыре, и ты запьешь.

Я объяснил ей смысл своих серых трагедий.

Она сказала, чем-то разочарованная:

— Глупости все это. Вот я сколько романов прочтала. Все пишут: бифштекс да бифштекс, а его даже наши ишимские офицера не едали.

Может быть, она думала, что я пишу письма Петру Захарову? Или излагаю ее жизнь приставу Тевтелееву? Или ее разочаровало другое? По правде сказать, мне трудно было догадаться о причине разочарованности, которая слышалась в ее голосе. Самовар потух. Последнии искры его исчезли, а я чув-

ствовал и видел, как лицо ее приближается к моему. Мне чрезвычайно хотелось поцеловать ее.

В этот год я видел много прекрасных дам, но ни одна из них не возбуждала во мне такого широкого стремления поцеловать ее так широко и крепко, как я хотел поцеловать эту девушку. Но и то должно добавить, что ни одна из этих дам не находилась от меня так близко, как эта. Достаточно шевельнуть пальцем, чтобы я уже тронул ее сладострастное тело! Мне становилось понятно, почему плохо я писал свои романы, прислушиваясь и злясь на голоса гостей, которые обижали ее. Прельстительны были и чудесны дамы шантана, прельстительны и строги, как бы металлические, девы балагана с синими крутами век, с красотой голода, но как они все далеки от меня!

Я потрогал рукой сухие свои губы, что дало основание подумать о том, как следует целовать людей: стремительно ли, или медленно, как бы неохотно. Поцелуй, — размышлял я, — так же разнообразны, как и способы ставить самовар.

Отец мой придавал большое значение тому, как надо разжигать самовар. Едва лишь солнце приближалось к нашему казачьему горизонту, как отец мой шарил спички, а затем брал сапог. Три времени года самовар раздувался на крыльце под небольшим навесом, а зимою уносился в сени, но не глубоко, как будто самовару полагалось подслушивать все происходящее на улице. Отец мой, как известно, искал частых видоизменений и частых комбинаций в ощущениях, причем искал их самостоятельно, без чьей-либо помощи. Хотя отец мой и не признавался, но самовар часто заменял ему железнодорожный поезд. Отец мой раздувал его сапогом. Он испортил при этом много сапог и прожег множество шаровар. «Шалишь, одолею, — говорил мой отец, — шалишь, шалыган!» Сказав такие слова, отец мой цитировал Канта, а именно то, что «понятие о счастье до такой степени неопределенно, что хотя каждый человек желает достигнуть счастья, тем не менее человек никогда не может определенно

и в полном согласии с самим собой сказать, чего он, собственно, желает и хочет. Отец мой добавлял, что неопределенность эта происходит от того, что элементы счастья должны быть взяты из опыта, а опыта счастья еще так мало! Но тут-то, как бы мешая развитию размышлений моего отца, начинал чихать и грохотать наш будильник, обладавший весьма коротким, хотя и язвительным, словарем, который силой своей как бы намекал на предстоящее могущество пулемета великой войны девятьсот четырнадцатого года: «Чье? Чья? Чьи? Чье? Чья? Чьи?» Будильнику полагалось трещать тогда, когда закипал самовар, и это трещание было как-раз то, ради чего отец мой раздувал самовар. Сущность самоварных хлопот заключалась в умении, с которым должно подбирать угли, растянуть гармонику сапога, и причем все это сочетать так, чтобы клубы пара приподняли клапаны как-раз, когда нужно работать будильнику. Такое знание техники возбуждало среди казаков большое уважение к моему отцу, помимо того, что будильник гремел так, что его слышно было в любом конце поселка, и казаки вставали под его грохот с пуховых своих перин и, зевая, говорили любовно и восхищенно: «Вот шальной! Уже гудит!» Надеюсь, вам понятно стремление моего отца к самовару и изречение, созданное им при самоваре, что «чем больше новизны в происшествиях, тем предмет представляется нам с большим удовольствием», также то, почему разжигание самовара волновало моего отца каждый день с раннего утра. Ведь угли могли попасть или чересчур сухие, или чересчур сырые, или так сильно пустишь воздух сапогом, что изпод низу выкатится необыкновенное количество светло-желтых или густо-оранжевых искр, что указывает на неправильности в процессе кипячения. Отец хотел знать точную систему кипячения самовара, и он узнал ее! Так, в бездушную машину, как и во многое, что для людей обычно и скучно, мой отец способен был вдунуть трепет ловли и охоты, причем ко всему этому он находил подходящую цитату из мыслителей, каковыми он всегда был снабжен в до-

статочной степени. Только однажды в московской парикмахерской отец мой удивился своему незнанию, когда парикмахер предложил ему шампунь. Парикмахер, дабы полюбоваться на удовольствие человека, который явно обладал способностью прекрасно выражать свои чувства, вымыл отцу моему голову этой душистой жидкостью. Отец мой признался, что и тогда, и по сие время он не подыскал к этому случаю хорошей цитаты. В трепёте охоты отец мой, вооруженный цитатами, находил то ощущение, с каким предмет, видимый человеком впервые, воздействует на него. Трудновато в тысячный раз кипячение самовара, однако, дабы получить благодаря этому новый рассказ, отец мой весело стоял у крыльца, опираясь на лопату или, как он называл, «шанцовый инструмент», хотя никогда углей этой лопатой не брал. Он стоял, прислушиваясь к бегу времени, отмечаемому будильником, или задумчиво смотрел на тельника, который вековечно брел по нашей улице и за которым вековечно гналась девчонка в отрепанной юбке. По пригорку — ленивые утки. Отец мой думал не о том, когда загонят наконец этого тельника, нет, взор моего отца был направлен в глубину глубин, разыскивая там такое, что не стыдно повторить множество раз и что могло принести большую пользу человечеству, изо дня в день делаемому все безобразнее и безобразнее. Вполне соглашаясь с Кантом, он все-таки для себя-то знал, что такое счастье, и определение Канта он относил только к остальным людям. Счастье моего отца заключалось в том, что он мечтал разгнать свой рассказ до предельных его возможностей, то-есть так, чтобы его услышал весь мир. Присматриваясь к самовару и к искрам, которые он испускал, отец мой думал, что если уж рискнуть рассказать подлинно широкий рассказ, то надо действовать наверняка. Он стоял, прислушиваясь, измеряя, достаточно ли могущественен новый рассказ, — и каждый раз приходил к выводу, что рассказ прекрасен для казаков, но недостаточно силен для всего мира! Но, как бы сомневаясь в своих измерениях, он чрезвычайно осторожно вносил

самовар в дом, будто нес самого себя, боясь расплескать те замыслы, которые созрели в нем. Отец мой ставил самовар на стол так тихонько, что ножки еле прикасались к бурой клеенке, но едва лишь самовар опускался на все четыре лапы, как здесь оканчивались колебания моего отца, и он садился пить чай, уже размышляя о делах более простых и житейских, вроде того, что не пора ли ехать на сенокос или, если это было зимой, то не поскрести ли ему навоз в пригоне. Изю дня в день, как только я вспоминал моего отца, я постоянно видел перед собою выгон, крыльцо школы, оранжевые искры, вылетающие из-под низа самовара и над красной медью его тщательно вычищенный сапог. Вспоминая отца, я ждал, когда же он найдет ту необыкновенную повесть, ради которой он жил, свершал удивительные дела, в том числе и многолетнее раздувание самовара. Несомненно отец мой уже придумал многое из этой повести, и алебастровый банк несомненно входил сюда какой-то своей частью. Но отец мой не желал удовлетворить мое любопытство! Он больше писал о том, как древние употребляли алебастр вместо извести и как благодаря этому зданию не разрушалось землетрясениями. Кроме того, отцу особенно много и писать-то нельзя было, — он и уважал мое время, и не мог тратить на письмо больше семи копеек в неделю. Отчасти из-за этих семи копеек он укорачивал свои размышления, так что я не получал даже необходимых мне намеков, и вот уже много лет самовар напрасно — по моему мнению — бросал искры на выгон, и если отец мой, обволакиваемый этими искрами, походил прежде всего на сфероид, несовершенный шар, то теперь это стало его подлинной сферой. Из этой сферы я слышал теперь его голос! Он глухо доносился ко мне. Я смотрел пристально на искры и на черный выгон. Под моим взором искра превращалась в оранжевый шар, подобный шаровидной молнии, и я слышал голос моего отца: «Существенное в шаровидной молнии не гром, а ее шаровидность». Я смотрел, прислушиваясь к этому голосу моего отца, и мне казалось, что ему никогда

не придумать настоящей повести, и он будет ограничиваться отрывками из нее, вроде рассказа о том, как знаменитый капитан Лянгасов приобрел на аукционе за три рубля подержанный самовар. Капитан Лянгасов так заботился о приобретенном самоваре и его чистоте, что необыкновенная способность самовара поддаваться самому желаемому блеску встревожило его, и он пошел проверить: в своем ли уме эта самоварная медь. Выяснилось, что медь была золотом. Капитан Лянгасов, как вам известно, отличался удивительной честностью, а кроме того, совершать подлости не позволял ему попугай Худак. Капитан Лянгасов отправился искать владельцев золотого самовара. Многие бывшие владельцы самовара отказывались получить его, так как владение золотым самоваром при их сомнительном положении, вроде мелочной торговли или печения просфор, связано с неизбежными покушениями на их жизнь, и они признавались в тех чудовищных поступках, которые свершили они, дабы развязаться с самоваром. Но капитан Лянгасов страстно желал восстановления справедливости, пока наконец одна прекрасная девушка, потрясенная капитанской честностью и остатками его красоты, хранящимися в бакенбардах, не полюбила его. Так как девушка оказалась бедной, а ей требовалось приданое, то золотой самовар продали на слом, из чего соорудили приличную свадьбу. Рассказ этот, как и прочие, отцу моему нравились мало, отец его сравнивал с растегаем: «пирожок с начинкой и со щелью, сквозь которую виден фарш», но который и не мясо, и не тесто, а ведь рассказ о золотом самоваре несомненно стал бы более убедительным и живым, если б отец мой признавал, что ничего лучшего он рассказать не в состоянии, однако отец мой сделать этого никогда не мог! Если бы он сказал так, то немедленно чудеснейшая сфера, окружавшая его, превратилась бы в скучную географическую планисферу — унылое изображение двух великолепнейших земных полушарий на плоскости. Вот почему, если даже давно потухли искры, и черный выгон покрыл дождь, и золотой закат скрывали серые

тучи, если даже теленок стоял в теплом хлеву и дремал, закрыв вежды, и замечательные иртышские омуты и не менее замечательные плавники стерлядей и пробки переметов и откосы крутого берега скрывал туман, и весь мир походил на плакучую иву, все же пламенное сердце моего отца неудержимо горело, и, завертываясь в рваное одеяло, он сладко говорил перед сном, причмокивая губами и посапывая носом: «Знатно мы сегодня попили чаю, знатно разожгли самовар, но на завтра припасены такие угли и так, Ариша, заведем пружину будильника, что будет необыкновенный случай...»

Короче говоря, пока я размышлял о самоваре и о всем том, что связано с ним, также как и о сравнительной ценности поцелуев дамы из шантана или дамы из балагана, Татьяна руки из-за своей головы переложила за мою голову, и все то, чему предстояло свершиться, о чем думал я, когда нес к ней свои губы, свершилось.

Утром, перед уходом моим на работу, Аника Кожурин удержал меня за плечо: — Там у типографщика модных журналов нету?

— Нашел модников!

— А если встретятся, — притащи. Но это, брат, не значит, что ты мне не отдашь сверх квартирной платы тридцать копеек. Давай лучше сейчас, а то забудем.

— Какие тридцать копеек?

— Даром тебе лежать на моей печке с моими служащими? Я и то скидываю тебе двадцать копеек ради ее добровольного движения.

Я немедленно отдал Анике тридцать копеек.

Мне не жалко было этих монет, а я страдал от горечи, что кротость Татьяны не позволила ей удержаться при себе тайные наши обятия. Я понял, что тщетны мои мечтания об изучении ею наборного дела, дабы она смогла достойно воспитать сына сибирского героя. Тщетны также мои надежды о том, что я напишу письмо Петру Захарову с изложением жизни его сына, чтобы тот еще больше гордился своими подвигами, которые он свершает ради своего сына.

Кроме того, по суровому лицу Аники Кожурина я понял, что вряд ли еще повторится наша встреча, а значит, и мои размышления о нескончаемом самоваре моего отца.

Лицо мое изображало страдание. Пашка Ковалев, любивший долго поспать, увидав это лицо, немедленно соскочил босой и в нижнем белье с печи и встревоженно спросил скороговоркой:

— С какими служащими? Почему пятьдесят копеек? Что такое этот Всеволод надумал?

Тут возле крыльца закрипел снег, и зазвенели колокольчики. Девицы, накинув платки, пошли встречать гостей.

Распахнулась дверь.

Сердца наши замерли.

На пороге, сдвинув шапку на ухо, стоял румяный веселый болван Илья Рассохин.

Пашка шмыгнул на печку. Мы опустили ситцевую занавеску.

— Хозяин, чехи у тебя тут живут? Расквартированные?

— Чехов нету, а девицы сплошь русские. Пожалуйста, господин купец.

— Отвечай, хозяин, по тем предметам, по каким тебя спрашивают. Ты морду не коси, меня не запугаешь, что ты бывал на каторге, я так способен съездить, что поползешь на четвереньках. Где чехи?

Он снял рукавицу и показал громадный розовый кулак.

Аника побледнел от злости, но ответил почтительно:

— Нету чехов, господин купец.

— Да вот же записан адрес приказчиками. Указан твой рост и твоя каторга. Одного чеха зовут Всеволод, а другого Павел.

— Так вы, господин купец, изволили бы сказать прямо, что они в балагане играют чехов. Балаганщики у нас имеются.

Я поднял занавеску.

Илья Рассохин, заложив руки за спину, стоял перед нашей печью. Если бы я протянул руку, я мог бы потрогать его румяное улыбающееся лицо.

Пашка прятался за мою спину, поспешно натягивая брюки. Я сидел на корточках, уже одетый и положив руку

на металл кармана. «Если биться, так буду биться до конца, — подумал я, — черт с ними, если и не допишу романы!»

Илья Рассохин передвинул пушистую шапку на другое ухо и улыбнулся:

— Так вы, оказывается, ребята, не чехи?

— Катержанин говорит правду.

Я ответил этой цитатой из какой-то своей пьесы. Трудно было подобрать более подходящее к росту и глупости нашего квартирного хозяина. Я добавил только:

— Какие мы чехи?

Илья Рассохин вдруг захохотал:

— Экие изворотливые дьяволы! Вот смеху-то будет. А радости и того больше. Я ехал к вам прямо чуть ли не в слезах. Кому и на что пожалуешься? Чехи ведь! А мы, понимаешь ты, поймали чужих приказчиков. Они нам говорят: имеем полное право так действовать, потому что ваши девки гуляют с пленными. Ну, кому на них пожалуешься.

— А как они действовали?

— О, господи, да как обычно у нас действуют. От низа до верха и от одного столба к другому вымазали ворота дегтем.

Он швырнул шапку на пол, топнул ногой и закричал:

— Русские! Наши! За чехов я не имел права морду бить, но за русских, господи, как я буду бить морду! Мордой сотру весь деготь с ворот! Русские! Пива, хозяин, водки! Камчугу делаем.

33

От этого неожиданного поворота «пленной нашей жизни» началось тоже неожиданно пашкино процветание. Каким-то образом посетители кожуринаского дома пронюхали о порученном ему генералом Пышминским удивительном деле, причем три тысячи барсианок немедленно спутали с тремя тысячами голов «крупного рогатого скота» и с тридцатью тысячами пудов сливочного масла. Пашку Ковалева сразу окружило всеобщее почтение, и даже Аника Кожурин дал ему взаймы семьдесят пять руб-

лей. Пашка немедленно поверил в необходимость или даже, если хотите, в страшную неотвратимость «комплектования» трех тысяч.

Пашка сидел на печи против меня. Обняв руками тощие колени, он спрашивал:

— Неужели ты, Всеволод, не поможешь мне? Ты, брат, испытаешь всю сладость, которая поедет потом от тебя на фронт. Таким образом, ты почувствуешь наслаждение, не будучи на фронте и не получая легких ранений. По правде сказать, Всеволод, ты тоже сладости любишь. Тебе, я знаю, будет приятно похвастаться 3.000 девиц.

— Ты подлец, Пашка.

Глаза у него горели. Лицо у него было такое напряженное, что мне иногда казалось, что его мысли до некоторой степени похожи на мои мечтания и что я не зря терплю его возле себя.

— Ты полагаешь, что так и легко соберешь эти три тысячи? Нет, Пашенька, тебе будут бить морду женихи, опозоренные отцы, братья, резать твой живот столовыми ножами огорченные матери. А самое страшное битье ждет тебя на фронте от солдат, которые ждали вовсе не такое наслаждение, какое ты привез им. И так как лицо твое связано с наслаждением, а не с горем, которого они столько видят на фронте, то они заломнят тебя. Солдаты вернутся с фронта. Тысячи тысяч! Из-за каждого угла выйдет на тебя солдат — и трах! В ухо! В нос! В рыло!

Мои мрачные выдумки и тяжелые препятствия, которые я показывал ему, загоняли его временами в свойственное ему уединение и замкнутость. С ненавистью он глядел на меня. Он рад был бы уничтожить меня, но у него не только на это, но и не было сил, чтобы убежать от меня. Иногда он вспыхивал и кричал:

— Раньше я тебя слушал, Всеволод, а теперь не хочу! Позорное было занятие, я верил тебе, а теперь какой тут позор. Кому ты запретишь собирать аптекарских помощниц? Достаточно ты меня обманывал, Всеволод.

— Пусть тебя обманывают все, как обманываю я, Павел.

— Ладно, ладно. Притворяешься другом, чтобы хапнуть из трех тысяч. Нет, а они мои друзья. Они меня хвалят, что я прекрасно сделал, когда выдавал себя за чеха. Я узнал, в достаточной ли мере они патриотичны.

— Какой тут патриотизм? Чехов ласкают.

— Чехи — славяне. Подожди немного, когда они все сдадутся, так объявят внутри России чешское королевство и пойдут воевать за него с немцами. А немцев у нас выморозят, как выморозили французов в двенадцатом году. Мы всю Европу переморозим!

— Приятно, что в тебе возникло столько патриотизма, Павел. Несомненно, он поможет тебе накомплектовать три тысячи требуемых девиц. Боюсь, что как бы их не утащил Филиппинский.

— Теперь-то он меня не обманет. К нам фельдшер Мериносов едет.

Он вытаскивал из шалки сверток объявлений в четверть писчего листа. Он заказал, набрал и напечатал их в мое отсутствие. Объявления приглашали желающих поступить на курсы аптекарских помощниц: «адресоваться в дом А. Р. Кожурина на Богоявленской улице, дом № 10».

Пашка размахивал этими объявлениями и кричал, что война отбросила ту ложь, которая висела над профессией Ковалихи и ей подобных. Пашка неожиданно обнаружил большие знания в этой области. Ошеломленно слушал я его. Оказывается, этим делом занимались многие весьма почтенные люди. Образ женщины в греческой скульптуре указывает нам главную профессию греков. Улыбающиеся иронические маски или гордые, суровые богини Фидия и Поликлета с их низким узким лбом, обрамленным густыми вьющимися волосами, с носом прямым и слегка толстоватым, но тем не менее прекрасным, с ртом, всегда украшенным толстыми полукруглыми губами, с большими глазами, глубоко сидящими под широкой бровью, с глазами, холодный блеск которых освещает бесстрашие черт, — все это указывает на то, что продавались как и величественность, так и великолепная ирония. Все эти Артемиды, Ве-

неры, Минервы, Юноны, все встречающееся на памятниках в Элевсине, в прекрасных кареатидах Эхтеона, на сиракузских медалях, в пленительных статуэтках, находимых при раскопках в Беотии, — все это указывает и подтверждает слова Катона о том, что «греческие статуи являются в Рим, точно неприятели», и то, что дальше разъясняет о греческих поставках и тогдашних «укомплектованиях» поэт Вергилий: «Пусть другие придадут жизнь мрамору и выливают из бронзы нежные формы, ты же, римлянин, помни, что твое наслаждение — владычествовать над народами!»

— И не три тысячи поставляли, а миллионы! И статуи это были вроде каталогов или рекламных фигур. Неужели Сибирь уступит Греции?

Он показал мне несколько телеграмм:

— Чтобы из-за тебя не попасть под дисциплинарный суд, мне пришлось привлечь к делу мамашу. Она телеграммами передала почтение барсианам. Фельдшер Мериносов приедет, а у меня уже готово шестьсот помощниц.

Но все-таки мой взор тревожил его. Он прятал в карман телеграммы, бледнел, охватывал руками колени, ежился и восклицал:

— Им, видите ли, нужны красивые тела, живописные позы, а где это я найду такое? Здесь не женщины, а какие-то выкорчеванные деревья! Какая тут к чорту живописная поза, на кого ты наденешь блестящую ткань?

Он взмахивал веснущатыми своими ручками:

— Я ненавижу животных, в особенности кошек! От животных вонь, грязь. Недаром этих женщин зовут барсианками. Барсы воняют чудовищно! Человек должен быть вегетарианцем, а для этого надо уничтожить всех животных. Вот ты на меня орешь, Всеволод, а что, разве плохо, когда барсианок отправят на фронт и уничтожат их всех там. Так вместе с концом войны мы избавимся от профессии, которую ты признаешь ужасной.

Руки мои дрожали. Я смотрел с ненавистью на него, но, все еще надеясь на исправление, вежливо говорил:

— Да, всяко бывает. Пойдем работать в типографию.

Через несколько дней он отказался ходить в типографию. Он получил письмо от Петра Захарова. Из конверта вывалилось множество газетных вырезок. Газеты сообщали, что Петр Захаров захватил немецкое полковое знамя и за это получил офицерский чин и офицерский Георгий. Петр Захаров слегка подсмеивался над своими подвигами: «Куда мне их девать? Бел и красив снежок, а человека жжет. Пугал кабан собак, а они его под охотничью пулю пригнали». Это письмо необыкновенно вознесло Пашку. Створчивость его исчезла.

— Я вас не удерживаю возле себя, господин Иванов. Вы плохой жилец на печке, а кроме того, я ее оставляю вам.

Он возвратился в номера, из которых мы недавно бежали. При прощании даже Аника Кожурин отдал уважение его счастью, сказав: «Вот дело, которое выгоднее портновского».

В номерах Пашка гонял полового, подсмеивался над владельцем, а встретив меня на базаре, сказал покровительственно:

— Вы все полагаете, господин Иванов, что перед вами невольничий рынок? Прошу вас притти завтра во двор к войсковому начальнику. Производим сортировку и отправку первой партии в Пермь для следования в четвертую армию. Никакого издевательства! Спросишь контору аптекарского управления.

Контора находилась в дровяном сарае, через который тянулись толстые трубы железной печки и земляной пол которого был густо усыпан опилками. Дощатый стол Пашка покрыл «для спокойствия» гимнастерочной материей, а над столом повесил портрет Николая II. Пашка ходил среди будущих аптекарских помощниц, любуясь ими и любуясь собой, изредка посматривая на портрет царя. Он ходил, сутулясь, поглаживая подбородок, и, кажется, считал себя чем-то похожим на этот портрет.

За столом возле широкого чайника сидел фельдшер Мериносов. Это был почтенный толстый человек с усами, очень нафиксатуаренными, обожавший свою семью и бега. Он пил чай большими

ми глотками, поглядывая на собравшихся женщин и на папку, которая лежала перед ним. Женщин было много. Они толкались, бранились и все время выходили греть руки к печке, хотя в сарае и без того было жарко. Они понимали, что их ждет на фронте, стеснялись этого и явно были недовольны, когда увидели меня, постороннего человека. Смуглая рыжеватая баба, когда я подошел к печи, сказала мне сердито: «Чего рассматриваешь, не генерал!». Они грелись, не снимая стезеных «дипломатов». Некоторые из них сидели на деревянных ящиках, возле стен, положив широкие руки на колени.

— Писарь, начинай.

Пашка Ковалев развернул ведомость. Фельдшер Мериносов говорил в нос, хотя до этого и не гундосил. Он полагал, видимо, что так требуется дело, а может быть, подражал генералу Пышминскому.

— Тайлакова Ульяна! Распахни шубу, да не очень, не на лошадей смотрю, и без того все понятно.

Он стучал длинным прокуренным пальцем в грудь женщины, прикладывая трубку, слушал и говорил в нос:

— Болезней нету? Не жалуешься на живот? Покажи язык. Годна! Запиши, Ковалев: группа первая, третий десяток, а также сосчитай ей прогонные. Тайлакова, вручай паспорт и бери солдатский документ. Колесова Александра! Поступай так же, как остальные, распахивай шубу, но не сильно... Доможирова Васса! Кожевникова Любовь! Козельская Евдокия! Тарасова Анна! Подоксенова Хиония! Экое имячко тебе поп-то выбрал. Но ничего, не стесняйся, подходи. Да и вы все шагайте быстрее: сотню я вас должен просмотреть до обеда, да после обеда полторы. Мальцева Надежда! Кадочкина Мария! Ближе.

Приложив ухо к трубке, он посмотрел на меня и сказал:

— Вот я сюда ехал, думаю, не подберу ли здесь сибирского конька. Очень иноходцев люблю. Хотел его кстати вместе с бабами довести до Перми, а тут, оказывается, уже всех приличных коней скупили...

— Годна, батюшка? — спросила круг-

лолицая баба. Ее «дипломат» был обшит каким-то рыжеватым пухом, в руках она держала громадные варежки. Голос у ней ласковый и глаза яркие.

Не глядя на нее, фельдшер сказал:

— Годна. Ты, тетка, ласку на меня не трать, ты ее береги. За офицера вый-дешь.

Он рассмеялся и сказал мне:

— В русской лошадиной породе постоянно восточную кровь найдешь. Как я посмотрю, так непременно дикую примесь увижу: тарпан встречается или джигитай. От кочевых народов! Ну что же! В ногах у них крепость, в общем теле выносливость, а главное, неприхотливость. Красоты конечно мало, голова большая, хотя и сухая и пропорциональная, но шея короткая, а спина тоже короткая и прямая, мастью они больше светлые, движениями быстры...

Он поднял кверху трубку и сказал многозначительно:

— Незаменимы под выюк!

Он встал, откашлялся, положив трубку в футлярчик, снял очки и строго сказал женщинам:

— Вас собрали барсы. А с этого момента вы переходите в казну, и этот... — он указал на Пашку Ковалева, только младший унтер-офицер, с которого в любую минуту могут слететь нашивки, хотя он и доброволец.

Женщины выслушали его — и ничего не отразилось на их лицах. Некоторые побойчее, которые служили прислугами или месили глину на кирпичном заводе, подошли поближе к столу. Фельдшер сказал еще строже:

— Вы, собственно, понимаете, куда вас направляют?

— Как не понять, — ответила та, рыжеватая, что выбрала меня.

Холодный синий свет вечера ложился на ее волосы. Она стояла, держа пальцами рук за краешек стола. Фельдшер пристально смотрел на эти пальцы, и лицо у него было усталое и злое:

— Ну, то-то. У нас генерал суровый, он хочет, чтобы все понимали свои обязанности. Если у вас имеются какие претензии, заявляйте мне сейчас же.

— Претензий нету, — сказала рыжеватая баба.

— Ну и слава богу. Выписывай им, Ковалев, литеры.

Фельдшер взял перо, обмакнул его в чернильницу и стал выводить на длинном листе бумаги замысловатые узоры. Рассматривая эти узоры, он сказал:

— Я семьянин и склонен к семейному обществу. Мне иноходцев-то хотелось купить, чтобы детей покатавать. У меня и служба была такая, что можно было подольше в семье находиться. А тут такая гадость.

Фельдшер не врал. Он тосковал по семье и с отвращением относился к тому, что поручил ему выполнить генерал Пышминский. Все эти соображения позволили ему в тот вечер здорово напиться, а позже прийти для окончательного «долу» в барс к Анике Кожурину. Он пил много без закуски, и, когда почувствовал, что пьян окончательно, он выскочил на мороз и сразбега сунул голову в сугроб!

Фельдшер возвратился, весь усыпанный снегом. Его выпуклые глаза блестели настолько, как будто не могли сдерживать своих чувств, но в то же время понимали, что они и не должны выдавать чувства фельдшера Мериносова.

— Отрезвел, — сказал фельдшер, мотая головой и протирая рукавом глаза.

Отрезвление его было весьма странным.

Он потребовал стакан водки, «полную до возможности», выпил его смаху и сказал:

— Страдаю по семье.

Фельдшер устал на Анику Кожурину выпуклые свои глаза и сказал:

— Я с вами согласен. Я с вами во всем, что вы ни думаете и что вы делаете, согласен, господин Кожурин. Дайте я вас поцелую в щеку. Подвинься ко мне, Ковалев!

Он прикрыл рукой глаза, помолчал, затем отнял руку и как-то необыкновенно свободно, привычно и легко, ударил Пашку толстым своим кулаком в зубы. Пашка сразу потемнел, затрясся, и фельдшер сказал с горечью:

— Думаешь, мне тебя не жалко, Ковалев? Мне очень тебя жалко, но только зачем ты вырос и наполнился такой под-

лостью, что ее все видят с одного взгляда, даже и не генералы?

Фельдшер Мериносов с прежней жалостью на лице вынул из кармана длинный пакет с размазанными казенными печатями и сказал:

— Его превосходительство, предвидя ту излишнюю суматоху и безобразия, которые разводишь ты, Ковалев, приказал выдать тебе такую литературу, по которой ты можешь останавливаться в городе зараз не больше, как на пять дней, и не больше, как пять раз в году, для чего на тебя будет вестись особая регистрация у воинского начальника. Об'езжай Сибирь — и комплектуй!

Фельдшер Мериносов скорбно передал Пашке Ковалеву пакет.

Пашка вынул бумагу, посмотрел на громадную подпись генерала, и слезы устремились из его глаз к этой подписи.

Фельдшер отвернулся от него и сказал мне:

— Не стояли бы вы у порога, господин, а садились бы к столу пить водку. Кто скажет, кто будет утверждать, что степной конь не имеет своего характера? Характер его, как я заметил, может быть мелким, но при известной дрессировке он способен получить большую сдержанность, и в конце концов бывают отличные лошади. Я это говорю про иноходцев. Очень у меня дети иноходцев обожают. Одному ребеночку двенадцать лет, другому девять, а дочка шести. Назвал я ее Кларой. Красивое имя, музыкантшей будет. На скрипке заставлю играть.

— Когда же мне направляться? — спросил Пашка.

— А сейчас же.

— Умру!

— Воскреснешь, когда наберешь полный комплект.

— Я вам собрал 350 душ!

— Полагаешь, я радуюсь этому? Плевал бы я на твои души, да генерал не велит. У меня тоже дети. Глядишь, вырастет такой мерзавец, вроде тебя Тыфу! Убью на месте! Какие пакостные мысли лезут в голову. Все оттого, что наблюдаю эту отвратительную морду! Уезжай, Ковалев. Премию можешь получить, но вот телеграмма, по которой

твой комплект от трех тысяч повышается до пяти.

Фельдшер Мериносов положил на приказ генерала Пышминского телеграмму, Пашка схватил ее и, опасаясь, как бы не получить еще более худшее сообщение, убежал на станцию. Фельдшер Мериносов потребовал еще бутылку водки, заказал яичницу «о дюжину яиц» и сказал мне:

— Мои семейные всегда ходят с круглыми фигурами, с гибкими руками, с нежным телом, где и мускула не увидишь. А здесь что? Вот осмотрел я триста пятьдесят баб, а разве это руки? Лапы. Отличная у меня семья, господин Иванов. Утром я встану, посмотрю на себя: волосы вершка по три длиной усыпали всю грудь, лысына сияет, под ней бурое лицо, морщины, просто противно шагать. А войдешь к завтраку, она сидит, нежно опираясь на локоть, нюхает цветок и смотрит на тебя так же ласково, как на цветок. Или еще пораньше встанешь, когда она умывается. Вскрихнет: «Ой!», схватит простыню, а в другой голой ручке держит эмалированный кувшин с водой.

— Прикажете музыки? — спросил Аника.

— Сыграй мне вальс, гармонист. Ой, тошно!..

Я вернулся на свою печь. Фельдшер срал, требовал, чтобы гармонист играл нежнее, а затем пустился в пляс. Мне было очень тяжело. В глаза неустанно плескалась вода, цвета топаза, что переливала через края эмалированного кувшина. Полная белая женщина со вздернутым носиком и маленьким ртом несла этот кувшин. Я слез с печи, выпил кружку холодной со льдом воды и вернулся. Я зажег свою коптилку. Романы, которые я начал писать, уже не нравились мне, и я составил план нового романа:

«Бен-Али-бей. — РОСТ. — Роман в пяти частях».

Ученый М. Вахт пришел к выводу, что раньше, когда человек боролся с животными, был смысл владеть ему ростом, каким он обладает сейчас. Но

теперь, при господстве машин, человечеству его прежний рост абсолютно не нужен, к тому же человечество, размножаясь, ищет землю и пищу и в поисках этого дерется между собой. Для того, чтобы уничтожить войны и голод, ученый М. Вахт произвел опыты, по которым стало ясно, что подвергнутый облучению *у*-лучами человек в течение двух недель становится вполтину меньше своего роста, сохраняя при этом прежнюю свою умственную и физическую мощь. Следовательно, земля сразу же расширяется в два раза и в два раза меньше человек употребляет пищи и в два раза у него больше домов и одежды. Казалось бы, чего еще желать: человек находится две недели под *у*-лучами и приобретает огромные преимущества, однако же не находилось людей, которые пожелали бы вполтину уменьшить свой рост. Ученый М. Вахт был в отчаянии. Вот тогда появился знаменитый факир и дервиш Бен-Али-бей, который согласился на этот опыт. Я веду роман от имени этого факира. Профессор М. Вахт наводит на него *у*-лучи. Бесстрашный факир начинает чувствовать, что одежда на нем становится все свободнее и свободнее, а лаковые башмаки не только не жмут ему ноги, но и стали для него велики. Знаменитого факира, при всем его мужестве, охватил страх. С огромным напряжением он стоял под *у*-лучами. Он вспомнил улюлюканье, с каким мальчишки бежали за лилипутами, приехавшими на гастроль в тюменский театр Миниатюр. Ему, прославленному факиру, тоже предстоит идти по улицам под это улюлюканье! Но мало того, что пройдет он, так же пойдут под улюлюканье его дети! Долго роду его придется жить под страшное и унижительное улюлюканье! Но однако минует время, и так как роду факира потребуются вдвое меньше пищи и вдвое меньше забот, а наслаждений он получит столько же, то факирский род расплодится быстро, и наступит час, когда карлики победят этих рослых и тупых дураков, и по улицам карликового города под улюлюканье наших

детей побежит в страхе огромный великан, который в детстве, может быть, еще смеялся над сыном знаменитого факира и дервиша Бен-Али-бей!

34

Татьяна, кроткая дочь пристава Тевтелеева, пожелала уехать на курсы в Пермь, которые устроило аптечное управление. Уже два месяца, как Аника Кожурин решил открыть портновскую мастерскую военного платья. Он снял помещение, нанял трех мастеров и купил швейные машины. Он получил патент и приобрел конторские книги. По этому случаю он не платил барсианским девицам ни гроша. Они даже не получали на хлеб, и, когда хозяин выдавал мне жалованье, мне приходилось отдавать его им.

— Да вы понимаете, Татьяна, что вам предстоит испытать? — спросил я кроткую дочь пристава.

Она улыбнулась.

— Слышишь, голуби на пригоне воркуют? Это, братец, к теплу, скоро весна.

Я не слушал воркованья, но я верил ей, хотя ветер по-зимнему размахивал ставнями и в стекла бил сухой снег.

— К Петру Захарову едешь?

— Еду, куда повезут, — сказала она лениво.

— Петр Захаров не на фронте.

— Еду, куда повезут, — повторила она.

«Убить! — подумал я, дрожа от злости. — Немедленно убить и Петра Захарова, и всех, кто с ним, и всех, кто устроил эту подлую и невероятно гнусную жизнь!» Я положил правую руку на карман, в котором лежал мой плотный револьвер, а в левой у меня колыхалась телеграмма: «Выезжай немедленно Курган Захаров Филиппинский Ковалев».

— Может быть, раздумаешь ехать на фронт? — сказал я Татьяне, протягивая телеграмму.

— Поеду, куда везут.

— Убить их можешь.

— Где уж мне убивать, пусть лучше меня убивают, — кротко сказала она. — Жалованье обещали, а то выбросят мое-

го ребеночка или в приют подкинут, а там их не выбирают подольше, чтобы уж они так простудились, чтоб уж и не откашлялись!

Убить! Вот лучший способ для того, чтобы попасть в Индию. На троих у меня имеется три пули, а двух пуль достаточно для того, чтобы отстреляться от преследователей. После убийства мне ничего не останется, как только через Лебяжье, Семипалатинск и Семиречье бежать на Памир, а оттуда в Индию. Вряд ли на этой дороге будет разыскивать меня полиция. Неколебимо нужно уничтожить толстого спекулянта Филиппинского, подлеца Пашку Ковалева... Мне слегка жаль Петра Захарова, несомненного героя и веселого человека. Но что поделаешь, если своим героизмом Петр Захаров покрывает гнусные дела. Вот например, зачем они собрались в Кургане? Какую еще гадость выдумали они?

Я подколот фрак, натянул валенки, рассчитался с Аникой Кожуриным, собрал свои тетради и направился на станцию. Здесь, как и всегда, выяснилось — с моими деньгами мне и до Омска не доехать. Тем временем поравнялся поезд с моим раздумьем.

Я залез к машинисту и, твердо глядя ему в глаза, сказал:

— Друг, мне предстоит политическое убийство. Я прошу вас довезти меня до Кургана.

Бритый машинист, видимо, привык ко многим событиям, потому что сказал спокойно:

— В политическое убийство зачем нам вмешиваться? Потрудитесь, сударь, пойти со мной к старшему по поезду.

Он молча подвел меня к усатому кондуктору. Кондуктор покосился на меня, пожал плечом и велел идти в свое купе.

Кондуктора передавали меня от бригады к бригаде. Такая поездка называется «по блоку». Я сидел в кондукторской, наполненной черными мундирами и голубым махорочным дымом.

— Родственников имеешь в Кургане? — спрашивали меня кондуктора.

В голосе их чувствовалось загадочное уважение, которое они вряд ли питали к моим родственникам.

— Родственники. Попрошаться еду!

Я стучал ладонью по карману. Кондуктора отворачивались, угадывая в очертаниях моего кармана страшную машину.

— Без родственников жить трудно, — говорили они, — без прощанья тоже.

— Без родственников не проживешь, — поддерживал я глубокомысленный разговор. Они предлагали мне закурить. Я отказывался. С уважением еще большим они отзывались о моих родственниках!..

И вот я стою у палисадника, занесенного снегом, через который меньше года назад я рассматривал вещи и «фокусные препараты», которыми была обвешана Нубия, гимназиста, что шел, выпятив важно живот, своих друзей и грозного мастера Иоанна. Мне захотелось сейчас подумать о тщеславии, о лебяжинцах и о внезапности жизни, но я должен торопиться, потому что иначе во мне возникнет нежность к моим бывшим друзьям. Если раньше я желал их процветания, то теперь я хотел их уничтожить! Поэтому я вошел в жуликовский дом и спросил у Сашеньки:

— Где остановился Петр Захаров? Он, небось, приходил к Алешке?

— Они остановились в номерах «Царьград».

— Благодарю вас, Сашенька. Как поживаете?

— Поживаю хорошо, Сиволод. Да жениха угнали на позиции. Очень ловко немцы там орудуют, и не заметишь, как уничтожат.

— У меня, Сашенька, хуже. У меня невесту на фронт угнали. Твой облик превосходен, и жених к тебе еще придет, а мне с моим носом невесты не вернуть.

— Да, нос тебе ловко закрутили!

В Ишиме я напечатал на американке несколько экземпляров паспортных «отсрочек», которые могла выдавать уездная полиция. Подпись ишимского исправника я скопировал через оконное стекло, положив на него объявление о таксах, а сверху свою «отсрочку». Знания, приобретенные в мастерской у Марка Евдокимовича, что в Екатеринбурге, помогли мне соорудить штемпель. Кроме

того, я набрал разными шрифтами несколько «прописок», которые скопировал со своего паспорта. Отсрочку я выдал на имя киргиза Бен-Али-беева, Букеевской волости, Павлодарского уезда. Пусть после убийства ищут Всеволода Иванова!

Номера «Царьград» оказались убогими. Трое моих бывших друзей остановились, видимо, здесь затем, чтобы собираемые «комплекты» не подумали худого: хорошие номера наводят на плохие мысли. Подумают, что не на курсы набирают, а куда-нибудь в более горькую обитель, вроде курганского «барса».

Тощая дверь висела на одной петле. В коридоре воняло хуже, чем на конской ярмарке. Направо в номере пьяный длинноволосый человек орал невыносимым дискантом. Увидав меня, он выскочил, усталоса на меня белесыми глазами и торопливо спросил:

— Водку пьешь?

— Нет.

— Притворяешься! Знаешь, что попрошу взаимы. Все равно, дай три рубля!

Он отступил от меня, когда я остановился возле одиннадцатого номера.

— Ты сюда? Пока не поздно, отойди. Пойдем ко мне лучше водку пить. Они у меня револьвер спрашивали, и по глазам вижу, что не для заклада.

За столом грузно сидел Филиппинский в пальто и в шапке. В номере было нетоплено. Петр Захаров, накиннув на плечи офицерскую шинель, небритый, всклокоченный, пытался играть на ломанном гребешке. Пашка Ковалев прижимался к печке. У ног его стоял пустой чемодан. Рот его был раскрыт, лицо изображало последнюю степень горя, а тощие руки чуть заметно колыхались.

Я остановился на пороге.

— Петр!

— Я уже, Всеволод, не Петр. Я — Василий Македонский. Честное слово.

Он провел рукой по пустой своей груди:

— Видишь, нету ни Георгиев, а значит, ни моего имени. Наврали, брат! Все наврали! Кушцы, генералы, аптекари, врачи, заводовладельцы, извозчики! Был я и в Пруссии, был я и в галицийской

битве. Всюду шел впереди, но всюду меня сбивали с ног труссы. Они своими сапожищами так меня мяли, что мне приходилось уползать с фронта на карачках. Подконец немцы шибанули, что из всего полка уцелело пятнадцать человек! И понял я тогда, что конец российским армиям, Всеволод! Напился. Чрезвычайно здорово напился! Но тем не менее поступил в полном уме и трезвой памяти, то-есть плюнул на полковое знамя. Мои Георгии ушли сообща, как старый снег с новым. Понял я, Всеволод, что, подружись с дураком, будешь глотать кровь. Короче говоря, дали мне за плевков на полковое знамя три года дисциплинарного батальона, из которого я убежал в Курган. Ясно?

— Ясно.

Петр Захаров улыбался. Говорил он грустные слова, потому что так привык говорить, но сейчас он уже веселился, и его огорчало только то, что гребешок чересчур изломан и в него нельзя сыграть. Свой рассказ, как всегда, он сопровождал датами, цифрами, названиями городов, фамилиями ученых, которые жили в этих городах:

— Я бы и в дисциплинарном батальоне прославился, так как мне усталость не знакома, как и старость беззаботному. Но вспомнил я про Нубию. Сколько людей страдает. Животное трогательное. к обиженным устремится, ну и ее немцы и ухлопают. Зачем? Люди могут быть дураками, а животное при чем? Пришлось увезти ее в Курган. А в Кургане, слышал, скупает масло Филиппинский. Вот, думаю, унаследует мою Нубию, прокормит, а смотрю — он сам горюет.

— Горюю, — сказал Филиппинский.

Толстое лицо его действительно стремилось передать страдания. Он даже как будто слегка и в весе сбавил.

— Страданиями, говорят, очищаются, — сказал я.

Петр Захаров улыбнулся всем своим пряничным лицом и засиял всеми своими необыкновенными зубами:

— Ударь самого себя ножом, Всеволод. Если не будет больно, тогда желай такого же очищения и другому.

— Что же произошло у него страшного, Петр?

— Для нас непонятно, но для него чудовищное горе. Жена ушла.

Филиппинский покрылся слезами. Ревность охватила его. Он побабровел. Он поднял было кулак, раскрыл было рот.

— Я любил ее!.. Ласкал!..

Он хотел подробно рассказать, как и почему полюбил он Ирину Терентьевну и как удалось ему показать себя хорошим настолько, что она согласилась полюбить его на всю жизнь, и как долго он размышлял об этом, пока не поверил ей. Но вместо этого рассказа, который должен был утешить его, из толстого его рта один за другим полетели анекдоты, глупые, скучные, перед последней фразой, которая должна была неожиданностью своей рассмешить слушателя, снабженные необыкновенным количеством совершенно ненужных и дурацких подробностей о том, какого цвета усы у говорящего, как он морщит лоб, влево или направо, какое у него веко, припухшее или, наоборот, тонкое, какие жилки в глазах и сколько зубов выдается в верхнем ряду, а сколько в нижнем и как расположены бородавки на подбородке.

Филиппинский скорбно повесил голову. Но вскоре слезы опять потекли у него, и он сказал:

— Как я ее ласкал!.. Что я делал ради ее ножек...

Но анекдоты опять помешали ему рассказать, что же он делал ради ее ножек. Это было, пожалуй, неплохо, потому что ножки у Ирины Терентьевны отвратительные, и не стоило особенно размышлять о них. Любовь, как это выяснилось теперь с точностью доопрровержимой на Филиппинском, весьма странная штука! Да мне и самому пришлось и придется еще наверно испытать весьма разнообразные положения, вызванные этим чувством. Вследствие таких размышлений мне стало даже несколько жаль Филиппинского, но я преодолел себя и крепко ухватился за револьвер.

Филиппинский помолчал, потер себе лоб, затем взглянул в скорбные лица своих друзей и решительно сказал:

— Застрелюсь!

Петр Захаров отложил гребенку:

— Если два попа соберутся, они поспорят, как бабы, но один поп силен,

как двадцать два человека. Из этого я вывожу заключение, что одного попа, который воздействовал бы на нас всех, не подыскал, а с двадцатью двумя попами нам драться скучно. Следовательно, не жди помощи от религии, Ковалев.

— А он что свершил?

— А он, Всеволод, проиграл казенные деньги, которые ему выслали для укомплектования девиц. Семьсот целковых продул! Даже завидно. Теперь четверо суток уже живет сверх положенного ему нарядом.

— Не четверо, а шестеро, — скорбно сказал Пашка Ковалев. — И на чем проиграл? На бильярде, в американку.

Петр Захаров сказал:

— Мы выписали тебя, Всеволод, чтобы ты одолжил им револьвер. Я посмотрю, посмотрю, даже, может быть, со скуки и сам застрелюсь.

Я почувствовал радость. Я имел возможность без особого труда уничтожить моих бывших друзей. Не колеблясь, я вынул револьвер и вложил его в пухлую руку Филиппинского.

Петр Захаров кивком своей курчавой головы одобрил мое решение.

— Денег у нас нет, Всеволод, за номер не плачено. Что же касается наказания, то мы уже написали документ, и этот пьяный орало, у которого мы просили было револьвер, засвидетельствовал его своей печатью. Он — зубной врач. Если ты не раздумал уехать в Индию, то наша смерть поможет тебе.

Петр Захаров указал мне на документ, который лежал на столе, а из-под него он вынул маршрут. Красная черта совпала с теми селами и городами, которые я надумал пройти, дабы попасть на Памир. Заботливость Петра растрогала меня. На минуту я даже пожелал, чтобы курчавый павлодарец уцелел.

— А ты убежден, Петр, что мертвецы после смерти не мучаются? — сказал Пашка, глядя на револьвер, который Филиппинский держал на своей ладони, поддерживаемой коленом.

— Безусловно убежден. Быстрей, Филиппинский, стреляйся, другим пора! Еще, глядишь, хозяин полицейского приведет, за номер взыскивать.

Филиппинский, рассматривая толстый барабан револьвера, сказал протяжно:

— Вот еще случился тоже нежный случай. Теленка она спасла. Ведет она этого теленка и видит, лежит котенок. Другая бы прошла мимо, а Ирина Терентьевна передает его мне. Принесли котенка домой, пустили к молочку, а я хотел кренделек с'есть, потянулся, да и каблуком наступил случайно на голову. Он даже и не чихнул. Кто знает, не с того ли случая она разлюбила меня?

Петр Захаров поцеловал его. Филиппинский зарыдал. Пашка Ковалев тоже поцеловал его. В раму дуло отчаянным холодом.

— Ты не смотри на окно, Всеволод. Раму выставили для твоего удобства. Выстрелим, кинутся к дверям зрители, — куда тебе бежать? Ты и брошишься через раму. А возле ворот стоит Нубия. Заседланная.

Он взял у меня маршрут и, улыбаясь, провел по нему пальцем:

— Прекрасный маршрут! Мне бы вести вас по нему. Но, к сожалению, я дал слово, что умру, если война не кончится в три месяца. Да, кстати, стоит, Всеволод, подумать и над тем, как я, русский дворянин, плюнул на полковое знамя, которое двести лет никто не оплевывал.

Он крикнул:

— Стреляй, Филиппинский.

— Прощайте, — сказал Филиппинский.

— Прощай, Филиппинский, скоро встретимся.

Захаров выпрямился, выпятил грудь. Он стоял бледный, решительный, и я сразу поверил, что он не только застрелится сам, но и застрелит остальных, если они будут колебаться.

— Поднимай, Филиппинский, — воскликнул Захаров.

Филиппинский повел толстыми своими губами вправо и влево. Ему мучительно хотелось рассказать анекдот, но воздуха нехватало для фраз, и мы лишь слышали буквы: «Н...о...т...м...». Эти буквы соединить в слова было невозможно, да и сами буквы обладали весьма странным звуком, смысл которого я не берусь описывать. Губы Филиппинского шеве-

лились, как бы не имея сил остановиться, но вот мизинец правой его руки медленно согнулся, чтобы приблизиться к ореховому дереву, которым была отделана ручка револьвера. Сердце мое трепетало. Я пристально смотрел на дуло револьвера, которое, вздрогнув, приподнялось и снова упало на колено. Вслед за мизинцем к рукоятке револьвера пополз безымянный палец. Он неподвижно остановился, как человек, который уже вышел на улицу, но который еще не решил, стоит ли ему идти в гости, где ждут его обычные сплетни, обычная водка и обычная плохая закуска. Человек норовит почесать локтем бок, оглядеть улицу. Вот появилась из соседних ворот старушка и высморкалась. Человек пожелал ей доброго здоровья, и старушка поблагодарила его. Старушка давно уже свернула за угол, давно уже прошла следующий квартал, а человек все еще стоит, норовя локтем достигнуть бедра и думая о том, что не выйдет ли еще старушка и можно ли предположить, какого она будет цвета. Человек смотрит в небо на тусклые облака, замешанные без всякой любви и охоты к этому делу, а так просто, по небесной обязанности. Человек зевает, раскрывает ноздри, чтобы самому высморкаться и пожелать себе доброго здоровья. Но его нос совершенно не по-обычному смирен, — и человек пускается в путь! За безымянным пальцем поднялся от колена средний палец. Он осмотрел окрестности, как генерал осматривает войско во время парада, приподнимая свое грузное тело на стременах и поправляя козырек фуражки, чтобы солнце не светило в глаза. Вытянулись войска, трубы оркестра играют марш, затем другой, третий, а генерал все еще поднимает тело... Указательный палец ринулся к револьверу и вместе с ним быстро, если это определение возможно применить к Филиппинскому, подскочил и большой палец. Мы напряженно смотрели, как револьвер пошевелился в руке. «Началось!» — думали мы. Дуло повернулось к окошку, потом направилось к дверям, а вскоре опять склонилось к сукну, которое обтягивало колени. Филиппинский посмотрел в потолок. Он раскрыл рот. Мы привыкли к его медли-

тельности, но наблюдаемая нами медлительность была подлинно чудовищной. Во мне нехватало бы цифр, чтобы сосчитать те мгновения, которые прошли, когда револьвер наконец оторвался от колена и под углом в 45° медленно направился к пухлому, круглому и влажному рту К. С. Филиппинского. Револьвер явно торопился. Но Филиппинский нес его медленно и важно. В тишине, которая воцарилась в нашем номере, можно было расслышать и разглядеть, как по голубоватому свету, который, отражаясь от сугробов, пересекал раму с ее бурой оконной замазкой и наполнял нижнюю половину комнаты, создавая некие пыльно-голубые ступени, — как по ним толчками поднималась рука Филиппинского. От пристального взгляда глаза мои болели, и я перевел взор свой на стену. Вверх по перегородке полз жук, тот, что с овальным телом и длинными ногами, тот, что ведет обычно ночной образ жизни и что имеет буровато-желтую окраску и крылья длиннее брюшка. Он бежал, быстро перескакивая через щели в дереве, которые были плохо забелены, так что стена казалась и не белой и в то же время не желтой. Жук умело миновал тряпки, которые торчали между плах и котормы, видимо, соседи защищали сложение своих возлюбленных от нескромных взоров. Жуку попадались на дороге какие-то невидимые мне препятствия, через которые он иногда перепрыгивал, а под некоторые подлазил. Может быть, ему встречалась паутина, на которую еще не успела осесть пыль, а может быть, нечто более противное, потому по выражению его хари надо было понять, что прусак чрезвычайно бранится. Вторую половину дороги он бежал гораздо быстрее, чем первую. Так он добежал до потолка и остановился возле гвоздя, на котором висел кусок полосатой веревки. Кто знает, возможно, это вешался неудачный постоялец, а скорее всего, это просто сушили траву для настойки. Прусак смотрел на эту веревку очень деловито, как будто размышляя, стоит ли ему ее брать. Потоптавшись на месте и даже присев на задние лапки, прусак решил на какое-то дей-

ствие, для чего он обежал кругом гвоздя раз двадцать, не меньше, затем опять присел, подумал и вдруг ринулся обратно. Он спустился вниз к полу с тем же неугасимым умением, что и прежде. На полу он быстро нашел отверстие, нырнул туда, и вскоре вместе с ним вылез из темного угла матово-бурый жук, как вам наверно известно, обильный в пекарнях и знаменитый тем, что для его развития — от начала кладки яиц до совершенной формы, требуемой от черного таракана, — нужно четыре года, причем зародыш в яйце развивается круглый год. Утверждают, что благодаря такому медленному развитию, если тщательно наблюдать за ними, черных тараканов легко вывести, но и травить их вообще не рекомендуется, ибо черные тараканы в виде настоя или порошков искони составляют русское народное средство против водянки, а в научную медицину введены знаменитым Боткиным. Не буду говорить, что жуки рассуждали о водянке или Боткине, хотя при виде Филиппинского они имели все основания для этого рассуждения, но, как бы то ни было, оба таракана в довольно близком расстоянии друг от друга, умело обходя препятствия, побежали вверх, причем прусак брал вправо, а черный таракан предпочитал левую сторону. Тараканы забрались на гвоздь, побывали на веревке, опять вернулись на гвоздь, а затем обычной тараканьей рысью направилась потолком. Они уже приближались к тому месту потолка, от которого, если протянуть руку, то можно было дотронуться до затылка Филиппинского, который в это время еще револьвер не довел и до половины пути. Тараканы совершили какое-то свое дело на потолке, а затем направилась обратно. Бежали они долго, отдыхая и беседуя, но все-таки наконец скрылись в щель пола, и наверно они уже выпались, когда свершилось то, что должно было свершиться, то-есть Филиппинский поднес револьвер ко рту, положил указательный палец на снаряжение, которое приподнимает курок, полусогнул палец — и слегка надавил. Курок качнулся, приподнялся, и вслед за тем...

(Продолжение следует)

Три стихотворения

ЛЕВ ДЛИГАЧ

1. ХЛЕСТАКОВ

Не занавес распахнут настезь,
А туча,
 после трех звонков,
Бесшумно рвется на две части
И собирается с боков.
.
Тогда выходит Хлестаков.

То в темноту его отбросит,
То, скрещиваясь второпях,
Его ударит
 и подкосит
Прожекторов короткий взмах.

Впотьмах
 едва мерцают взгляды —
Какой сухой
 и жадный
 блеск!

Замрет
 и снова рвет преграды
Аплодисментов резкий всплеск.

Лицом к толпе,
 живой
 и прыткой,
Его поставят
 на свету,
Чтоб жизнь ему казалась пыткой;
И смерть была неумогу,

Чтоб на ветру,
 как полшалок,
Порхала легкая стена,
Чтоб на него из тьмы дышала
Устойчивая тишина.

И он поймет,
 что мир непрочен,
Что сердце чахнет под ребром,
Что хуже тысячи пощечин
Рукоплексаний первый гром.

1934.

2. ПРОЩАНИЕ

Я курил,
 я в козы ножки скручивал
Тысячи исписанных страниц,
Чтоб увидеть,
 по примеру Тютчева,
Пламя
 «сквозь опущенных ресниц».

Для тебя ж мое стихотворение —
Вдох и выдох,
 даже дыма нет,
Возникает на одно мгновение

Гаснувший
 и обреченный свет,
Ты могла бы все стихи
 при случае
Променять
 на зябкий звон монет,
На чечетку
 или на трескучее
Черствое
 веселье кастаньет.

Лучше попросаема заране,
 Чтобы
 песнь
 и мысль,
 и честь,
 и власть —

Силу крови,
 сердца
 и сознанья

Ты не смела
 ни судить,
 ни клясть.

Зря ты озираешся по-разному
 И рукой касаешся лица,
 Только силе совести
 и разума

Я останусь верен
 до конца.

Я молчу,
 пока во мне не вызрело

Ощущенье жизни
 и пока,
 Как волна,
 как ожиданье выстрела,
 К сердцу приближается строка

Я скажу,
 что мы берем течение,
 Как ручьи,
 бегущие вразброд...

Это все невыгодно для чтения,
 Это сводит судорогой рот,

Но в строфу такую заколочено,
 Словно в гроб из четырех досок,
 Все,
 что самой темной червоточиной
 Прохватило сердце
 и висок.

1935.

НАЧАЛО ЛЕТА

Уже прошла мгновенная весна,
 Но много и сейчас дневного света —
 Непостоянство ветренной природы,
 Июньский воздух

 и сиянье моря,
 Обширный шум
 деревьев
 и воды.

У железнодорожного пути

На узкой
 и некрашеной
 скамейке,

Заметно вздрагивая от прохлады,

Сидит
 и дремлет
 холминский священник

С продолговатым
 и сухим
 лицом.

Совсем утих настойчивый прибор.
 Но вот подходит пригородный поезд,
 Священник поднимается внезапно
 И начинает суетно креститься

На окна,
 отражающие небо,
 На торопливый паровозный дым.

В кустах царит смятенье певчих птиц,
 Заря уже охватывает горы,
 А снизу слышен слабый шопот моря,
 К нему сбегают белые ступени
 Построенного полукругом зданья,
 Живым огнем
 среди воды
 и неба

Бушует на ветру
 высокий флаг.

За этими холмами
 южный лес

Безмолвствует
 и диким счастьем дышит,

В листе мелькает пестрая рубаха,
 И так понятны все приметы ночи —
 Следы копыт,

 коня глухое ржанье,
 Примятая
 и влажная трава.

1935.

Пятая армия

Книга первая

МОСКВА 1918 ГОДА

Роман

РАИСА АЗАРХ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ПЯТАЯ

Партийный комитет помещался в небольшом доме напротив, наискосок от Совета. В район входили через сад, где распускающиеся яблони чередовались с отцветающей сиренью. Войдешь, и сразу делается спокойнее: нерешительность, озабоченность остаются где-то позади. Марина это почувствовала сегодня особенно ярко.

В саду она увидела Латышева, который при ее приближении отпустил наклоненную ветку сирени и стал деловито оглядывать фруктовые деревья. Марина расстрогалась. Она знала нежность Латышева к детям, а теперь такая любовь к цветам! Кажущаяся холодноватость Латышева ее никогда не обманывала. Улыбаясь, она сочувственно слушала: нет нужной деловой обстановки; работники двух районов срабатываются с трудом; он, Латышев, будет просить собрать после актива экстренное бюро,— это нужно сделать именно сегодня, потому что докладчиком от Московского комитета будет Сергей Кудрявцев. Латышев надеялся на поддержку Лерс, которая в этом споре ничьей стороны не держала.

Затем Латышев спросил Марину, как она устроилась и как живет в новой

квартире; как держатся соседи; что это за странный командир и можно ли ему доверять; встречается ли она дома с Горловым, который, по слухам, тоже на Пустой поселился. Вспомнил о ее выступлении на прошлом заседании Совета.

— Я подумал, узнали вы соседа поближе. В быту, небось, фразой не прикроетесь.

На прошлом пленуме Совета Марина, действительно, резко выступила против левых эсеров, и в репликах попало Горлову. Обсуждался вопрос о продовольственных отрядах, и эсеры, правда, еще сдержанно, защищали интересы, по их словам, «трудового» крестьянства.

— Кого вы так называете? — спросила Лерс.

— Всякого, кто работает, у кого на руках мозоли, у кого руки трудовые, — удивив всех неожиданной злобностью, бросил ей Горлов.

— Кто ходит в овчине, добавьте, — в тон ему ответила Марина и попросила слова. Выросшая в деревне, она образно нарисовала облик кулака и лавочника. Она напомнила слушателям забываемые места из «Коммунистического манифеста» о стадии первоначального накопления капитала, когда эксплуататоры для прибылей не жалеют ни себя,

¹) См. «Новый мир», кн. 5 с. г.

ни жизни близких, ни здоровья, ни детей.

— Аппелируйте к своим основоположникам, а мы к живой жизни обратимся!—крикнул ей с места Горлов.

— Не видите вы живой жизни, шоры у вас на глазах, только кулак один и приметен. Жизнь идет мимо вас. Разве вы не знаете, что в деревне в союзе с беднотой уже действуют первые делегаты рабочих! Они сумеют дать хлеб промышленным центрам, как бы вы ни помогали кулачку, если только вы не будете подбивать середняка...

— Хорошо вы тогда Горлова отчитали, — продолжал Латышев. Ему время от времени нужно взбучку давать. Храбрый он парень, но зарывается. Привык, чтобы его по шерстке гладили.

О митинге на Электрическом Лерс Латышеву ничего не сказала; было неловко за электрийцев, которые так плохо подготовились к встрече с эсерами, хотя бы и левыми.

В парткоме в коридоре несколько человек обступили высокого человека, к которому подошел и Латышев. Это и был Сергей Кудрявцев. Марина прошла мимо, заспешив к Ермилову, секретарю ячейки таможи, и стала объяснять, почему сегодня не пришла на военные занятия.

— Начнем, пожалуй! — становясь в позу дуэлянта, пробасил Пятницын голосом, совсем не идущим к его небольшому росту.

— Начинай, начинай, вот только кончать как будешь, — полусуто-полусерьезно сказал Иванов. Ему хотелось сегодня поговорить с Пятницыным по-душам, как он выражался.

Кудрявцев разглядывал собравшихся. Он не был в районе три-четыре недели. Люди возмужали, стали вдумчивей, серьезней, спокойней. Незаметно для себя он старался разыскать Лерс. Она не выбирала своих, как это делали многие, — для нее здесь, на активе, все были свои, — и сидела в левом углу, в сторонке.

— Уговоримся: сначала информация с мест, а потом доклад... или наобо-

рот?—стараясь быть очень демократичным, начал Пятницын.

— Что предлагает райком?—спросил Латышев.

— Как решит собрание.

— Не гоже! Надо предлагать четкий порядок, — и он вопросительно обвел глазами актив. — Мне думается, раньше доклады секретарей, общая картина района, а потом всей страны.

Предложение Латышева было принято. Пятницын старался скрыть свое недовольство под добродушной улыбкой.

Говорили секретари ячеек, председатели заводских комитетов. Вырисовывалась картина, отличная по деталям, но всюду имелись общие черты. На крупных фабриках и заводах, где работало в среднем двести-триста человек, на заводах, где имеются постоянные рабочие кадры, настроение стойкое. С провокациями всяких эсеров справляются без труда. На мелких предприятиях, где партийные ячейки молоды, — хуже: чаще колебания; все зависит от хлеба. Хлеб — решающее, центральное. Отлично держатся женщины: на парфюмерных фабриках, в пошивочных мастерских, где в большинстве работают женщины, замечательное настроение. А ведь женщинам с ребятами приходится особенно трудно.

Секретарь с «Эрманса» прочел слова работницы, наказ рабочим, уходящим в продовольственные отряды:

— «Не ссорьтесь с крестьянством, берегите бедноту, дружите с середняком. Оно, знаешь, средний часто то в ту, то в другую сторону шатается. Место у него такое: каким ветром поколышет. А ты на него нашим ветерком, пролетарским! Огонь по кулаку, а середняцкий ветерок — в придачу. Он и сгорит, окаянный!..»

— Это браковщица, член партии, — разъяснил секретарь, читая свои записки дальше.

— «... Да пуше всего себя от соблазнов оберегай. Как потянешь руку к краюхе, вспомни своего Мишутку, — у него изо рта вырывается...»

И каждый видел своего и соседского Мишутку, детей всего района, всей страны, которых надо какой угодно це-

ной накормить, хотя бы впроголодь, но так, чтобы и малые дотянули до нового урожая, до лучших дней.

Кудрявцев говорил суровато, немного резонерски, скупко подбирая слова. Он дополнял уже известные сообщения о чехословацком восстании, зачитывал документы, которые ярко подчеркивали участие союзников в нападении на советскую землю, говорил о сговоре всех контрреволюционных партий, выступивших против трудящихся. Разрозненные факты принимали стройную, цельную связь. Налицо единый фронт врагов,— это чувствовал всякий.

— А левые эсеры? — спросил с места Емельянов. Он был очень недоверчив, всюду ему чудилась измена, — резкая противоположность Иванову, который всегда надеялся на хороший, счастливый исход.

— Сегодня они вместе с нами, но нет никакой гарантии за завтрашний день. В серьезную минуту они могут так колебнуться, что закачают все их добрососедские намерения. Это же основная черта мелкобуржуазной прослойки, которую они представляют.

— Откуда взялись целые чехословацкие корпуса? Кто их вооружил? Как они проникли вглубь страны? Как им удалось захватить железнодорожные узлы, всю Сибирскую магистраль? — слышались вопросы со всех сторон. Сегодня всем хотелось знать все подробно и точно.

— Союзники готовили против Германии воинские части из пленных солдат бывших австрийских колоний, куда входила и Чехословакия. Эти формирования начались в 1915 году. Первая дивизия уже при Керенском участвовала в июльском наступлении. Собирались перебросить ее на французский фронт, да помешал Октябрь. А после Октября решили уже целый корпус оставить в России для борьбы с большевиками. Начали вольницу с мнимой переброской его сначала через Мурманск, а потом через Владивосток, стараясь выиграть время и занять нужные оперативные пункты. Надо прямо признать, что врагам это удалось. Они использовали нашу покладистость и желание закончить

дело миром и выступили, когда это им было нужно, разжигая ненависть солдат к Советам клеветой, что советская власть не хочет пропустить их на родину.

— Быстрый успех чехословацких войск объясняется слабостью Красной армии и полной неподготовленностью на далеких окраинах.

— Волга — совсем не окраина, — сказал кто-то.

— Здесь мы и даем отпор, — ответил Кудрявцев.

— А Красная гвардия уральских рабочих? — перебил его Лагофет. — Ведь это же боевые части с отличным командованием, хорошо вооруженные отряды! Я был там и знаю.

— Выступление чехословаков совпало с роспуском уральских и сибирских частей Красной гвардии, вернее, с их перестроением.

— Как так? — понеслось недоуменно с мест.

— Это совпало с формированием из Красной гвардии Рабоче-крестьянской Красной армии. Этим и воспользовались враги.

— Значит, мы никакого отпора не дали? — растерянно спрашивали многие.

— Точных сведений пока нет. Конечно рабочие перестраивались на ходу. Но положение тяжелое, и товарищи должны это знать. Покуда не только не удалось провести разоружение чехословацких частей, но что мы расчитывали, но мы не смогли и защищаться.

— Мудрено это сделать голыми руками, когда Красную гвардию распустили! — сказал кто-то промко.

— Положение Советской страны напряженное. Отрезаны хлебные губернии. Донская контрреволюция рвется на соединение с чехословацкой и сибирской. Скорейшая организация боеспособной регулярной Рабоче-крестьянской Красной армии, смягчение продовольственного кризиса — вот задачи, стоящие перед партией, — закончил сдержанно Кудрявцев.

По особой сжатости речи Сергея и его подчеркнутой строгости Марина поняла, что предстоят тяжелые, ответ-

ственные дни. Вот так он говорил 15 сентября, вернувшись с заседания Московского комитета, где было решено октябрьское выступление. Вот так он делал сообщение и только трем товарищам, в том числе и ей, сказал о принятом решении.

Марина почувствовала, как часто-часто у нее застучало сердце. Сейчас решится, оправдала ли она такое доверие! Поймаша себя на этой мысли, подумала: «Хорошо ли беспокоиться о доверии к себе?» — и тут же ответила: «А что в этом дурного, ведь это же доверие моей партии...»

Актив расходился сдержанно и молча, и каждый думал о своей работе, о порученном ему в такой решительный момент участке.

Возле Кудрявцева собралось несколько человек, и он сказал Пятницыну: «Соберем узкое бюро, человек пять», и сам назвал имена.

Они собрались в боковой комнате. Кудрявцев спросил, что это за люди, которых он видел на активе впервые.

— Район пополнился приезжими, многие приехали из оставленных нами городов. Ребята ничего, говорливы только, — объяснил Пятницын. И он стал жаловаться, что рогожцев затирают, что на руководящей работе всюду симоновцы.

Пятницын удивился, когда Кудрявцев попросил его отбросить территориальный признак в оценке работников, а говорить, чем плох Орлов, кого можно дать получше, кто будет крепче Иванова, на котором и он не настаивает.

— Но за него горой Латышев, ни одним своим поступиться не хочет.

— И заслуженно, — ответил Кудрявцев.

— Вот на Электрическом чуть собрание не сорвали!

— Чуть не считается. Выбрали хороших товарищей в продовольственные отряды, а Камкова с музыкой проводили! Об этом и надо говорить! — И он ласково и нежно поглядел на Марину. — Электрички настоящие пролетарии, и чутье у них верное. — Кудрявцев опять поглядел на Марину, но теперь уже с

хитрецей. Она поняла, на что он намекал.

—

Это было в октябре, в последний день восстания. Ночью она оставила цепи симоновских рабочих у стены Китай-города. Симоновцы брали Ильинку. Противник занимал неприступные, казалось, твердыни, командные высоты Китай-города, Кремль. Кудрявцев послал ее поднять весь район, вооружить всех, кто может носить оружие, и Симоновка, несмотря на то, что лучшие уже были в центре, дала еще сотни и сотни. К рассвету грузовики выходили на Таганку. Лерс ехала на последнем из них. Неожиданно передняя машина остановилась. Когда озабоченная Марина вышла узнать, в чем дело, она увидела, что сидящие на головном грузовике Семен Потапович Смирнов и Ирина Ивановна машут ей. Возле машины стояла группа людей, и в предрассветном тумане она узнала близкого ей человека. Больная нога Марины сразу отказалась служить. Марина сделала над собой большое усилие, чтобы подойти поближе, и могла только выговорить:

— Вы-ы-ы?

— Как видите.

— Но мы мобилизовали всех, мы едем, мы не можем не взять... Как же вы...

— Ушел? Да? Ну, договаривайте: сбежал в ответственную минуту...

— Нет. Но ведь Кремль не взят. Наши отряды...

— Они уже вышли на Ильинку, баррикады опрокинуты...

— Но Ильинка — самый опасный пункт, Кремль...

— Кремль скоро будет взят. Мы успешно продвигаемся. Частями командует Горлов. Мое место сейчас в районе.

Он не сказал больше ничего, но чувствовалось осуждение. Как она могла, как она смела не понять, что в этом уходе Кудрявцева с Ильинки лучше всего сказало отсутствие позы, ложного героизма, никому ненужной отваги! Как могла она не понять, что

Кудрявцев не ушел бы, если бы победа не была обеспечена. Он укоризненно покачал головой и приказал отряду продвигаться быстрее.

Сейчас, слушая Сергея, Марина уловила в его словах что-то новое, упорное и настойчивое. «Одно дело не взять, другое дело отдать завоеванное». Такое сравнение она делала между октябрьскими днями семнадцатого года и днями июньскими восемнадцатого.

Скрестятся ли их дороги?.. На фронт... Как оставить сына?.. А семья Сергея?

Лерс помнила небольшую, хрупкую женщину с выразительными, грустными глазами, которая в октябре пришла в штаб из Замоскворечья. «По мостикам, видимо, перешла» — удивлялись товарищи. Женщина что-то застенчиво говорила Кудрявцеву, когда он, нежно похлопывая, отвел ее в сторону и в чем-то убеждал. Успокаивал, что ли? Тогда впервые Лерс подумала, что у Сергея есть личное, которое пытается его оторвать, и почувствовала радость за себя, что для нее все это уже позади, а вместе с тем где-то в тайниках души — неосознанную жалость, что такого человека нет, и по-детски нельзя на него порой свалить свою слабость.

Эта молчаливая женщина совсем выпала у Марины из памяти в дни восстания и всплыла вновь, когда, после подписания мира с юнкерами, вдвоем с Сергеем они ехали в замоскворецкий штаб. Теперь путь был свободен, не надо было пробиваться через заставы и патрули белых.

Сергей задержал автомобиль у небольшого домика.

— Я только на минутку забегу домой, переменню рубашку, — как бы извиняясь, сказал он.

В нижнем этаже был свет. Через тюлеву занавеску Марина видела мягко освещенную комнату, силуэты людей.

«Здесь он живет с той тихой женщиной... Красный абажур. Странно...» Ничего враждебного к жене Сергея, к дому Сергея у нее не было ни тогда, ни после.

Приехав в беженский поселок, он удивленно разглядывал ее малыша.

— Кто бы мог подумать, что у вас сын... многие об этом не подозревают. — И добавил: — Вот бы Вале с ним играть.

Лерс знала, что так зовут его 12-летнюю дочь.

— Он еще маленький, чужим с ним трудно, — сказала она.

— Какой же он Вале чужой, если это ваш сын? — И Сергей впервые нежно погладил руку побледневшего друга.

Больше они ни о чем не говорили.

Только по четвергам, — это был день пленума районной думы, — утром Марина одевалась тщательней обычного, стараясь скрыть это от самой себя. В эти дни Кудрявцев (он был председателем думы) приезжал в район... Заседания были бурные, волнующие, радостные. Кудрявцев писал ряд записок членам фракции, намечая порядок выступлений. Особая записка, лаконичская и бодрящая, направлялась Лерс. Она читала между строк нежность, отвечала сдержанно и официально. Но зато выступления ее были страстны, искрометны и разящи.

Они так редко виделись!

Был май, конец или середина. Был пленум ВЦИК. Московские районы прислали руководителей. Марина знала, что сегодня она увидит Сергея. Они встретились у выхода.

— Какая вы юная и белая, — ласково оглядывая ее, сказал Кудрявцев. — Тоньше стали и ростом выше.

— Вы куда? — спросила Лерс.

— Сам не знаю. К себе не охота, ночь уж больно хороша. Если хотите, пойдемте вместе...

Они пошли безлюдными, по-весеннему звенящими улицами.

— Мостовые, тротуары совсем не убираются, — по-хозяйски разглядывая город, сказал Сергей.

— Плохие вы хозяева! Дворников заставить мести не умеете, очищать город еще не научились!

— Почему мы плохие хозяева? А вы какие?

— Лучше вас. Вот подойдем к нашему району, сами увидите. Мобилизовали мусорщиков, заинтересовали их: даем понемногу фуража на лошадь, а они должны вывезти определенное количе-

ство мусора. То же сделали и с ассенизационными обозами, с банями. Ведь нам самим с этим карликовым хозяйством сразу не справиться. Мы подсчитали, сколько у нас школьников, сколько организованных рабочих. Обязали банщиков, выдав им немного угля, доставить в Совет 30 тысяч бесплатных билетов и роздали через школьные советы и через завкомы. Вывозкой мусора, канализацией, банями район обеспечен. Это все мы проделали у себя в районе. Теперь принимаем хозяйство рогожцев. Они сразу всякую мелочь национализировали, а подготовить ничего не сумели. Бани стоят, мыться негде. Вот и думаю: почему это так у нас все по-хозяйски, а у них по-иному.

— Потому, что у вас хорошее пролетарское ядро, — ответил Кудрявцев (он стоял, облокотившись на перила моста у Яузы). — Послушали бы нас поэты. В лунную ночь, — и он шутя указал на отблеск луны в грязноватой воде, — об ассенизационных обозах, о мусоре, о банях. И кто же! Дама моя, такая белая, светящаяся...

— Поэты должны о жизни живой писать. Сегодня мы говорим о хлебе, о банях и об ассенизационной бочке. Придет время, и в такой же мягкий майский рассвет, глядя на чистые улицы, на город с его благоуханными садами, они вспомнят и боевую музыку первых дней борьбы... Я ее слышу, — сказала Марина глухо, склоняясь вниз. — А сегодня — «все схватить и все вместить, все обнять и все принять».

Кудрявцев удивленно слушал эти задушевные, горячие слова. В них чувствовалась энергия, неиссякающая вера...

— Слушайте, Марина, — он впервые назвал ее по имени, — отец вашего сына в Москве или в Украине?

Этот вопрос, повидимому, давно бродил в тайниках его души.

Лерс быстро обернулась, лунные блики упали на ее открытый, чистый лоб. Почти год она в Симоновском районе, этот год состоял из тяжелых дней и ночей, занятых борьбой и работой. И никто из товарищей ни разу не спросил ее о личном. Почему Сергей считает себя

в праве изменить обычной сдержанности и пролетарскому такту? Может быть... Нет, Марина не хотела сказать себе — что это может быть такое? Знала, но сказать даже самой себе не могла.

— Отец моего сына здесь, в Москве, — ответила она просто.

— Член партии?

— До революции — большевик, мы вместе работали, после февраля ушел к интернационалистам, теперь, кажется, собирается обратно возвращаться.

— Вы с ним видите? — Сергей знал, что Марина живет с сыном одна.

— Нет, почти нет... Недавно, по весне, встретились случайно... И, знаете, — она улыбнулась, — он нес букет ландышей и купавок, как в первый день нашей встречи. («Ты моя неповторимая купавка» — вспомнила Марина его первую ласку.) Он честный, достойный человек, — быстро добавила она, — но ему еще много нужно, чтобы сделаться настоящим бойцом.

— А как же с сыном? — стыдась своей назойливости, тихо продолжал Кудрявцев.

— Сын мой? Отец его ни разу не видел. Таким, каким Троков был до сих пор, он нам не нужен. Да дело не только в нем... Но об этом когда-нибудь после, — твердо сказала Марина, и Сергей понял, что сейчас об этом она ничего больше не скажет.

«Этот человек одинаково пламенно может любить, работать, жить и бороться. Чудесный человек! — думал он. — Но с ней мне не по себе. Это ко многому обязывает и от многого будет меня отвлекать... Нет, нет, — перебил он себя, — будет помогать, двигать вперед!» Но он уже не мог пересилить свое смущение. Хотелось крепко, крепко обнять Лерс. И что-то удерживало. «Дора чувствует мою отчужденность и тихонько плачет по ночам. Забьется в уголок и плачет. Валюшу надо беречь, — впереди такая дорога. Дочь надежней всего оставить с матерью. Не ломать же мне именно сейчас сложившиеся десятилетиями отношения. А на другое Марина не пойдет. Если это настоящее, большое, — оно не исчезнет. А сейчас

надо в руках себя держать» — решил Кудрявцев.

Лерс видела все его сомнения, старалась понять сокровенные движения его души.

«Он прав, — приходила ей в голову мысль, — он большой, старший, все понимает, разумно распределяет силы и знает исход».

Но боль, не спросясь, ползла к сердцу, затуманивала белую ночь, луну, украшивала печалью все вокруг.

«Ничего, — встряхнулась Марина, — будет другие весны».

«Он был прав» — думала она, слушая сейчас Сергея.

Кудрявцев говорил:

— Возможны всякие неожиданности. Сохранение сил — первая задача. Если придется уйти в подполье, надежные люди должны остаться на местах. Главное — московские кадры сохранить за Москвой. Намечается переброска работников из одного района в другой, их постепенное изъятие, чтобы в нужную минуту рабочие массы могли опереться на сохраняющуюся организацию. Основное — подготовить руководство, биться за каждого человека, подготовить смену. Часть работников должна своевременно уйти в подполье. ЦК партии дает директиву сейчас произвести отбор, с тем, чтобы эти товарищи незаметно уходили по намеченным районам. Я думаю, что уже сейчас можно перебросить товарища Лерс в Пресненский район, врачом на Трехгорную мануфактуру. Это важный и трудный участок.

— Я думаю, лучше не обсуждать сейчас, кто куда пойдет, — неожиданно для всех сказала Марина.

— Зачем безымянное обсуждение, — возразил ей Пятницын. — Мы сейчас в таком составе, что можем и людей намечать.

— А как ты думаешь, Орлов? — Кудрявцев знал глубину и прямоту Орлова.

— Подготовить план надо обязательно, — отвечал тот. — Может быть, и прибегать к нему не придется, но пробная мобилизация всегда нужна.

— Наметить можно, а снимать не надо. Нельзя сейчас людей консервировать. Не понадобится все это. На фронте, — вот где сейчас нужны руководители. К этой мобилизации, к этой посылке готовиться надо, — настойчиво повторяла Лерс.

— Вы отказываетесь? — нахохлился Пятницын.

— Не отказываюсь, а думаю, что надо выбирать участки наиболее острые, наименее защищенные. В Красную армию, вот куда надо идти, — настаивала Марина.

Она потом догнала Кудрявцева у выхода.

— Вам не стыдно заботиться так о моей шкуре?

Он не сразу нашелся. «Шальная какая-то, надо ее пристыдить. Ну, получай!» — подумал с болью и сожалением.

— Мелкобуржуазные интеллигенты, товарищ Лерс, — сказал он, — часто мечтают о том, чтобы умереть красиво. А вот, чтобы длительно и настойчиво работать... — и он сделал маленькую паузу, — куда труднее.

Марина оторопела, постояла молча несколько минут и вдруг сообразила: «Сергей защищается, — как же я этого сразу не сообразила. Я его поймала, и он это нарочно, чтобы обидеть. Но я перехитрила и не обижаюсь». И она понимающе и сочувственно попрощалась с Сергеем, оставив его совсем растерянным.

«Если, действительно, надо перейти на нелегальное положение, то Трехгорка — самое подходящее место. На Пресне меня в лицо никто не знает, район на другом конце Москвы. И на фабрике сейчас плохо...»

За двенадцать лет царская опричнина выудила с Трехгорки, кого могла, выпустила тех, кто оказался с руки. К Октябрю меньшевики распустились там таким букетом, что Пресненский районный ревком не только не мог положитьсь на трехгорцев в бою с юнкерами, но и опасался удара с тыла. Знаменитые в 1905 году спальни Трехгорки теперь служили сборным пунктом врагов всех оттенков и калибров.

«Но как быть с сыном? Здесь его оставить нельзя, брать с собой, — тем более» — упорно и тревожно думала Марина.

Нянька заметила, что уже второй день мать задумчивей обычного, больше времени проводит с ребенком и, возвратившись поздно ночью, простаивает подолгу подле его кроватки.

«Печалится, сердечная, а с чего бы! Малец здоров и весел. Может, у самой на душе горе какое? И откуда бы? Все к ней с почетом. На что буржуи, и те первые кланяться стали... А может, падают они? Куда она мальчика тогда денет? Никого у ней нет. Разве в деревню к себе забрать?» — размышляла крестьянка.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Они шли, ни о чем не думая, молча глядели на прызноватую воду Москва-реки у Яузской луки, на жидкие огороды, на свалки мусора у самого берега, на подернутое, вечерней дымкой Замоскворечье, спокойно здоровались с прохожими. Здесь все знали их в лицо, и все же вряд ли кто догадывался о том, что в движении они отдыхали сейчас бессознательно, выключая из сознания только-что пережитое.

Изредка Воинова осторожно поглядывала на Марину, пряча в глубине глаз неостывшую тревогу.

Их дружба началась с Октября, когда электрические изолировщицы сделались почти сплошь разведчицами, а Ольга Воинова была среди них самая молодая, самая застенчивая и самая настойчивая.

В те дни Воинова один раз очень обиделась на Марину. Та потребовала ее ухода из Московского совета перед началом атаки. Ольга сделала вид, что выполняет распоряжение начальника разведки. Но в самую решительную минуту, когда юнкера, взяв приступом стену, шагнули во двор и бой разгорелся уже внутри, Лерс с удивлением увидела, что Воинова лежит подле нее у главных дверей бывшего генерал-губернаторского дома, хладнокровно встав-

ляя обойму за обоймой. Марина заметила, как ловки пальцы у Ольги. Когда юнкера были отброшены, Марина прихватила с собою Ольгу. Она приехала в Совет с донесением и по дороге наемкнула изолировщице, что ее слушание является нарушением партийной дисциплины.

Ольга была в партии с четырнадцатого года, в Москву приехала еще девочкой, — старшенькую дочь мать привезла к отцу на завод. Ее часто посылали, куда требовалось, с листовками, с оповещениями. После смерти отца Ольга осталась и на заводе, и в партийной организации большевиков. Она не поверила Марине, что совершила партийный проступок. «Чтобы припугнуть меня, так говорит. Думает, что я маленькая, а сама на много ли старше». Ольга привязалась еще больше к Марине, когда у той родился сын. Тогда для всех женщин Симоновки Лерс стала сразу ближе, родней. Часто тайком от Марины работницы приходили на Пустую — поглядеть на малыша...

Марина и Ольга шли медленно, бессознательно растягивая дорогу от переезда до Электрического. Они знали: сейчас начнутся расспросы; часть рабочих пошла вперед и наверно рассказала о случившемся. Говорить об этом не хотелось, как не хочется вспоминать тяжелый сон, от которого так радостно проснуться.

Лерс неясно помнила, что произошло: она не успела как следует понять случившееся.

С Ольгой было по-иному. Уже в начале митинга чувствовалась тревога. Поденные рабочие из кожуховских огородников, кондукторши из обывательниц (митинг шел в трамвайных мастерских Прессового завода) — весь этот «индустриальный пролетариат» был выдвинут вперед. Небольшая группа постоянных рабочих стояла в стороне. Возле них и шныряли эсеровские главарь, Соколов и Мухин, перешептываясь и показывая на пришедших гостей.

Когда Лерс, докладчик от Совета, начала говорить о задачах открывающегося сегодня V съезда советов, ее прервали криками, ревом, кое-где и бранью.

Марина постояла несколько минут, внимательно глянула в лица озлобленных кондукторш и вдруг неожиданно спросила, обращаясь к одной из них, стоявшей рядом и кричавшей особенно неистово: «Катались ли вы когда-нибудь на гигантских шагах?» Та, захлебнувшись, с открытым ртом, сразу не нашлась, что сказать. «А что?» — спросили сразу несколько голосов. Многие знали, что Лерс любит рассказывать на собрании что-нибудь занимательное.

— Вот со мной, когда мне было шесть лет, произошел такой случай, — начала в тоне беседы Марина. Катаемся мы, деревенские ребятишки, как-то вечером на гигантах. Вся деревня вышла глядеть, сидят на камнях, что вокруг тока, — дело уже под осень, обмолотили. Ну, мы, конечно, стараемся, всякие фигуры выделяем. Я не из последних. Когда взлетела вверх, видно мне, что стадо по дороге вдоль тыча идет. Лечу вниз, и вдруг... — Марина сделала паузу, все слушали, застав дыхание, — и вдруг тихо стало, только, вижу, мать моя побелела и бежит по току. Тут только заметила и я, что от стада отделился бык, которого мы все смертельно боялись. Он забодал в селе не одного ребенка. Вот этот-то бык и бежал на нас. Выходило так, что мне спуститься приходится прямо ему на рога. Что же делать? Деваться некуда, стала опускаться. Но, пролетая через быка, наклонилась и оттолкнула рога. Он вихрем пронесся мимо...

Кондукторши захлопали в ладоши. А Лерс в это время уже говорила о военной опасности, о наступлении врагов, о силе рабочего класса. Ее слушали сочувственно, и, как Мухин ни старался, недоужелобие массы было сломлено.

Ольга напряженно следила за Мухиным. К этому собранию левозеровские главари готовились, видимо, долго. Прессовый был их единственной опорой.

Когда Мухин сунулся ближе к Воиновой, она насмешливо и громко сказала: «Разъяренный бык!», а кругом засмеялись. «Уж если она, — показала одна женщина на Марину, — шести лет не побоялась, то теперь...» И рядом с ней

засмеялись. Лицо у Мухина перекошилось, он о чем-то переговаривался с Соколовым.

Соколов неожиданно пошел прямо на Ольгу. В цехе было просторно, и она на мгновение потеряла Мухина из виду.

«Где он? — превожно думала Воинова. — Неужто от злости, что дело их сорвалось, ушел, не солоно хлебавши?»

Вдруг Ольга почувствовала — больно и тревожно защемило сердце. Пробовала овладеть волнением, успокаивала себя, глядя на улыбающуюся Марину, которую видела сейчас вполоборота. Нет, тревога не проходила. Невдалеке спокойно стоит Соколов, и Ольге почему-то кажется, что он старается отвлечь ее внимание. Где же Мухин? Она должна найти Мухина.

Воинова резко обернулась, искала его по всему цеху. Мухина не было. Вдруг она поймала злорадную и еле заметную усмешку Соколова. Ольга впиалась в него взглядом, — нет, ничего, сиять спокоен. Ей только показалось; и не смотрит в ее сторону. И опять какое-то дуновение. Из-под опущенных век взгляд Соколова метнулся вверх. Воинова глянула туда же. Там, на выступе у крана, над самой головой у Лерс, уложены были железные болванки. Сначала Воинова ничего не заметила, но потом ей почудилось, что наверху кто-то возится. И прежде чем она успела понять, что произошло, передняя, самая большая, болванка закачалась и с грохотом понеслась вниз.

Воинова закричала так, как будто убивали ее единственное и последнее дитя: «Лерс, берегись!» — и бросилась к ней. Марина оглянулась и подалась немного в сторону. Болванка пронеслась со свистом, задев край платья, и сплющила станок на том месте, где только-что стояла Лерс. Марина даже не оглянулась на Мухина, застрявшего на ступеньках лестницы. Его стягивали вниз — свирепо и молчаливо, а, стянувши, отвели на горку щебня, что был навален в углу.

Как радостно и легко теперь ей говорилось! Неожиданно из толпы сами предложили наметить кандидатов в производственные отряды, но Марина по-

советовала выборы производить вместе с автомобильным заводом.

Обычно спокойная и молчаливая, Воинова на обратном пути все время пыталась заговорить.

Чувствуя ее волнение, Марина старалась как-нибудь смягчить случившееся:

— Может быть, это нечаянно у него получилось.

Воинова недоверчиво покачала головой: она-то все видела.

— Нет, нет, это преднамеренно, с подготовкой. Под болванками и станок внизу поставили, чтобы с него говорить.

— Может быть, он по собственной инициативе. В порядке самостоятельности, — шутливо продолжала Марина. Ей так хотелось утешить Ольгу. — Ну, и болван же косоглазый, нацелился хорошо не сумел, — неожиданно расхохоталась она.

От этой детской вспышки им обоим стало легко и весело.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— «Пятый съезд, — читал вслух неопределенной профессии человек у фасада Большого театра. — Пятый, значит, большевистский, это их номер на выборах».

— А, может быть, это означает: последний большевистский, — многозначительно ответил ему мужчина посолонней, с небольшой бородкой, по виду учитель. — Видали вы, какие лица у прохожих? — продолжал он громко. — Все злые, голодные! Вот там, — и он указал на Театральную площадь, — спросил я, где Большой театр, у человека совсем трудовой наружности: сапоги, рубаха под ремень... спросил, где мол, съезд открывается? Так он на меня так глянул, словно ножом пырнуть хотел. Ничего и не ответил. Нет, думаю, надо узнать, в чем дело. Догоняю: «Почему, товарищ, вы мне ничего не ответили?» — «Товарищ! — передразнил он меня. — Что ответить прикажете? Сехали, заседать будете. Сапоги снять решите! Так я вам их и отдал!» — И прочь быстро от меня пошел. Ненавистью так и пышет. Рабочий или служащий, непременно трудящийся. На ком они дер-

жятся, на ком только они держатся, это в Москве-то про-ле-тар-ской (он растянул это слово), где вся их партия собралась? А в провинции, а на местах! Что нам римская пятерка вещает?

Делегаты шли широкой волной, некоторые останавливались у колонн, собирались в группы. Марина вмешалась в толпу, прошла до двери, а потом также задержалась у колонн подъезда, где остановились и «вещуны», заблудившиеся на Театральной. Со стороны Петровки лился другой поток, в большинстве рабочие Москвы, гости верхних ярусов. Марина заметила, что от этого потока отделяются знакомые лица и вклиниваются в ряды делегатов. Здесь же происходят знакомства, товарищеские встречи. По отдельным словам, по незначительным выражениям можно было точно установить политический и общественный облик человека.

Вдруг кто-то обнял Марину сзади. Она резко обернулась. «Вещуны» насмешливо глядели, что будет дальше.

Перед ней стоял Стрелков. Он смотрел удивленно. Серые глаза его, такие ласковые в Октябре, когда она приходила в Замоскворецкий штаб за подкреплением для Симоновки, глаза, ставшие зеленоватыми, когда на митинге в 55-м полку Стрелков отбросил офицера, напавшего на нее наган, — эти глаза сейчас глядели совсем иначе. Он привык встречаться с Лерс в очень трудные, ответственные минуты. На протяжении полутора месяцев они вместе ловили банду, обворовавшую банк, и жизнь их все время висела на волоске...

Тогда молодая женщина играла роль богатой дамы, приехавшей с Юга, чтобы получить по чекам свои «кровные денежки». А как ловко раскрыли они шайку жуликов, присосавшихся к народным деньгам! Как театрально она уронила платок, давая сигнал, что полтора миллиона уже получены, и вся система выдачи денег прошла у нее перед глазами. По этому сигналу Стрелков снял перчатки, — условный знак для введенного внезапно патруля закрыть двери и начать аресты. Потом, много лет спустя, он уверял товарищей по организации, что, действительно, в былое

время, он носил белые перчатки, и обижался, если ему не верили.

Марина поняла, что Стрелков удивлен, почему она не вмешивается в беседы, не ведет агитации. Она не смогла бы объяснить свое поведение, но ей казалось, что сейчас надо слушать, и делала именно так.

— Почему на вас так много оружия навешено? — с добродушной улыбкой спросила она.

Стрелков удивился.

— Небось, я комендант, людей размещаю, с'езд охраняю. Что же мне, с палочкой прогуливаться?

— От кого охраняете? — в один голос спросили «вещуны», стоявшие рядом с Мариной.

— От кого придется, мало ли врагов у республики... Да и сыроватых наощупь друзей немало, — добавил он.

— Ну, эти в дружескую тогу и не драпируются! Открыто ходят и, как все враги, спят и видят падение советов. Вот только срок не могут установить...

«Вещуны», поняв, что Лерс далеко не совбарышня, все же решили блеснуть перед нею своей ученостью.

— Ваши луперкалии не за горами, приближаются мартовские иды.

— Какой март приближается, когда июль только начался? Не рехнулся ли ты, товарищ? — сказал Стрелков.

— Это они для пущей важности, инсказательно.

— Что это значит?

— На празднике луперкалий во время бегов Юлий Цезарь получил предупреждение о готовящемся на него покушении. В мартовские иды Брут, подстрекаемый Антонием, убил Юлия Цезаря. Что вы хотите этим сказать? — обратилась Марина к «вещунам». — Бруты вы или Антонины? Худобой и желчностью, правда, на Кассия смахиваете, а злобой... — и она рассмеялась.

— Не всегда все точь-в-точь повторяется, история, она разнообразна, чертовка, — каркали «вещуны».

«Пока вместо мечей болванками оперируете» — подумала Марина.

Когда новый поток отнесил «вещунов», Стрелков обратился к Марине:

— Странно ведут себя левые эсеры! Левизна их стоит другой правизны... И все они на один манер выражаются. Этот вот о каких-то идах, а Попов мне насчет лошади. Едем мы с ним сегодня вместе, подо мной серая лошадь. Вдруг он и говорит, этак многозначительно: «Завтра я буду на белом коне...» И с чего это у людей ум за разум заходит?

— Положение трудное, трусят они, вот и шарахаются. Хотят высокопарной фразой прикрыть свой животный страх...

— Чорт их знает, может быть, и вправду трусят. Вот сейчас почему-то к товарищу Дзержинскому льнут. Сегодня с ног сбились, все его разыскивают, говорят, дела какие-то особо важные. Шуму от них немало, да как бы этот шум чего-нибудь не прикрывал!

— Вряд ли. Пустое. Языком больше мелют.

О Прессовом ей говорить не хотелось. Они прошли вперед и остановились возле одной шумной группы. Марина узнала «вещунов». Здесь же стоял и Горлов.

— Фракция, спрашиваешь, какая? Ехал сюда — была левоэсеровская; мы елещкие. А теперь не знаю, в какую и итти, — говорил крестьянин в зипуне и в заячьей шапке.

— Где же, товарищ, ваша партийная дисциплина? — деланно-добродушно заметил «вещун». — Куда вас выбирали, там и сидеть должны.

— Это где же сказано, что я сиденьем прирасти должен? Все уму подчиняется. Сяду там, где голова прикажет. Выбирали! Выбирали с одним, а здесь другое запели...

— А что здесь запели? — спросил Горлов.

— На фракции ораторы про войну бубнили. Говорят, с немцем замиряться не надо было, а воевать до победного конца. Сладкие песни Керенского! Только за последние месяцы все мы от них отвыкнуть успели...

«Вещун» зачастил быстро, быстро, как заученное:

— Немец все забрал, хлеб, мануфактуру, золото вывозит. («Ну, пусть золотом давится, на что оно нам» —

успел вставить елецкий делегат.) Сюда посла своего посадили, Мирбах ему фамилия,—подделывался «вещун» под народную речь, хотя елецкий делегат говорил чисто и раздельно. — Слышали? Так вот вместо своих у нас немецкие буржуи заправляют. Большевики под их дудку танцуют, пикнуть не смеют. Как что, они сейчас с них контрибуцию! А про Украину слышали? Как его большевики откупились и украинских трудящихся предали смерти... Товарищи! — тут «вещун» заговорил с пафосом: — Трудовые массы скажут на этом съезде свое слово! Народ сбросит немецкое иго!

— Ин, брат, плетешь ты несусветное! — заметил елецкий делегат. Где это немецкие буржуи? Какой день по Москве хожу, хоть бы один попался. Русские буржуев видел, украинских встречал, они меченые, а немецких не привелось еще...

— Не слушай, товарищ, этого брехуна, — вмешался Горлов. — Какой губернии? — спросил он у «вещуна», придвинувшись к нему вплотную.

— А вы по какому это праву меня допрашиваете, гражданин большевик? — хорохорился «вещун».

Горлов выхватил делегатский билет, фракционную карточку и стал вертеть ими перед самым его носом.

— Левый эсер, как видите, гражданин! — Горлов заволновался, распахнул ворот гимнастерки. — Подпольный, настоящий! Теперь много таких пришло, которых мы раньше к ногтю брали! Я — левый эсер и комиссар милиции всей Москвы. Видал, как большевики нас «притесняют»? Теперь ты отвечай: какой губернии?

«Вещун» с'ежился. Он, повидимому, был непрочь юркнуть в толпу, но сзади стоявшие Лерс и Стрелков мешали ему...

— Какой губернии? Причем тут губернии? — заюлил он. Но, видя, что от грозно наступающего Горлова не отделаться, промямлил: — Ну, Тамбовской...

— Это у вас недавно восстание против советской власти было? Не ты ли его организовал? Немедленно поставлю во фракции вопрос о твоей политической проверке! Врагов революции

ВЦИК постановил в выборные органы не допускать...

Крестьянин обрадовался:

— Вы рабочий, левый эсер? И с большевиками? И за мир?

Горлов прямо сказал:

— С большевиками всегда буду и был, а насчет мира не согласен! Надо было бы еще повоевать, можно было лучшие условия мира выговорить.

— Сказывали товарищи, что выговаривали, да на свою шею! Если бы сразу немецкие условия приняли, столько бы у нас не оттяпали! А если бы торговались и дальше, то совсем бы без власти остались...

— А что ты ее, власть, без хлеба укусишь? — вернул «вещун».

— Тебе ее не укусить, не достанешь, а сама она всех врагов выкусит с корнями! Ей-богу! Вот как верю в нее, во власть нашу! — ответил ему елецкий делегат и прибавил в некотором раздумье: — Только в эсеровскую фракцию не пойду! Как вы думаете, товарищи рабочие? — склонился он на Лерс, как бы показывая, что к ней вопрос не относится.

Горлов обиделся за Лерс.

— Видите, какие у большевиков женщины! Молодые, хорошие, крепкие. Не глядите, что хорошо одеты — на руку и на характер крепче стреляных бойцов, — раз'яснял он крестьянину.

— Большевистская армия! Ею они против немцев защищаться будут, — хихикнул «вещун», — а пока-что покоряют эсеровских боевиков!

Горлов рванулся и схватил его за борду. «Вещун» встал, как вкопанный. В толпе раздался смех.

— Бросьте, Горлов! — сказала Лерс. — Это ведь ваш товарищ по фракции. Он уже, как вся белогвардейская мразь, исчислил наше существование июлем восемнадцатого года! Придется брадоносца разочаровать. Не один еще июль ляжет на его голову.

Толпа все редела, близились часы открытия съезда.

Стрелков провел Лерс в центральную ложу, еще носившую название «царской», а сам пошел проверить караулы. «Мартовские иды» не выходили у него

из головы. «Что бы все это означало? Сегодня у него произошел такой разговор с заместителем председателя чрезвычайной комиссии Прошьяном: «Как у вас обеспечена охрана съезда? Достаточно ли караулов? Как они расставлены? Покажите мне план!»—заявил тот. «При себе плана не ношу» — ответил Стрелков, чувствуя, как документ в нагрудном кармане френча сразу стал горячим. Он Прошьяну непосредственно не подчинялся. «Но я должен этот план утвердить». — «Утверждено, кем следует, и публикации в бюллетене не подлежат». И Стрелков вышел, не прощавшись. Ему казалось, что он был прав. Без нужды он и своим товарищам по партии списка караулов и их расположения не показал бы, а здесь все же левый эсер.

Говорил Свердлов, и его гортанный рокоток мелодично обтекал ложи, ярусы, падал вниз и возвращался на сцену, где среди декораций выделялось небольшое свободное пространство.

Лерс видела там знакомых и по фракции, и по московской работе. Левые эсеры и на сцене, и в зале занимали правую сторону, заменив собой отсутствующих правых эсеров и меньшевиков. Большевики, около 800 человек, сидели слева и в центре. Здесь не было ни суеты, ни волнения. Зато направо бурлило: люди ходили, вставали, перешептывались. Лерс заметила, как из президиума вышла Спиридонова, подошла ко второму ряду и с кем-то переговаривалась. Лерс показалось, что в окружившей Спиридонову группе был и Мухин. Камкова, старого знакомого по Электрическому, она узнала сразу. Он сидел молча подле Владимирского и что-то записывал в блокнот.

Спиридонова, стоя в зале, продолжала разговаривать и тогда, когда Свердлов огласил постановление о «пленных, томящихся на чужбине».

Сидевший рядом с Лерс сказал своему товарищу:

— Задабривают, думают, вернуться—большевиками станут. Прочитаются: они видели твердую власть, с легальны-

ми социалистическими партиями, этих не проймешь.—И он передразнил:— «Шлет горячий привет нашим пленным, томящимся на чужбине, и с нетерпением ждет возвращения братьев солдат, которые займут свое место в борьбе за советскую Россию и за социализм». Ага, вот и разъяснение, почему стали братьями: погромчики начались на русско-германской территории.

— «... Съезд клеймит позором те пружпы, которые пытались задержать посылку сухарей нашим военнопленным, стремясь вызвать на этой почве голодные погромы!!» — читал Свердлов.

— И двадцать пять миллионов, что посылают, не помогут,—злоствовал сосед Марины.

Вдруг комментатор оживился, приподнялся, заволновался: слово было представлено Александрову.

Волнуясь и все время держа голос на верхних нотах, Александров заговорил, приподнимаясь на носках и раскачиваясь в такт речи:

— Приветствуем V Всероссийский съезд советов рабочих и крестьянских депутатов от нелегального крестьянского съезда, происходящего на Украине!—Он молча победоносно ждал, пока закончатся овации.—Приветствуем V Всероссийский съезд, происходящий в стране, где осуществляется беспощадная диктатура классов, от съезда, происшедшего в стране, где осуществляется еще большая диктатура буржуазии, опирающаяся на всю мощь германского империализма. Помещикам возвращена вся земля, расстреливают членов земельных комитетов, расстреливают восставших крестьян, окружая деревни тяжелыми орудиями и сметая с лица земли все население деревень. Пускают удушливые газы в леса, где засели партизанские отряды...

«У нас лесов нет, восставшие скрываются в шахтах, а туда, наверно, тоже пускают газы»—подумала Лерс. Она знала, как опасно под землей присутствие газа; отец часто рассказывал о синеватых огоньках—вестниках смерти.

Было неясно направление левозсеровского выступления, и машинально она думала о доме: «Где сейчас сестры,

брат, мать? Деревенское кулачье наверно отыгрывается на моих близких...»

— ... В Одессе ночью было арестовано двадцать три рабочих, и через три дня их нашли полузакопанными в землю, расстрелянными и недострелянными...—продолжал Александров.

«Давид, муж сестры, если будут мучить, может и открыться, но брат Абраша стиснет зубы и умрет молча. Может быть, оба они уже в балке мертвые лежат»—пронеслось в мозгу у Лерс. (Она была неправа. Как оказалось, муж сестры, взятый заложником за Лерс, умирая, после пытки, просил передать Марине, что держался, как надо.)

— ... Во всех углах, во всех городах Украины вы можете встретить белые листочки, которыми немецкие военные полевые суды оповещают о совершенных казнях. Сейчас восстановлены и возвращены все жандармы, все полицейские, все прежние слуги старого, царского режима...

— ... Но украинское трудовое крестьянство и украинский пролетариат умеют бороться и борются со своими врагами!..

Лерс поднялась с места, когда весь съезд бурно аплодировал Александрову. Свердлов, стоя вполоборота к Александрову, тоже сочувственно хлопал.

— ... Сейчас на Украине во всех почти губерниях вспыхивают восстания...

— Нельзя допускать отдельных выступлений,—сказал кто-то подле Лерс:— их перебьют всех поодиночке.

— ... Сейчас, — продолжал Александров, — по официальному сообщению самих немцев, один Звенигородский уезд стоил им шесть тысяч. Теперь это идет стихийно. Могу сказать определенно: Украина находится в периоде вооруженного восстания против австро-германского империализма!..

В эту овацию Лерс не встала. Осталась сидеть и большевистская часть президиума. Ясно чувствовалось, что это только разбег. Прыжок рассчитан дальше.

— ... Вы, товарищи, знаете, что советская власть на Украине выбросила Центральную раду, но эта Центральная

рада, заключившая сепаратный мир в Бресте, призвала на помощь австро-германских империалистов, и после того, как здесь был заключен Брестский мир ценою Украины, они пришли на Украину и свергли там советскую власть...

— Позор! — крикнул кто-то из правого сектора.

Большевистский сектор съезда молчал, насторожившись.

— ... И сейчас, товарищи, когда, быть может, V Всероссийский съезд советов созван благодаря тому, что немцы удовольствовались Украиной, быть может, цена Всероссийского съезда измеряется жизнью десятков тысяч украинских рабочих и крестьян. Сейчас я здесь от имени нашего съезда обращаюсь ко Всероссийскому съезду советов с просьбой: придите на помощь! придите на помощь!

Расчет на чувство был взят правильно. Члены съезда встали с мест; гул голосов, овация. На левом секторе — недоумение. Ясность вносит Свердлов:

— Я прошу товарищей на местах не кричать и дать возможность оратору продолжать!

— ... И мы твердо верим в то, — продолжал Александров, когда шум немного стих, хотя возбуждение на правом секторе все не улеглось, — что вы нам дадите возможность напрячь все силы для борьбы. Вся надежда украинского трудового народа на то, что нам здесь помогут, что во имя условий Брестского мира нам не будут отказывать ни в оружии, ни в возможности формирования частей. И мы твердо верим, что, чем скорее оттуда уедет гетмано-украинский посол барон Муми, тем скорее отсюда будет изгнан барон Мирбах!

«Теперь все ясно» — решила Лерс. Большевистская фракция молчала. Справа неслись возгласы, выкрики.

Спиридонова стояла, внешне спокойная, поправляя сбившиеся на уши начесы из косы. Черепанов дергал сзади Свердлова, который звонил, устанавливая порядок.

Голос Свердлова заглушил шум:

— Я не сомневаюсь, товарищи, в том, — сказал он, — что сочувствие

всего настоящего собрания на стороне... (Шум усилился, раздались выкрики: «Сочувствия мало!») ...я не сомневаюсь в том, что сочувствие данного собрания на стороне тех рабочих и крестьян, которые до сих пор продолжают отстаивать свои социалистические идеалы, итти за них на смерть повсюду, в том числе и на Украине. Но я верю, что политический вопрос, который был поднят в приветственной речи, найдет свое отражение в определенной воле с'езда, а не только в тех или иных восклицаниях. Наша революция, вся работа с'езда должна будет подвести итог всей советской работе, начиная с прошлого с'езда. Дело самого с'езда указать, правильно или неправильно велась вся работа. Только в этом решении с'езд сможет выразить свою волю. Я не сомневаюсь, что преобладающее число тех овадий и аплодисментов, которые получил оратор, относилось не к его словам, а целиком и полностью к борющимся украинским рабочим и крестьянам.

И сразу все сделалось ясным, как будто Свердлов объяснил каждому, что каждый пережил и передумал во время речи Александра.

Свердлова все время пытался прервать Камков, но не так легко было его заглушить! Казалось, Свердлов только собирает силы, зная, какое еще сопротивление ему придется преодолеть.

— Слово для приветствия имеет председатель социал-демократии Латвии, недавно приехавший оттуда товарищ Данишевский, — воскликнул он, вставая.

— Вам, представителям рабоче-крестьянской России, привет от порабощенной, истерзанной трудовой Латвии! — начал Данишевский. — Отрезанная от вас мечом империалистической Германии, она мыслит с вами одно и стремится к одному. Она стремится собрать силы для дальнейшей борьбы с полчищами мирового империализма и для воссоздания красной Латвии с великой красной рабоче-крестьянской Россией... Товарищи, как ни казался нам жесток Брестский мир, оставляющий, между прочим, и пролетарскую Латвию на

растерзание империалистическим бандам и местным баронам с капиталистами, мы отлично понимаем, что эта жертва необходима, чтобы дать возможность рабоче-крестьянской России покончить с ужасающей разрухой и контрреволюцией и собрать все силы для продолжения борьбы с мировым империализмом при лучшей мировой и внутриполитической обстановке. Товарищи, мы принесли эту жертву, как необходимую и разумную, в интересах общего дела!..

Марина встала, подошла к самому барьеру, облокотилась и стала впитывать в себя каждое слово, каждый оттенок мысли Данишевского. Во-время отступить, собраться с силами, чтобы, выбрав нужный момент, решительно и победоносно перейти в наступление, — как нехватало этого умения ей самой!

— ... Даже больше того, — продолжал Данишевский, — уже в начале переговоров в Бресте, к концу декабря, рабочие Латвии на нелегальном, но обширном собрании вынесли резолюцию за немедленное заключение мира, хотя бы ценою оставления Латвии за Германией!..

Марина покраснела. Она вспомнила колебания своей московской организации, высказывавшейся одно время под влиянием путаных умов против Бреста. Вспомнила свои собственные выступления на заводах, первую запись рабочих в отряды, горькое предварительное прощание с двухмесячным сыном, которого и покинуть было не на кого. Вспомнила, какой холодный душ вылил на разгоряченные головы представитель Питера, путиловский рабочий, с едким сарказмом обратившийся в театре Зимина к московскому активу: «Мы, питерцы, за подписание мира, но наши отряды уже стоят на границе. Вы, москвичи, против, за войну с немцами, а где ваши отряды?» «Значит, за Питером — латыши, крепчайшие большевики», — признала с сожалением, но с гордостью за товарищей Лерс.

— Мы следили за чудовищной мощью германского империализма и знали, что она обрушится на Россию и раздавит ее в случае дальнейшего упор-

ства, — продолжал между тем Данишевский. — Однако, товарищи, мы не пацифисты. («Еще бы!» — звонко крикнула Лерс, смутившись сама.) В Латвии борьба продолжается. Она ведется в ужасающе неблагоприятных условиях, в таких же, как те, о которых говорил представитель Украины. Царствует военная диктатура местных и прусских юнкеров. За распространение воззваний и политические разговоры с солдатами приговаривают к смертной казни, и уже расстреляно много социал-демократов Латвии. Пытками в Риге руководит лейтенант Лейман, ему помогают бывшие шпионы Романова. Бароны стали во главе вешателей и руководят респрессиями. И в этих условиях рабочие социал-демократической Латвии, — небольшой отряд, состоящий из сознательных коммунистов, — на последней конференции объединили поработенную трудовую Латвию. Но в преждевременную борьбу пролетариат Латвии не двинется. Здесь, в России, я отчасти ознакомился с положением и должен заявить, что мы еще находимся в процессе воссоздания сил. Преступно было бы бросить неорганизованную силу против полчищ мирового империализма! Преступно форсировать события!

«Да, это верно, — думала Лерс. — Полки наши еще малочисленны. В добробольцы идут те, кто не был на войне, у остальных же еще не прошли ненависть к войне и страх перед бойней. Он отлично все увидел и все учел».

— ... Пролетариат Латвии, — продолжал Данишевский, — дружно рвется в бой, но мы хладнокровно оцениваем соотношение сил и момент борьбы выберем такой, когда будем иметь наилучшие шансы на победу!

Марина, растроганная, не хлопала. Ей казалось, что это один из тех моментов, когда можно только тихо молчать, учиться и вооружать свою волю. То, что говорил Данишевский, было так логично, последовательно, так не походило на истерические выкрики Александра. Александр напомнил Марине деревенских кликуш. И здесь

ведь целая партия в кликушество впала!

— ... Но не на одни свои силы мы надеемся, — закончил свою речь Данишевский. — Наша борьба — это борьба международного пролетариата, и пролетариату России историей суждено быть в авангарде. Россия стала центром социалистической революции... Это и заставляет нас все свои силы передать в распоряжение Советской России!..

При этих словах весь съезд поднялся, вслед за большевиками и беспартийными встали и некоторые левые эсеры. Люди хлопали и что-то кричали. Каждому хотелось сказать Данишевскому, а через него — всему латышскому пролетариату, что их помощь и поддержку революция принимает с волнением. Все знали, что за этими словами стоят пришедшие в Москву в полном вооружении и в полной боевой готовности девять латышских полков.

Лерс видела, как из группы делегатов, где сидели беспартийные, поднялся человек. Он несколько минут глядел вокруг себя, а затем пошел на левую сторону. Места все были заняты, но ему сразу уступили стул. Лерс узнала елецкого делегата...

— Да здравствует красная Латвия! — провозгласил между тем Свердлов.

Эсеры снова встали, но молча и понуро. Ярусы сверху донизу хлопали; к президиуму неслась буря приветствий. Рядом с Мариной очутился старый знакомый, знаток римской истории, тамбовский делегат. Он был хмур и зол.

— Продолжали бы, что ли. Все хлопают да приветствуют, когда только работать начнут, — пробурчал он, когда Свердлов огласил повестку.

С поправками сначала выступил Архангельский, от эсеров-максималистов (была и такая разновидность в этой плодовой и разношерстной партии). Он внес, казалось, безобидное предложение: пополнить повестку докладами с мест, текущим моментом, земельным, продовольственным и финансовым вопросами. Видя, что съезд его не слушает, Архангельский завопил:

— Я обращаюсь к вашей трудовой силе, примите этот порядок, чтобы укрепить этот трудовой строй и дать возможность окрепнуть советской трудовой России!

— Как же это от увеличения вопросов будет крепнуть трудовая сила? — обратился к проходящему Стрелкову елецкий делегат, плотно и домовито увешанный в большевистской фракции. Стрелкова он запомнил и обратился к нему, как к знакомому.

— Это, товарищ, все для тумана, а цель одна — прощупать, сознательные ли здесь люди, или шатающиеся мешане.

Стрелков, сказав эту фразу, вдруг сам решил, что слишком замысловато выразился, и был недоволен своим ответом. «Никак не приучусь с крестьянами, как с рабочими, говорить. Все хочу сказать попроще, а выходит поглупее... Ну, да мое дело военное» — утешился военный комендант Большого театра.

После Архангельского выступила Спиридонова. Левые эсеры говорили по внешности спокойно, даже дружелюбно, не упуская однако случая исподтишка укуситься

— Наша фракция, партия левых эсеров, — заявила Спиридонова, — считает, что в повестке дня не хватает докладов с мест.

Потом она сослалась на плохую информацию, на обилие декретов, усвоение которых надо проверить:

— Возможно, что некоторые декреты диктуются самыми хорошими чувствами, но, может быть, они являются бесполезными, а может быть, даже вредными, и нам нужна какая-то правильная критика декретов. — Тут дружественный тон и спокойствие покинули Спиридонову, и она, уже выкрикивая, закончила: — Наша фракция предлагает всем, кому эти декреты кололи глаза и резали спину, всем голосовать за то, чтобы была поставлена информация с мест!

От той же фракции говорил Карелин, маленький, рыжеватый. Он предложил включить в повестку вопрос о смертной казни.

— Чего они так волнуются? — опять спросил елецкий делегат у Стрелкова, своего соседа. — Точно шило сзади, так и юлят, так и прыгают.

— Верно, отец, народ нервный, совсем расстроенный, о смерти говорят, чего-то боятся и врут! — сделал он неожиданный вывод. И сразу же целый ряд мелочей пришел для него в логическую связь: «Надо найти Дзержинского, — решил Стрелков. — Поеду к Трепалову, посоветуюсь». И он быстро вышел.

— ... Предложение о смертной казни... — продолжал между тем Свердлов. — Кто за то, чтобы поставить вопрос о смертной казни, прошу поднять руки. (Шум, крики.)

— Я, товарищи, — возмущенно повысил голос Свердлов, — призываю к порядку тех, кто позволяет себе делать гнусные выкрики!

Кричавшие притихли. Эсеры сидели смиренхонько под грозным взглядом Якова Михайловича.

— Порядок дня утверждается, — спокойно объявил председатель.

«Как будто на гору взобрались, — решила Лерс. — А с горы-то что увидим? Неспокойно как-то. Что они затевают?»

И как бы в подтверждение ее мысли на трибуне вновь появился рыжеватый человек. Теперь он оспаривал правильность мандатов и предлагал мандатной комиссии проверить их подлинность. Это был, по видимому, последний козырь левых эсеров, потому что на их скамьях началось большое оживление.

От большевиков отвечал Сосновский. В добродушной позе, с видом простачка, он насмешливо сказал:

— Мы должны констатировать относительно предложения, только-что внесенного товарищами левыми эсерами, что они пытаются с некоторым успехом заменить отсутствующих здесь правых эсеров и меньшевиков...

Сосновский попал не в бровь, а в глаз.

— Правда глаза колет, — сказала Лерс своему соседу, который вместе со всей эсеровской фракцией орал, свистел, топал ногами, пытаясь всячески произ-

вести побольше шуму и инсценировать массовый гнев.

— Я покорнейше прошу прекратить всякий шум на местах, — поднялся Свердлов. (Шум продолжался.) — Стыдно сказать, но ни на одном из съездов советов, где мне приходилось председательствовать, ни на одном заседании ЦИК, как бы ни разгорались страсти, не было такого положения, чтобы никакими мерами нельзя было восстановить порядок. Я покорнейше прошу, если у вас есть хоть капля уважения к себе и к съезду, говорить членораздельно.. Что же касается слов Сосновского, то я должен заявить, что, по моему глубокому убеждению, они ни в каком виде никакого возражения вызвать не могут...

Шум наконец начал стихать, или, вернее, Свердлов своим высоким, чистым голосом перекрыл визг и рычание, которое издавали эсеры.

— Буржуазная печать пишет, — продолжал Сосновский, — что это не съезд советов, а съезд служилых людей, подобранных большевиками. Это пишет буржуазная и правоэсеровская печать. (Голос справа: «Докажите, что это не так!») Я не хотел бы, чтобы эсеры повторяли здесь чужие слова о неправильном представительстве на съезде. Я

предлагаю придерживаться обычного порядка, а все остальные предложения отклонить...

«Не это им нужно, они уверены в отклонении; им необходимо заранее скомпрометировать правомочность съезда» — подумала Лерс.

Возбуждение на скамьях эсеров дошло до высшей точки, когда зачитывалась резолюция, что «решение вопросов о войне и мире принадлежит только Всероссийскому съезду советов и установленным им органам центральной власти — Центральному исполнительному комитету и Совету народных комиссаров. Никакие группы населения не имеют полномочий от советской власти брать на себя решение о перемирии и войне. Благо Советской республики есть высший закон. Кто этому закону противится, тот должен быть стерт с лица земли».

Из президиума вниз по мостикам, соединяющим сцену с залом, направилась группа во главе со Спиридоновой. Они шли через зал, и за ними поднялся весь правый сектор. Шумя и крича, они двинулись к выходу.

— Итак, фракция левых эсеров покинула зал заседания. Заседание Всероссийского съезда продолжается, — спокойно заявил Свердлов.

(Продолжение следует)

Два стихотворения

МАРК ШЕХТЕР

1. ДОЖДЬ

Ослепительным, кипящим,
Ярким, желтым рукавом
Зной накрыл сады и чащи
На сто двадцать верст кругом.

И пока он лез, назойлив,
Сквозь деревья, напролом,
Пахло в воздухе, грозой ли —
Не известно, но дождем.

Зной висел, подобный вару,
Плюшевой казалась пыль,
В облачках лиловой гари
Пролетал автомобиль.

И по шелковому лету
Шли отряды певчих птиц.
Но мечталось не об этих
Облачках и облаках.

Травы сохли на бульварах,
Заливалась стрекоза,
И мечтательные пары
Обращали вверх глаза:

— Мол, ответствуйте скорее,
Дорогие небеса,
Скоро ль грома батареи
На прицел возьмут леса,

Молний руки золотые
Скоро ль вас перечертят,

Дождь ли хлынет на кусты и
На мальчишек, на девчат,

На родной кусок вселенной
И на будущую рожь —
Совершенно откровенный,
Вертикальный, теплый дождь?!

Небеса висели немые,
Бездыханны и пусты,
Как невиданные шлемы,
Полные глухой воды.

Но лишь только грома голос
Прогремел среди забытья,
Небо страшно расколосось,
Как огромная бадья;

Дождь ударил гулко оземь
Мокрой шапкою своей
И прошел по всем колхозам,
По раздолью всех полей.

Влага хлынула сторицей
На простор зеленых мест —
Просветлели травы, лица,
Птичий заиграл оркестр.

А когда орудья грома
Пронесли последний гул, —
Первый секретарь обкома
За три дня впервой уснул.

2. ПЕЙЗАЖ

Опять начинает водиться
С толпою ветров осока,
За шиворот льется водица,
И дряблая туча низка.

Над складами, полными хлеба,
Глухая идет кутерьма —
Стучат в деревянное небо
Железным ухватом грома.

Опять начинается вычет
Жары и зеленых стеблей,
Рыдает опять и курлычет
Медлительный клин журавлей;

И над голубою равниной,
Над краем, что юн и богат,
Гортанный их выговор кинут,
Сто раз повторенный, стократ;

Он будет висет над Азовом,
Пока не качнутся слегка,
Причудливы и бирюзовы,
Верблюжьим горбом облака,

Покуда, играя косою,
Не глянет татарка в окно,
И низкое небо, седое.
Не ринется к рыбам на дно.

Год рождения 1905-й

Хроника одного детства

М. ЧУМАНДРИН

Часть третья

(Окончание ¹)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лето в этом году было жарким: за весь июнь выпало лишь два коротких дождя, в начале июля — вообще ни одного. Опасались засухи. Однажды тучи уже совсем было обложили город, с неба упало несколько крупных капель, ударил гром. Но поднявшийся ветер разогнал тучи, и, таким образом, июль начался тоже самое тревожной, задушливой погодой.

Пятого или шестого числа в газете было напечатано о рабочей манифестации, которая прошла в Петрограде и которая была обстреляна неизвестно кем.

Но здесь, в городе, пока-что все было спокойно. Правда, из губернаторского дома выставили прочь комитет Красной гвардии, у Исполнительного комитета отняли две комнаты и оставили ему только одну, в редакции «Власти труда» сделали обыск, но в остальном пока было напряженное выжидание.

На столбах, на заборах, на стенах домов белели большие воззвания:

«Товарищи, не давайте пальца в рот буржуазии и ее агентам! Выдержка и спокойствие! Центральный комитет нашей партии справедливо

заявил, что вся жизнь действует на нас, победа будет за нами. Не поддавайтесь провокации!»

Это большевики расклеили свои листовки. В городе была тишина. Шли слухи о том, что из Москвы губернский комиссар затребовал еще солдат, но определенного никто ничего не знал. Из города отправили куда-то два полка, остался лишь 97-й, но и из него два батальона были тоже вывезены из города и заменены запасными.

Опять по городу начали ходить слухи о подвигах Платонова: то там, то здесь происходили грабежи, налеты на сберегательную кассу, на земский склад, увели коней, да прямо из-под носа военного комиссара, из его конюшни.

Но на последнем деле Платонов сорвался: он днем наскочил на цейхгауз 97-го полка, вся банда его, в том числе и он сам, была поймана, все семнадцать человек.

Председателем полкового комитета был как-раз Путилов.

Он заявился к Ажогиным рано утром, почти ночью. Не обращая внимания на то, что Нина была неодета, он сел на край постели и достал из-за отворота обшлага шинели сложенный вчетверо, засаленный лист бумаги.

— Вот тебе ихние фамилии. Семнадцать душ, — все тут...

Ажогин приподнялся на локте и начал читать.

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1, 2 3, 4 и 5 с. г.

— Обожди, откуда ты взял? — злым голосом спросил он.

— Не сам же придумал, факт...

Нина вдруг уткнулась лицом в подушку, и сдавленное рыдание раздалось в комнате. Антон вкочил на ноги.

— Ты что, Путилов!?

Но Путилов даже не обратил внимания на окрик мальчишки. Он смотрел в лицо Ажогина, взрослые молчали, только Нина тихонько всхлипывала.

Так, помолчав, Путилов и ушел. Нина, заплаканная, с опухшим лицом, стала одеваться, понурив голову, думая о своем.

— Что с ним сделают? Говори! — спросила она у Ивана.

— Наверяд ли что хорошее... — глухо ответил он. — И вообще, Нина, родственник, не родственник... Нельзя, Нинок, это же, что и черная сотня...

— Я ничего не говорю... — Она судорожно вздохнула и вытерла глаза. — Только ведь ему сейчас... — она задумалась... — Ему и шестнадцати нету... мальчишка.

— А банду организовать — не мальчишка? К его годам я уже пять лет в депо работал... — нехотя возразил Иван.

Когда отец ушел в сени умыться, Антон подскочил к постели и сел рядом с Ниной.

— Платонов — это Платошка?

Нина молча отвернулась к стене. Он, как взрослый, тихонько стал гладить ее волосы.

— Ты не плачь, Нинок, не плачь... — сам боясь расплакаться, говорил он. Он не заметил, как в комнату вошел отец. Он молча стоял в дверях, наблюдая за сыном и Ниной и вытирая свою сильную, заросшую грубым волосом, шею. Искусственная его рука резко скрипела при движении.

— Теперь начнутся сплетни: ты — сестра...

Она вдруг вскочила с постели.

— С ума сошел! — ее лицо исказилось ужасом. — Как тебе не совестно!?

— Я говорю, начнутся сплетни. Потом доказывай, что хочешь, но сплетни пойдут и против всех нас. Нинок, не будь ребенком...

— Ты с ума сошел!.. — уже слабо, опять плачуще повторила Нина. Она опустила голову и стала перебирать край одеяла.

Потом отец вызвал Нину в сени, велел Антону оставаться здесь и о чем-то долго говорил с нею. Его глухой бас громко гудел за дверью, но слов отца не было слышно.

Потом он, не заходя в комнату, ушел из дому. Громко хлопнула за ним калитка. Нина вернулась в кухню и стала растапливать печь.

Старуха Соломатина последнее время хворала. Она уже почти перестала ходить по очередям, Нине же было некогда заниматься этим. Изредка во двор заворачивала крестьянская телега, Нина долго рылась в сундуке, выбирала там что-то. Самый сундук принадлежал хозяйке, но в нем лежал немногочисленный скарб Ажогиных, — так, разные пустяки. Иногда все же Нине удавалось выменять полмеры картофеля или полкаравая серого, землистого хлеба или пшена.

Занятия Красной гвардии происходили все там же, на берегу озера, только теперь Лучинский чаще лишь наблюдал, а занятия проводила сама Нина. Иногда он подзывал ее к себе и громким шопотом поправлял ее, она молча кивала в ответ ему, и занятия продолжались дальше.

В начале августа оружейники впервые пошли на гарнизонное стрельбище.

Последние дни приносили в город множество самых беспокойных сообщений. То в Москве в комитете большевиков был обыск, то будто бы в Петрограде арестовали Ленина, то закрыли газету «Правду», ту самую, откуда Ажогин любил читать вслух стихи. Об этих новостях шли разговоры и на занятиях Красной гвардии, и на улице, и дома, с теми, кто приходил к ним, в их маленький домик на Полевой, и между отцом и Ниной.

После почти месячного отсутствия у них снова появился Ефим. Он резко постарел, только зубы его попрежнему блестя ослепительно и молодо.

— Товарища Ленина не арестовали! — объявил он первым делом. — Но ищут.

— «Товарища Ленина»... — насмешливо протянул отец. — Его, брат, мы не дадим, шутите!

Ефим бегло осмотрел Антона, повернул его к себе спиной и легонько ударил его по спине.

— Похудел, да? Вообще, видать, с пищей — плоховато? Думаешь, это от кого, а?

— Я ничего не думаю... — уже отфыркивая от Ефима за последние месяцы, дичась, ответил Антон.

— Как же это «не думаю»?

Больше Антон уже не интересовал Ефима. Он повернулся к Нине и по обыкновению в вопросительной форме начал рассказывать о Петрограде, откуда он только-что приехал. Оказывается, этот месяц он пропадал именно там: хотел посмотреть, что делается в столице. Он скитался по ночлежкам, занимался, чем придется, жил впроголодь, но все ходил и ходил, все присматривался к тому, что творилось в громадном городе.

В Питере тоже было голодно, пожалуй, даже голоднее, чем здесь, но все же многое было по-другому... По словам Ефима выходило, что там на каждом заводе вооружены почти все рабочие, там этого нет, чтобы небольшой отрядик занимался учебьём сам по себе, а остальные рабочие — сами по себе.

— Это, положим, ты не прав... — мрачно ответил отец. — Рабочие идут за партией, ты не спорь.

— Разве я говорю? Но винтовки — у всех? Обращаются с оружием — все? Надеются на солдат? Хорошо, но это все же деревня-матушка, верно? — От его прежнего покорно-восторженного отношения к Ажогину не осталось и следа. Он как бы подрост в Петрограде, стал больше значить. — Я ничего не говорю: мы солдат должны взять за собой, да? А все же главный гвоздь — кто? Не рабочий?

Он ушел, торжественно распрощавшись со всеми, даже с Антоном, при каждом рукопожатии важно приподнимаемая над головой картуз.

— Меня теперь в управу выбрали, слышали? Без меня меня женили, верно? — вернувшись уже из сеней, не без самодовольства сказал он.

— Ну, и правильно сделали... — сказал отец.

После его ухода отец задумался и погладил Нину по плечу.

— Видишь, Нинок, как меняются люди. Извозчик, ломовик — попрежнему не человек... — он помолчал. — Вообще, да. Видать, в Петрограде поживее нашего. Вот бы с'ездить...

— Ты не читал? — после непродолжительного молчания тихонько спросила Нина, доставая из-за кожаного своего пояса желтый газетный лист.

Отец взглянул и вдруг резко рассмеялся. Он здоровой рукой обнял Нину, она только тихонько ахнула.

— Чему ты обрадовался, говори?! — жалобно спросила она, освобождаясь от него.

Он стал серьезнее.

— Никто не будет сплетничать, мало ли, что ты сестра!

Он совсем уже ликующе взмахнул газетой.

— Я не боюсь сплетен... Пусть... — еще жалобнее сказала она.

! — Не «пусть», — пятно на организации.

— Я знаю... — уже еле слышно обронила она, прижав руку к груди.

Антон осторожно поднял с пола газету. На первой странице большими буквами было напечатано:

«Я—родная сестра Платона Матросова («Платонова»), арестованного революционными солдатами 97-го полка. В то время, когда Россия переживает революцию, группа грязных личностей во главе с моим братом организовала банду громил, терроризовавшую трудящееся население города...»

— Что такое «тер-ро-ри-зовавшую», Нинок?

— Ну, запугавшую, что ли... — еле слышно, упавшим голосом ответила она Антону, опять прижимая руку к груди.

«Я требую самых суровых наказаний для преступной, черносотенной шайки и в первую очередь для моего брата, который предал честь пролетария-рабочего и

опозорил меня, которую царский режим держал в далекой ссылке...»

— Его посадят в тюрьму, Нинок?

— Ты не приставай, братишка... — сурово и отрывисто сказала она.

Иван несколько мгновений пристально поглядел на нее, сделал к ней два-три шага, Нина сжалась и отступила в сторону. По выражению его лица Антон видел, как ему хочется приласкать Нину, обнять ее, успокоить, — и отец не решился сделать это. Он молча прошел к столу и принялся разрывать там кипу старых газет. Он что-то бормотал про себя, изредка оглядываясь в сторону Нины. Она подошла и стала позади него. Иван продолжал рыться в газетах.

— Ты мне больше не говори об этом... — запинаясь, попросила Нина. — Ты бы пожалел меня и не говорил больше об этом...

Она всхлипнула, прошла в угол, взяла там винтовку и поудобнее подтянула ремень.

— Вре-е-ошь! Ленина вам мы не отдадим! — снова заговорил отец. Он погрозился пальцем куда-то в пространство и рассмеялся недобрый, вызывающим смехом.

Оружейники в этот день пошли на гарнизонное стрельбище. Антон торопился рядом с Ниной, впереди отряда, поднимающего за собой густую пыль. Антон спотыкался и спрашивал Нину:

— А Ленин почему?

— Что «почему»?

— Ищут-то его? Кто он?

— Ну, дорогой, это долго рассказывать.

Она все же рассказала, кто такой Ленин, которого ищут и никак не могут найти.

— Его мастеровые прячут?

— Конечно же!.. — возбужденно восклицала Нина. — Рабочие прячут его, они его не отдадут никому, и скоро у нас он будет самым главным, вот увидишь! — сказала, точно побожилась, она.

— А сейчас?

— И сейчас самый главный, но скоро будет по-другому... В общем, подожди, Антон... — отмахнулась она.

Пришли на стрельбище. Там их уже поджидал старик Лучинский, и с ним — Путилов. Путилов жмурился от яркого солнца. Он сидел на мешке с землей и говорил старому офицеру:

— Вообще, это не порядок. Вот вы говорите — братоубийство. А если брат — сволочь, конечно нечего его жалеть, и в таком случае — какой он мне брат? Сукин сын, так он сукиным сыном и останется...

Старик что-то слабо возражал ему, но Путилов резко продолжал:

— Вообще, три года воевали, сколько народу покалечили, — хорошего народу! — о братьях не вспоминали, а тут вспомнили? Везде одни люди: с руками, ногами, одним миром мазаны. Тоже «братья»! Кудашев мне брат, или Горбоносов? Очень смешно вы говорите...

— Я не знаю никакого Горбоносова, — надуваясь, сказал старик.

— А я знаю...

Путилов подошел к оружейникам, указал рукою на глинистую стену откоса впереди, там копошились какие-то люди, осматривая и поправляя мишени.

— Вот сюда и будем садить...

Он заложил два пальца в рот, оглушительно свистнул, люди у откоса отбежали в сторону и, толкая друг друга, скрылись за высоким зеленым пригорком.

Началась стрельба. Путилов и старик ходили позади лежавших в цепи оружейников.

— Ноги! — покрикивал Путилов. — Как держишь?.. — он поправлял носком сапога ноги лежавших на земле рабочих.

Лучинский, наоборот, останавливаясь позади почти каждого, тихонько, как бы специально для того, чтобы не услышали другие, говорил:

— Вы не заваливайте штык, — какая же у вас может быть меткость? Прикладом плотнее в плечо. Стреляете впервые? Это плохо... Ну, ничего, научимся...

Антон сначала вздрагивал при каждом выстреле, но потом уже стал с любопытством следить за тем, как у самых мишеней пули ударялись о сухую глину откоса и в ней там появлялись желтые вспышки пыли.

В этот день стреляли недолго и, видимо, без особых удач: это было заметно по недовольному виду Путилова и смущенному Лучинского.

— За такую стрельбу спасибо не ждите... — говорил Путилов, когда красногвардейцы собрались в сторонке и Нина подошла к нему. — Вообще, если с винтовкой не обращаться, она даже вредна. Раз ее тебе дали — умеи стрелять. Не умеешь — бери палку, гоняй ворон...

— Глупости!.. — воскликнула Нина.

— Глупости, не глупости, а стрелять не умеете...

Путилов свернул цыгарку и, хватив крепчайшего дыма, поморщился. Нина скомандовала построиться, и, предводительствуемый ею, с Путиловым и Лучинским в сторонке, отряд стал подниматься в гору. Оружейники, видимо, не чувствовали особой неловкости от сегодняшней неудачи: они шли, пересмеиваясь между собою.

— Матросова, а разговорчики?! — крикнул, нагоняя Нину, Путилов, и от его повелительного, зычного голоса оживление спало. — Пуля... Она не терпит, если человек глуп. Попасть, — попасть конечно дело не хитро, только вопрос — куда? Человек велик. Одно дело — в голову, в грудь, другое — рука, нога...

Он разговаривал о пуле так, словно она была ближайшим его другом и он заботился об ее интересе.

— Наш брат — вообще дурак. Он думает: абы гром был, а гром в стрельбе — последнее дело. Ты попади куда следует! Думаешь — ты с ружьем, а «он» с хлопушкой? Ты в него будешь стрелять, а он голову подставит?..

— Этого никто не думает... — как от надоедливой мухи, отмахивалась Нина.

Отряд через поле, через пустырь, заросший лопухами и крапивой, вошел в срод, со стороны староверского кладбища. Отряд вошел в устье улицы с песнями, со свистом, — за полтора месяца занятий люди научились ходить как следует.

— Песни играют, как солдаты, а стреляют, вроде — пьяные по грачам... — желчно сказал Путилов на прощанье Нине. Он не уходил, он ждал, пока она

остановит красногвардейцев и скомандует им расходиться. После этого он заговорил опять.

— В общем говоря, мы решили суда не ждать... Разве дождешься!..

— Суда? — Нина загорелась густым румянцем. — Не понимаю...

— Да что там понимать... — грубо оборвал ее Путилов. — Одним словом, мы эту банду нынче за Кудашевским садом, ночью... Там еще накопилось, — всего, значит, тридцать один человек...

Нина дернула Антона за руку.

— Пошли, мальчик... — громким шопотом сказала она.

По дороге по-одному, по-два, направляясь к себе, в Заречье, еще брели оружейники. День клонился к закату.

— Нынче Платошку что? Казнят? — с любопытством спросил Антон, и вдруг громкая пощечина ослепила его, — он с изумлением и гневом откинулся назад: закусив губу, бледная, с дрожащими веками, закрывая грудь ладонью, перед ним стояла Нина, — и у него нехватило духу ответить ей ругательством.

Мимо прошла группа людей, — двое солдат, хорошо одетая женщина, и с ними не то лавочник, не то приказчик из богатого магазина: от него так и шли прямо волнами запахи духов, помады, еще какие-то запахи. Он шел, играя цепочкой часов.

— Собачья гвардия! — насмешливо прокричал он Нине. — Совет собачьих и вахлацких депутатов...

— Подождите, уже — скоро! — тонко прокричала женщина, жеманно подбирая губы. — Шпионы проклятые!

Нина, не понимая, смотрела на них, потом медленно сняла с плеча винтовку, — раздали испуганные возгласы, приказчик бросился в первую подворотню. Нина перевела дух и надела винтовку на плечо. Антон тихонько взял Нину за локоть.

— Нинок, Нинок... — забормотал он. — Ну, ничего, ничего, Нинок...

Он тащил ее за собой, к своей калитке. Глазами, полными слез, она взглянула на него, опять судорожно перевела дух и шагнула через порог за ним. Она сразу же прилегла на сундук. Антону никогда еще не доводилось видеть Нину

больной: теперь она распростерлась у окна беспомощная, бледная, с широко раскрытыми глазами.

И вдруг Антона охватил ужас, какого он не испытывал доселе никогда: Нина умрет! Он бросился к ней: нет, она дышала, только слезы стояли в уголках ее глаз, ресницы вздрагивали. Он прижался щекой к ее теплой груди, она обхватила его рукой за шею, и Антон услышал громкое, с переборами, биение ее сердца.

— Нинок, Нинок... — не помня себя бормотал Антон, ошупывая ее плечи, лицо, даже глаза. — Я не хочу, не надо, Нинок!.. Нинок!.. Не надо...

Он совершенно не понимал, что такое бормочет он.

Она тихонько оттолкнула его и, спустив с сундука ноги, пристально посмотрела на Антона, на своего глупого сына. Она так и сказала вслух:

— Сын, глупый мой сын...

Она тряхнула волосами, провела по ним гребнем и прошлась по комнате.

— Все это пустяки... — своим обычным, только тише обыкновенного, тоном заговорила она. — Бешеных собак убивают без жалости. Это ведь случайно, что он — мой брат. Верно, говори!?

Он ничего не понял и промолчал.

— Организация!.. — рассуждая сама с собой, продолжала Нина. — Знаешь ли ты, что это такое значит...

Однако она пригорюнилась снова и снова присела на сундук. Антон с тревогой наблюдал за нею.

Вскоре пришел отец, и с ним дядя Сергей. Он явился с забинтованной головой, но глаза его блестели живо и даже весело. Все же он был молчалив, как всегда. Без приглашения он сел к кухонному столу и начал есть горячий, дымящийся картофель. Он глотал с жадностью, как человек, который уже давно не пробовал горячего.

— Говорю, чудак... — удивлялся Иван Ажогин. — Избили до полусмерти, сожгли домишко, а он идет и ночует в дежурке... Говорю: перебирайся ко мне, — упирается. Только, извините, со мной не поспоришь!..

— Подождли-и?! — Нина с удивлением оглядела отца. Он, невниматель-

ный ко всему, продолжал уничтожать скудный обед.

— Ихние ж черносотенцы... Знаешь, в депо ведь их — гибель... — продолжал Ажогин. — Вообще, прослышали про Петроград — теперь начнется. В Заречье пьяные солдаты разгромили заводскую потребилку. Начинается времячко...

Он тоже принялся за еду, изредка задумчиво поглядывая на Матросова.

— Сегодня какая-то барыня Нину шпионкой обругала... — сообщил Антон.

— Одно к одному... — отозвался Ажогин. Он отодвинул в сторону чашку с картофелем и пристально поглядел на Нину. Она ела нехотя, точно принимая лекарство.

Матросов пристально, словно впервые, рассматривал дочь.

— Не узнаешь? — в упор, злым голосом спросила она отца.

Матросов промолчал и опустил глаза. Ажогин с беспокойством следил за этой коротенькой сценкой, потом встал и начал собирать со стола посуду, Нина сидела, опустив голову.

— Оставь, — вдруг сказала она, не поднимая глаз. — Уберут без тебя.

Нина нехотя встала и скрылась в комнате. Все трое, оставшиеся в кухне, проводили ее взглядами. Антону почему-то стало невыразимо тяжело. Он тихонько выскользнул из кухни, постоял на крыльце и через минуту он уже медленно шел по улице. Около старожерского кладбища группа ребят играла в лапту. Это заинтересовало Антона, он разом забыл все свои огорчения. Среди играющих Антон заметил Витьку Солонкина. Он ловчее всех отбивал мяч, частенько давал великодушные «свечи», — черный арабский мяч медленно поднимался над головами играющих и потом решительно падал вниз.

— Эй, Антошка, шпион, давай сюда! — крикнул вдруг Витька. Кровь бросилась Антону в голову, но он промолчал.

— Иди, шпион! — беззлобно повторил Витька.

Антон, переваливаясь с ноги на ногу, нарочито медленно подошел к жирной

черте, где сейчас сгрудилась партия Солонкина.

— Э-э, нет, считаться! — закричали кругом, и к Антону подошел не замеченный им раньше Ковальчук. Они, как взрослые, поздоровались за руку, Ковальчук отвел Антона в сторону.

— Ты — камень, а я — палка.

Они подошли к играющим.

— Камень или палку?

Солонкин подозрительно оглядел обоих и сказал:

— Камень!

Антон пошел в партию Витьки. Его очередь была сразу же, за Солонкиным.

«Я играю лучше его...» — с ожесточением подумал он, выбирая лапту потяжелее.

— Подавай крепче!

Ему подали мяч, — палка туго ударила по нему, мяч длинной, пологой дугой пронесся над игроками противника, ударился о дорогу и покатился по ней далеко за последней чертой. Мяч ускакал так далеко, что Антон, не торопясь, прошел до этой черты и потихоньку вернулся на свое место. Вся его партия тоже успела возвратиться обратно. Игроки противника прыгали, бесновались, чуть ли не плакали от ярости, видя, как далеко бежит самый задний их товарищ, а мяч все катится и катится от него по пыльной дороге.

Антон был встречен своей партией, как герой. Солонкин с уважением оглядел его.

— Ты здоровый, чорт... — с восхищением сказал он.

Ажогин нахмурился и ответил, что он уже разучился, и Солонкин льстиво рассмеялся.

— Ишь, врет!..

— Остаюсь последним... На выручку... — беспрекословным тоном сказал Антон, отходя в сторону.

Право быть последним давалось лишь самым лучшим игрокам. За спиной Антона, уже пробившие свою очередь, в нетерпении топтались игроки, ожидавшие счастливого удара товарища, чтобы сорваться с места, добежать до самой последней черты и незапятнанными вернуться обратно.

Да, Ажогин имел право на последнюю руку. Он свысока смотрел на тех, кто промахивался, кто слабо, как придется, ударял по мячу, на Солонкина, давшего великолепную «свечу», едва не пойманную противником, — Антон на все это здесь глядел взором человека, который сильнее и лучше всех.

Он молча отстранил Солонкина и полвчее взял лапту. Он подкинул ее в руке и оглянулся. Солонкин смотрел на него немигающим взглядом. Ковальчук, весь напряженный, стоял с мячом в руке, при первой же попытке Солонкина бежать готовый пустить мяч в ход.

— Давай! — резко крикнул Антон, невысоко поднимая лапту.

Мяч поднялся, палка свистнула в воздухе, мимо мяча, — тяжелый черный комок осторожно лег у ног Антона.

— Выручай! — взволнованно крикнул Солонкин. Антон оглянулся: лицо Витьки было багровым, он даже дрожал от возбуждения. Антон располагал еще двумя ударами, но сейчас ему показалось, что ему приказывают, как холую, и он старается услужить Витьке.

— Играй сам, без меня! — дрожащим голосом сказал он, всем корпусом поворачиваясь к Солонкину.

— Бей, ну — бей! — заносчиво крикнул Солонкин, толкая Антона.

Этого Ажогин уже не мог вынести. Он дал Витьке хорошего пинка, тот отлетел в сторону и едва удержался на ногах.

— Драться? Драться, шпиония? Ребята, бей его!.. У меня есть конфеты! Жамки! Все! — визжал Витька, бегая вокруг Антона и в то же время опасаясь подступить к нему. В этот момент Ковальчук вклеил мячом прямо в лицо Витьке, тот завыл и схватился за глаз.

— Ребята!

Целая группа мальчишек налетела на Антона и Ковальчука. Кровь бойца уже закипела в Антоне: самым страшным, благодаря своему росту, мог оказаться Витька, но он был таким же трусом, как и вралем. Количество нападавших, — но это были пустяки, ничего опасного...

Однако домой Антон подходил с трудом: поколотили его изрядно. Особенно жгучую боль он ощущал под глазом. Ковальчук тоже ковылял, как разбитый.

Однако Антон повеселел: он отвел душу, ему давно уже не доводилось подраться властью.

Только вот одно чуть-чуть тревожило, вернее, даже не тревожило, а просто как-то странно волновало Антона: «Кривой» рассказал ему о Вере. Оказывается, она и в самом деле уехала в Мценск, теперь она часто пишет оттуда Лизе.

— Один раз писала про тебя... — не придавая значения интересу Веры к Антону, добавил он.

Сейчас Вера снова встала в воображении Антона.

Он тихонько вошел в комнату. Нина что-то шила за столом, напевая вполголоса. Маленький, бледный огонек лампы то и дело потрескивал. Светлые обычно, сейчас волосы Нины казались почти черными. Она подняла голову и, взглянув в лицо Антону, тихонько ахнула. Антон стыдливо отвернулся.

— Я его еще и не так! — вскричал он. — Гад, он меня зовет «шпион».

— Кто? Ничего не пойму, говори!

— Ты его не знаешь... — отчетливо представляя себе жалкого, злобного Витьку, отмахнулся он. — Гад паршивый!..

Он сел на подоконник и вдруг, не останавливаясь, стал рассказывать ей все, что знал о Солонкиных.

— Старика выгнал? — недоверчиво переспросила Нина, даже откладывая в сторону шитье.

— Выгнал, а Витька хочет выгнать отца... Пауки, они едят друг друга... — громкими чужими словами говорил Антон. — Вот мы, у нас хорошо, да? Ажогин, ты, я... Очень хорошо, да? А у них — пауки, сволочи...

— Ты не ругайся, братишка...

Нина повеселела и снова оглядела, как разукрасили Антона.

— Ты не боязлив, да? В общем, из хорошего теста...

— Я весь в отца, — гордо заявил он. — И в тебя... — добавил он уже менее уверенно. Но Нине, видимо, понравились его последние слова. Она весело рассмеялась.

Уже утром, на заборах и телефонных столбах, на афишных тумбах и стенах домов были расклеены большие проклама-

ции, в которых комитет Красной гвардии и полковой комитет 97-го полка сообщали о состоявшемся ночью расстреле бандитов и заодно с ними — злостных спекулянтов, и еще — провокатора Евгения Ажогина, телеграфиста.

К обеду вышли другие листовки, уже за подписью губернского комиссара; они назывались «Беззаконие!» и говорили о том, что никто не имел права подвергать названных граждан смертной казни.

«Беззаконие свершилось, и где? Главное, когда? После отмены смертной казни на всей территории нашей великой России!»

Листовка Совета рабочих депутатов коротко сообщала:

«Нерешительность губернских властей создала положение, когда город и его трудовое население оказалось запугано бандитами, оплетено сетью спекулянтов-пауков; провокаторы и шпионы спокойно бродили по городу и занимались своими гнусными делами. Да, солдаты 97-го полка проявили известное нарушение законного судопроизводства, но они зато выполнили закон революции: всех, мешающих ей, уничтожать безжалостно. И не вина революционных солдат 97-го полка, что губернские власти оказались безрукими, и им, солдатам, пришлось сделать то, что должен был бы сделать сам комиссариат».

У листовок толпились громадные толпы людей. Антон еле пробился к забору и стал читать список. На видном месте стояла фамилия «Платонов», в скобках — Платон Матросов, 16 лет, сын рабочего-железнодорожника, расстрелян за бандитизм, террор мирного населения, за связь с черносотенными силами. Список кончался Данилой и Сергеем Горбоновыми, которые торговали гнилым мясом, вздували на него цены, уже после обыска, произведенного Красной гвардией, вновь запасали оружие, вели монархическую погромную агитацию. И внизу стояла фамилия Евгения Ажогина, провокатора, в 1914 году, после апрельской забастовки, выдавшего полиции своего однофамильца, токаря же-

лезнодорожных мастерских, революционера Ивана Ажогина.

Совсем внизу крупными буквами было напечатано:

«Рабочие, работницы, товарищи! Соглашатели и адвокаты всех мастей будут обвинять нас, революционных солдат и красногвардейцев, в незаконных поступках. Это будет ложью, товарищи! Все то законно, что делается ради интересов рабочего класса и беднейшего крестьянства! Бандиты, черносотенцы, провокаторы, спекулянты, — они должны быть уничтожены все!»

Люди беспрерывно тянулись на опушку Кудашевского сада.

Еще в тринадцатом году к саду прирезали десятины пять от городского выгона, окружили их длинным рвом, вырыли ямы для саженцев. Но потом началась война, было не до сада: саженцев не привезли, ямы так и остались, опять заросли травой.

Сейчас там толпилась кучка солдат. Со всех улиц, выходявших к саду, люди шли и шли туда.

Во рву, на пространстве пяти-шести саженей, кто как, в беспорядке, валялись расстрелянные. Часть из них — уткнувшись лицом в землю, часть — на спине. Редко-редко кому пуля попала в грудь, — стрелки били хорошо, прямо в головы.

Поверх всех, видимо, расстрелянный последним, лежал однорукий Данила Горбонос. Его пальцы схватили какого-то солдата за рукав гимнастерки, и Антону показалось, что этот солдат как-раз и есть Платошка.

Антон смотрел на всю эту кашу и, странно, не чувствовал никакого страха или даже просто неловкости. Он не мог сторваться от картины, раскрывшейся перед ними. Он очнулся, услышав в общей тишине важный, стариковский голос:

— Слава тебе, господи, избавил нас еси... — он крестился крупными медленными крестами и повторял эти слова своим густым голосом. Старик повторял и повторял только эти слова, как будто все остальные были забыты им.

Маленькая женщина, по виду — прислуга, добавила с удивлением:

— Царство им небесное, батюшка... — и перекрестилась тоже.

Антон еще раз взглянул на расстрелянных, большинство их было в солдатской одежде, некоторые — разуты, из-под груди тел торчали чьи-то ноги в щегольских желтых башмаках со шнуровкой до колен, на Даниле Горбоносове, несмотря на лето, был надет тонкого сукна полушубок, из-под отвернувшейся полы его виднелись новые диагональные брюки.

Антон оторвался взглядом от рва и выбрался из толпы. Не сдавленному толпой, воздух показался ему чище, он поднял голову и увидел над своей головой голубое, с легким золотым отливом, небо. В сторонке стояли солдаты, охранявшие убитых, и, собравшись в кружок, спокойно курили. Старшой — солдат с красной повязкой на руке — рассказывал солдатам какую-то историю.

Антон пошел по направлению к казарме, стоявшей около староверского кладбища. Ворота казармы были распахнуты, перед ними взад-вперед расхаживала часовая, на дороге группа солдат играла в городки, Дребезжа, палки ударились оземь и подскакивали, с дороги поднималась пыль, здесь стоял веселый солдатский гомон.

У ворот кладбища Антону попался Витька Солонкин. Он быстро раскрыл большой перочинный ножик и замахнулся на Ажогина, но угроза не смутила Антона. Он вдруг подумал, что с Солонкиными все уже кончено, как покончено с Горбоносowymi.

— Я тебя не хочу трогать... — сердито сказал он.

Он повернулся и пошел прочь.

Не ему теперь было ввязываться в ребячьи драки, — какие глупости! Не этому он теперь учился: его учителя ходили на стрельбище, маршировали с винтовками, брали бандитов, мясников и жуликов и, застрелив, сбрасывали их, как падаль, в яму, в ров за городским садом.

У самого дома он заметил Косьмина. Телефонист сидел на завалинке и, сцепив на коленях свои толстые пальцы,

щурился на солнце. Под ногами его лежала примятая, белая от пыли трава, его сапоги были тоже белыми, на завалинке лежала его сплюснутая солдатская фуражка. Выбритый череп Косьмина сверкал на солнце.

— Куда это у вас все разбрелись?

— У меня свои дела, у них — свои... — солидно ответил Антон.

— Ага, вот как! — понимающе отозвался телефонист.

Антон прошел в калитку, Косьмин шагнул за ним. Антон в условном месте нашел ключ и открыл дом.

— Значит, где отец и товарищ Матросова, ты не знаешь? Ну, тогда я со сна часок-другой... — сказал Косьмин. По обыкновению, глухо напевая про себя, он прошел в комнату и начал возиться там — снимать сапоги, повысив голос так, что слова песни стали слышны отчетливо:

Рано его от семьи оторвали!..
Горько заплакала мать!..

Он крикнул и добавил потише, чуть слышно:

... материнской печали
Трудно пером описать...

Антон вошел в комнату. Телефонист вытянулся на полу, на отцовской шинели, укрывшись полою ее и пошевеливая розовыми, точно у ребенка, толстыми пальцами ног.

— Ты, брат, не мешай... «И протянул к нему с пла-а-ачем ручко-о-ошки!..» Я, брат, только-что с поезда, не спал всю ночь...

Он закрыл лицо картузом и сразу же захрапел.

Антон за последнее время как-то потык от книг. Теперь он достал из комода «80.000 верст под водой» и вышел во двор. Там в углу, у колодца, росла густая, сочная трава. От забора на траву падала спокойная тень.

Он разлегся на траве, над ним тоненько жужжала оса, издали доносились гудки паровозов, со стороны казарм слышалось веселое ление: Антон прислушался, — это гремела удаля и походная песня на мотив «Две деревни, два села».

Антону уже расхотелось читать. Он повернулся на спину и стал глядеть в небо. Оно было попрежнему совершенно чистым и голубым, только золотой отлив уступил место яркой прозелени. Ни единого облачка, ни пятнышка не было на всем радостном его пространстве.

И, неизвестно почему, опять вспомнил Антон тех, кто, расстрелянный, лежал во рву, за Кудашевским садом. Вид их назойливо всплывал в памяти Антона, может быть, как-раз потому, что он очень уж не вязался с этим замечательным августовским днем, — кто знает?

Во всяком случае сейчас Антон видел, как исполняются слова отца о том дне, когда будут убивать всех негодяев и всех богачей. Да, да, все получалось именно так, как говорил Иван Ажогин.

За забором послышался конский топот. Антон вскочил и взглянул в большую щель забора: мимо крупной рысью проехали Артем Кудашев и Стася Стрелецкая. Эта парочка, видимо, сближалась все больше и больше. Стася уже перебралась к Артему, так говорили на улице, хотя определенного о них ничего не знал.

«А эти?» — подумал Антон. Он задумчиво проводил их взглядом и опять прилег на траву. Он вспомнил ночное посещение Стасей отца, попытку ее сделать обыск, и злорадно так отчетливо вдруг вспыхнула в сознании Антона, что он даже вскочил на ноги. «А если и их — в ров?»

И он представил себе Стасю, в ее щегольском облики, с лицом, разорванным пулей. Он вздрогнул и закрыл глаза. Ему не было жалко тех, кто валялся во рву. Ведь они тоже не жалели Антона Ажогина, когда его бил Фортунатов, когда Манька — любовница Кошatego, — точно щенка, гнала его прочь, когда он пропал в ночлежке, в грязи, во вшах. Его никто не жалел, когда отца взяли в тюрьму, а Нину погнали в Сибирь. Антона не жалел никто из тех, кто сейчас валялся во рву, на жарком солнце, — что он за дурак, чтобы жалеть их?

Он, как наяву, представил себе кулачный бой, где дерутся все трое Горбоносовых. Они, как злобные псы, держатся вместе, вот они уже подлетают к нему.

вот Данила уже поднимает сокрушительный свой кулак, Антон пытается уклониться от смертоносного удара, через мгновение — Антону конец.

— Почему ты на земле? — спрашивала Нина, нагибаясь над ним. — Да ты не болен, братишка?

Она вытерла ладонью его мокрое лицо и взглянула ему в глаза. Нет, он был здоров, — просто он плакал во сне.

В комнате отец разговаривал с Косьминым, который попрежнему лежал на полу и шевелил розовыми пальцами ног.

— ... Вот я и говорю... — продолжал прерванный разговор Косьмин. — Там считают, что сейчас — рано, надо выждать, подкопить силы... Что-то я на станции слышал: вы красный террор объявили. Верно это?

По выражению лица Ажогина он, видимо, понял все и сел на полу, сложив ноги калачиком.

— Небось, думаете, что революцию делаете?

— А что же мы делаем? — мрачно спросил отец, поскрипывая левой рукой.

— Вам виднее конечно, — хотя... — Косьмин покачал головой и, кряхтя, принялся обуваться. — Эх, люди-люди-люди!.. «Рано!.. Его!.. От семьи!.. Оторвали...»

Отец сумрачно посмотрел на телефониста и крикнул в кухню:

— Нина, где ты там? Иди, слушай!

— Я слышу все... — негромко ответила она из кухни.

— Ну, и как? Согласна? — возбужденно, словно ожидая именно отрицательного ответа, крикнул он опять.

— Согласна.

Отец с изумлением огляделся: похоже, он не узнавал комнаты.

— Мы тогда поговорим с Лодингом, Косьмин, — коротко ответил он.

— Не сегодня-завтра Лодингу скажут и так... Не мы конечно с тобой... На то есть люди повыше нас...

Косьмин без спроса полез в ящик стола, достал оттуда кусок серого хлеба и, переломив его пополам, начал есть.

Антон смотрел на телеграфиста и удивлялся: он вел себя здесь, как хозяин.

— Вместо того, чтобы собирать людей, обучать их, сколачивать...

— А ты откуда знаешь, что не сколачиваем?

— Устанавливаете свой суд, свои законы... — продолжал невозмутимый Косьмин с туго набитым ртом. — Законы появляются, когда есть власть. А власти-то у нас с тобой еще нет. Поистине: без штанов, а в шляпе, Ажогин...

— Поговорим с Лодингом.

— Сейчас дело уже к осени... Верно? — словно допрашивая, продолжал Косьмин. — Дороговизна — все сильней. На позиции дело дрянь, в наступлении людей перебили до чорта, а толку — ни на полушку. Дело идет к голодовке, мужик, понимаешь, все злей и злей. Железная дорога в развале. Вот чем заниматься: говорить, что хозяева — ни к чорту, царя согнали, а мир? Где — мир? Как буржуй был, так и остался. Правда, с помощью некоторых «социалистов», да? Вот, Ажогин, — сплачивать массы!..

— Поговорим с Лодингом... — упрямо твердил Ажогин.

Потом они сели пить чай, отец повеселел, Нина молча сидела за столом. Косьмин пил чай в невероятном количестве, — куда только вмещалось в него столько воды? Он распарился, расстегнул ворот гимнастерки, поминутно вытирал мокрый лоб красным платком.

— Как там, в Петрограде? — спросила Нина.

На лице ее было то постороннее выражение, которое появлялось каждый раз, когда она была чем-либо расстроена.

Косьмин весело посмотрел на нее и сразу, охотно ответил:

— Всякое, Нина. Собрание сил — главное. Вообще, что творится на заводах, — трудно представить! Дело готовится всерьез... — он наскоро опорожнил очередной стакан и торопливо продолжал, положив свои короткие пальцы на край стола и шевеля ими: — Тут была занятная штука, в газетах про нее не писали, или писали, но мало: братание путиловских рабочих с Павловским полком. Не читали? Ну как же так?!

Он сел поудобнее и рассказал:

— Значит, Зимний дворец, а подальше, на берегу реки Невы, — громадная площадь. Площадь, прямо скажем, паршивая, хоть большая. Грязная, пыльная.

Но если какой митинг или манифестация, значит, идут туда, — просторно очень. Называется Марсово поле. От нее — громадный мост, пожалуй, не меньше версты. Справа Летний сад, там даже и сейчас надписи: в фуражке войти нельзя, надевай шляпу, — серьезно!.. И вот, понимаете, уже к вечеру, часов в шесть, собрался весь Путиловский завод, и тут же — Павловский полк. В общем, оказывается, работницы с Путиловского старались по ночам, вышивали знамя, которое потом тут, на Марсовом поле, и передали полку...

— Значит, единение солдат и рабочих... — неопределенно подсказал Ажогин.

— Там-то, понимаешь, безусловно да, единение!.. — словно намекая на что, начал было Косьмин, но махнул рукой.

— Ну, кончай! Начал — не мнись, кончай, Косьмин... — прикрикнул Ажогин.

— Я говорю, в революцию играет! — зло заговорил телефонист, вскакивая с места. — А вы что думаете, Нина?

— Согласна с вами, игра... — опять тихо сказала она.

Антон видел, что на отца нападают, и нападают именно за то, что расстреляны те, кого он видел во рву. Отец, видимо, чувствовал себя непрочно, он молча смотрел себе под ноги и хмурился.

— Ну, я пошел, Иван Ефимыч... Лоддинг когда уходит из совета?

— Когда как. Вообще — до ночи...

— Ну вот и хорошо...

Телефонист мельком взглянул на часы и, не прощаясь, выскочил из комнаты. Отец молча следил за Ниной, она ходила по комнате, наводила порядок, потом села чистить винтовку. Она теперь делала это очень проворно: быстро разобрала винтовку, разложила все части по порядку, и, держа тряпку кончиками пальцев, осторожно, как только умеют делать женщины, протирала их. Винтовка стояла, прислоненная к столу, волосы падали на глаза Нине, она откидывала их, волосы падали снова.

— Нина!

Она подняла лицо, взглянула Ивану в глаза и снова опустила свой, попрежнему посторонний, взгляд.

— Нинок...

Он поднялся и подошел к ней. Она не подняла головы при его приближении. Ажогин смотрел вверх, на ее маленькие, проворные руки, на ее пальцы в буром масле, волосы опять упали ей на лоб, он осторожно взял и откинул их назад.

Она продолжала молча смазывать затвор.

— Почему ты согласна с Косьминым? — спросил он ее. — Ты же сама писала о брате.. Ну, мы, значит, и...

— Знаю! — она перебила его, и снова бледность покрыла ее лицо, — Я совсем не о нем!

— Тогда что же?..

— Ничего, Ваня... — упавшим голосом сказала она. — Ты не хочешь понять, что говорил Косьмин...

Она быстро собрала винтовку, щелкнула ремнем и повесила ее на гвоздь. Она подошла к Антону и взяла его за подбородок. Он увидел ее бледное, похуdivшее лицо.

— Ты все бродишь без дела, Антон? Ты уже большой, скоро двенадцать лет... Почему ты бродишь без дела?.. — спросила она. Он, не понимая, посмотрел на нее.

В этот момент раздался грохот, разлетелось стекло, в комнату влетел большой камень, с улицы послышались вопли, хохот, крики.

— Шпионы, шпионы!

Отец подскочил к винтовке, но потом остановился, усмехнулся и покачал головой:

— Кто только их учит?

Испуганная Нина подбежала к окну: вдали враспынную бежали ребяташки. В гомоне их голосов Антон слышал противный голос Витьки Солонкина: он, и в самом деле, стоял неподалеку, в сторонке от мелюзги, разлетевшейся сейчас, как воробьи.

Антон, весь побелев, с лицом, перекосившимся от злобы, стоял у окна. Он жадно, точно боясь упустить безобразников, глядел на улицу, хищно наклонившись вперед, как бы готовясь перепрыгнуть через подоконник.

— Я подожду солонкинский дом. Он у меня узнает, сволота!

Тон, каким были сказаны эти слова, был настолько угрожающ, что Нина схватила Антона за плечи.

— Ты спятил, дурак, — холодно сказал отец. — За такие речи я тебя погоню со двора.

— Гони! — заносчиво воскликнул Антон. Он отпрыгнул от окна, но как-то так случилось, что Нина подвернулась ему под локоть, и он ударил ее локтем. Она тихонько охнула и опустилась на стул.

Отец молча за пояс штанов схватил Антона, рывком дернул к себе, сунул его голову между своих колен, и через мгновение тяжелые и резкие удары сыромятного отцовского ремня ожгли спину Антона. От обиды и возмущения он не мог произнести ни слова, он чувствовал боль, он задыхался от боли, он даже не мог плакать. В нос ему бил смешанный запах пыли и машинного масла, пропитавших одежду отца. Антон яростно ворочал головой, пока не изловчился и не укусил руку отца, где-то около самой кисти. Ажогин выпустил его и, потирая укушенную руку, с уважением посмотрел на сына.

— А я не заплакал! — вызывающе, медленно произнес мальчишка.

— Вообще, ты злой, чертеньш.

Эти слова разом успокоили Антона. Почесывая нившие плечи и не глядя ни на кого в комнате, он сказал:

— Я думал, ты большевик, драться не будешь... А ты вот какой!

— Какой? — уже давясь от смеха, спрашивал отец.

— Глупый... — не зная, что сказать еще, пробормотал Антон. Он подошел к Нине, взял ее руку и вдруг прижался губами к ее локтю и звонко поцеловал его... Локоть ее был круглым и крепким.

— Ты, Иван, делаешь это не так, все у тебя не по-людски... — донесся до Антона спокойный и многозначительный голос Нины. Отец вспыхнул и отвернулся.

Впервые за все время отец и Нина легли спать порознь. Отец устроился, не раздеваясь, на полу, в углу комнаты, там, где на стене висела винтовка Нины. Луна свегила вверх занавески, широкий ее луч падал как-раз в этот угол.

Отец лежал, глядя в окно, подложив здоровую руку под голову. Тишина в комнате и недавний разговор отца с Ниной чем-то напомнили Антону последние его дни у Кошatego. У него защемило сердце, он отвернулся к стене, и тут вдруг услышал тоненький стук в крайнее окно. Он приподнялся и заглянул через занавеску; около калитки стоял солдат, а у самого окна, постукивая пальцем в стекло, — другой.

Отец вскочил и приоткрыл форточку.

— Что надо? Ночью?

— Гражданина Ажогина... — глухо донеслось оттуда. — Повестка в комиссариат. Собирайтесь!

— Попоздней не могли? Проваливайте к чертям собачьим!

Он хлопнул форткой и снова направился в свой угол. Нина уже стояла у кровати, придерживая на груди рубашку.

— Это арест, Ваня! — громким шопотом, взволнованно сказала она. — Начинается, начинается опять, боже мой!

Солдат все так же негромко барабанил в стекло, другой беспрестанно и осторожно звякал щекоткой. Потом все замолкло. Выглянув в окно, Антон уже не увидел на улице никого. Со вздохом облегчения Антон обернулся к кровати. Отец уже сидел на краю ее, Нина стояла около, держала его руку в своей и другой рукой медленно гладила плечо отца. Отец громадным белым пятном высился на постели, — прислушивался к тому, что делается на улице. А на улице ничего такого не творилось, только вот кто-то медленно прошагал по скрипучим мосткам, вдали раздалось эхо паровозного гудка. И снова наступила тишина.

Нина попрежнему стояла около постели и гладила плечо отца.

Наутро отец пошел в губернский комиссариат. Там его задержали, а потом отправили в тюрьму. В присланной из тюрьмы записке Ажогин писал Нине:

«Попал я как-раз в ту камеру, где сидел в четырнадцатом году, она все такая же. В комиссариате мне сказали, что я арестован за самосуд. Вообще дурак, что пошел. Ну, не сволочи? Хотя ничего:

это ненадолго. Как наследник? Эдорова ты ты сама?»

Нина дважды прочла Антону эту записку и затем спрятала ее за лифчик.

— Вот мы с тобой и опять одни, Антон, братишка... — криво усмехнулась она, глядя себе под ноги.

Прошла неделя, другая, отец все еще сидел в тюрьме, — туда было посажено человек двадцать, почти весь Совет рабочих и солдатских депутатов. Не тронуты были только Лодинг и Павел Орестович. Однако газета «Власть труда» стала называться «Коммуной», ее толстые желтые листы все чаще и чаще можно было видеть на заборах, афишных тумбах, на стенах домов.

Так прошел сентябрь. Последние две недели по городу пронеслась целая забастовочная буря. Правда, забастовки были кратковременны, но не проходило дня, чтобы в городе не было стачки.

Железная дорога бастовала три дня, на станции повсюду стояли пикеты стачечников с красными повязками на рукавах, вокзал был тих и неприбран, точно базар после того, как кончилась торговля.

К Нине как-то зашел Павел Орестович. Забежал он на минутку, но просидел долго, изредка вскидывая на Нину свои смущенные глаза.

— С корниловским мятежом покончено, все дело теперь...

— Покончено ли? — резко перебила его Нина.

— Покончено, правда, контрреволюция пойдет другим путем: бочком, а не прямо...

— Ничего себе «бочком»... Люди сидят в тюрьме, как при Николае... «Бочком»...

— Все равно... — как бы успокаивая ее, прибавил Книжник. — Это все же под маской демократии: репрессии за анархические выходы. По крайней мере, так говорят...

Нина сумрачно взглянула на него, тем разговор и кончился.

Однажды забрел Кошатый. Он оглядел комнату, с уважением покосился на винтовку, висевшую в углу, поздоровался с Ниной.

— Иван Ефимыч значит, в замке? Так, так, так... Вот тебе и свобода, удивительный факт!..

— Что подельваете? — нехотя, кутаясь в платок, спросила Нина.

— Нам, знаете, дом дали... Уездного земства. Мы теперь для мастеровых спектакли ставим. Например «Графиня Эльвира»... Девять комнат, картины развесили, рояль привезли... — охотно рассказывал он.

— Культура?

— Вы все смеетесь... — нисколько не обижаясь, возразил Кошатый. — Между тем отбиваем людей от хулиганства...

— Ну, дай вам бог удачи... Отбивайте...

Тон Нины был очень определенный, но Кошатый или не понял, или не заметил его.

— Иван Ефимыч — мужчина твердый, только плетью обуха не перешибешь, странная вещь... Возьмем сейчас: жил человек по-людски — попал в замок. Кому от этого лучше?

Нина слушала его, полуобернувшись к нему, как будто и не хотела видеть его, и в то же время боялась упустить из виду. А он все говорил и говорил, уже войдя в азарт и непрерывно колотя себя указательным пальцем в грудь:

— Возьмите Петроград. Народ — всем недовольный. Сначала — «Долой царя!» Верно, это сделали хорошо, согнонали. Я все понимаю, вот Тоня видал, я сам с революционерками работал, я им шрифты носил. Верно, Тоня? — он нагнулся к Антону и погладил его по голове. — Однако здесь: царя убрали — чего вам? Мало этого? Опять забастовки, волнения. Знаете, это как у нас говорится: раз — забастовка, два — забастовка, а там что? Бунт? Против кого бунт?

— Глупости какие... — сказала Нина, зябко кутаясь в платок.

— Ничего подобного, извините! В результате генерал идет наводить порядок. Царский генерал, заметьте! Возьмите Корнилова, — да разве он пошел бы с войсками на Петроград? Что ему? Больше всех нужно? Мы ангела, и того из

терпения выведем, то-есть не мы лично, а вообще — большевики...

В середине разговора в комнате появились Сергей Матросов, Ефим и Путилов. Путилова арестовать не удалось, — это значило бы поднять весь 97-й полк.

Видимо, никто из вошедших не знал Кошatego, и все же он с'ежился под угрюмым взглядом Матросова.

— А тут Кошатый вот политике меня учит... — смешливо заговорила вдруг Нина. — Подождите же, куда вы?

— В каком смысле «учит»? — деловито спросил Ефим. Кошатый даже вздрогнул, укоризненно посмотрел на Нину, надвинул кепку на глаза и торопливо вышел из комнаты.

— Он из меньшевиков, что ли? — спросил Путилов, когда Нина передала им содержание разговора с наборщиком. — От, сукины сыны, ходят, шепчут... Корнилов, брат, знал, что делал. Буржуев из Питера в Москву перевезти, рабочих пулеметами прочистить, а Питер с лица земли стереть, чтобы впредь не беспокоил. Это нам все известно! Прочитай «Рабочий путь», — все есть!

Он достал из кармана скомканный газетный лист, распахнул его и громко, когда никто не ожидал этого, прочел:

— «Что приготавливали рабочим и солдатам корниловцы?»

Адский замысел, задуманный кадетами, Корниловым, Савинковым, Филоненко и К°, начинает обрисовываться во всем его коварстве. Клубок этот только еще начинает распутываться и, если республиканские диктаторы не ухитрятся все концы схоронить в воду, многое из того, что сейчас еще является тайным, станет, наконец, явным. И Россия получит первый наглядный урок того, какие подлости возможны в буржуазной республике...»

Он оглядел товарищей, свернул газету вчетверо и сунул ее за пояс.

— Грязь и подлость! — многозначительно сказал он.

Ефим тем временем потихоньку вышел в кухню и сразу же загремел самоваром.

— Где ты живешь сейчас, отец?

— А вот у него... — кивнул он в сторону кухни. — Мужик он спокойный, хороший, только чудак, вроде апостола. Видать, ему очень не понравилось все это...

— Что?

— А в Кудашевском саду-то... — не желая прямо назвать происшествие, говорил Матросов. — Вроде как и у него руки выпачкались. Чудно!

— Ведь факт, сгруппировали, отец!

— Все едино: без грязи да без крови не обойтись.

— А кто обходится? — поднял вдруг голову Путилов. Ему не ответили, тогда он ударил кулаком по столу, вскочил с табурета и перегнулся через стол. — Я сегодня возьму своих ребят, мы вытащим Иван Ефимыча и всех! Всю тюрьму разнесу к чертовой матери! — уже орал он, дергая за ворот гимнастерки. Одна пуговица отскочила и со звоном покатила по полу.

Нина подошла к нему, села рядом и накрыла своей маленькой, загорелой ручкой его волосатую, большую руку.

— Путилов, дружок, мы не анархисты...

— А «они»? Берут дикую дивизию! Генерала Корнилова! Идут в Питер, — они разве будут жалеть нас? — он яростно грохотал кулаком по столу, но Нина все сильнее и сильнее налегала на его плечо. Он наконец успокоился и, потупившись, сел на место.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Подошел уже октябрь.

Однажды в воскресенье Нина проснулась раньше обыкновенного и потихоньку, не желая будить Антона, пробралась в кухню. Старуха Соломатина, видимо, не спала, она заворочалась на печи, за пестрой занавеской, закашлялась и высунула голову.

— Иван Ефимыча-то выпускают ли?

— Не знаю, бабушка. Хотя — выпустят! У тебя мешка нету?

— А уж какой человек-то был, господи-бабушка...

— Ну что ты ноешь, как по покойнику?! — Нина сказала это дрогнувшим голосом, пошла к себе, запнулась за

стул, — стул с грохотом упал на пол. Антон проснулся. Нина свертывала большой мешок из-под картофеля, связывала его бечевой.

— Ты ложись, Антон, — еще спать да спать.

— Я с тобой...

— Куда со мной?! А в школу?

— У нас сегодня ничего нет... — не задумываясь, соврал Антон и сунулся под лавку, где, знал он, лежали мешки еще.

Они вышли на улицу.

Зима, видимо, наступала в этом году рано: под ногами, там, где после вчерашнего дождя задержалась вода, звонко ломались тоненькие стеклышки льда. На востоке пламенело желто-красное небо, под ногами шуршал рыжий кленовый лист.

В этот час город был бы совсем пуст, если б не очереди, растянувшиеся у каждой лавки, главное, у булочных.

В это осеннее утро Антон, как никогда, отчетливо увидел, до чего обнищал и отошал народ: женщины в очереди были невероятно оборваны, грязны и нездоровы. Они стояли здесь, бледные, с некрасивыми лицами, обвешанные тряпьем.

Да и вообще город приобрел совершенно иной, даже если сравнить с весной, вид. Дело было не только в том, что шла осень. Нет, город теперь как бы рассыпался на глазах, вернее, превращался в громадную мусорную кучу. Он покрывался ржавчиной, он как будто останавливался, как останавливаются старые часы. Антон так и сказал Нине о часах.

Она огляделась кругом, точно впервые увидела родной город. Она тоже увидела неметеные тротуары, канавы, заросшие лопухом и крапивой, сорванные с петель ставни, выщербленную мостовую, крыши, гремевшие на ветру отодранными краями железа, покосившиеся, пофлекшие вывески.

— Нет, братишка, это, наоборот, над городом собирается настоящая буря.

Она сказала это тем несколько приподнятым тоном, каким отец читал в газетах стихи. И, как бы в подтверждение ее слов, налетел ветерок, поднял с мо-

стовой пыль, над мостовой встал пестрый столб бумажек, листьев, всякого мусора, и столб этот пошел вдоль улицы.

Когда Антон с Ниной вышли из кремлевских ворот к мосту, лежавшему у Оружейного училища, уже встало солнце и сразу потеплело. Длинные, слабые тени легли на землю. Слева, вдалеке у ворот завода, стоял конный милиционер в черной шинели, а неподалеку от него — двое солдат. К воротам тянулись поодиночке рабочие, над рекой, над заводом плыл медленный, непрерывный гудок.

— Вот где сила! — проговорила Нина, взяв Антона за плечо и повернув его лицом к заводским воротам. — Тут уж «им» не поможет никто. Милиция? Смешно!..

Антон шёл молча, не вполне понимая, про кого это говорила Нина.

— Мастеровые? — недоверчиво спросил он.

— Конечно же!..

Он с еще большей недоверчивостью посмотрел на одинокие фигурки, сейчас пробежавшие к воротам.

Да, он на этом же месте видел мощные массы рабочих с песнями, со знаменами, — вот у этих же ворот. Незадолго до того он видел стычку их с полицией у этого училища, — что же изменилось? Сейчас это были жалкие одиночки, ежившиеся от утренней свежести.

— А когда арестовали Ажогина? — с обидой спросил он. — Он опять в тюрьме и опять нас не пускают к нему... Говоришь, сила!.. Они боятся, — вот что!

Нина недовольно, сверху вниз посмотрела на него. Они шли уже через училищный сад, — забор вокруг него был начисто разломан, и теперь прямо через сад, через кусты, по траве пролегалла дорожка на Чулково и дальше — на Ужогинку.

— Ты вообще мальчишка... И при этом — глупый мальчишка... — сухо заговорила она, резко хватая его за руку и ускоряя шаг. — Люди собрались в одном месте. Допустим, шесть или семь тысяч. Работают — рядом. У кого что не ладится — помогают, видят, как достается каждому: и заработок — гроши,

и дороговизна, чуть пикнешь — выгонят за ворота, сдыхай с голоду... Понял, гори?!

Он промолчал, Нина снова сверху вниз посмотрела на него, и голос ее смягчился.

— Вообще, ты упрямый, весь в отца, и умный... — точно забывая сказанное только-что, заговорила она опять. — Люди же понимают, что, раз они работают вместе или их притесняют всех вместе, — значит, надо вместе и лезть в драку. Понял, скажи?!

Антон попрежнему молчал. Они уже входили в Чулково, навстречу им шли, торопились последние группы рабочих, сзади, в котловине, тянулся от завода низкий, басистый третий гудок.

— А помнишь, тот год на Ужогинке барский двор сожгли? — неизвестно к чему вспомнил Антон.

— Ну что ж с того? Привыкли ко всему. Народ посмотрел, как на войнито: где это крестьянская жизнь? Нет ее. Уйдут русские — придут немцы, а в городе все же, как было, так и есть. Город стоит: и улицы, и дома, и даже фабрики, — почему? Потому что это все и а с т о я щ е е, э т о р а б о ч и й с т р о и л. А деревня? Ударили из пушки — деревни и нету. Почему такое? Потому что мужик строил, крестьянин. Вот он смотрит и думает: дурак я, дурак!..

— А говорят, война не нужна, — возразил Антон.

— Конечно не нужна! — охотно откликнулась Нина. — Но у нас такое правило: пришла беда — ты пользуйся. Люди от несчастья глупеют, так было всегда и везде, а мы хотим, чтоб они умнели! Вот и от войны: надо умнеть! Да и поумнели уже: мужик теперь понял, что ему делать. Вот, как он возьмется за дело, ты его тогда не остановишь, братишка.

— А ты почему знаешь?

— Читала, люди говорят, сама помню. Я еще девчонкой была, ты только родился, — девятьсот пятый год. Ты знаешь, кругом нашего города помещичьи усадьбы горели, мужики землю делили... Они уже и сейчас делят...

Антон недоверчиво посмотрел на нее. Она нетерпеливо дернула его за руку.

— Вот недавно Путилов рассказывал: у них в деревне барин, Абамелек-Лазарев. Мужики пришли к нему, кто с чем: ну, мало ли — насчет земли, предположим, не помню... А у него — охрана, черкесы. Они — стрелять, убили одного мужика. Тогда что? Мужики взломали ворота, вломились в дом, все разломали, — дикость конечно. А потом взяли лошадей, запрягли их в плуги да в сохи и всей деревней поехали распахивать барский пар...

— Что это «пар»?

— Ты ничего не понимаешь, Антон, не стыдно?

Она смешно pokrutila головой, застегнула на груди жакет и огляделась кругом.

— Ну вот, видишь?

Она показала на кусок поля, покрытый почерневшим жнивьем, и объяснила, что такое пар.

Чулково давно осталось сзади. Ужогинка лежала в ложбине, сейчас освещенной солнцем, — это было точно на картине. Ярко горела макушка маленькой церковки, среди зелени громадного сада сверкала оцинкованным железом крыша барского дома, веселые избы стояли вдали, их крохотные оконца радостно сверкали на солнце, по дороге, поднимая пыль, навстречу Нине и Антону скакал табунок телят, потом вдруг телята чего-то испугались и бросились в сторону, прямо по зеленым, аккуратно и красиво усеявшим землю. Из деревни сюда доносился протяжный скрип, точно это вертели громадное, плохо смазанное колесо. Отсюда было видно, как деревня жила полной жизнью, и жизнь эта была совсем другая, чем в городе: без очередей, без озлобления, без нищеты и несчастий. Нет, Нина говорила что-то не то.

При самом входе в деревню им начали попадаться ребятишки, босые, нечесанные, грязные. Они с любопытством разглядывали городских. Удивительно, как эти грязные и рваные ребятишки могли жить в деревне, которая казалась с пригорка такой радостной и счастливой.

— Цып-цып-цып!.. — кричала толстая старуха, в подоткнутой юбке, в одних полосатых шерстяных чулках, стоя

в дорожной пыли. К ней, горланя и наскакивая друг на друга, бежали куры.

Почти в каждом окне виднелись люди, провожавшие городских продолжительными взглядами. Нина шла дальше, видно, зная определенную избу, где она рассчитывала обязательно достать картофеля. Эта изба стояла на берегу пруда, обнесенная аккуратно подрубленным плетнем. Изба была двухэтажная, внизу помещалась потребиловка, наверху жили хозяева.

В светлых, чистых сенях, усталых старновкой, хозяева пили чай. Несмотря на прохладное утро, в сенях было жарко. Посреди стола дымилась в громадной деревянной миске лапша. Жирный кот лежал у порога, он даже не шевельнулся при появлении посторонних.

Все сидевшие за столом — большой седой старик, старуха и четверо, как сдин, чернобородых мужиков — повернули головы к вошедшим.

— Спасибо! — солидно ответил старик на приветствие Нины. — Садитесь, будете гостями.

И он придвинулся ближе к старухе.

Антон удивлялся, почему Нина не говорит о деле. Старуха подала им ложки, старик ударил своей по столу, ложки сидевших за столом застучали о края миски, люди заработали челюстями. Скоро огромный каравай расхвачан был на куски.

Лапша была неестественно-вкусной, — Антону в своей жизни никогда не доводилось есть ничего подобного. На дне миски лежала густым слоем жирная свинина.

Старик ударил ложкой вторично, все руки разом опустились в миску и начали вынимать горячее, розовое, разварное мясо.

После этого чернобородые мужики ушли на двор и чем-то занялись, а хозяева вместе с городскими остались опять пить чай. Когда из раскрытой в избу двери послышался бой часов, — девять, — старик встал, за ним поднялась старуха, замелькали их крестившиеся руки, старуха что-то бормотала, жалостно глядя на темную икону в углу сеней. Старик и здесь первым перестал кре-

ститься, надел шапку и вышел на высокое крыльцо.

— Что скажете, гражданка или барышня, не знаю вас?..

Нина сказала, он оглядел ее, потом Антона и пнул ногою наполненные чем-то мешки, один к одному лежавшие у порога.

— Ходят и ходят. Вот развелось нищего брата, хоть удавился!

— Какие ж мы нищие!? — возмущенно воскликнула Нина.

— К слову пришлось, вона посмотри! — старик указал на дорогу, где уже, стучась под каждым окном от избы к избе, целыми группами и в одиночку переходили городские женщины с мешками. — Меняют всякую рвань, а кому она нынче нужна?..

Он еще раз пнул мешки у порога.

— Что мне деньги? — даже с некоторым удивлением заговорил он снова. — Мать!

Старуха проворно выволокла из избы среднего размера железный сундучок. Старик поднял ногою крышку, там лежало множество связанных в пачки коричневых и зеленых керенок и николаевских бумажек. И здесь наверное было на несколько тысяч рублей.

— Денег — целый банк, а корову на них не купишь. Все обман: царя прогнали, а сами? — и, увидев остановившуюся у плетня женщину с перекинутым через плечо мешком, он громко, матерно выругался и закричал, чтоб она убиралась прочь: тут нет ничего продажного!

Женщина потихоньку, то и дело оглядываясь, побрела дальше:

— Мне бы пуд или даже меньше... — заговорила Нина.

— Кто же картоху продает на пуд? Э-эй!

К старику, точно мальчишка, подскокил один из чернобородых.

— Насыпь мерку...

Чернобородый взял у Нины мешок и вышел.

— Деньги мне не нужны, девка... — заговорил старик, уже вовсе бесцеремонно оглядывая женщину. — Полушалка у тебя нет? Или — сак. Оставь сак! Э-эй!

Теперь уже опять сама старуха проворно подскокила к нему.

— Примеряй. Сменял, — сказал старик.

Нина, ничего не понимая, наоборот, застегнула жакет.

— Снимай-снимай, девка!.. — лениво продолжал старик. — Мы лапшой не считались, а ты чего? Избаловали вас в городе-то...

Он говорил без видимой злобы, как человек, который просто решил убить время в приятных разговорах.

Нина теперь молча сняла жакет, старуха надела его, и он чуть-чуть треснул в швах.

— Мал, — с надеждой сказала Нина.

— Все одно, мал, не мал — беру! — сказал старик.

Чернобородый принес полмешка картофеля, старик достал одну картофелину и поднес ее к самому носу Нины.

— Видала, какие у нас? Императорка! — хвастливо произнес он.

Нина молча завязывала мешок, Антон посмотрел на старика и нахмурился.

— Дал бы хотя хлеба... Ведь не задаром... — грубо сказал он и вдруг отскочил: старик угрожающе шагнул к Антону.

— В городе, видать, вас не порют... — произнес он негромко. — Смотри, у меня живо...

Антон видел, как, шатаясь, Нина подняла мешок, а старик подошел и мягко похлопал ее по бедру. Нина закусил губу. Старик расхохотался, но, увидя Антона, помрачнел.

— Шенюк!

— Старый кобель! — вызывающе ответил Антон, благоразумно отходя в сторону.

Старик сплюнул, скрылся в сенях и хлопнул дверью.

— Нинок, давай половину мне...

— Ничего!.. — с усилием ответила она, впрочем сбрасывая мешок наземь. Он прямо пригоршнями начал пересыпать картофель в свой мешок. Они не заметили, как около них остановился кто-то. Уже завязав мешки, они увидели высокого, небритого мужика с деревяжкой, в солдатской ватной безрукавке, в вязаной серой папахе.

— Городские? — и, не дожидаясь ответа, предложил: — Пошли ко мне, я

в город собираюсь, подвезу... — и дорогой, идя к небольшой избе, стоявшей на задворках, он говорил: — Кволий вы народ, городские... Много ли здесь весу, а не дыхнете... Климат у вас в городе вредный...

Он привел их в тесную, прокопченную избу, где, за верстаками, расположенными вдоль стен, работала вся семья. Работал и худой старик, лицом похожий на одноногого, видимо, его отец, и молодая некрасивая женщина с высоко вздувшимся животом, и миловидная девушка, бледная и круглолицая, и двое ребятшек, один — антоновых лет, другой — помоложе.

Старик на токарном станке, сделанном из дерева, точил какие-то медные шпички, молодайка, скрежеща большой пилой, опиливала самоварный ключ, девушка пилой поменьше делала то же самое, старший мальчишка раздувал горно, пристроенное в печном очажке, младший наждачной шкуркой шлифовал кран.

Окна не открывались, воздух здесь был до того сперт, что казался зеленым, и он так ел глаза, что Антон и Нина закашлялись. Девушка насмешливо поглядела на них, старик с неодобрением покачал головой.

— У нас так вся деревня... — глухо, поминутно отхаркиваясь, говорил солдат... — У меня эта работа уже с трех лет, за верстаком, будьте любезны!.. — сн словно бы хвастался тяжелой своей жизнью. — Сколько вы мне дадите? На вид?

— Сорок, сорок два года? — неуверенно сказала Нина.

Солдат разразился ужасающим хохотом, закашлялся, вытер слезы, выступившие у него от смеха. Так же неожиданно он опять стал серьезным.

— Тридцать! — опять хвастливо воскликнул он. — Тридцать, у меня вся жизнь впереди... — Он выставил вперед деревяжку и гордо постучал ею о земляной пол.

Антон огляделся кругом. На стенах, на скамьях, даже на печи лежал этот медный, зеленоватый налет. Хоть дверь была распахнута и она выходила прямо на улицу, воздух от этого не становился чище. На печи кто-то ворочался и хри-

тло, почти беззвучно, точно пес, кашлял. На полу у печки стояли громадные подшитые валенки, тут же рядом валялась грязнокрасная юбка, с печки свешивалась чья-то сухая коричневая рука.

— И земля есть: четыре души. А что с ней сделать? — говорил солдат. — Мы вот с моим родителем давно собираемся бросить это самоварное золото да за землю: что воздух, что сама работа, живи — не хочу! — он помолчал. — Хотя, с другой стороны: подошла осень, платить подать, — где деньги? Ну, и опять идешь к Кудашеву...

Девушка с нескрываемым любопытством смотрела на городскую. Молодая, низко нагнув на лоб платок, скрипуче ерзала пилой по медному Kranу.

— Три сорок, три шесть гривен — эшестером. Видала — заработки-то? — все еще хвастливо говорил солдат. — Хочешь — хлеба покупай, хочешь — сразу помирай...

— На керосин нехватает... — сказала молодая басом.

— И верно... — подхватил солдат, опять колотя деревяжкой по земляному полу. — Вот часов в пять начнешь, да в одиннадцать кончишь, — где ж тут обойтись без керосина?

— Свобода! — сказала молодая и нехорошо, по-мужицки, выругалась.

— Ну-ну! — прикрикнул одноногий. — Это до власти не касается!..

В голосе инвалида Антон услышал насмешку и, взглянув на Нину, увидел ободрительное выражение ее лица.

— Вообще сказать, мы тоже дураки... — продолжал солдат, беспрестанно постукивая деревяжкой. — Земли у меня на четыре души, хочешь — в этом углу рой могилу, хочешь — в том: просторно!

Он огляделся, никто ему ничего не сказал, он полез в печку, загрел железной заслонкой, достал, обжигаясь, из горшка пяток мелких картофелин и рассвал их по карманам.

— Хлеба — не осталось?

— Откудова тебе хлеба? — закричала молодая. — Ай у нас своя лавка!

— Ну-ну-ну, не рычи!.. — миролюбиво, вернее, расстроено, отозвался инвалид. Он снял со стены вожжи, оборот,

хомутом и вышел из избы. Через короткое время под окном раздались скрип телеги, громкий голос солдата и мирное фырканье лошади. Солдат вошел в избу. Нина и Антон подхватили мешки и вышли к лошади. Одноногий еще оставался в избе.

— Всякие шалаются, а потом дарма кататься желают! — кричала молодая.

Солдат что-то бубнил, слов его на улице не было слышно.

— Все одно! — кричала молодая. — Мерин — папанькин, вот скажу ему — пушай папанька!..

— Ну и замолчь, дурёха! — взревел вдруг солдат. Он, мрачный, вышел из избы, оглядел мерина, потом пассажиров и с ловкостью, которой нельзя было ожидать от одноногого, забрался в телегу и перекинул ноги через грядку. Деревяжка, точно пушка, торчала вбок.

— Ругается? — спросила Нина. — Я могу заплатить...

Он невнимательно взглянул на нее и отвернулся. Лошадь медленно трусила по дороге, припадая на правый бок. Они обгоняли женщин, стариков и даже детей с какой-то громоздкой кладью в мешках.

— Столько работников, как у меня, — мешком, братец ты мой, не натаскаешь. Спасибо вот тестю за мерина...

Только тут Антон увидел в передке телеги переложённые сеном самоварные крышки, колпачки, поддонники, всякую мелочь.

— Возим каждую неделю... — опять хвастливо говорил солдат. — У кого нету лошади — вот трясутся с мешками, за двенадцать верст...

— И так вся деревня? — спросила Нина.

— Да, почитай, вся. Ну, конечно дело, кому Кудашев не дает работы, тот в общем колеет с голоду: земля плохая, скота нету, мужик на позиции. Это я вот такой счастливый, — показав на деревяжку, усмехнулся солдат. — Я, братец ты мой, разолился — страсть! — говорил он и размахивал вожжами. Получалось, что разолился он на мерина.

Нина молча вглядывалась в лицо солдату. Оно было болезненным и добрым.

Злые слова не шли ко всему его облику, получалось, что он произносит их наизусть, как заученные с чужого голоса.

Они уже ехали по Чулкову, бойкие стаи охотничьих голубей шумно летали над улицами, над опустевшими осенними огородами, над высокими голубятнями. По узеньким, грязным мостовым среди полуразвалившихся хибарок торопились люди — в тряпье, в опорках. Это были те из мастеровых, кто работал на маленьких гармонных, самоварных, ружейных, скобяных фабриках, беря работу исключительно на дом. Даже сквозь закрытые окна на улицу вырывались пронзительные взвизги пил, стук рушников, звон их по маленьким наковаленкам. То там, то здесь на дворах поднимался синий тонкий дымок от переносного горна, с глухим дребезгом ударяли кувалды по большим наковальням.

На одном из перекрестков, на завалинке, сидела толстая баба в засаленной пальтушке, с непокрытой головой. Около бабы толпилось несколько ломовиков, их грузные, жирные лошади стояли тут же, посреди дороги, извозчики подходили к бабе и, как вещь, ощупывали ее. Они громко кричали, торгуясь, перебивая друг друга. Тут же стояли ребяташки, среди них какая-то девочка лет тринадцати, с сумкой в руках, наблюдая эту картину. Из окна, через форточку, женщина с грудным ребенком глядела на ломовиков.

Мерин устало помахивал головой, телугу трясло по булыжнику мостовой. Ехали уже по Министерской.

В лазарете были перебиты почти все стекла. Не было окна, не заклеенного газетой или не заткнутого тряпкой. Из некоторых окон выглядывали раненые. У горот уже не виднелось веселых сиделок, над парадным болтался грязный флаг: синяя и красные полосы, белая была оторвана прочь. Со двора на улицу тянулся длинный обоз бочек, издававших смрадное зловонье. Черноусый милиционер в гимназической шинели стоял у ворот, прикрывая рукою нос. На дороге, на рельсах возвышался брошенный здесь вагон конки. Как будто город доживал последние свои дни.

Осень все стояла такая же ясная и теплая, как и в самом начале, — правда, по утрам было холодновато. Почти каждую ночь выпадал короткий холодный дождь, к утру мостовая сверкала мелкими стекляшками льдинок.

Уже идя в школу, Антон видел, как тают они под солнцем, как земля покрывается тонкой, блестящей влагой.

Занятия в училище все чаще и чаще срывались: то заболел учитель, то поп заявлялся на урок злой, прохаживался раз-другой по классу, заглядывал в окно и, захлопнув журнал, вдруг уходил вон. Иногда, наоборот, он оставался в классе и на перемену. Тогда он вызывал кого-либо из учеников и скучно, подолгу расспрашивал его. Особенно любил он мучить Ажогина.

Однажды он вызвал Антона и спросил:

— Кто бил народ скорпионами?

— Нечестивый Ахав? — недовольный, полуотвечал, полуспрашивал Антон.

— Это я тебя спрашиваю. Что значит «нечестивый»?

— Злой. Или, может, в бога не верил...

— А ты веришь?

Антон огляделся кругом: на одной стене висела таблица умножения, на другой — четыре цветные картины со зверями, на третьей — слова с буквой «ять». За партами уже начинали пересмеиваться.

— Веришь? — прикрикнул поп,

Антон подумал и сказал:

— Нет!

Поп даже подскочил, потом он, приседая, обошел вокруг Ажогина, неожиданно дернулся и сильно толкнул Ажогина в грудь. Антон ударился спиной о заднюю парту. В глазах у него потемнело, желтый свет застал его глаза, он схватил чернильницу и запустил ею в попа. Затем схватил табуретку и бросил ее в окно, стекло с оглушительным стоном разлетелось в стороны, ребята повскакали с мест, мальчишки радостно заревели, — пример Ажогина воодушевил их всех, — они начали отплясывать дикие пляски, вопить, как сумасшедшие, девчата с визгом ударились вон из класса, — Антон колотил табуреткой по пар-

там, срывал со стен картинку, таблицу умножения, ненавистную таблицу с буквой «ять».

Попа уже не было в классе. В коридоре слышался топот множества ног. Сюда мчались первый и третий классы.

Второй класс перерезал им путь и ринулся вниз по лестнице. Расхвывая с вешалок одежду, оттирая сторожиху к стене, одеваясь на-ходу, школа рвалась на улицу.

— Кончили!.. Забастовка!.. По домам!..

Мимо ребят, оглушительно ревя гудком, проехал большой тупорылый грузовик, в его просторном кузове стояло несколько рабочих с винтовками, они, видимо, направлялись к Оружейному заводу. Антону показалось, что рядом с шофером он увидел Нину, но автомобиль уже уехал, дав льдинки на дороге, гремя цепями.

Антон вдруг задумался и посмотрел машине вслед. Она уже грохотала вдали.

— Мы дураки.. — неожиданно и грустно сказал он Ковальчуку, шедшему рядом. Сзади них шла и бушевала многочисленная толпа сверстников.

Антон хотел высокомерно и зло оборвать «Кривого», но почувствовал, что его и самого гложет внутри. Он беспоякойно огляделся кругом.

— Зачем били стекла? — в тон Ажогину, тоже грустно произнес Ковальчук. — Мы дураки..

Они расстались еще на углу Министерской. Ковальчук направился к базару, Антон — домой. Он был уверен, что их безобразие не пройдет им даром, но все это было пустяки: вот если б, например, отец или Нина спросили его о сегодняшнем утре, у Антона не повернулся бы язык рассказать о том, что сегодня произошло. Значит, то, что было сделано, сделано нехорошо.

«Нехорошо», — дело было вовсе не в том смысле, какой вкладывали в это слово все. Важно то, как это слово понимали отец и Нина, то-есть как-раз те люди, которые, в представлении Антона, больше всех понимали и имели право отмечать, что «хорошо» и что «плохо».

«Неужели это ехала она?» — опять подумал Антон, припоминая грузовик у школы. Он торопливо шел, почти бежал домой. Навстречу ему крупной, грохочущей рысью промчались три военные двуколки, на каждой из них тоже были красногвардейцы, — видимо, они ехали по тому же направлению, что и грузовой автомобиль.

На углу Железнодорожной и Министерской расположились сотни полторы солдат. Ружья их были составлены в козлы, солдаты играли в чехарду, и лишь офицеры наблюдали за улицей. Прохожих не пропускали в сторону губернаторского дома, их поворачивали обратно.

Грузовик, двуколка с красногвардейцами, солдаты, — все это так перемешалось в сознании Антона, что он просто терялся. Он пошел по Железнодорожной. Здесь, наоборот, все было спокойно. Горбоносовская лавка стояла заколоченная досками, у ворот дома в клетчатой шали стояла рыжеволосая горбоносовская невестка, пристально всматриваясь в сторону Министерской. Этой бабе все было ничем, — она делалась красивее день ото дня!

Она, видимо, узнала Антона и усмехнулась, когда он опасливо взглянул на нее.

В юльмовском доме во всех окнах были глухо опущены шторы, у ворот фабрики стоял милиционер в солдатской папахе, с винтовкой дулом книзу.

Ворота кудашевской фабрики, наоборот, были распахнуты настежь, на дворе толпились рабочие, некоторые из них были вооружены, среди рабочих попадались одиночные фигуры солдат. Кто-то оглушительным басом, на всю улицу, пел:

Из страны! Страны далё-е-кой!
С Волги! Ма-а-а-атушки! Широ-о-о-окой!..
Ради вольного тру-да-а-а!..

Ему никто не подтягивал, но могучий голос продолжал греметь над фабричным двором.

Тут же стояло несколько подвод, — это вероятно приехали из окрестных деревень крестьяне сдавать работу, — недавно утро в Ужогинке пришло на па-

мать Антону. Он даже сделал шаг-другой к подводам, как бы желая найти там многогого солдата.

Могучий голос все гремел, разносился по улице:

Вспомним го-о-оры, вспомним до-о-олы!
 Наши нивы, наши сѣ-е-е-елы!
 И в стране-е-е, в стране чужо-о-о-ой!
 Мы пиру-ем пир ве-се-лый!..

Послышался гомон множества голо-сов, из казарм торопились солдаты, многие из них несли за плечами, в руках и просто в охапках по три, по четыре винтовки. На них накинудись, и винтовки вмиг были расхватаны рабочими.

В этот и последующие дни так ничего особенного и не произошло. Кудашевская фабрика не работала попережнему. Тихо было и у Юльма. Но на пустыре, у староверского кладбища, целыми днями толпились вооруженные рабочие. На проходных воротах у Кудашева висел большой кусок фанеры:

*Здесь записываются
 в Красную гвардию.*

А отец все сидел в тюрьме. Правда, время от времени от него получали записки, в которых он просил не беспокоиться: осталось еще недолго... — писал он. Но, видимо, Нине нелегко было переживать его арест. Она читала газету, где ежедневно печатались резолюции рабочих об освобождении арестованных членов Совета, но, в то же время, в город был прислан новый, 114-й полк, и поэтому губернские власти пока чувствовали себя прочно.

Нина прятала газеты, где упоминалось имя Ажогина, иногда она доставала и опять вслух перечитывала их.

Ночью она подолгу ворочалась в своей постели, — не могла заснуть. Иногда Антон, просыпаясь, вставал и шел к постели Нины. Он смотрел в ее лицо, ставшее беспредельно родным. Он заметил, что в волосах ее появились серые, серебряные нити. Она спала тяжело, яркие розовые пятна проступали по ее бледному, усталому лицу, пряди ее тонких, шелковых волос устилали подушку,

грудь высоко и прерывисто вздымалась под одеялом.

В изголовьи у нее постоянно стояла винтовка, на стуле рядом, на кучке ее белья, лежали брезентовый пояс, набитый патронами, и маленький никелированный пистолет.

Антону часто казалось, что вот, пока он стоит и смотрит так, Нина вско-чит, оденется и убежит с винтовкой и пистолетом куда-то, откуда послышатся крики и выстрелы.

Ему по ночам часто стали мерещиться эти крики и эти выстрелы. Он вздрагивал и просыпался: нет, в комнате была тишина, только слышалось учащенное дыхание Нины.

Однажды, уже поздно вечером, придя из Совета, Нина рассказала Антону:

— Завтра начинается общая забастовка: везде, везде — магазины, лавки, железная дорога, оружейный завод, и вообще все, понимаешь? Это чтобы освободили всех и дядю Ваню... Забастует сдннадцать тысяч...

Нина вдруг радостно вспыхнула и за-тормошила Антона.

— Как это хорошо, Антон, правда? Вот мы, предположим, сидим — и вдруг входит он! Дядя Ваня...

Антон рассмеялся.

— И вдруг входит Ажогин... Наш Ажогин... — тихо и любовно повторяла она.

Под окнами прогрохотал цепями большой грузовик, Антон сразу вспомнил то, что он видел около школы. Ехала ли она на этом автомобиле, спросил он Нину. Она утвердительно кивнула ему.

— Мы ехали в арсенал, взяли оттуда две тысячи ружей и пулеметы: три раза ездили туда, вывезли все! Наша Красная гвардия теперь — все как надо... — волнуясь и торопясь, рассказывала она. — Там были солдаты, я говорю им: «Ведь это все пойдет на позиции, чем дальше вы стоите здесь, охраняете, слушаете свое начальство, тем дольше не кончится война». Ну, они не сразу послушались. Тогда мы нажали как следует, и вот кто просто перепугался, кто говорит: «Ладно, берите, не жалко...» В общем, склады громадные. Мы взяли

все, что там было. Понятно, говори?! — торопливо рассказывала она.

Бастовал Оружейный, продолжались стачки на мелких фабриках, еще раз поднялись железнодорожники, поезда останавливались за сорок, за пятьдесят верст от города, закрыты были все лавки и магазины, кроме тех, что торговали хлебом, во всех школах ученики были распущены по домам, — к забастовке примкнули учителя.

Весь город был заклеен большими цветными листовками:

Свободу арестованным большевикам!

Вся власть в руки советов!

Борьба против всеобщей разрухи!

Свободу арестованным большевикам!

Вся власть в руки советов!

Из Петрограда неизвестно какими путями приходили сведения о том, что после двадцатого числа опять начнется революция, что Петроградский совет приказал грабить заводы и раздавать оружие золоторотцам, и вообще — начинается неизвестно что.

— Идут слухи, понимаете ли, и мы не знаем просто, что отвечать людям... Газет из Москвы и Питера — нет... Слухи, слухи, слухи... — словно жалуясь, тихонько говорила Нина. — Вообще, очень трудно, товарищи...

Она медленно шла по дощатым мосткам тротуара, по бокам ее шагали Косьмин и Павел Орестович. Они все, и с ними Антон, возвращались с Оружейного завода.

— Вы тяжело переносите арест Ивана, вот и все... — сердито заговорил Косьмин. — И вообще, по-моему, больны... Что у вас за вид? Есть, что ли, у вас нечего? Может, вам достать чего? По-моему, наоборот, сейчас дела как-раз идут очень неплохо...

— Я не знаю... — снова жалобно сказала Нина.

Павел Орестович искоса посмотрел на нее и еле заметно усмехнулся. Косьмин сердито взглянул на него.

— Что смешного? Надо почаще заходить к ней. Говорить, просто так... Редактор!..

Павел Орестович усмехнулся опять.

— Нина сказала мне, что ей не слишком приятны мои разговоры...

— Вы же понимаете, о чем речь! — сурово сказала она, и тот смущенно потупил глаза.

— Вообще, Нина, вам тяжело без Ивана... — неумолимо повторил Косьмин. — Это однако не страшно: не сегодня-завтра добудем его...

— Не так-то легко... — вставил Павел Орестович.

— В рот конечно никто не положит, да он и не конфетка... — уже совсем зло продолжал телефонист.

— Требую громадный залог...

— А ну вас! Редактор! — махнул рукою Косьмин. — Помогаете ей? Утешаете?

Он распрощался с ними на углу Железнодорожной и Министерской. «Главный» пошел с ними дальше. Он теперь бережно поддерживал Нину под локоть, искоса поглядывал на нее.

— Я не хочу итти домой... — вдруг сказала она. Взгляд ее остановился на возвышавшейся впереди железо-бетонной стене староверского кладбища. Она добавила: — Посидим там — воздух, тепло...

Павел Орестович без возражения пошел дальше, осторожно поддерживая Нину. Но у самых ворот она вдруг остановилась, вздрогнула и виновато опустила глаза.

— Вы наверно ругаете меня за капризы, а я вот не могу сюда... — она опять вздрогнула и добавила полушопотом: — Я боюсь, боюсь чего-то...

— Чего? — Павел Орестович пожал плечами, но так же бережно повел Нину обратно.

— Вы не ругайтесь, я хочу пройти на речку, или вам некогда? Тогда — я одна...

Он промолчал, и они наискосок, через пустырь, направились к Воронке. Весь берег ее был усеян ребятишками, они сидели здесь самые разные: черноголовые, беленькие, как грибы, загорелые, одетые, кто как. Их было здесь такое множество, и они сидели, пригретые солнцем, так тихо, что Антон удивился. Оказывается, там двое стариков ловили раков.

Старик был велик, бородат, он все время кашлял, и его оглушительный ка-

шель, как выстрелы, гулко разносился над рекой, он бродил по воде, не раздевшись, в черных, лоснящихся от воды шароварах. Старуха, подогнув юбку и обнажив тощие колени, носила за ним небольшую корзинку. Старуха вся дрожала от холода. Старик, согнувшись, зорко смотрел в воду, потом неожиданно совал руку в нее, угрожающе шипел, кашлял на всю реку, и старуха отдирала от его пальцев нового рака.

Именно это зрелище и увлекло ребят. Когда Антон оторвался взглядом от стариков, он увидел что Нина следит за ними с таким же любопытством, как и дети.

— Вам не интересно? — спросила она, как бы стяхивая с себя впечатление от виденного только-что.

— Любоваться убожеством людей, одной ногой стоящих в могиле?..

— Павел Орестович, дорогой, не надо... — умоляюще воскликнула Нина. — Вы за последнее время стали очень скучны... Отчего это?

— Не знаю, может быть, скучным родился? — криво усмехнулся он.

— Неверно, — вспомните Монастырку!

— У вас серые волосы, Нина...

Она неодобрительно посмотрела на него и покачала головой.

— Рассказать вам о петроградских новостях? Или — не до них?

Она молча кивнула ему.

— Ну, что ж вам сказать? Разумеется, никаких грабежей не было, Петроградский совет совершенно законно взял с Сестрорецкого завода винтовки, пять тысяч. Ну, примерно, как мы в арсенале... Но тут есть одно... Видите ли, весь вопрос в гарнизоне. В Петрограде гарнизон в наших руках, большевистский...

— Ну, и слава богу, кажется...

— Да, но Керенский хочет вывести его из столицы и заменить казаками, что ли...

— О-о-о! — Нина стряхнула разом с себя давешнее безразличие. — Может быть, поэтому и говорят о двадцатом числе?

— Дело не в двадцатом, но вообще решится все не сегодня-завтра...

Нина слушала его, косясь одним взглядом в сторону стариков. Старики все бродили по воде.

— В сущности, благословенный край... — заговорил опять Павел Орестович, поглядывая на Нину. — Середина октября, а два почтенных старца как ни в чем не бывало разгуливают в ледяной воде, ловят паукообразных... Я, признаться, думал, что в это время раки уже устроились на зимовку...

— Осень особенная...

— Осень! Да! — Он встал и отряхнулся.

— Какая ни будь погода, все же — осень. Хоть «осенняя пора — очей очарованье», а долго сидеть на земле вредно, вставайте...

Нина молча поднялась и отряхнулась тоже. Они медленно зашагали вверх по дорожке и направились к дому.

Осень и в самом деле была совершенно исключительной. В середине дня и даже еще к вечеру солнце палило так, словно был июль месяц. Правда, деревья почти уже осыпались и трава стала не только желтой, но даже коричневой. И все же было сущим наслаждением итти сейчас под горячим солнцем по этому пустырю, по дороге со слезавшейся пылью.

— Чаю не хотите?

— Нет, сегодня заседание Совета... — Он взглянул на часы и заторопился: — Уже запаздываю...

И он почти побежал. Получалось это у него как-то смешно: он торопился вприпрыжку, сбиваясь с шага. Получалось впечатление, что он в галошах, которые ему велики, и галоши эти спадают с ног.

Антон засмеялся и распахнул калитку. Он пропустил Нину вперед себя.

— Я знаю, почему он скучный...

— Павел Орестович? — она удивленно подняла брови.

— Он влюбился в тебя, а ты не хочешь влюбиться...

Нина покраснела, усмехнулась.

— Ты умный не по летам, тебе когда-нибудь достанется за твой ум...

— Конечно, — упрямо продолжал Антон. — Раньше он был веселый...

— Все равно, ты бы лучше ходил в школу, Антон... У меня дурацкий характер, но подожди, вот скоро явится отец! — с угрозой заключила она. — Хотя и у вас, небось, забастовка?

До темна было еще довольно долго, Антон решил пройти к Ковальчукам. Он заявился к ним, когда их мать, неловко изогнувшись и тяжело дыша, мыла полы. Она подняла свое покрасневшее, мягкое лицо и сказала не то гневно, не то просто пренебрежительно:

— Ты пошел, пошел, мальчик... Я не веляю Коле играть с тобой... С тобой доиграешься.. Отца-то твоего знаменитого — не выпустили?

Тотчас же из-за ширмы вышел сам Ковальчук в своей тужурке с ясными пуговицами. Он пригладил волосы, взял Антона за плечо и загудел над самым его ухом:

— Вообще я или твой отец — это большая разница... По крайней мере в тюрьме я не сживал..

Он слегка оттолкнул Антона, словно вытирая пальцы, провел ими по лацкану тужурки и опять скрылся за ширмой.

Самого «Кривого» Антон встретил на дворе. Он подждал Ажогина и, когда тот спустился с лестницы, первым делом спросил:

— Ругаются?

— Да так себе... — с оттенком превосходства над Ковальчуками сказал Антон. — Я бы убежал от таких дураков...

— Это правда... — охотно согласился «Кривой». — Только отец у меня — не дурак, он хитрый. Он в училище гвозди ворует или лампочки, а вчера принес домой четвертную спирта, со склада. Спирт — синий-синий... Ты никогда не узнаешь, что ему надо: что он думает — неизвестно!

— Ну, и чорт с ним! — окончательно разозлился Антон. Он пошел к калитке. «Кривой» последовал за ним. По выражению его лица Антон видел, что у того есть что-то такое, что можно сказать только наедине.

— У тебя дома есть кто-нибудь?

— Дома — Нина, а что?

— У тебя — Нина, у меня — matka и отец! — с таким отчаянием воскликнул

вдруг «Кривой», что Антон забеспокоился.

— У нас есть еще сарай, там никого нет...

— Ну ладно. — Ковальчук уже улыбнулся и, подняв над головой небольшую растрепанную книжку, торжествующе потряс ею.

Они пошли дальше. Уже подходя к кудашевскому дому, они услышали беспорядочные выстрелы, где-то в городе, как будто около Кремля. Потом воздух разорвала торопливая пулеметная дробь, и снова все смолкло.

Нина спала на сундуке, не разуваясь, точно человек, ожидающий поезда. Видимо, она была нездорова: раньше она никогда не спала днем, к тому же у нее просто не было времени на это.

Антон прошел в сарай. Там у приоткрытой двери, важно попыхивая папирской, сидел на камне Ковальчук и рассматривал небольшую карту в конце растрепанной книжки.

Он заговорил без всяких вступлений:

— Сначала мы поедем в Одессу, — это такой есть город, около моря, а там на пароход, хорошо? Потом — в Турцию, там — турки. Это ничего, что там война, мы — маленькие, нас не тронут...

— Тебя-то, может, не тронут... — сухо сказал Антон.

— Ну все равно, ты слушай... Потом — Египет. Читал «Дочь египетского царя»? Нет? Все равно — Египет, а оттуда в Австралию. Это очень большой остров, там всегда тепло, можно купаться весь год, только вот, когда зима, то там дождик...

Антон молча глядел на Ковальчука, втайне завидуя его умению говорить с таким знанием дела.

— Если мы поедем первого числа в Одессу, то туда приедем третьего, из Одессы в Турцию — три дня, — шесть. Верно? Из Турции в Египет — еще три. Девять? Из Египта в Индийский океан, — еще четыре или пять дней. И еще через десять дней уже Австралия. Хорошо? Вот смотри: Аден, Мальдинские острова, Сешельские острова, Чагос... — перечислял «Кривой». Все эти названия звучали в его речи, как музыка.

Он долго рассказывал, какие животные водятся в краях с такими удивительными названиями, он говорил о великом множестве овец, которых там разводят и за которыми можно научиться хорошо ухаживать. За это им будут платить большие деньги, и лет через десять или пятнадцать, когда Антон и он, Ковальчук, вернутся обратно, они построят себе в Кудашевском саду большой дом, один будет его, «Кривого», другой — Антона, третий — Веры и Лизы.

— Говори скорее: хочешь?

— А деньги?

— Какие деньги?

— Ты не знаешь, какие? — Антон пренебрежительно свистнул. — Ты ничего не понимаешь, ты не был нигде дальше Воронки, а я поездил, мне известно все. Тебя без денег не повезут никуда...

— Значит, не хочешь? — дрожа от обиды, спросил Ковальчук.

— Ты не доедешь никуда.

— Я доеду в Австралию! — заносчиво воскликнул Ковальчук. — Я не хочу жить с отцом и с матерью!..

— А с кем ты оставишь Лизу?

Этого Ковальчук не ожидал. Он захолопал глазами и вдруг разревелся.

— Ну вот видишь, а говоришь — Турция...

Антон снисходительно улыбнулся и похлопал приятеля по плечу.

— Все-таки я уеду... — зло сказал Ковальчук, захолопнул книжку и выбежал из сарая.

Антон глядел ему вслед, он не заметил, как кто-то торопливо подошел к калитке, боком задел его и заторопился по двору, к крыльцу: это был Косьмин.

Телефонист растормошил Нину. Она жмурилась, потягивалась, громко зевала.

— Не будьте ребенком! — грубо кричал на нее Косьмин. — Вообще, вы знаете, что делается на свете? Расстреляли Совет! Вот вам!

Он выкрикнул последние слова так, словно спорил с кем-то и в этом споре оказался прав.

Нина разом пришла в себя и прыгнула с сундука на пол.

— Да-да! Вот вам!.. — Косьмин вдруг ударил кулаком по столу и матерно вы-

ругался. Казалось однако, что ни сам он, ни его собеседница не заметили этого.

— Собрались мы, начали. Говорим об освобождении большевиков, выступает один солдат из 97-го полка. Вдруг появляется воинский начальник, капитан Аристов!.. — он махнул рукой и замолк.

— Ну-ну-ну! Дальше!

— Не кричите! — устало отмахнулся он. — Дальше известно: прекратить заседание. Почему? Что такое? «Я, — говорит, — распорядился: очистить помещение». Крик, шум... Кто — «закрывать», кто — «продолжать». Тут, разумеется, эти меньшевики!.. — Косьмин снова матерно выругался. — «Подчинимся насилью». Шум невероятный, голосуем — ничего не понять: большинство ли, меньшинство ли... Чорт голову сломит. Аристов вышел, через минуту — залп. У нас все стекла — к чорту! Хорошо. Звоним на Оружейный, — наш провод перерезан. Штаб Красной гвардии — такая ж картина. Махнули рукой, на улицу, — оружие было так, кое у кого, а тут роты две, не меньше, из новых, 114-го полка, еще серых, да из команды воинского начальника... Что тут поделаешь? Стали расходиться, а вдогонку пулеметная очередь. Главное — в спину!..

— В людей? — ахнула Нина.

— Нет, в скотину... — огрызнулся Косьмин. — Одним словом, Лодинга ранили, хотя легко. Меня — вот... — он расстегнул штаны и, не стыдясь Нины, показал ей грязно-окровавленное правое бедро. — Павла Орестовича убили... — добавил он, застегивая штаны.

— Как?

— Как убивают-то?! — опять огрызнулся телефонист. — Да вы где живете-то? На луне?

Он, прихрамывая, прошел к стенке, снял с гвоздя полотенце, располосовал его и начал бинтовать рану. Рана была на неудобном месте, бинт соскакивал, Косьмин кривил лицо, шипел и ругался последними словами. Его толстое лицо покраснело еще больше, глаза стали злыми и неприятными.

Нина уже прилаживала подсумок и проверяла затвор винтовки.

— Оставь... — Косьмин молча отбрал от нее винтовку и сунул ей револь-

вер. — Тебя сразу заберут с винтовкой, а я — в форме...

Она машинально подчинилась ему, и он, прихрамывая, вышел из комнаты, а через мгновение его неуклюжая фигура промелькнула под окнами.

— Подожди минутку... — пробормотала она Антону.

Антон выскочил в сени, толкнул дверь и услышал лязг замка о кольца.

— Открой, открой! — не помня себя, взревел он.

— Я скоро, я скоро, наследник... — тихо уговаривала она через дверь.

— Пусти! Пусти-и-и! — горланил он, гремя в дверь кулаками, ногами, головой.

Но затем он услышал, как стукнула калитка. Он вбежал обратно в кухню, двинул локтем окно, — уже были вставлены вторые рамы, — двинул еще раз, стекла разлетелись прочь, он вылез из окна, мельком взглянул на свою окровавленную руку, почувствовал боль, но задерживаться было некогда, и он бросился вслед за Ниной. Нина была уже шагов за сто, он догнал ее и дернул за рукав.

— Почему ты не берешь меня? — дрожащим от обиды голосом спросил он. — Я ходил везде.

— Ты знаешь, как убили Павла Орестовича? — еле слышно проговорила она.

— Пускай! — закричал он. — А если тебя?! Я хочу вместе!

— Сошел с ума!.. Что ты ходишь за моей юбкой!..

Он молча тронулся с места, и она принуждена была следовать дальше, — с ним было невозможно спорить, с чертенком.

На углу Министерской и Полевой стояли двое милиционеров и двое солдат.

— Назад, наза-ад! — кричали милиционеры на всех подходивших сюда. — Куда, барышня?

Пришлось быстро вернуться обратно, чтобы обойти по Железнодорожной. И лишь у самого дома Нина укоряюще посмотрела на Антона.

— Как же ты вылез? — и, увидев его окровавленные руки, она только ахнула. — Ты сошел с ума! Бить стекла, боже мой, что за человек!?

Она даже со злости дернула его за ухо, но он не обратил на это внимания.

Когда они подходили к дому, чей-то знакомый голос окликнул их с дороги. Это был ужюгинский одноногий солдат.

— Уж и не знаю, чего делать... — растерянно заговорил он, бросая вожжи на спину мерину. — Привез работу — мастерам на фабрику не пускают, кладовщика — нету... Забастовка, говорят...

— Значит, нельзя...

— Значит, нельзя... — раздумчиво повторил он. — Я уж и не знаю, как и обойтись... Видишь ты, какие дела-то... И обратно-то везть — тоже неохота будто...

— Заворачивай к нам, обожди в комнате, мы скоро вернемся. — Она быстро распахнула ворота и дернула лошадь под узды. — Дождись нас! — крикнула она, уже торопясь прочь.

У ворот кудашевской фабрики стояло двое парней с красными повязками на руках и с ними старик, чисто выбритый, с лихо подкрученными усами. Больше никого не виделось поблизости. Навстречу Нине и Антону брел, пошатываясь, какой-то пьяный.

Поровнявшись с ними, пьяный остановился.

— Обожди, стой!.. — очумело закричал он. — Стой, говорю, вы у меня арестованы!..

Нина остановилась, Антон в пьяном узнал Солонкина. Он был грязен и растрепан.

— Антошка? Ажогин? Ты не видал моего жулика? — забормотал он. — Витька-то... Обокрал... Ограбил меня... Взял все деньги... Убег... Господи-господи-господи!.. — он зарыдал и уткнулся лицом в забор.

— Тебя еще надо поджечь, — рассудительно сказал Антон и тотчас же отскочил: Солонкин глядел на него страшными глазами, с лицом, перекосившимся от бешенства. Нина на всякий случай отступила в сторону, Солонкин ринулся на нее, но тут из юльмовской калитки появился Кошатый, он дал Солонкину подножку, пьяный растянулся в пыли.

— Что с тобой? С ума сошел? — наклонившись над Солонкиным, тревожно спрашивал он.

Он догнал их и пошел рядом с ними.
— Что с ним случилось? Был смиренный, веселый человек. Как меняются люди, а? Иван Ефимовича еще не выпустили? Вот то же самое, — беспокойный человек! Извините, я говорю откровенно...

Нина слушала его молча, на щеках ее еще проступали густые багровые пятна — следы недавнего возбуждения.

— Человек он у вас умный, сейчас время такое, что работать можно свободно... — продолжал Кошатый. — Он мог бы крупное положение играть, не в смысле — заработок, а общественно. Вы понимаете?

— Я вас понимаю, — многозначительно сказала Нина, но Кошатый, видимо, не оценил этого тона.

— Со всеми разругался, с друзьями, с товарищами... К нему — никто, он — ни к кому... Так и одичать может человек, честное слово...

Нина звонко рассмеялась, Кошатый с недоумением покосился на нее.

— Ничего смешного. Все люди — как люди. До переворота — да, я понимаю... — недовольно говорил он. — А сейчас другой вопрос: развернуться есть где, — свобода. Иван же Ефимович не выходит из тюрьмы... Вам — смешно?..

Он остановился около чистенького двухэтажного домика и постучал в крайнее окошко.

— Желая! Я приехал... — он одинаково внимательно спрашивался и с Ниной, и с Антоном.

Потом стукнула калитка, и он скрылся во дворе.

Оказывается, он перебрался на другую квартиру. Вот как, значит, Кошатый шел в гору!

— Он наверно — меньшевик? — вспоминая уже полузабытые объяснения отца, спросил Антон.

— Да нет, какой там!.. Просто больной человек. Желудок у него больной: просит кушать, чего получше... — отмахнулась Нина. — Вот Солонкин, Кошатый — одинаковая публика... Один поспеет, позлее, — он хапает обеими руками, а Кошатый — вот так...

И она сделала из ладони лодочку.

Навстречу им торопился, почти бежал какой-то человек. Он широко размахивал руками и громко напевал что-то. Он издали окликнул их, Прокопий, — это же был Прокопий!

— Что это вы? Тянетесь!.. Кошачий мясоед! Эх, наро-о-од! — весело закричал он. — Куда? Вороти назад!

Нина молча и настороженно смотрела на него.

— Ну, а ты, Антошка? Ананьин внук из Великих Лук. — И он добавил уже серьезно: — Иван Ефимыч велел его ждать, скоро домой зайвится!..

— Что за глупости?

— Была бы честь предложена, а убытку бог избавил. Верно говорю: велел ждать. Жив, толстый, как тулуп.

— Выпустили?

— Нет, на побывку... Чудной вы народ, дамы...

Нина и Антон вернулись домой, но по лицу Нины было видно, что она плохо верит этому прибауточнику.

Хромой солдат, укрывшись армяком, спал на дворе в телеге. Лошадь над самым его ухом хрупала сено, изредка встряхивая головой и звякая медным набором уздечки.

Нина начала прибираться в комнате. Старуха в кухне причитала над разбитым стеклом.

Вскоре начался дождь, и хромой солдат вошел в помещение.

— А меня сморило... — виновато сказал он. — Напиться бы у вас — нечего?

Потом он пил чай и рассказывал:

— С барином-то мы порешили, — спалили его, он нам теперь не страшн, а только вот землю поделили всем, кроме нашего брата. Лошадей поделили по всем, кроме нас. Получается опять, как прямо в сказке: было у хозяина три лошади, нынче стало — пять, а у меня не было ни одной — ни одной не осталось.

— Пьянствуешь, что ли? — спросила Соломатиха.

— Кой чорт!?. — горячо вскричал одноногий. — Я про то, что кому революция, а кому нож острый, а вон у нас заведующий потребилкой, Иван Козьмич, у него дом двухэтажный есть, он

другой строит, а живет — сам со старухой. Как это понять?

— Он ненормальный, что ли? — опять спросила Соломатина.

— Вот ты и поговори с ней! — с отчаянием воскликнул одноногий. — «Ненормальный!» Он — нормальный, только жмёт, Кашей, вот он и взял нашего брата в ершовые рукавицы...

— В ежовые... — поправила старуха.

— Для нас хрен редьки не слаже... — Одноногий пригорюнился и посмотрел в окно на двор, где, блестящий от дождя, стоял мерин.

— Ну и сами виноваты! — резко вдруг сказала Нина. — Вы приходили в Совет? Говорили, как и что? Полагаетесь на своих деревенских кулаков? А вот они обзывают вас ослами, небось, и свое дело делают.

— Народ мы дураки... — покорно согласился одноногий.

— «Дураки!» — продолжала Нина. — Вам еще мало достается, вот вы и молчите...

— Да ведь уже и жить нельзя!.. — вскричал мужик, схватил со скамьи шапку и снова бросил ее на скамью.

— А если житья не стало, иди в город, зови Красную гвардию, записывайтесь сами... — она махнула рукой и вышла на крыльцо, оттуда перебежала под дождем на улицу, постояла там под дождем и вернулась минут через десять, вся мокрая.

В комнате ее встретил окончательно притихший Антон. Он тихонько, на цыпочках, подошел к ней и взял ее за руки. Она, полными слез глазами, смотрела на него.

— Нинок, Ажогина ждешь? Ты не плачь, он придет... — шопотом говорил он.

— Он придет, он придет, я знаю... — негромко бормотала она, жадно прижимая его к себе. — Наследник, братишка...

Одноногий солдат уехал перед самым вечером. Нина надавала ему газет, разных тоненьких книжечек, прокламаций и вышла на двор провожать его.

— Вообще, живем мы, как деревья в поле... Знаете, бывает заселяю рожью и

овсом, а посреди поля — дерево. А версты через две — другое. И толку от него никакого, и вообще это не лес, и... Ну, в общем, до свиданьица... Как-нибудь к вам зайдем... В деревне у меня дружок есть, мне пара: однорукий... — он усмехнулся, вывел мерина из ворот, влез на телегу и медленно поехал в сторону Министерской.

Отец пришел уже около полночи. Все это время пылала печь: старуха хотела встретить Ажогина горячими блинами, — больше угощать было нечем. Он пришел вместе с дядей Сергеем. Матросов был небрит, на плечах его была долгополая офицерская шинель, подмышкой — винтовка и через плечо — патронташ, наполовину пустой.

Отец сидел на кровати, рядом с Ниной. Антон пристроился у него на коленях, Иван гладил плечи Нины и говорил:

— Слышу — подкатили к воротам. Ну, конечно, мы перебили все стекла к чортовой матери, слушаем: не разобрать слов. Знаем, что в городе идет общая забастовка, а что и как — неизвестно. По коридорам слышим — начальство бегаёт, тоже друг на друга кричит, тоже самое ни черта не понять! А потом, оказывается, Путилов привел своих, и все по порядку...

— Блины готовы... Подавать, Иван Ефимыч?

Все вышли в кухню. На тарелке дымила высокая стопка блинов, ароматный овсяный пар шел по всей кухне.

— Блины в половине первого, а? — удивился отец. — Впрочем, ничего!

На полу уже кипел самовар, печка дышала жаром, старуха разливала гесто по горячим сковородам, сковороды шипели и брызгались маслом.

— Только вот конопляное... — горестно гогорила Соломатина.

— Спасибо и за конопляное... — с полным ртом говорил отец.

Меньше всех ели Нина и Антон: они в оба смотрели на отца. Он очень поухудел, стал бледнее, но был весел.

— Ты оставь теста-то, еще придут... — пообещал отец, и, в самом деле, скоро в окно стукнули, Ажогин вышел, и через полминуты вернулся с Косьми-

ным и лохматым, в обычной кожаной тужурке, Лодингом.

Косьмин уже еле шагал: рана видимо, начинала болеть во-всю. Он сел на скамью, бросил рядом с собой фуражку и, сморщившись, привалился к стене. Сидел он как-то странно, одним боком.

У Лодинга голова была обмотана грязным бинтом.

— Ухо, чорт его дер! — весело объяснил он Нине. — Будь оно в другом месте, не ранили бы...

— Чуть не в голову... — сказала Нина.

— «Чуть» не считается... Блины? — он шагнул к столу. — Косьмин, почему не ешь? Тебе же попало не в рот, а совсем наоборот. Подлечись блинками, — а, Косьмин?

С приходом Лодинга стало много веселее. Он рассказывал, как арестованных большевиков выручали из тюрьмы, — и все вокруг покатывались со смеху.

Героем освобождения был, и по словам Лодинга, Путилов.

— Приходит ко мне... «Давай, — говорит, — громить тюрьму». — «Как громить?» — «А так, — говорит, — к чертовой матери!» — «Позволь, там же наша публика!» — «Ничего публике не сделается!..» Я как-то не обратил внимания, потом вижу — Путилова нет. Где Путилов? Никто не знает... Э, думаю... Посылаю человека: «Узнай!» Что же он выдумал?

Лодинг оборвал рассказ и начал пить чай.

— Ну что? — первым не выдержал Антон.

Лодинг подмигнул ему.

— Начальник тюрьмы — скуп, как дьявол. К тому же держит коров: три или четыре штуки. Теперь так: гонит работница откуда-то этих коров, а Путилов к ней: «Коровы начальника?» — «Начальника». — «Ваши коровы в плену». А провода телефонные уже оборваны. Путилов дает работнице записку к начальнику, а в ней так: «Ваши коровы у меня временно в плену, ставлю ультиматум: или через пять минут вы сдаете нам в целости всех политических, или от вашего скота не останется даже

копыт». Привязал коров к телеграфному столбу, навел на них пулемет, ждет... Начальник тюрьмы, как сумасшедший. Влезает на стену: вот так — коровы, так — пулемет. Записку Путилову: «Господин офицер! (Это Путилов-то — офицер!) Сим прошу освободить коров, поскольку они в вашей власти. Над арестованными же властен единственно прокурорский надзор...» Тогда Путилов дал очередь, но что стало с начальником, — невозможно описать. Выскакивает: «Берите ваших арестованных!» и сам к коровам: целует их, обнимает...

Раздался оглушительный хохот, даже дядя Сергей усмехнулся в усы.

— Так что, Матросова, твоего мужа сменяли на корову. Не обидно?

Ажогин, не переставая смеяться, говорил:

— Кто подумает — правда. В общем, компанейский вы человек, товарищ Лодинг...

— Для веселья соврать люблю... — признался тот, оглядывая всех веселыми своими карими глазами. И потом добавил, уже другим, сухим и решительным голосом: — Ну, теперь за дело...

Все, даже Косьмин, разом встали и перешли в комнату. Косьмин достал из-за обшлага шинели какой-то план и расстелил его на столе. Все обступили стол. Косьмин стоял с карандашом в руке.

— Докладывать? — коротко спросил он у Лодинга.

Тот молча кивнул ему.

Совещание продолжалось долго, Антон уже засыпал, сквозь сон он слышал разговоры о каких-то непонятных вещах. Споров не было, только отчетливее других слышался голос Косьмина. Лодинг все больше спрашивал, Косьмин отвечал.

— Где ставим заставы?

— На мосту, у Оружейного училища, у железнодорожной церкви... — объяснял Косьмин.

— Дальше...

Косьмин продолжал докладывать своим ровным громким голосом. Уже засыпая совсем, Антон подумал, что все это происходит на войне.

— Эх, жаль, нет Путилова... Вот бы он где был нужен: решающий

удар! — это вдруг вскрикнул Лодинг, ударяя кулаком по столу, Антон раскрыл глаза.

— А что с ним? — как бы издали послышался испуганный голос Нины.

— Убили нашего Путилова... — сурово сказал Ажогин, и это было последнее, что услышал Антон.

Но даже слова о Путилове не подняли его. Он заснул и спал уже, как следует, всхрапывая. Он не слышал ни выстрела около станции, ни гудков сначала в депо, потом на Оружейном заводе, он не видел новых людей, вошедших в комнату, не видел среди них Вари Квасцовой. Он не видел также, как все встали из-за стола и начали одеваться.

— Пошли, товарищи... — почему-то полупрошептом сказал Лодинг, взглядывая на часы. — Это, друзья, последняя чужая ночь...

Взрослые несколько раз хлопнули калиткой, они шли в ночь, к отрядам, стоявшим на своих местах, готовые повести эти отряды завоевывать ему, Антону Ажогину, и его сверстникам принадлежащее им счастье.

Но и этого не видел Антон.

Он спал безмятежным сном ребенка, который смертельно устал.

Он родился осенью тысяча девятьсот пятого года. Ему было всего только двенадцать лет.

Дом № 10 на Страстном

Московский рассказ

III. СОСЛАНИ

На пересечении Бульварного кольца и Большой Дмитровки, в центре Москвы, стоят три знаменитых дома.

Посреди, в зелени Бульварного кольца, как проба в золоте, втиснут пятиэтажный дом: Коммунистический университет трудящихся Востока — КУТВ. Студенты-земляки из горных краев Союза, сверстники мои, — от знойных пустынь и далеких рисовых и хлопковых районов страны, — входят в этот дом, пройдя мимо высокой ограды старого Страстного монастыря, непосредственно через сад.

По обем сторонам широкого бульвара, за асфальтированными улицами и линией трамвайного кольца, распластались в ряд ветхокаменные, одноэтажные дома: слева — особняк с дворянским гербом на фронтоне, в котором жил знаменитый трагический писатель Сухово-Кобылин, справа — низкий каменный дом, в котором по соседству со мной, в одной квартире, живет бывший управляющий этим домом Владимир Правдин.

В высоту эти дома не достигают даже средней вышины лип, берез и тополей на бульваре.

Когда деревья одеваются в зелень почек, как в бубенцы, когда каждый листик расправляет крылья, словно готовые вспорхнуть, тогда эти дома кажутся ниже даже узорчатой железной ограды сада. В летние лунные вечера тени от липовых и тополевых ветвей вороньими

стаями садятся на ржавые крыши старых придорожных домов, а при восходе и заходе солнца дома эти вовсе уходят в тень высоких новых домов, недавно отстроенных в их ряду.

По плану строительства союзной столицы, дом № 10, стоящий по эту сторону Бульварного кольца, обречен на слом.

Ни с Дмитровки, ни со стороны бульвара в дом этот не имеется парадного входа, и, чтобы попасть в него, необходимо пройти только под кирпичной аркой замшелых ворот.

С шумной улицы города вы сразу очутитесь в обществе престарелых, сутулых тополей и лип, стоящих группами и вразброд посреди замкнутого, тихого двора. Со всех сторон дома защищенные от дуновения ветра, стоят они во дворе, покорно опустив взлохмаченные ветки. Со стороны похоже, что деревья во все листья своих веток созерцают происходящие тут беспечные детские игры. Иногда только какой-нибудь из тополей слегка погрозит веткой разошедшейся в игре шумливой компании. Или, когда разбежавшийся шалун с гизгом обхватит вдруг его стойкий шершавый стан, тополь, словно задрожав от прикосновения горячих детских рук, незаметно для всех делает попытку разбежаться вместе с шалуном. Но остается на месте, только горестно покачав ниспадающей на плечи зеленью.

В годы мировой войны в доме № 10 на Страстном квартировал военный гос-

питаль имени св. Татьяны. Старожил этого дома, Правдин, говорит, что в те черные годы с тополей не раз снимали по утрам повесившихся раненых солдат.

«Если вам, до слома этого дома, придется попасть ко мне, — вы непременно заметите, что нижние ветки у некоторых тополей во дворе отсохли и костляво топорщатся...

Дом окнами выходит на север, и поэтому солнце никогда не заглядывает к нам — в комнаты.

Я вижу это пламенное светило только по утрам, когда его провозят перед нашими окнами трамвайные вагоны, облепленные солнечными лучами, как розовыми плакатами.

Старик-сосед в это время играет у себя на рояле. Затем я слышу шлепающие по полу, как по сухой листве, его шаги. Наконец он останавливается в оцепенении посреди своей полутемной комнаты и, прижав левой рукой грудь, глядит из-под нависших седых бровей на стены, увешанные портретами родных — в мундирах и эполетах, на мрачный «Омут» художника Левитана, на выцветший портрет первого русского композитора Глинки, занавешивающий большое сырое пятно у восточной стены, на прокороженые гипсовые бюсты Тургенева и Чайковского, стоящие на изъеденной временем книжной полке и на рояле, — в груди старинных нотных тетрадей, — глядит старик и молча плачет.

Так мой сосед прощается со своей привычной комнатой, в доме на Страстном.

Так он прощается со всем домом каждое утро и часам к двенадцати дня уходит в заводский клуб, на занятия по музыке с рабочими-кружковцами.

Старик Правдин во всем нашем дворе считается бывшим управдомом.



Когда еще весной прошлого года прошли слухи, будто к концу апреля должны были ломать наш дом, — на второй же день Правдин поймал меня в коридоре и сообщил, что к нам придет фотограф.

Я ничуть не был удивлен: дом, разумеется, следовало сфотографировать, как нечто историческое, для коммунального музея новой столицы. Я даже стал прикидывать в уме, какая сторона дома была бы более интересной для выставки в музее: с улицы или со двора, — фасад с низкими глухими окнами, выходящими на бульвар, кирпичная арка или полуразвалившиеся входы многочисленных квартир, выходящих во двор к сорным ящикам и старым тополям, — а фотограф все не приходил.

И наконец в одно апрельское утро, когда голые влажные ветки тополей и лип едва-едва припухли зелеными почками и бульвар лежал, обятый теплым сиреневым восходом, к нам постучался фотограф. (По слухам, как-раз в этот день и ожидалась рабочая и инженерная, чтоб пораньше, с оттепелью, начать ломку дома.)

Фотограф спешил: он боялся, что солнце укроется тучами, а еще хуже, если оно зайдет за дом.

Это был фотограф-любитель, из нашего же дома № 10, бывший дворник. Теперь пенсионер.

Он очень почтительно поклонился моему соседу. Потом они разговорились: сначала сказали друг другу несколько незначительных слов и затем помолчали, глядя в разные стороны тихого двора. Один глядел на ржавую крышу дома, по которой вдоль тени от развалившейся кирпичной трубы неровной широкой струей стекала талая вода. Другой смотрел на дырявую крышу сарая, по которой тоже лежали широкие борозды влажных теней от голубятни и каких-то досок, торчащих из-под кровли.

Они вздохнули оба в разные стороны, но, словно сговорившись, в одно и то же время. Поймав себя на том, что оба они одновременно взглянули на перебегающего двор парня, фотограф снова заторопился и, раскрывая треножник, недовольно буркнул:

— Ну, как же?

— Да, да! — поспешил ко мне сосед, Правдин, словно извиняясь. — Это я его просил. У нас с ним давно было сговорено. Видите, ведь все-таки

ломают и неизвестно куда нас всех раселят по Москве.

Фотограф молчал, глядя поверх моей головы на зеленые, мшистые коросты по истлевшему карнизу дома над нашим подъездом.

Снимать дом со двора оказалось невозможным. Мы вышли на улицу.

Фотограф установил свой старинный аппарат через улицу — между двумя березами — на бульваре и направил бельмоуатый глаз объектива поверх железной баррикады сада на кирпичную арку ворот.

На своде ворот блеснул, отражая солнечный свет, новый стеной электрический фонарь, с надписью по кругу:

«Внутренний проезд Страстного бульвара, дом № 10».

Под широкими сводами ворот, держа собачку на ремешке, стояли старый жилец этого дома Правдин, в дохе, и я.

Во время с'емки по улице то и дело пробегали трамваи, автобусы и автомобили. Очень долго плелся ломовик. Старик глядел на новые многоэтажные здания, стоящие рядом с нашим низеньким домом, и с нетерпением поглядывал в сторону фотографа. Наконец он сказал:

— А дом наш все-таки знаменит...

Сосед говорил, словно желая выгородить дом от чьих-то посягательств. Он напомнил о временах нашествия французов, гордо добавив, что наполеоновский гарнизон именно в этом доме размещал своих боевых лошадей — в прикрытии от московских морозов. Старик призывал в немые свидетели очевидца этих времен, своего деда, служившего в Москве солдатом кутузовской армии и преследовавшего разгромленных французов по морозной Рязанской дороге.

— Во время великого московского пожара все выгорело вокруг, а дом наш остался цел и невредим, — с довольным видом говорил старик Правдин, не обращая внимания на знаки фотографа.

Правдин так и вышел на снимке: лицом к дому и спиной к аппарату. Зато сам фотограф, подбежавший к нам в самую последнюю минуту, вышел устремленный куда-то в сторону и с поднятой вверх рукой (он боялся, что человек, открывавший крышку объектива по

его просьбе, передержит снимок). Лучше всех нас вышла собачка с аккуратнью загнутым кверху хвостом и напряженными от страха шумной улицы ушами.

И однако дом все-таки не сломали в том году.

А уже этой весной Правдин мне сообщил, что сосед-фотограф, бывший дворник дома № 10, Иван Гаврюк, в ночь на страстную пятницу внезапно оставил дом и семью и выехал в свою далекую деревню, в колхоз — на работу колхозным фотографом.

Все свои семьдесят лет Владимир Правдин прожил в сыром, ветхокаменном доме на Страстном. За эти долгие годы жизни в этом доме он словно весь отсырел, и, если присмотреться к нему поближе, окажется, что и на самом деле цвет лица и кожи у него сыростно-цементного оттенка. Даже серебристого цвета седина отликает у него проржавевлым цементным блеском. В выцветших глазах его стоит вечная жижа, как дождевой студень в ямках рыхлого забора.

Перед сном, надев фуражку и пальто, старик-сосед выходит в неосвященный двор дома, держа за ремешок своего друга — собачку Нору, и оба они часами молча прогуливаются под уснувшими тополями.

Собачка обнюхивает корни. Старик подходит к дереву, щупает ствол и затем глядит вверх на его ветки. На ветках, там и сям, мерцая, зреют звезды.

Собачка тянет ремешок. Она тычет носом в рассыпанные по двору камни. Старик глядит на знакомые камни и осторожно обходит их. Затем оба они садятся на покосившуюся скамейку, приклоненную к темной, глухой стене дома, и один из них глядит вперед на электрическое зарево громадного города. Зарево стоит далеко за домом, в сторону Кремля и Красной площади, но оно доносится и до верхушек тополей и лип в нашем дворе, отчего деревья, погруженные корнями в тени окружающих домов, кажутся растущими из самого неба.

Неровный двор пересекают осторожными шажками к темным под'ездам дома запоздалые жильцы. Правдин по привычной походке жильцов узнает каждого из них. Он встает с гнилой и мягкой, как губка, скамейки и бережно тянет за собой ремешок с Норкой...

Собачка Нора была приобретена в нашем доме по моей инициативе.

Я шел из университета домой, на Страстной, куда меня втиснуло мое землячество на житье.

Свернув с Моховой на Никитскую, у ворот одной из новостроек я заметил светлокоричневого щенка, дрожащего от холода, как пригнанный ветром к забору осенний лист.

Дул пронзительный ноябрьский ветер.

Я поровнялся с наглухо заколоченными воротами стройки и прошел было мимо, но услышал жалобный визг и оглянулся. Собачка с жадностью поймала мой взгляд и попыталась подняться, но опустилась тут же на передние лапки, уткнувшись мордой в мокрую панель.

Ветер со свистом подудел в дощатые ворота, дыбом вз'ерошив у щенка шерсть.

Я запахнул пальто и, словно вдев голову в ветер, ускорил вместе с ним шаги по направлению Тверского бульвара.

У Страстной площади, против памятника, ветер взвился вверх бураном, и я передохнул. Рядом Пушкин, стоящий в ноябрьскую стужу в легком гарольдовом плаще и с открытой головой. У кривых ступеней старой церкви, на углу площади, ветер взбегал по железной лестнице до самой паперти и скакал обратно на хромых ножках дождя и снега, как бесноватый.

До меня снова донесся тонкий собачий визг.

Под прикрытием каменного угла ступеней сидел знакомый щенок с круглыми, устремленными на меня глазами на жалобной песьей морде и дрожал...

Собачка, видимо, не отставала от меня.

«Ну, и стоило мне оглядываться! Куда же я ее дену у себя?» — подумал я с досадой.

Перерезав площадь и угол Дмитровки, я вышел на Страстной бульвар и свернул быстро в ворота нашего дома.

При свете электрического фонаря я заметил, как мимо ворот пробежал трясущийся комок тени. Маленький живой комок, притулившись у стены, скулил на теплый свет фонаря...

Мой сосед обнаружил находку в нашем коридоре утром же и, грохнув выходной дверью, ушел на занятия в свой клуб.

Я видел, как он проходил мимо окон и с какой свирепостью обходил он ненастные лужи на улице, а ветер то и дело распахивал на его коленях старую доху.

Поздно вечером, за чаем, сосед принялся рассказывать мне о том, как третьего дня на призовых бегах, неожиданно для всех, пришла первой никому доселе неизвестная кобыла «Гильда», перекрыв в гите всесоюзных дербистов «Подагру» и «Эх-ма». Пока он говорил, вдруг из его комнаты раздался прерывистый собачий лай, и Правдин вскочил из-за стола.

Собачка из столовой, куда я ее пристроил временно за сундуком, должно быть, незаметно пробралась в комнатку моего соседа и там, повстречавшись под его кроватью с котом, испуганно завизжала.

Встреча кота с собачкой была настолько забавна, что хозяин, растерявшись в улыбке, неожиданно посмотрел в мою сторону.

Судьба собачки была решена: на другой же день она была прозвана соседом «Норой».

С тех пор старик настолько близко и нежно ужился с Норой, что я сейчас не раз бываю тайным свидетелем его мирной дружеской беседы с ней.

Когда Правдин поздно вечером возвращается из своего рабочего клуба домой, предварительно постучавшись с улицы в окно, я слышу, как собачонка

моментально кидается к входным дверям.

Я снимаю цепочку с законопаченных дверей и, перешагнув через Норку, иду снова к себе.

Пока старик входит со двора в наш коридор и закрывает на цепочку дверь, собачка, вертясь и кружась у его ног, то подпрыгивает к нему на грудь, то обнюхивает и облизывает его со всех сторон.

Затем они оба садятся в столовой на старом диване, и он часами ласково-преласково журит ее, делясь иногда даже мыслями о своей работе.



За годы революции Правдин известен как педагог-кружковод.

Я видел у старика отзывы о его работе с рабочими кружками, проводимой им еще задолго до революции (то было, должно быть, в период его интеллигентского культуртрегерства).

При древнейшей мануфактурной фабрике под Москвой, насчитывавшей в старое время несколько тысяч текстильных рабочих, он руководил рабочим кружком. Нельзя сказать, что он вел среди кружковцев какую-нибудь политическую работу, но «своей просветительской деятельностью товарищ Правдин достиг в глухие времена реакции немалых успехов», — так гласит, по крайней мере, отзыв, выданный ему старыми заслуженными рабочими этой фабрики уже в годы революции.

Он долго не хотел обращаться за отзывом к фабрике, которой Правдин, по его мысли, оказывал в свое время безвозмездную культурную услугу (просто так, от доброго сердца). Работу эту он считал для себя случайным делом, а главное было то, что ему в этих районах приходилось волочиться за своей будущей женой, дочерью одного из влиятельных служащих фабрики.

Он получил в приданое за нею несколько сот аршин крашенного в красный цвет ситца, заготавливающегося фабрикой специально «для азиатских стран». Через два года жена ушла от него. А материя эта так и осталась бы

неиспользованной Правдиным, если бы не революция 1917 года: он ходил радостный и расфранченный по городу и всем своим близким и знакомым, друзьям и товарищам раздавал ее на красные банты и нарукавные ленты...

Когда по московским улицам зашагала Октябрьская революция, Правдин сохранил остаток красного ситца для какого-то другого времени и, будучи управляющим домом № 10, приказал крепко-накрепко закрыть ворота во двор.

Однако ровно через год, когда на фабрике у химиков, называемой Госмедторгпром (что в Кривоколенном переулке), по случаю октябрьских торжеств понадобилось много красной материи для лозунгов, Правдин (состоящий у них к тому времени уже руководителем клубного рабочего кружка) без замедления притащил из дому около двадцати аршин «довоенного ситца» для оформления рабочего спектакля с торжественным заседанием.

Он работал впоследствии клубным руководом и в красноармейских частях. Но завод металлистов «Красный факел» окончательно разорил своего добродушного руководителя, вымотав у него последние остатки красного «азиатского ситца».

Правдин уже давно не работает здесь. Но когда, года три назад, завод праздновал досрочное выполнение плана первой пятилетки, бывший руководитель Правдин был приглашен на торжественное заседание и посажен за президиумский стол, покрытый богатым красным плюшем, между секретарем заводской ячейки и заведующим клубом. На этом торжестве он был объявлен во всеуслышание почетным ударником завода и премирован металлическим бюстом Ленина. По окончании торжественной части была дана кинокартина. Правдин, от полноты чувств, предложил завклубу свои скромные услуги по части сопровождения картины музыкальной импровизацией...

Мне, разумеется, не удалось попасть на это торжество. Но старик не хвастлив, и я готов ему поверить, что в тот вечер картина имела особенный успех у

рабочей аудитории. Многие даже удивлялись, что та же самая картина, шедшая не так давно, в том же клубе и по иному торжественному поводу, не оставила ни у кого и сотой доли того впечатления.

Меня это, пожалуй, не удивляет, так как самому часто приходится слушать из соседней комнаты его особые импровизации. Старый рояль заполняет звуками комнату, как шум дождя рошу, и по всему дому будто несутся опавшие листья.

Играет же он весьма своеобразные музыкальные мотивы, давая им никому необъяснимые названия, вроде: «Сны за ночь» или «Сон в руку», «Зависть», «Норка лает на луну», «Утро, падал снег» или же например «Беседа с пионерами в клубе во время ветра»...

В темноте комнаты похоже, что он играет вслепую, не видя клавишей, а только ощущая и перебирая их пальцами, как живых птенцов в раскрытом подоле платья.

Около нашей глухой стены часто останавливаются на тротуаре прохожие, недоуменно оглядываются кругом и с изумлением слушают отдающую стройными звуками гулкую стену и поющую, в шуме улицы, железную крышу низко-го каменного дома.



Этой весной слух о том, что должны ломать и строить новый дом на Страстном, прошел по всему нашему двору более настойчиво. В подтверждение слухов уже в самом начале апреля рабочие стали каждый день складывать во дворе, под тополями, свежие кирпичи и всякий строительный материал.

Джор ожил.

Но зато в соседней комнате стало необыкновенно тихо.

И вот третьего дня Правдин медленными, осторожными шажками переступил порог моей комнаты и, глядя на меня, прищурясь сквозь густую вуаль табачного дыма, сказал:

— Ну как, писатель, значит, пишете и ломаете?..

Я понял его.

— Ломаем, — сказал я, — иначе само ничего не хочет ломаться. Все гниет, гает или улечуивается.

Он оглядел потолок моей комнаты, с тонкими и неровными, как следы улиток, трещинами по углам, стены в сыростных узорах обоев, посмотрел на радиоприемник на новом книжном шкафу, затем на широкий письменный стол, заваленный рукописями, и тихо сказал:

— Я тоже все улечуиваюсь и никак не могу наконец улечуиваться. А вот вчера и сегодня не спал всю ночь. Сердце все чего-то... Сегодня утром уж совсем расшалилось. Видно — конец.

Я попробовал свести к шутке его мрачное заявление.

— Вы 'все обманываете: конец, конец. А конца-то все не вижу.

— Будет вам! — ответил Правдин, тоже смеясь. — Человек может только зачать жизнь, а конец предписан не им... Ждите.

Я предлагаю соседу присесть, а сам молча углубляюсь в рукописи. Старик не садится. Он стоит, перелистывая в дрожащих пальцах принесенную с собой тетрадь.

— Вот я тоже написал за эти дни, — говорит он. — Только я не сторонник того, чтобы переписывать, править, черкать и снова переписывать свои произведения. По-моему, хорошо то, что выходит сразу из-под пера, непосредственно. То от сердца, — настоящее, а все остальное — от лукавого.

Сосед сворачивает, как свиток, тонкую тетрадь.

— А разве классики в ваше время писали по этому рецепту? — с явным недоверием спрашиваю я Правдина.

— Каждому приложимо только свое... Вот я писал, как мог, но от сердца. И посвящаю вам — с настоящей любовью...

— А какая же ненастоящая любовь? — говорю я, желая скрыть конфузивное чувство благодарности за незаслуженную любовь ко мне.

— Помните, это — любовь, которая не настоялась в сердце... — старик хотел еще продолжать, но в это время к дверям его комнаты подбежала Нора, с шумом царапая закрытую дверь, и Правдин, спохватившись, сказал:

— Вы не слышали, как она выла третьего дня? Собачий вой — плохой знак в доме.

Теперь я улучил момент — предписать ему рецепт от предрассудка: почаще пускать собачку на прогулку.

Правдиң молча прикрыл за собой дверь.

Рукопись в тридцать страниц была набросана тонким размашистым почерком.

При свете электрической лампы некоторые буквы и слова вовсе теряли свои очертания, настолько они были тонки и закручены сами в себя замысловатым клубком. Только заглавные — все с нажимом: они стояли в тексте, как жирные скрипичные ключи.

Руку приходилось отгадывать.

«Прощание» — была озаглавлена тетрадь.

Тетрадь оказалась книгой его жизни.

Правдин предстал предо мной известным писателем старой Москвы.

Он один из первых членов литературного кружка, именующегося «Парнасом». Там его окружают крупные в то время писатели и литераторы Москвы: почтенный Телешов, известный всем российским театрам плодовитый драматург Разумовский. В «парнасцах» состоял и ныне покойный литератор Белоусов, и знаменитый репортер-фельетонист, близкий друг Чехова, Гиляровский (известный в московских журналах и газетах под псевдонимом «Гиляй»).

Правдин пишет первую и единственную свою книгу «Подорожник» и выпускает ее в свет.

Библиографы толстеного московского литературно-политического издания «Русская мысль» кричат на страницах журнала 1898 года — о молодом Правдине, авторе нашумевшей книги новелл «Подорожник», как о писателе, «от которого веет настоящим талантом, свежестью и оригинальностью»...

Неутомимый Телешов заботливо собирает членов старого кружка каждую среду, и вскоре кружок превращается в известное московское литературное общество «Среда». Правдина

здесь окружают не только старые сопарнасцы, но и знаменитые братья Бунины — Иван и Юрий, драматург Невежин, неизвестные литераторы Глаголь, Грузинский и Михеев. Молодому писателю льстит своим вниманием сам почтенный издатель Сытин, и однако Правдин бросает «обществу» обвинение в его непригодности веку, озаренному новым духом революционной правды, и навсегда покидает «Среду».

«Я ушел, не ужившись со средой во всем срединной «Среды», — пишет в своей тетради старик Правдин, заканчивая словами Блока:

Я... «разучился славить бога
и песни грешные запел...»

Я не стремлюсь, изображая здесь старого, сейчас всеми забытого писателя Правдина, совершить некое литературное открытие. Это не входит и в задачу изложения судьбы старого дома на Страстном.

В том переднем ряду нашего дома, который окнами своими и желобами выходит на север к Бульварному кольцу, — до самых последних лет мировой войны помещалась типография Московского университета. Писатель Правдин не раз говаривал со мной, что в истории этой славной книгопечатни все обстояло бы благополучно, если б ее продажными типографскими услугами не пользовалась реакционная правительственная газета «Московские ведомости», с ее не менее продажными редакторами. Вспоминая одного из влиятельнейших редакторов газеты — Каткова, Правдин скромно называл его непутевым другом Бакунина и Белинского. Но последнего редактора «Ведомостей» — Спектатора-Грингмута — он с отвращением обзывал просто погромщиком.

Не желая быть обязанным литературе своего времени, писатель Правдин берет на себя обязанность заведующего домом и поступает в Московскую филармонию.

Человек тончайшего музыкального слуха, поставивший себе неизменными кумирами Чайковского, Бетховена и

Шопена, Правдин однако не смог ужиться с их канонической партитурой: они стесняли его бурные музыкальные силы. Садясь играть какую-нибудь вещь, он быстро перехлестывал начертанные нотные знаки и гнался за развитием ворвавшейся вдруг в его мозг той или другой музыкальной мысли: он создавал свою собственную музыкальную композицию. Гениальные сонаты великих композиторов казались ему вещами ограниченными, однотонными, сковывающими фантазию пианиста и слушателя. А в слушателях ведь кипели страсти века, необычайное разнообразие чувств и идей, которые хотелось воплотить тут же!

Два раза приходили его слушать великий мастер музыкальной композиции Танеев вместе с литератором Белоусовым и драматургом Разумовским. И все трое, покачав головой, уходили: первый жалел его как музыканта, а оба литератора — как писателя, подававшего некогда большие литературные надежды.

Единственный человек, искренно уверовавший в его музыкальные способности, был основатель и директор Московской филармонии Шостаковский, в школе которого и получил свое музыкальное образование писатель Правдин.

Он сказал:

— Разумеется, мне было бы легче судить о ваших импровизациях, если бы вы, господин Правдин, перевели мне все это на язык писанных нот. Иначе трудно, знаете... — он пощелкал пальцами около уха и отрицательно чмокнул языком.

Правдин не отчаялся: он выискал некоего инженера Певцова (повидимому, такого же мечтателя, как и он) и стал вместе с ним изобретать машину, записывающую в нотных знаках его импровизации.

Эта изобретательская сделка происходила лет двадцать пять тому назад.

Через шесть месяцев инженер Певцов привез в квартиру Правдина, на Страстном, небольшую коробку. Пристроил ее к ножкам рояля, приспособив передачу звуков посредством электрических проводов, отмечающих нотные знаки через специальные валики на особо чувстви-

тельном пергаменте, и... В общем машина что-то как будто и записывала, но разобрать написанное, видимо, было не под силу ни одному из музыкантов мира.

Певцов слушал ни с чем не сравнимую игру пианиста Правдина и со слезами на глазах отворачивался от своего бесхитростного изобретения.

Теперь, года два назад, Правдин получил письмо из Магнитогорска от Певцова, в котором он просил его сообщить: в том же ли доме, на Страстном, живет он сейчас и, что — по слухам — в Цебриз будто поступило новое музыкальное изобретение, и не является ли оно делом рук Правдина.

Старик со стыда не ответил Певцову на письмо, но два раза ходил в Цебриз. Убедившись в том, что подобный электрический нотный инструмент на самом деле изобретен каким-то молодым рабочим, Правдин написал изобретателю прочувствованное письмо, в котором он просил его заглянуть к нему на Страстной. Однако выяснилось, что счастливый изобретатель находится в заграничной командировке. После этого старик несколько дней не прикасался к своему роялю.

В конце рукописи Правдин вспоминает, что, когда он выпустил в свет первую свою книжку, друзья, смеясь, говорили: «Настанет день, и над твоим домом потомство прикрепит мемориальную доску с гордой надписью: «Здесь жил и умер писатель Правдин».

И старик так заканчивает свою последнюю тетрадь:

«За последние дни я окончательно убедился, что наш старый дом на Страстном будет снесен. Стоя до сих пор как-то в стороне от улицы, наш дом будто и не мешал растущему движению города. Теперь кругом нас выросли такие гигантские здания, что даже жалко и безрадостно смотреть на эту дониколаевскую каменную хибарку.

Смерть уже стоит с киркой в руках у ворот дома.

Так было всегда: разрушалось старое — приходило новое. Когда я недавно, проходя мимо окон, посмотрел на то место глухой стены, где должна была

быть прикреплена — по мысли современников — мемориальная доска с надписью обо мне, я в душе посмеялся над ними. Ведь я никогда и не думал о славе. Ее испокон веков добивались лишь гордецы. По-моему, слава должна звучать в сердце человека, как чувство радости за будущее, не более. Верно, что я не накопил в себе ни иоты радости за всю свою жизнь, — я ведь строил чужую жизнь. Когда же пришло время строить свое, строить настоящее во имя будущего, у меня уже не стало сил...

Я завидую вам. Завидую всем вам. Я стал завидовать вам с первых же дней. Я не могу скрыть больше это чувство, не могу и перебороть его в себе. Будь оно проклято!

Я даже пробовал молиться за вас. На второй день я был в клубе у металлистов, и, когда увидел ребят, хохочущих на паперти бывшей церкви, я крикнул на них, и они не поняли меня...

Не скрою, порой я чувствовал в себе радость. Это, когда мои мысли и чаяния удавалось передать в голосе музыки, в звуках... Я записывал свою жизнь на музыку, как в струнной тетради.

Это и было книгой моей радости.

Вы ее читали? Слышали?

А я же слышал вас, читал и понимал.

Живите, счастливые! Я не хочу больше завидовать вам...»



В соседней комнате тишина.

За окном воинственно проносятся трамваи, и строй деревьев на бульваре, с гиканьем листьев, мчится вслед.

По улице торопливым шагом идет прохожий день.

Это полдень.

Движение на Страстном возрастает в неимоверном ритме: идут, кружась, настигая друг друга, кувыряясь в пыли, рыча, вызывая тревогу и окликая прохожих, трамваи, авто, мотоциклы, грузовики и велосипеды — и солнце мечется между ними стокрылым пламенем.

Его теснят и давят со всех сторон, валят в пыль, отсекают могучие крылья, и огненные перья, разметавшись в воздухе, ключьями лучей свисают на про водах и вздрагивающих ветках тополей.

Сверху черной саблей наступает высокая тень дома, и солнце ложится на край улицы, словно с отрубленной головой.

Но голова у солнца, как дни у века: она отрастает вмиг, как свет от света, как день от зари, и оно — стоглазое, на ста ногах, бьется отточенным синевой светом из стороны в сторону, вздымается на крыши домов, настигает бегущие машины, встает на их блестящих, стальных щитах и кузовах и мчится ввысь, подымая всю улицу за собой...



Правдина нашли в самый полдень у ворот нашего дома. Над кирпичной аркой копошились рабочие с кирками в руках.

Старик был доставлен в морг, без уведомления жильцов, так как наш новый дворник — Бексадулаев — не знал в лицо писателя Правдина.

Только в морге у него в кармане пальто обнаружили записку: «Нашедшего прошу доставить меня по адресу: дом № 10 на Страстном». Но когда служители пришли с извещением домой, то у нас в квартире не застали никого.

Собачка Нора, выбежавшая из дома с утра, сидела во дворе, на груде строительных лесов, и поблизости нее молодой парень с осторожностью, чтобы не вспугнуть красивую собачку, собирал в рабочий фартук кирпичи, сложенные вокруг старого тополя, как спелые солнечные зерна.

Служители опросили меня, как соседа, но я же ведь был посторонний человек, написавший только повесть о Правдине и старом доме.

Гольфштрем

Роман

МАКС ЗИНГЕР

(Продолжение ¹)

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Норд-вест дул в течение двух суток. Нагнанная ветром с моря вода в Кольском заливе поднялась. В Мурманске затопило береговые причалы. Ветром срывало с причалов суда. Они наносили друг другу повреждения. Два траулера выбросило на мель и колотило о грунт. В трюмах судов показалась вода.

Шумели и пенились высокие валы. Они перекатывались через палубы судов и гуляли по причальной линии.

На четвертые сутки залив успокоился.

Радист Евменов, списавшись с «Кеты», должен был идти в рейс на «Макрели», как вдруг получил предложение перейти на новый траулер РТ 48 только что пришедший в порт. Евменов осмотрел радиоустановку на новом траулере, сына его очень заинтересовала.

Он перешел на РТ 48.

Паровой траулер «Макрель» уходил в море на пятнадцать суток. Рейс его считался коротким и неустойчивым. Пятнадцать дней промчались быстро, и в вечерней сводке радист Евменов слышал, как его приятель с «Макрели» передавал: «Закончили промысел. Идем в порт».

В тот день, когда штормом ломало в мурманском порту стоявшие у причалов

суда, над рыбными квадратами Гольфштрема разбушевался жестокий ветер. Могучие валы ходили по морю, высоко поднимая и опуская, будто в пропасть, рыболовные траулеры, задержавшиеся на промысле. Утром, когда флагманский радист всего тралового флота Лаптев принимал сводку о работах и передвижениях траулеров, «Макрель» не появлялась в эфире. Лаптев стал вызывать ее после приема всей сводки, она не отвечала. В каждую последнюю сводку он пытался снова связаться с «Макрелью», но та безмолвствовала.

Начальник промыслового отдела Артур Калнин, находившийся на флагманском траулере, вызывал в каждое радиосообщение РТ 23 «Макрель». Она не откликалась.

6 января местная газета «Полярная коммуна» напечатала крупным шрифтом сообщение. Глазастый заголовок кричал:

НА ПОИСКИ РТ 23 «МАКРЕЛЬ» БРОШЕНЫ ВСЕ СИЛЫ

На «Макрели» находился опытный капитан Слета и лучшие механики треста: старший — Плотыцын и второй — Кончаковский. На совещании капитанов в Мурманске было высказано предположение, что у траулера, видимо, кончился уголь или вышла из строя машина и судно носится по воле волн.

Девять тральщиков было брошено в море на розыски пропавшей «Макрели».

¹) См. «Новый мир», кн. 5 с. г.

Начальник промыслового отдела Артур Калнин принял во внимание место, с которого давала «Макрель» последнюю сводку, направление ветра и течения, вероятный курс, по которому несло судно, и по этому курсу направил на розыски девять траулеров. На «Макрели» было двадцать четыре человека команды. Запас рыбы на траулере равнялся тридцати пяти тоннам, так что люди были обеспечены питанием.

Всем траулерам, находившимся в море, было приказано немедленно сообщить Калнину, если они увидят какие-нибудь признаки исчезнувшего судна. Калнин давал капитанам траулеров распоряжения охватить наибольшую площадь моря. Некоторые тральщики, воспользовавшись наступившим после шторма затишьем, доходили до кромок льдов, но вернулись ни с чем обратно.

Много дней спустя капитан рыболовного траулера «Сом» заметил неизвестную шлюпку, подошел к ней, и, несмотря на большую волну, подобрал шлюпку. На борту ее чернела надпись «Макрель. Мурманск». Она не была спущена людьми с траулера «Макрель», шлюпку сбильо мощным накатом волны, тали лопнули, не выдержав водяного удара. Стало ясно, что «Макрель» погибла вместе со всем экипажем, и поиски ее были прекращены.

Вскоре после находки шлюпки над Мурманом снова пронесся сильный шторм, вызвавший обмерзание траулеров, находившихся в море.

Два траулера «Союзрыба» и «Киров» промышляли неподалеку друг от друга, в Гольфштреме. Шторм с пургой раз'единил морских товарищей. «Союзрыба» заканчивала промысел и собиралась уходить в порт. Ночью шторм усилился до десяти баллов. В утренней радиосводке флагманский радист Лаптев, вызывая суда, не услышал шести судовых радиостанций. В тот день один совторгфлотский пароход выкинуло на банку. На борту парохода находилось двести пассажиров, и судно давало сигналы бедствия. Эфир был полон аварийным и бедственным радиосообщениями. Ко времени дневной и вечерней сводок молчавшие траулеры стали объявляться,

оправдывая свое молчание обрывами антенн во время шторма. Нехватало только одной «Союзрыбы». Ее продолжали вызывать в каждую радиосводку, но она не отвечала. С берега и с моря были вызваны суда на поиски пропавшего траулера. «Осетр», «Сом» и «Севгосрыбтрест» были отряжены на поиски «Союзрыбы». «Сом» и «Севгосрыбтрест» вышли из порта раньше «Осетра» и, дойдя до Тюва-губы в Кольском заливе, вынуждены были задержаться из-за сильного шторма. Но наутро, не переждав погоды, оба траулера вышли на поиски в море. Траулер «Осетр» в это время только выходил из порта Мурманска.

Начальник промыслового отдела установил ночные аварийные радиовахты и приказал вызывать пропавший траулер через каждые десять минут.

Евменеву, шедшему на РТ 48, и Федорову, находившемуся на РТ 53 «Осетр», были установлены ночные аварийные вахты: от нуля до четырех часов дежурил Федоров и с четырех до восьми — Евменев.

Холодные валы обрушивались на поисковые траулеры и тяжело ударяли в борта, заставляя их дрожать. Дверь радиорубки РТ 48, за которой вслушивался в тише и точки Евменев, обледенела от холодных захлестов и не открывалась. Старший штурман несколько раз сам приходил к двери окалывать лед.

В четыре часа радист Федоров, закончив дежурство, передал вахту Евменеву.

— Приемку вашей радиостанции ясно вижу—«ОК». Можете идти спать, дружок,—ответил Евменев, принимая вахту.

Сменив Федорова, Евменев стал вызывать каждые десять минут РТ 47 «Союзрыбу» и в конце своей вахты доложил флагманскому радисту:

— За прошедшие две вахты моей и Федорова мы вызывали через указанные промежутки времени «Союзрыбу», но она не давала никакого ответа.

Флагманский радист ответил сигналом «ОК» и тут же отбил «2 РТ», что означало траловый позывной всей флотилии. Флагманский радист этим самым

ставил в известность весь траловый флот, находящийся в море, что радиосводка считается открытой. В середине приема радиосводки неожиданно вылез РТ 53 «Осетр», требуя остановить сводку.

— Что случилось? — запросил Артур Калнин.

Капитан «Осетра» Новожилов сообщил, что во время сильного шторма у них остановилась машина. Необходима помощь.

Калнин распорядился запеленговать «Осетра» ближайшим к нему траулером. «Осетр» дал сигнал для радиопеленга. После работы над определением радиопеленга Калнин спросил:

— Какое у вас положение?

Капитан «Осетра» Новожилов ответил, что судно скренилось на левый борт и машина не работает. Через две минуты «Кета», один из траулеров, направленный на помощь «Осетру», сообщил флагману, что итти вперед невозможно из-за сильного шторма. Еще через три минуты другой траулер сообщил флагману, что итти вперед невозможно: при полном ходе судно заливаает, все срывает и несет с палубы в море. Тогда Калнин стал снова вызывать «Осетра», чтобы узнать о его положении, но траулер не отвечал. Стали звать «Осетра» на разных волнах, но ответа не получили.

Ввиду того, что в эфире было много разговоров между отдельными судами, флагманский радист по приказанию Калнина дал для прекращения всех переговоров сигнал бедствия «СОС» на волне шестьсот метров. Сигнал подтвердили береговые станции. Одна за другой они коротко повторяли: «СОС, гибнет РТ 53 «Осетр» — и давали его местоположение. Калнин нос, Югорский Шар, Архангельск, Мурманск, Цып-Наволоок и норвежская радиостанция Варде репетовали сигнал бедствия и прекратили всякую работу в эфире. Недавно волновавшийся над морем Баренца эфир вдруг занемел, и только слышно было, как все траулеры звали «Осетра». Тридцать пять минут радисты искали его в эфире, после чего Калнин приказал Лаптеву сделать отбой, и вновь зашумели береговые и судовые радиостанции.

Траулер «Кета» шел, держа нос на волну, по ухабам разошедшегося океана. Капитан Логинов, дав флагману радиogramму, что вперед итти невозможно, все же продолжал итти к месту вероятной гибели «Осетра». Ванты траулера обледенели. Капитан приказал скатить палубу и ванты горячей водой из шлангов. Оттаявший лед падал звенящими кусками на дубовую палубу. Траулер ходил разными курсами. На верхнем его мостике стояли Логинов, Дорошенко и молодой Малыгин.

— Ты что, Спиридон, такой скучный стоишь? — спросил Дорошенко Малыгина, стоявшего за рулем и всматривавшегося в даль.

Море вставало густозелеными глубокими оврагами. Накаты гулко бились о судно, и оно содрогалось при каждом ударе. Брызги сплошной дождевой завесой на миг прикрывали всю верхнюю палубу или проносились над траулером с изумительной быстротой, с тревожным шумом исчезая за кормой.

— Тата мой на «Осетре», — сказал тихо Спиридон.

— На «Осетре»? — переспросил Дорошенко. — А ты наверно знаешь, что он на «Осетре»? Ведь, кажется, старик плавал на «Мойве»?

— Плавал на «Мойве», да перешел на «Осетра»: с капитаном повздорил, — сказал Спиридон. На море смотреть было противно, и Спиридон, согнувшись над штурвалом, уставился в картушку компаса, следя за тем, чтобы траулер не ходил зря вправо и влево от заданного курса. А сам думал об отце. То казалось Спиридону, что «Осетр» отстаивается где-нибудь в губе, в защищенной бухте, да не может сообщить о себе — штормом снесло антенну. То представлял себе, как «Осетр» идет вверх килем на дно Баренцова моря. То вспоминал Спиридон родной стан, кошку в отцовской старой шапке, норвежский будильник и мать, заботливо выпекавшую шанежки. Воспоминания о матери щемили грудь, и в горле у молодого помора клокотало, когда он думал о том, как будет убиваться мать, узнав о гибели «Осетра». Если бы не видел никто молодого помора, он закрыл бы сейчас ли-

цо рукавом да и заплакал, как когда-то в детстве. Но не время было Спиридону заниматься слезами, когда в любую минуту, если сплоснаешь за штурвалом, ударит волной в борт траулера и так же опрокинет, как другие, исчезнувшие в пучине, траулеры.

Скоро все на «Кете» знали, что отец Спиридона, Евстахий Малыгин, ушел на «Осетре». И каждый из моряков по своему сочувствовал молодому помору. Даже неразговорчивый капитан Логинов подошел к Спиридону и протянул ему сигаретку с золоченым мундштуком.

«Из Мудьюга убежал, — думал об отце Спиридон. — Весь фронт прошел, и ничего! А вот в Гольфштреме пришлось старику загинаться! Гольфштрем нас спасал обоих, а теперь вот разлучает!»

— Кручиной моря не переедешь! — сказал капитан Логинов.

— Да я так, ничего, — промолвил Спиридон, торопливо раскручивая штурвал, а сам украдкой смахнул навернувшуюся слезу.

Незагруженное судно было легко и качливо. Удары накатов были гулки, как оружейные салюты. От воды получалось соединение проводов и частые короткие замыкания. Горели провода. Потухал свет. Старик-электромонтер отыскивал поврежденный провод и снова возвращал свет на траулер.

«Кета» плохо ходила на фордевинд. Она не раз делала при фордевинде «припадки». Капитан Логинов их не боялся, он приноровился к ним. Он знал, что требовалось для возвращения «Кете» устойчивого положения. И прежде всего он сбавлял ход.

Радиостанция «Кеты» не слышала работы «Осетра». Команда на «Кете» вся авралом окальвала пешнями лед. Накатами волны несло команду с палубы. Чтобы не потерять людей, капитан распорядился протянуть леера. Волна закладывала с бортов. Дизельные суда высокие. Ветром их сильно парусит. Гребень разбивался у самого борта, «Кета» дошла до Вайды-губы, около берегов Норвегии, откуда Логинов свернул на ост по параллели. Старший механик Никирим-Куку не выходил из машинно-

го отделения, он и спал там на разостланном полушубке. Ночью шторм усилился. Штурман Дорошенко отметил его силу десятью баллами в вахтенном журнале. В неизбывно шумящем море продвигался обледенелый до клотиков белый, будто высеченный из мрамора, траулер «Кета» на помощь своим тозарицам. Вторые сутки не спала команда. Старший механик хрипло кричал по разговорной трубе на верхний мостик капитану, обнадеживая его, что в машине все Никирим-куку. Ветер шевелил обледеневшие снасти. Вантины, раскачиваемые сильными шквалами, хрустели, стучались друг о друга и сбрасывали с себя звенящие сосульки. «Кета» лежала лагом, без хода. Дрейфовали. Капитан Логинов пробрался, держась за поручни, в радиорубку, как вдруг траулер упал.

— У, дьявол припадочный! — выругался капитан.

«Кета» была построена в Германии. В Мурманском порту знали свойство немецких траулеров припадать во время штормов. Но обычно траулеры принимали быстро нормальное положение. «Кета», свалившись на левый борт, не поднималась.

Радиорубка была на левом борту, и, когда траулер упал, капитан оказался в радиорубке, как в ловушке. Он не мог открыть двери, не упав в море. Тогда Логинов свистнул по переговорной медной трубе на капитанский мостик.

— Есть на мостике! — отозвался Дорошенко.

— Дорошенко! — крикнул капитан. — Полный вперед!

— Есть полный вперед! — повторил Дорошенко команду и позвонил по телеграфу в машинное отделение.

В радиорубке слышно было, как Никирим-Куку отзвонил на мостик, что распоряжение исполнено. Грузно заработала машина. Ожил вдруг траулер. Задражили его борты. Вода пришла до самого мостика. Крен доходил до свыше сорока пяти градусов, кренометр не мог уже отмечать крен, — выше не было делений.

— Держи носом на волну! — командовал капитан из радиорубки.

— Есть носом на волну! — зычно отвечал Дорошенко. А сам думал, увидится он с Милей или не увидится. Вспоминал ее последнее письмо о предстоящей встрече. Судно, медленно развернувшись носом на волну, постепенно выправилось. Логинов открыл дверь из радиорубки и перебежал на капитанский мостик.

— Лечь правым бортом к ветру и накачать воду на правый борт, — приказал Логинов.

Радист «Кеты» принимал радио от флагманского траулера:

— Дизелям в море не выходить, всем следовать в Мотку¹⁾, где отстаиваться от шторма и ждать особых распоряжений.

Логинов проложил курс на Сеть-Наволоок, в Мотку. На рубке, мачтах, вантах, на машинных кожухах лед намерз глыбами толщиной до фута, свисая с палубных надстроек. Матросы продолжали окалывать лед, утяжелявший судно.

Капитан стоял снова на мостике рядом со штурманом Дорошенко и первый заговорил с ним.

— Вот капитан «Союзрыбы», Кокососов, — спокойный человек, парень еще молодой, лет тридцати пяти, не больше, — сказал Логинов. — Таких спокойных людей я на море не видал еще. Он тоже со мной много раз плавал. Штурманом ходил со мной вот, как вы, Дорошенко. Он, я уверен, даже льда не обивал. Он, когда был штурманом, на обледенение смотрел всегда спокойно. В сильные штормы, если волной что поломает, он никогда не расстраивался. Очевидно, что во время намерзания и шторма у него еще вдобавок отказалась работать машина. Центр тяжести поднялся от оледенения, и судно опрокинулось.

— Так он в последний раз, в вечерней радиосводке, еще говорил по телефону, что у него все спокойно, — сказал Дорошенко. — А утром в сводку не вылез. А вы знаете, товарищ Логинов, на «Осетре» мой кореш только перед рейсом женился!

— Обыкновенная вещь! — сказал капитан.

— Да, но он без разрешения и жену взял в этот рейс.

— Значит, вместе и загнулись, — сказал капитан. — Вот так редко бывает.

Первый раз сегодня капитан беседовал со своим штурманом. Старик Логинову захотелось после штормовой передраги поделиться с кем-нибудь словом. В Мотовском заливе стоял такой туман, что «Кета» продвигалась вперед, вытравив якорный канат саженей на пятнадцать.

Все дизельные траулеры, выполняя указания флаг-капитана Калнина, следовали в Мотку.

Через две недели после исчезновения «Осетра» рыбак у острова Кильдина увидел в море нерпу и хотел было выстрелить в нее, да усомнился вдруг — зверь ли это? Спустил рыбак с берега шлюпку-ахтерку и поплыл к находке, подтащил ее за кормой к самому берегу, позвал людей. В спасательном кругу, на котором морские волны не смогли смыть надпись «Осетр. Мурманск», лежал человек. Часть лица, обращенная к воде, стала темносиняя, а та, которую жгли ветры, побагровела. В карманах погибшего нашли документы на имя капитана рыбного траулера «Осетр» Новожилова.

Спустя несколько дней близ становища Харловка выкинуло на берег шлюпку с погибшего тральщика.

К месту находки были брошены все свободные суда. Но больше ничего не нашли. Море спокойно серебрилось лунной. Никак нельзя было сказать, что вот несколько недель назад оно было грозно, коварно и хищно.

Траулер «Кета» был послан из Мурманска за телом Новожилова. Капитан Логинов не раз встречался с Новожиловым в рыбных квадратах штормилового моря. Теперь Логинов шел к своему товарищу, чтобы отдать ему последний долг. Когда «Кета» возвращалась в порт Мурманск, неся на своем борту красный гроб, все траулеры и все стоявшие в порту транспортные пароходы салютовали. Гроб был установлен во

¹⁾ Мотовский залив.

Дворце труда. Весь день до поздней ночи валил туда народ — прощаться с капитаном Новожиловым.

В почетном карауле стояли Дорошенко и Спиридон Малыгин. Когда их сменили другие моряки, Спиридон рассказал своему другу, что сам видел, как уходил в последний рейс тральщик «Макрель». Капитан дал уже три прощальных гудка. Уже собирались отдавать концы, как вдруг второй штурман, стоявший у борта, заметил проходившего по причалу приятеля-машиниста.

— Кореш, ты куда? — окликнул его штурман.

— Иду в резерв просить работу.

— Топаи с нами! У нас нехватает машиниста.

— А как же с пропиской?

— Да ладно, прыгай, оформим, когда вернемся в порт!

Так и не пришлось оформлять человека, пропал он вместе с траулером в Баренцовом море.

— Я вот стоял в почетном карауле, — сказал Спиридон, немного погодя, — и думал о своем отце. Я отдавал последний долг и моему отцу, и всем моим товарищам морякам, которых нам не пришлось разыскать и похоронить.

В день похорон Новожилова вернулся из Москвы директор Рыбтреста Кремнев. Он заглянул в трест, как обычно, прямо с вокзала, — в тресте не было никого, и двери были на запоре. На пустынной, безлюдной улице Кремнев увидал случайного прохожего и тревожно спросил:

— Что случилось в городе?

— Разве не знаете? Капитана Новожилова хоронят! Все у Дворца труда!

Матросы, кочегары, машинисты, мотористы, капитаны, засольщики, засольщицы, откатчицы, рабочие судоремонтных мастерских, все служащие Рыбтреста — весь Мурманск пришел провожать капитана Новожилова в последний путь. Столько народу сразу еще не видала мурманская неприветная земля, запорошенная снегами. Не одному капитану Новожилову оказывал почести молодой советский город, а всем безымянным ге-

роям, которых поглотил в своей темной пучине Гольфштрем.

По распоряжению регистра в днища каждого закупленного в Германии траулера было положено металлического балласта и залито цемента общим весом до пятидесяти тонн для большей устойчивости. Но и после этого моряки неохотно шли на дизельные траулеры работать, хотя на «дизелях» кубрики и каюты были удобней и лучше, чем на паровых. Из памяти не уходили погибшие суда. И как только чуть свежел ветер, дизеля отстаивались в порту, и это было в порядке вещей. Кривая добычи падала, проваливался план вылова последнего зимнего квартала года. Тогда директор Рыбтреста Кремнев вызвал к себе капитана «Кеты» Логинова.

— Так вот что, Логиныч, сегодня надо выходить в девятьсот двадцатый квадрат «Кете». За ней потянутся и остальные дизеля. Иначе засидимся в порту, провалим годовой план и останемся в долгу перед страной.

— Ну, так как? — спросил Кремнев, глядя в упор на Логинова.

Капитан молчал, глядя сквозь окно на посиневший, сумеречный по-зимнему город.

— А диванчик в капитанской каюте оставь за мной! — добавил Кремнев и снова посмотрел в лицо капитану.

— Как, и вы с нами в море идете? — спросил удивленно Логинов.

— Непременно, — ответил Кремнев. — А скажи, Логиныч, трал у тебя в готовности?

— На все сто, как всегда!

— Значит, сегодня в полночь выйдим. Я буду на судне за полчаса до отхода.

Директор крепко пожал руку капитана.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дизельный траулер «Кета» сходил в штормовой зимний рейс и вернулся в порт с полным грузом. Небывалый шторм, загубивший три траулера, сделал капитана Логинова разговорчивей. Когда директор Рыбтреста спустился с траулера и зашагал по причалу, капитан

достал из шкафчика графин водки, попросил на камбузе приготовить свежую треску, мелко нарезать лук и позвал к себе в каюту механика Иванова и штурмана Дорошенко.

— Бывают в жизни минуты, когда вдруг всего тебя перевернет, — сказал капитан, усаживая гостей за столик. — Идешь в шторм или в морозящем тумане и ничего впереди не видишь, а позади — вся твоя жизнь. Вот, когда наша «Кета» свалилась на левый борт и не поднималась, а я лежал на запертой двери радиорубки, о многом тогда передумал, товарищи. Но прежде всего подумал о том, что на траулере много народу, я — взаперти, выйти на мостик не могу, а штурман Дорошенко хоть и неплохой моряк, но не знает он еще нашего моря и наших судов, не справиться ему с креном траулера, и все мы загнемся, как «Осетр». Да! — крикнул я в переговорную трубку, отзывается мне Дорошенко, по голосу чувствую, не стучевался парень. И верно: выполнил мою команду. Траулер исправился, стал носом на волну. Вот я и хочу сказать: в шторму проверяется человек. Я думал, южанин приехал к нам на Север загорать, но не работать. Нам таких на Севере не надо. У нас своих лодырей хватает. Нам требуется человек, который любит море, не боится его, не теряется в трудной обстановке. У меня матроса Спиридона Малыгина смыло волной за борт. Каждый пожалел товарища, но подумал и о себе. А вот Дорошенко, южанин, обязал себя концом, бросился к Спиридону, а назавтра снова вышел на вахту. Не выполни Дорошенко мою команду, растеряйся на минуту во время шторма, сделали бы мы оверкиль и лежали на грунте. Ничего бы нам теперь не требовалось! И хочется мне теперь выпить за преданность делу и за товарищество, за хорошую работу, за настоящего моряка, в честь южанина, полюбившего и понявшего вместе с нами Север, за Дорошенко, старшего штурмана «Кеты».

— И никирим-куку! — подхватил механик и разом, не переводя дыхания, опорожнил весь свой стакан.

— Ходил я на паровом траулере. В

море — шторм. Пошел в Мотку. Рыба у самого берега стояла. Достал сорок пять тонн за четверо суток. Ловили днем, а ночью уходили на глубокое место. Опасались, что вдруг камень попадет в трал, а пока я камень вместо рыбы буду поднимать, меня как-раз и сдрейфует к берегу. Берега приглубы, нельзя якорь отдавать на цепном канате, надо переходить на ваер. Но не всегда на ваер перейдешь. В сильный шторм штурмана могут прохлопать. Ветра бывают большие и в Мотке. Зюйды и зюйд-весты здесь в зимний период такой пыл поднимают, спасу нет! Я говорю сейчас, чтобы мой старший штурман слушал. Я с ним в рейсах мало говорил, пусть теперь послушает, как и что, и узнает наше дело поморское. Я человеку не доверял. Думал так: пришел южанин к нам на Север отдохнуть! А у нас на Севере работа тяжелая. Шторма да пурги, да туманы, да обмерзания. Тут только успевай поворачиваться! Где уж там загорать! Не до того! Но присмотрелся я к парню, вижу — надежный человек, работающий, старательный. Ну что же, тогда работай с нами! Давай пользу обществу! Рыбы в океане много, ее надо уметь взять! К нам на Север немало лодырей приходило. Вон в Коле колонисты жили. Тоже народ все пришлый, со всего русского света. Селедка в самую Колу заходила. Увидят колонисты селедку и говорят: «Вот бы сети поставить!» А когда селедка уходила, колонисты жалели: «Вот сетей не поставили, рыба-то и ушла!»

— До чего ленив народ! — громко сказал Дорошенко.

— Что верно, то верно. Вот я и говорю, что надо выпить за старого помора, капитана Логинова! — заметил Никирим-Куку, наполняя себе стакан и доливая капитану и Дорошенко.

— У нас на Севере правило такое: в порту — гулять, в море — молотить! Море — лучшая школа! Пришел к нам учиться, так понимай сам, что хорошо, что плохо!

— Остыла трещетка. Ешьте, дорогие гости!

— Ешьте и пейте! — сказал Никирим-Куку.

— Нарком приехал! — сказал, запыхавшись входя в каюту Логинова, портовый капитан.

— Нарком? — удивился Логинов. — Из Москвы? — недоверчиво спросил он.

— Ну ясно, что не из Одессы!

— Идем в кабинет к начальству в трест, он верно там.

— Да как-то неудобно.

Навстречу морякам быстрым шагом шла несколько человек, один из них был в военной шинели. Моряки посторонились, сойдя с дощатого тротуара.

— Уж не нарком ли? — спросил Дорошенко.

— Верно он, видишь, как за ним наше начальство увивается, все гуськом да гуськом. Попадет теперь им от него по пятое число, — сказал Логинов.

— Не зря человек из Москвы приехал, трест через полгода не узнаешь, — поддерживал Дорошенко. — А здорово он на моего одного приятеля похож.

— Кто?

— Да нарком.

Кто-то бежал по тротуару.

— Товарищи, что же вы? — запыхавшись, окликнул подбежавший. — Идите в клуб Рыбтреста. Если встретите по дороге капитанов, штурманов или тралмейстеров, — гоните всех в клуб, да поскорей!

— А что случилось? — спросил Логинов.

— Нарком приехал... — только успел сказать человек и скрылся за поворотом.

— Теперь пойдет в тресте горячка, — говорил Логинов, шагая в клуб. — Штаны сними, штанами лови, а план выполняй!

— Ну, зачем штанами, будем тралом ловить, а план выполнять надо непременно. Разве мы не рыбаки? — сказал Дорошенко.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Артур Калнин, русский подданный, бежал через океан к истокам Гольфштрема от царской солдатчины. Калнин долго был «бичкомером». Ему было совершенно безразлично, на каком паро-

ходе и под каким флагом плавать. Свою национальность Артур Калнин определял так: родился на английском судне под норвежским флагом в турецких водах. Он считал себя интернационалистом, гражданином мира. Его лицо было безулыбчиво и сурово по-северному. Немало горя тянул Калнин на судах. Он огибал мыс Горн. У южноамериканского мыса существует постоянное сильное течение. Калнин стоял на руле. Капитан сказал ему без шуток:

— Если в течение попадем, нанесет на скалу и останемся мы с тобою целы — всю морду тебе в кровь, если в течение не попадем — рюмку поднесу.

Часто так случалось в жизни Артура Калнина. Часто она шла между кровью и рюмкой.

Из Караибского моря, места зарождения Гольфштрема, от вечно теплых берегов Никарагуа, Артур Калнин перекинулся к суровым и скалистым, но родным берегам Севера. Он пришел к берегам Мурмана в канун Октября. Перегоняя воды Северного атлантического течения, плыл на одном из торговых кораблей к восставшей стране плотный, коренастый моряк Артур Калнин. Это было путешествие от мира, раз'едаемого собственными противоречиями, к новому миру — без угнетателей и поработченных.

В Мурманске он ходил на тральщике. При интервентах был арестован за большевистскую агитацию среди моряков тралового флота. Артура Калнина сослали в Иоканьгу. Каждое утро из ледника-карцера выносили по одному, по два трупа в «трупный амбар». Рыть могилы было некому. Большинство арестованных настолько ослабели от голодовки, что не могли рыть мерзлую землю. Трупы выкидывались в пустовавший пороховой погреб. Никогда не знавшие цынга крепкие поморы, для которых постелюшкой служила мать сыра-земля, изголовьем — зло кореньице, одеялышком — ветры буйные, покрывалышком — снега белые, здесь, в неволе, зацынгали. Страшная болезнь Севера — цынга — косила людей.

В Иоканьге умерло за короткий срок больше половины всех заключенных.

Красный фронт подкатывался уже к архангельскому и мурманскому Северу. Уже воротились белого движения на Севере готовились к бегству. Иоканьгская радиостанция получила радио от директора маяков и лоций Белого моря, господина Мессера:

«Приказываю облить керосином тюрьмы, Иоканьгу сжечь, а самим срочно сниматься, уничтожив все имущество».

Через несколько дней вахтенный радист Иоканьги принял другую радиogramму:

«Дорогие товарищи! Архангельск в наших руках. Берегите радиостанцию и прочее имущество — народное достояние. Скоро красный флаг будет реять и над Мурманом».

Ночью конвой Судакова катал бочки с горючим к стенам тюремных бараков, готовясь к поджогу Иоканьги. Работники радиостанции понимали, что затевает Судаков. Мглистым ранним утром команда радиостанции и кабельного отделения расхватала винтовки, арестовала Судакова и спавший крепко конвой и пошла освобождать заключенных.

В ту землянку, в которой раньше жил Артур Калнин, посадили Судакова. Вскоре из Мурманска прибыло советское судно и взяло на борт всех освобожденных. В Мурманске Артур Калнин на первых порах был назначен комиссаром рыбного траулера, который вылавливал пловучие мины.

Артур был коренаст и широк в плечах. Ходил, всегда широко расставляя ноги, будто по палубе в свежую погоду. На лову его видели обычно в полушубке и высоких болотных сапогах. Он не признавал теплой зимней одежды. Жесты его были жаркие, вспыльчивые и настойчивые. С финном он говорил по-фински, с лопарем — по-лопарски, с латышом — по-латышски.

Всплыв на собрании, он ушел однажды из коллектива и жил на маяке в одиночестве. Но, когда в Титовском озере закрыли больше двадцати тысяч тонн сельди, проснулось вдруг в Калнине желание пойти на лов к своим товарищам, с которыми недавно работал вместе.

Не потому вернулся Калнин в рыболовецкий колхоз, что прогремел Мурман на весь Союз своими рыбными богатствами. Вернулся Калнин потому, что любил жить на людях, видеть вокруг себя борьбу и постоянно участвовать в ней.

Сельдь пришла к берегам Мурман в несметном количестве. Море кипело рыбой у скалистых берегов. Бригада Артура Калнина закрыла сто тонн сельди. Вычерпать всю сельдь в браму не было никакой возможности. Нехватало ни людей, ни времени, ни посуды. Рыба мяла друг друга, давилась, засыпала, кисла и падала на дно, засоряя губу. Многие губы уже были засорены сельдью. Острый запах сероводорода от разлагавшейся, завалившей грунт сельди отпугивал подходившие к засоренным губам свежие косяки. Губы, некогда считавшиеся сельдяными, становились безрыбными только потому, что дно их было выстлано сельдяными трупами. Артур Калнин понимал опасность засорения губ. Он предложил рыбакам открыть запор. Никто не согласился расставаться с такой добычей.

— Выпускай! Мы всю сельдь потеряем и губу засорим. К нам сельдь больше не зайдет! — кричал Артур Калнин.

Никто не слушал моряка.

А его любили в колхозном промысловом флоте. Когда Калнин спал у себя в каютке, после круглосуточной работы, то на палубе матросы не растягивали гармонь и говорили вполголоса:

— Тише, тише, ребятки! Калнин спит!

Артур Калнин промерил все губы, учел и изучил течения, глубины, рельеф берега, приготовил невода, считаясь с характером губ. Сам ездил в Москву и получил много денег на очистку губ. Сотни тонн сельди было выловлено колхозом. Сельдь, закрытая в губе запорным неводом, ложилась на дно. И, когда Калнину стало ясно, что с перекрытой сельдью колхоз не справится, сельдь вся поляжет, засорит недавно очищенную с огромным трудом губу, он так крикнул на несогласных с ним ловцов, что загремело эхо в скалистых берегах,

выхватил финку, бросился в воду с карбаска¹⁾ и разрезал верхнюю запора. Сельдь, получив свободу, вышла в море.

Другого, быть может, отдали бы давно под суд за самоуправство, за недопустимый анархизм, но Артуру Калнину многое прощалось потому, что он был честен и отдавал себя целиком колхозному лову. Все знали излишнюю горячность, вспыльчивость и одновременно неумную работоспособность Артура. Он распределял бригады, выдавал хлеб, переносился с поразительной быстротой из губы в губу, он был полпредом финнов и лопарей в мурманском Рыбтресте. В колхозе и Рыбтресте помнили также о том, что Артур Калнин сидел на «Полюстрове смерти» в Иоканьге.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ударник тралового флота — старший штурман Дорошенко был назначен капитаном траулера «Зубатка». Он ловил рыбу в Гольфштреме и не смог встретить жену, приехавшую из Одессы вместе с сыном Володькой. Она сама встречала его на тралбазе. Встретились в молчаливом волнении. Володька все просил отца дать ему что-нибудь донести до дому.

— Куда тебе, такому клопу. Тебя самого еще на руках носить надо, — сказал отец, вынимая из кармана несколько карамелек.

Милица Николаевна открыла настежь окна в первый день своего приезда, и сразу в них дохнуло крепким, душистым ароматом моря. Она убрала со стола давно не мытую посуду. В дверь постучали.

— Вы — мадам Дорошенко? — спросила ее незнакомая женщина.

— Я — товарищ Дорошенко, — удивленно сказала Милица.

— Это все равно! Вы меня не знаете. Я — ваша соседка. Мы живем в нижнем этаже. Я — жена начальника снабжения Рыбтреста товарища Чечулина. Помню, как несколько лет назад я вот так, как и вы, приехала впервые в этот ужасный городишко и как мне тяжело было сна-

чала без знакомых. Вот я и пришла к вам посочувствовать, облегчить первые дни в чужом городе.

— А я и не думала скучать, — ответила Милица. — Хлопот полон рот! Вы меня извините, тут я уборкой немного занялась, неказисто живут ваши мурманские моряки, некультурно.

Милица открыла кран, и вода сильной струей, звеня по грязному пустому ведру, ополоснула его стенки.

Разговор двух женщин длился недолго и на тех гранях, за которыми сквозила натянутая вежливость и скрытая зевота.

Утром соседка снова пришла на квартиру Дорошенко и, осведомившись, как спалось Милице Николаевне, стала странно рассказывать о жизни капитана Дорошенко в отсутствие жены. Зимой он «путался» со стенографисткой треста, а летом, накануне приезда Милицы Николаевны, сошелся с женорганизатором бондарного завода.

— Дорошенко достаточно взрослый человек, чтобы жить так, как ему нравится и хочется. Я никогда не буду ему в этом мешать, — сказала Милица.

Словоохотливая соседка была озадачена ответом и подумала, что Милица «представляется» такой, а на самом деле, небось, ревнует мужа так же, как Чечулина — своего.

Стояли непогоды. Осенние жестокие ветры срывали промысел и задерживали траулеры в море. Милица получила две короткие радиogramмы. В одной Николай сообщал, что здоров, в другой — что вернется только к концу месяца. Получив последнее известие от мужа, Милица пошла вместе с сыном в трест, где капитанам тралового флота выдавали специальный паек.

В приемной директора Рыбтреста былолюдно и шумно. То и дело дребезжал телефонный звонок. Приходили и уходили люди в кожанках, черных морских шинелях или макинтошах. Начальник снабжения Рыбтреста Чечулин несколько раз проходил в кабинет директора с бумагами в руках и каждый раз смотрел на Милицу, сидевшую у окна. Впервые за три года видел Чечулин такую красивую женщину в Мур-

¹⁾ Промысловая лодка.

манске. Выходя в последний раз из кабинета директора, он остановился возле Милицы и спросил:

— Вы кого ожидаете?

— Начальника снабжения.

— Значит, ко мне, — обрадованно сказал Чечулин. — Пройдемте!

Милица встала. Тут Чечулин заметил, что она была ростом ниже его почти на целую голову. И это тоже понравилось ему.

Узнав, что она жена Дорошенко, Чечулин сказал чуть покровительственно:

— Что ж! Хороший капитан! Молодой, но многих старичков позади себя оставил.

Милица вспыхнула от удовольствия.

— Вот где он, ваш капитан, сейчас! — Чечулин подошел к карте и разыскал там квадрат моря, где промышляла «Зубатка». — Вот куда Дорошенко забрался!

Милица тоже подошла к карте.

— Я еще не доросла до этого квадрата, — смеясь, сказала она.

Чечулин приблизился к Милице сзади и поднял ее за локти, как ребенка.

— Видите теперь?

— Вижу.

А сама хотела сказать не то. Ей хотелось протестовать против развязности Чечулина. Но она смутилась, потеряла секунду, и когда набралась смелости, то почувствовала, что опоздала с нравоучением, и насторожилась.

Ставя ее на пол, Чечулин ощутил на своей разгоряченной щеке прикосновение нежно-щекочущих шелковистых волос Милицы.

— Так что вы хотели от нас? — как ни в чем не бывало, спросил Чечулин.

— Получить паяк.

— Выдача карточек начнется завтра. Если будет большая очередь, то заходите ко мне прямо без стеснения, — я вам помогу.

Разговор был прерван долгим звонком телефона.

Чечулин говорил о бочках, о клепке, о вагонах, о лесе для бондарного завода.

— Достану вам леса, не беспокойтесь, — говорил Чечулин. — Вам нужна клепка? Будет клепка! Лес для бочек? Будет лес для бочек!

Милице сделалось скучно, она встала и, кивнув головой, пошла к двери. Тогда Чечулин, прикрыв ладонью трубку, крикнул вдогонку:

— Куда же вы? Мы ведь не кончили разговора?

— Я тороплюсь, Володька мой не кормлен. Я зайду к вам, когда буду здесь за карточками, — и она приветливо махнула рукой.

В первый выходной день начальник снабжения постучал в дверь к Дорошенко.

— Отправляюсь сегодня в Лавну, по лесному делу. Нашим бондарям лесу не хватает, буду изыскивать им лес, поедете вместе, что ли? — предложил он Милице.

— Куда мне со своим багажом! — засмеялась Милица, лаская Володьку.

— А вы его с собой берите! Пусть развивается! — настойчиво сказал Чечулин.

— Разве только с Володькой?

— Разумеется, с ним. Я научу его любить полярную природу.

Милице было томительно-скучно одной в Мурманске, и она с неожиданной для самой себя смелостью согласилась поехать за город.

На катере, как только раздалось та-рахтание мотора, Чечулин достал небольшой чемодан и стал извлекать из него многочисленные свертки. На хрустевшем пергаменте разложил истекавшие жиром мурманские копченые селедки. Сочными лоснящимися кусками нарезал нежно-розовую семгу. Делал он все торжественно-медленно и закончил свое священнодействие тем, что достал бутылку коньяка финь-шампань.

— Да у вас здесь целый пир! — не удержалась Милица Николаевна. — Только вот вино вы зря взяли! Я пить его не буду!

— Так я за ваше здоровье выпью!

Мотор стучал по заливу. Скрывались похищенные туманом верхушки каменистых берегов, поросших низкорослым лесом.

В такт мотору дрожала и подпрыгивала на лбу Чечулина чуть посеребренная годами густая непослушная прядь. Милица украдкой глядела на Чечулина.

Ей всегда нравились люди, которые значительно выше ее были ростом.

Аромат коньяку наполнил тесную каюту. Чечулин поднял свой стакан:

— Пью за капитана Дорошенко, находящегося сейчас в Гольфштреме на промысле, и желаю ему полного успеха!

Милица молчала и смотрела то на Володьку, то в иллюминатор каюты.

«Зачем я согласилась поехать с чужим человеком на боте?» — думала она.

— Так что же вы, за своего мужа не хотите выпить, за его здоровье, за его успех? Вот что значат современные жены!

— Ну ладно! — сказала Милица Николаевна, отхлебнула коньяку и, обжегши губы, отставила стакан подальше от себя.

— Вы закусывайте, закусывайте! — угощал Чечулин. — Володька, тебе с чем? С семгой или с копченой селедкой?

— Все ладно, давайте с семгой!

— Ух ты, какой молодчага! — сказал Чечулин, засовывая Володьке в рот ломтик жирной семги.

— Вы знаете, голова кружится, — сказала Милица и звонко вдруг рассмелась. Она произнесла фразу громче обыкновенного, ей казалось самой, что Чечулин ее не слышит. Мотор тарахтел попрежнему. Володька сидел рядом и строил из спичек домики, медленно жуя буттерброд.

— Ты, Володька, ложись на койку, я тебя укрою пледом, тебе тепло будет.

Володька послушно лег и быстро заснул.

На верхней палубе было свежо и прохладно. Дул легкий южный ветерок и тепло ласкал разгоряченные лица. Впереди виднелся левый высокий берег устья Лавны. Бот подошел к деревянной пристани и легонько стукнулся носом о сваю.

— Вахтенный, — сказал Чечулин, — с бота никуда не отлучайтесь. Если Володя проснется, то на верхнюю палубу его не пускайте, угостите его горячим кофе из моего термоса. Скажите, что мы сейчас вернемся, принесем ему конфет.

Отлив начался уже более часа назад. Вода уходила далеко от берега, оставляя на сыром и затвердевшем песке ракушки

и желтые гирлянды морских водорослей. Чем дальше от берега скатывалась вода, тем заметней просыхали спутанные водоросли. Столбы, на которых стояла пристань, оголялись, показывая тинистую прозелень. Облака стлались низко над самым заливом, цепляясь за кустарник, бежавший по гористому берегу. Дельта реки Лавны плешивела песками. Убывавшая вода делала старушечье-бесильной эту реку. Песчаный грунт, покинутый отливной водой, был тверд под ногами, как асфальт. Впереди на горке виднелись дома совхоза. Среди безмолвия, под прессом низких облаков, на высоком берегу, поросшем кустарником и низкорослым леском, эти дома казались случайными и неожиданными. За зеленой оградой кустарника возились и будто фыркали дрозды. Сняв кепку, трясая в такт шага седую прядь волос, назойливо спадавших на высокий лоб, шел Чечулин, за ним в дождевике, зеленом, как берега реки, торопливо шагала Милица.

Чем выше поднимались люди, тем сильнее становилась река.

И вот вдали, прорезая лесную чащу, прилетел первый звенящий и совсем близкий шум падуна. Вон сквозь зеленый частокол леса показалась и седая его грива. Вода скакала по камням отвесно, падала с высокой каменной ровной плиты. У самого падуна, уступив место низвергавшейся здесь реке, стоял одиноко громадный камень, как бы обтесанный гранильщиками. Чечулин помог Милице подняться на каменную плиту. Люди смотрели вниз, куда, вся в пене, стремилась шумная река.

— Сюды бы, на эту каменную плиту, поставить звонкого советского поэта, вылитого из бронзы! Вот место для памятника! — сказал Чечулин, восторженно подняв голову. Непослушная седая прядь коснулась его бровей.

Чечулин приехал на Лавну искать дологу для леса с высоких берегов этой реки. Годный для дров лес начинался выше падуна.

Перед порогом на берегу стоял высокий гладкий камень, и на нем по мшистому ковру, словно брызги крови, горела яркая брусника. Стоя во весь рост

и не нагибаясь, Чечулин и Милица собирали ее. Быть может, эту брусьянику приберегал для себя медведь?

— Мы перейдем реку по камням через порог, на ту сторону, пониже падуна, — предложил Чечулин.

— Я не рискну. Давайте пройдем чуть выше порога и посмотрим, нет ли там переправы? — предложила Милица.

Чечулин быстро оглядел лежавшие перед ним камни, по которым прыгала в пене река, и зашагал по макушкам камней без палки, подняв высоко болотные сапоги. Он дошел до середины реки и остановился.

«Повернет или не повернет обратно?» — подумала Милица.

Посреди белой пены Чечулин стоял на высоком камне и смотрел то влево, то вправо, ища переправу. Затем вдруг повернул вправо и пошел зигзагами. Вскоре он выпрыгнул на противоположный берег, маня к себе Милицу Николаевну. Вооружившись палкой, она в лакированных резиновых сапожках стала медленно и осторожно пробираться по камням, выступавшим из пенившейся воды. Чечулин сломал в тальничке длинный прут и протянул его подхлотившей Милице. Она прыгнула на берег, едва не оступившись. Чечулин удержал ее за руку.

Река пенилась и шумела. Был час прилива. Лавна заметно ширилась. Прибывшая вода закрывала макушки позеленевших недавно выступавших камней.

— Темнеет, товарищ Чечулин. Володька, боюсь, проснулся. Нам пора на бот!

— Так зачем же переходили на эту сторону?

— Чтобы не показаться вам трусливой.

— Обратного трудней будет переход. Смотрите, что делает Лавна! — сказал Чечулин, поднимая высоко свои болотные сапоги.

— Давайте же поскорей выбираться отсюда, а то и в самом деле здесь заночуешь, — тревожилась Милица.

Она первой ступила в воду и сразу зачерпнула резиновым сапожком.

— Ледяная вода!

— Куда вы торопитесь? — спросил Чечулин, помогая Милице выбраться из воды.

— Вот мы сейчас перейдем эту Лавну!

Чечулин поднял к себе на грудь Милицу, как ребенка, и уверенно зашагал по порогу. Милице стало страшно. Она чувствовала крепкие руки чужого человека. Она не смела сопротивляться. Как-то отдаленно промелькнула мысль о Дорошенко, о боте, о Володьке. Милица чувствовала близко частое горячее дыхание чужого человека, и оно тревожило ее. Река неугомонно шумела и пенилась.

— Вот мы и перешли порог! — сказал Чечулин, ставя Милицу на песчаный берег.

Милица открыла глаза и благодарно и смущенно посмотрела на Чечулина.

Чечулин взглянул на лесистые берега.

— Лес хороший, а попробуй его возьми! — сказал он. — А все-таки рискнем, весной по большой воде перегоним дровишки к заливу, тогда они наверняка будут наши. Не то бондари меня со света сживут!

Володька, проснувшись на боте, залился горькими слезами, но, когда увидел мать, входящую в каюту, все позабыл на свете и, широко распахнув ручки, кинулся к ней с поцелуями.

«У такого решительного, смелого человека такая мешаночка жена, — думала Милица, глядя на Чечулина, освещенного маленькой тусклой керосиновой лампочкой. — Как это она меня назвала: мадам Дорошенко! Это на пятнадцатом году Октябрьской революции! Жена коммуниста!»

«Брак — это лотерея! — думал Чечулин, поглядывая на Милицу. — Дорошенко повезло, а мне вот нет! Но счастлива ли Милица? Ведь она видит Дорошенко редко. То он в заграничном плавании, то вот уже второй год на Мурмане молотит. Постоянная разлука!»

Милица ощутила вдруг неожиданное тепло, оно пронзило ее всю, словно током.

— Какая у вас холодная рука? Вы вероятно простыли на пороге. Не стесняйтесь, снимите мокрый чулок, я ми-

гом высушу его у калоризатора, — сказал Чечулин.

Впереди показались огоньки Мурманска.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Рыбный траулер «Зубатка» промышленял около Колгуева. Рыба ловилась хорошо. Подъемы были до четырех тонн каждый. Перед самым подъемом трала вода близ борта сочно зеленела, будто освещенная с грунта мощным прожектором. Винтообразно и стремительно выскакивал на поверхность моря глубоководный огненно-золотой окунь. Глаза его были вытаращены, изо рта торчал плавной пузырь. Волной било морского окуня о борт траулера.

— Легче! Легче! — командовал лебдчику трамлейстер.

И вдруг всплывал мешок, набитый рыбой, качаясь на волнах. Возле мешка плавала мелкая треска, беспомощно подныв кверху серебристое брюшко. Стая мертвых окуней яркими пятнами расцветивала море вокруг траулера. Чайки вились над всплывшим мешком. «Зубатка» кружилась на месте полным ходом, не давая этим самым выйти рыбе из мешка на волю.

— Задний ход! — командовал капитан Дорошенко.

— Стоп!

Показались всплывшие зеленые стеклянные полые шары — кужтыли. В синем, искрящемся пеной море они светились, как фонари. Вестники хорошего олова — золотые окуни выскакивали на поверхность моря и, выставив высоко красные перья, безжизненно качались на волнах. Вон показались и бобенсы — мощные дубовые колеса. С них струями стекала студеная вода. На этих колесах продвигалась по дну Баренцова моря вся траловая колесница, забирая в разинутую пасть мешка частицу трескового косяка.

Траловый мешок взвился на стропе. Провливым шумным дождем хлестала морская вода на палубу, на рыбные ящики. Тралмейстер подполз под мешок и стал развязывать узел. Шурша, посыпались в ящик треска и золото-розовые

окуни. Бьется рыба в ящике, перебегает, скользая, друг по другу метровая треска. Словно зверь в клетке, бьется бессильно хвостом огромная зерноподобная зубатка, разевающая пасть. Моряки становятся у рыбодола шкерить — потрошить рыбу.

— Ты блестяще справился с селедкой, иди в море и наладь мне тресковый промысел, — сказал директор треста Кремнев, вызвав к себе в Мурманск Артура Камнина.

— Что вы из меня рыбака делаете? В десять раз есть лучше меня моряки на Мурмане! Посылайте их облавливать треску, — сказал Камнин.

— Ты — организатор хороший, и моряки любят тебя, мне это известно, — сказал Кремнев.

— Да я же рыбой до Мурманска никогда не занимался! Я в колхозе на общем собрании прямо так и сказал: «Рыбятки, рыбы я не знаю. Но с вашей помощью, надеюсь, ее узнаю, и мы дело сообща двинем вперед».

— Ну и что же, двинул дело! — сказал Кремнев, прохаживаясь по кабинету.

— Поклюет вас за меня научный институт. Они меня давно превратили в невежду и врага науки. Статейки пишут про Камнина.

— Артур, важно не много писать, а так написать, чтобы читатель задумался. Ведь не тот человек здоров, кто много ест, а кто хорошо переваривает. Пусть мне институт дает хорошие промысловые прогнозы, тогда и я, практический человек, ему поверю. А Савраска свою походку знает, где сядешь, там и слезешь. Я еще не читал у них ни одного верного предсказания, — сказал директор треста.

Камнин пытался возразить, но директор поднял руку, давая этим понять, что разговор окончен.

И вот Камнин шел в море, сговариваясь по радио с поисковыми и промысловыми траулерами. С флагманского траулера Камнин руководил всеми траулерами, находившимися на промысле. Он указывал, куда и в каком количестве отправляться траулерам на промысел, где сейчас наиболее рыбные изобаты.

Капитан Логинов перешел на береговую работу и на промысел более не выходил.

— Я свое отмолотил, — говорил он. — Пусть теперь другие помолотят!

«Мною обнаружен косяк в семьсот квадратных миль. Рыбы хватит до осени. Все поисковые перевожу на промысел» — телеграфировал с моря Калнин в трест.

Один за другим траулеры, шедшие в разные квадраты моря, приняв радио флагманского траулера, устремлялись в названный Калнинским район.

На капитанском мостике возле Дорошенко стоял штурманский ученик Спиридон Малыгин, но не за штурвалом, как прежде, а держа в руках секстан. Молодой помор вычислял высоту солнца над горизонтом, чтобы определить местонахождение своего траулера. Небольшая зыбь шла с норд-веста и слегка качивала траулер. Серое небо низко стало над морем, почти касаясь его мохнатыми рваными облаками. Ветер был попутный, и траулер шел с облаками в одну сторону. Эти серые, хмурые облака провожали судно до самого места облова рыбы. Всю зиму учился Спиридон Малыгин в Мурманском морском техникуме, куда был выдвинут из матросов тралового флота за свою ударную работу. А летом пошел на практику в Гольфштрем, попросившись к Дорошенко на «Зубатку».

В штурманской рубке пронзительно свистнуло. Это радист вызывал капитана к переговорной трубе.

— Слушаю! — крикнул в трубу капитан.

— Товарищ Дорошенко, — сказал радист, — вас флагман на совещание капитанов просит.

Дорошенко зашагал в радиорубку.

В радиорубке было тесно. Капитан сел возле самого рупора и слушал, как из черного промкоговорителя, откуда-то с невидимого далека, говорил Калнин. Радист, свесив ноги с койки, смотрел в иллюминатор, вделанный в дверь его каюты, сквозь который виднелось неспокойное, потемневшее море.

— Здравствуйте, товарищи капитаны, — премел в радиорубку из черного

рупора голос Калнина. — Объявляю совещание капитанов по радио открытым. Давно я не говорил с вами, товарищи капитаны. А поговорить есть о чем. Рыба кочует. Она должна, по моему мнению, подойти к Гусиной банке или поблизости от нее. Надо приступить к ее облову. Того косяка, на котором мы стоим сейчас, хватит, по моим соображениям, дней на восемь-десять. Это не значит конечно, что мы возьмем здесь всю рыбу целиком. Но мы обязаны взять ее, сколько сможем. Рыба расположится в тех температурах, о которых я с вами уже не раз беседовал. Я надеюсь, товарищи капитаны, что вы оправдаете доверие всей мурманской общественности. Помните, что за нашей работой следит сейчас не только Мурманск, но и Ленинград, и Москва. Интересуются нашей работой и тихоокеанские, и черноморские моряки.

При упоминании о Черном море Дорошенко немного затуманился. Он вспомнил о Милице, которую, быть может, не увидит еще долгую неделю. Милица прислала ему две коротких радиogramмы из Мурманска.

— Соедини-ка меня с флагманом, — сказал Дорошенко радисту.

Радист прыгнул с койки, подошел к аппарату и отчетливо сказал:

— Халло! Халло! Говорит «Зубатка»! Говорит «Зубатка»! Слышите ли вы меня? Слышите ли вы меня? Сейчас с вами будет говорить капитан Дорошенко! — И передал трубку капитану.

— Здравствуйте, товарищ Калнин! Здравствуйте, товарищи капитаны! Хочу обратить ваше внимание, что иностранец, ловивший все время рыбу вместе со мной в одном квадрате, ушел на вест-зюйд-вест. Я думаю, что у него вероятно там тральщики стоят и там, должно быть, сейчас вся рыба. Мы поднимали вчера по четыре тонны, а теперь поднимаем и по две, и по полторы. Не лучше ли сниматься нам и итти на вест-зюйд-вест? По-моему, рыба отказывает нам.

За Дорошенко говорили другие капитаны.

Последним говорил снова Калнин.

— Товарищи капитаны! Надо быть внимательными к буям, глубинам и не

срываться с рыбы! Вот вы все ловите в одном квадрате. Одни ловят хорошо, а другие плохо. Почему? Потому что не раскочались многие из вас после отпуска и портовой болезни. Многим все еще кажется, что они в порту, у жены под боком. А не лучше ли было, прежде чем ссылаться на объективные причины, хорошенько проверить тралы перед выходом из порта и не упускать рыбы? Рыбка есть, рыбку-то надо выловить! Вот РТ 11 «Ваер», вы все, товарищ капитан, ноли поднимаете! Немного это! Прямо вам скажу! Вы говорили в своем слове, что порвали трал. Где же вы это ухитрились, когда здесь грунт мягкий и порвать трала просто негде? Ваш радист не слушает моих вызовов. Почему его нет в условные часы на месте в радиорубке? Придется в другой раз за это штрафовать. Если работать, то работать, а загорать мы будем в порту. До свидания, товарищи! Помните, рыбка есть, и мы должны ее выловить, а не метаться зря по океану! До свидания!

Совещание капитанов закрылось. Радист толкнул дверь каюты, и в тесное помещение ворвался свежий морской воздух. Чайки кружились попрежнему над траулером, выхватывая друг у друга обрывки рыбьих внутренностей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В просторной редакционной комнате молодой репортер газеты «Полярная коммуна» брал беседу у капитана-промысловика. Матрос тралового флота рисовал карикатуру для четвертой полосы газеты, где изображал бюрократов из треста с необычайно звериными рожами. Секретарь редакции, почти еще мальчик, розоволицый и звонкоголосый, резал ножницами тассовские телеграммы и ругался вслух потому, что запоздавший ТАСС вынуждал теперь переделявать всю разметку верстки газеты, ломать заверстанные полосы. Вечерние новости опрокидывали все дневные сообщения, надо было менять шалки, манжетки, заголовки, переверстывать всю газету. Протяжно зазвонил телефон. Секретарь снял трубку с аппарата.

— Алло! Алло! Да! «Полярная коммуна»! Ах, это ты, Мишка! А в чем дело? Не может быть! Двигай сейчас же в редакцию!

Звонил репортер Заранкин, обслуживавший Рыбтрест. Его худощавая длинноногая фигура показалась вскоре в дверях редакционной комнаты. Заранкин волочил тяжелый портфель.

— Кремнев внимания не обращает на нашу редакцию! Он Артуру Калнину две тысячи премиальных отвалил!

— Калнину? — переспросил секретарь.

— Конечно не мне! — ответил репортер Заранкин.

— Что это там Задранкин травит, — сказал матрос, рисовавший карикатуру, пододвигаясь ближе к столу секретаря.

— Во-первых, не Задранкин, а Заранкин, к вашему сведению, во-вторых, я ничего не травлю, говорю то, что есть, — обиженно сказал Заранкин. — Мы пишем, мы стараемся в каждом номере, что у Калнина не организация, а импровизация, что промысловые прогнозы Полярного института лежат в тресте под сукном, что Калнин самоуверенный «генерал», что он забывает, где он находится — в Никарагуа или в Союзе советских республик, и на «Венусе», или на советском траулере? А Кремнев премирует Калнина! Он смеется над нами!

В комнату вошел курьер из треста.

— Примите пакет!

В пакете была статья Калнина, где он обрушивался на промысловые прогнозы Полярного рыболовческого института. Секретарь пробежал статью и кинулся в кабинет редактора. Вышел оттуда минут через десять.

— Дуй к директору, к «Бате»! — обратился он к репортеру. — Покажи ему эту статейку. И пусть он нам завернет покрепче, позубодробительней! Мы его ответ поместим вместе с калнинской статьей.

В кабинет директора института то и дело стучались. Высокий человек после коротких уговоров открывал дверь. Надо было подписать радиограмму, отправляемую срочно на экспедиционный бот института, находившийся в море, надо было преподнести грамоту отличившему-

муся ударнику химической лаборатории института, надо было подписать несколько чеков в банк. Приезжал к директору тралмейстер с поисково-исследовательского судна. И с тралмейстером надо было директору потолковать, узнать новости о ходе сельди, дать ряд указаний. В прошлом году к губам подходила сельдь-четырёхлетка, и директор полагал, что и «сей год» сельдька непременно подойдет к берегам.

Окно, возле которого стоял широкий письменный стол, простиралось во всю стену.

— И надо же было отчубучить такое окно в полярном городке! — сказал директор, открывая гигантскую форточку и жестом приглашая репортера Заранкина сесть в кресло.

На стене возле стола ученого висела большая карта, по которой прослеживалась миграция трески в Баренцовом море. На тралыщиках по заданию научного института метили пойманную живую треску и пускали ее в море. За доставку выловленной номерованной трески институт платил по пятнадцати рублей. Меченая рыба, пущенная за номером в определенном квадрате моря, шла своими путями в поисках лучших кормов. И, когда она попадалась в другом квадрате моря, ее путь прочерчивался в чертежной институте на этой карте. Линии путей меченых рыб говорили о миграции тресковых косяков. От Медвежинской банки треска не ходила ни к Колгуеву, ни к Маточкину Шару, а только на север, в своем районе. Один из профессоров, сотрудников научного института, был безгранично уверен в том, что от Медвежинской банки миграция трески невозможна. Он обещал немедленно застрелиться, когда ему скажут, что треска от Медвежки пошла к Мурману.

Директора института все называли «Батей». «Батя» говорил громко, потому что был глуховат с детства, перенеся тяжелую форму скарлатины. Он был высокого роста и носил большую седую гриву. Исходил всю Южную Камчатку, весь Урал, Енисей, все тундры, был у чукчей, изъездил Охотское море. Родился в Вятке, но родиной своей называл

всегда Сибирь. «Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала» — часто говорил «Батя». Его воспитала Сибирь.

В кабинете директора Полярного научного института висела неподалеку от промысловой ледовая карта. Пунктиром на ней было показано, как зима сужала площадь Баренцова моря, заполняя водные пространства ледяными полями и как снова животворная весна растопляла водные границы моря, угоняя далеко на север, отжимая своим теплом его ледяные берега, отодвигая далеко ледяную кромку. К ледяной кромке подходили не раз, совершая гидрологические разрезы Баренцова моря, экспедиционные суда института. Советские экспедиционные суда заплывали далеко в открытый океан, потому что, кроме них, мало кто его обследовал. Без исчерпывающих данных гидрологического режима моря, без гидрологического прогноза нельзя было составить верный промысловый прогноз.

— Зачем иностранцам промысловые прогнозы? — рассказывал директор репортеру Заранкину. — Нам прогноз облегчает борьбу за рыбу для страны, строящей социализм. А на Западе такой прогноз может только повредить махинациям ловких биржевиков.

— Траулеры — действующий флот, — рассуждал директор института. — Научный институт — штаб морских сил. Командиры боевых единиц — командиры рыбных траулеров. Штаб морских сил — штаб института — занимается анализом упущенных возможностей. Это так же важно в военном деле, как и в промысловом.

— Вот мы в тридцатом году имели наибольшие холода зимой на Мурмане. И вы заметьте, тот год дал наиболее сильное поколение сельди. А дальнейшие поколения от года к году были значительно слабее.

Заходит или не заходит сельдь в зараженную, засоренную губу?

Одни промысловики говорят, что заходит, другие, что не заходит. Губы не чищены сто лет! А за границей губы чистятся. Наука говорит за то, чтобы их чистить.

Еще совсем недавно, когда из Мурманска на промысел в море выходило всего лишь несколько траулеров, промысловики знали лишь Кильдинскую банку, Канинско-Колгуевское мелководье и Мотовский залив. Промысловая территория моря была настолько малой, что промысловики обходились в своей работе без всякой помощи науки. Многие из старых поморов знали целый ряд квадратов, где рыба появлялась более или менее закономерно. Эти поморы знали наперечет дедовские корги¹⁾ и луды²⁾, где в определенное время можно было обнаружить косяки трески. Таких поморов на флагманском судне у Калнина несколько человек, это — его штаб, главные советчики.

Расстановка поисковых судов не обеспечивала тыла. В то время как траулеры делали слабые подьемы и уходили в порт с неполным грузом, срывая план целого квартала, где-нибудь в далеком тылу, у Колгуева, случайный поисковик вдруг наткнулся на громадные косяки трески и поднимал в один подьем по пять-шесть тонн крупной рыбы. Это показывало, что рыба держалась здесь довольно долго, часть косяка продвинулась уже в неизвестном направлении и была потеряна для промысла. Калнин противопоставляет научным указаниям собственные умозаключения. «Анархия индивидуализма» — мы так расцениваем его работу. Калнинскую передвижку поисковых и промысловых траулеров по морю мы считаем бессистемной и случайной. Такое руководство флотом дорого обходится государству. А рыба не поджидает подхода траулеров, она движется своими путями. Случалось так, что в обловленных уже квадратах после того, как тральщики уходили всей массой, как-раз и появлялась рыба. Распуганная десятками бороздивших дно моря траловых мешков, треска покидала место своего откорма, а затем, как только траулеры переставали ее беспокоить, снова собиралась на прежнем месте. Случайный траулер, оставшийся позже всех в квадрате, делал, к удивлению

ушедших капитанов, пятитонные подьемы. Такого капитана траулера считали счастливымчиком.

Калнин требует от института стопроцентно-верные промысловые прогнозы: «Гадать, — говорит, — и я могу». Он пробовал пользоваться нашими прогнозами, но не всегда удачно для промысла, и предпочитает знахарство. Мы объясняли ему, что было время, когда точнейшая ныне наука астрономия не всегда верно предсказывала затмение солнца и что за два века до нашей эры китайский император обезглавил своих придворных астрономов, допустивших такую ошибку. Случаются ошибки и у нас. Промысловые прогнозы — дело молодое, и нельзя так поспешно делать отрицательные выводы о нашей работе, как Артур Калнин. Промысловые прогнозы значительно сложнее метеорологических, потому что уловы рыбы зависят от большого числа переменных факторов физического, биологического, технического и организационного порядка, а эти последние находятся в сложной зависимости друг от друга. Поэтому в мировой науке еще не было систематических краткосрочных прогнозов рыбного промысла. Но Калнина подобные объяснения не удовлетворяют.

Научные работники следят ежегодно за изменениями температуры Гольфштрема. Северное атлантическое течение постоянно изменяет не только температуру, но и мощность своей тепловодной струи. Эти пульсации течения влияли не только на климат Мурмана, но и предопределяли ход всего рыбного промысла. Воды Гольфштрема несут к нам значительные запасы тепла. Этим объясняется, что Баренцево море в своей южной части не замерзает круглый год, в то время как Азовское, северные части Черного и Каспийского морей замерзают, хотя они и находятся южнее Мурманска более чем на две тысячи километров.

Ледовые условия у берегов Мурмана и температура воздуха зимой не всегда одинаковы: в один год более, в другой менее благоприятны. Это теснейшим образом связано с приносом теплой воды Гольфштремом. Этот принос из года

¹⁾ Здесь: каменная подводная гряда.

²⁾ Здесь: подводные плоские камни.

в год колеблется: в один год он больше, в другой — меньше.

Изучение колебаний тепла, приносимого водами по Кольскому меридиану (воображаемая прямая линия, проведенная от Кольского залива до Северного полюса), показывает, что за последние годы происходит усиленный приток теплых атлантических вод в Баренцovo море, а отсюда и его потепление, потепление Арктики. Температурные условия влияют на развитие жизни и в море и определяют ход промысла. Точное изучение влияния температуры на поведение рыбы будет иметь большое практическое значение в дальнейшем. Мы работаем над разрешением этой важной для промысла задачи.

Репортер Заранкин торопливо самопишущим пером делал пометки в блокнот.

— Ну вот, собственно, все, что я хотел вам сказать, — директор встал, отодвинул от себя кресло и протянул могучую руку репортеру. — Конечно, я повторно предупреждаю вас, товарищ Заранкин, и вы это, пожалуйста, отметьте в статье, что со стороны нашего института возможны отдельные ошибки. Промысловые прогнозы — дело трудное и неосвоенное, а Баренцovo море — молодое море в промысловом отношении. Однако я думаю, что, владея методом научного анализа, институт более застрахован от тех ошибок, которые абсолютно неизбежны во всех случаях, когда промысловики руководствуются только своими личными убеждениями и догадками, как наш уважаемый Артур Калнин.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Начинался осенне-зимний период. Дни становились короче и сумрачней, ветер дичал с каждым днем. Люди на «Зубатке» сильно устали к концу рейса. Подъемы были частые и большие. Пошли в порт, когда расштормовавшееся море уже не позволяло продолжать промысел и рыбу класть было некуда. Гулками накатами вымывало добытую рыбу с верхней палубы в море. При сильном попутном шторме итти по курсу было нельзя никаким ходом. Легли штормо-

вать носом на волну. «Зубатка» последней уходила с промыслового квадрата. Все тральщики, придя раньше нее в квадрат, раньше и ушли в порт. Повара на «Зубатке» укачало, и он лежал без движения в носовом кубрике. Морякам пришлось вахтить, не обедавши. Ели всухомятку соленую рыбу да заплесневевший от времени хлеб, выдававшийся по строгой норме. В начале шторма матросы пробовали сами жарить заплесневевший хлеб на рыбьем жиру, но при таком приговлении уходило много хлеба, запас которого был ограничен. Траулер готовился к вынужденной голодовке. В кубриках кончилась махорка. Докуривали окурки, которые доставали из решеток. В помещениях было темно. Керосин вышел, его нехватало на чрезмерно затянувшийся штормовой рейс.

Пять суток прошло с тех пор, как разбушевалось грозное Баренцovo море. Пять суток не унимался пылкий ветер. Уголь иссякал. Радиорубку заливало волной. Связь с берегом прекратилась. К концу шестых суток сквозь завесу моросившего дождя неожиданно показался берег. Радист «Зубатки» долго сигнализировал лампочкой-морзянкой проходившему мимо иностранному тральщику, но ответа не получил.

— Уголь кончится, выкинет судно на камень и разобьет нашу коробку, — говорили в машинном отделении.

— Вот тебе и с полным грузом придется загиняться! — говорили в матросском кубрике.

— С нашим запасом угля я дойду до Иоканьги, — сказал на общем собрании команды капитан Дорошенко.

— А нельзя ли постоять на якоре? — спросил один из команды. — Вряд ли нам до Иоканьги угля хватит.

— Нельзя, потому что волна еще сильная, — ответил капитан.

Старший механик несколько раз поднимался на капитанский мостик и о чем-то шептался с капитаном. Тралмейстер Юдин, взятый с «Кеты» капитаном Дорошенко, говорил Малыгину, что все приключилось так потому, что нету в рейсе Никирим-Куку. Команда не собиралась кучками на верхней палубе.

Никто не пускался в долгие разговоры. Беседа не клеилась.

Дорошенко предложил старшему механику расходовать в топке граксу — остатки рыбьего жира из вытопленной печени.

— Вы граксу перемешивайте с остатками угля, мы доберемся до Иоканги!

В угольных ямах авралом подмели и собрали всю угольную пыль, перемешали ее с граксой, бросили в топку и этим подняли пар. Вскоре открылся Святоносский маяк. От него Дорошенко повернул в Дроздовку, куда опасны были подходы, и стал близ нее на якорь. Становище было связано с мурманским телефоном. Дорошенко спустил шлюпку. Спиридон Малыгин с двумя матросами съездил на берег и вызвал к обезуглевшему траулеру помощь.

Рейс «Зубатки» затянулся.

Начальник снабжения Рыбтреста Чечулин несколько раз заходил к Милице Дорошенко, сообщал ей последние новости о «Зубатке». Володька так привык к дедушке, как называл он Чечулина, что, едва завидев его у порога, уже кричал:

— Дедушка, конфеток принес мне.

И Чечулин, порывшись в глубоких карманах пальто, обязательно доставал Володьке полную пригоршню конфет.

В тот день, когда «Зубатка», закончив промысел, пошла в порт, Милица, получив радиограмму от мужа, стала готовиться к его встрече. Она достала из дорожного сундука украинские плахты и развесила их на стенах комнаты, разостлала пеструю украинскую килыму по полу в коридоре. В квартире стало как-то радостней.

— Я опять к вам, — сказал, постучав в дверь, Чечулин.

«Вот нехстати» — подумала Милица, но открыла дверь.

— Еду сейчас в совхоз «Заря социализма». Я шефствую над совхозом. Место замечательное. Решил зайти за вами. Это займет всего лишь несколько часов.

— Не могу. Я жду козьяина.

— Вряд ли он скоро теперь придет в порт. Погода неблагоприятная. И я ручаюсь, что мы десять раз успеем до воз-

вращения «Зубатки» быть обратно на тралбазе. Раньше, чем через неделю, его и не ждите!

И опять он уговорил скучавшую Милицу поехать с ним.

В каюте моторного бота было полутемно. Едва пробивался свет сквозь тусклые, запыленные иллюминаторы. По заливу гуляла волна и мерно раскачивала бот. Володька спал на койке, укрытый дождевиком Чечулина. Рядом дремал маленький котенок.

Вечерело, когда бот пришвартовался к маленькой пристани совхоза.

— Я отдыхаю, когда смотрю на эти чудесные поля, — говорил Милице Чечулин. — Здесь — моя радость!

Вместе с директором совхоза Половинкиным они проходили верхами канав, прорытых для осушки будущих полей. Девушки корчевали карликовый лес.

— Что же ты без рукавиц работаешь? — остановился Чечулин возле одной девушки, ретиво таскавшей из сыроватой земли низкорослые березки.

— Прохудились рукавицы!

— Ты бы их починила, милая!

— Нечем!

— Неужели дома лоскутов не найдешь? Ведь посшибешь себе руки, бо- леть будут!

Год назад здесь по торфянику, словно шишки, стояли зыбуны и кочки, мшистые мягкие подушки отбирались коровам под настил. Высокая гора слева была вся одета тайгой. Тайга стояла в осенних цветных пятнах, желтых, красных, словно раны таяжного зверя. Где-то внизу хлопотливо шумела на камнях река, прорываясь к Кольскому заливу. Тихо в лесо-тундре волновалось сочно-зеленое поле. Высокие овсы доходили до плеча человека. Его растили здесь, как траву для откорма скота. Колос не успевал вырваться за короткое лето. Овес косили, как сено, и вешали на сушилку.

Чечулин, Милица и Половинкин спустились к реке, которая шумела в узких берегах. Вода то ворковала, словно голубь на карнизе окна, то звенела, рассыпаясь в пене, смывая торчавшие со дна камни. В кривулинах река умеряла свою силу, успокаивалась, становилась

сонливой, как рыба, вытащенная на песок. И здесь большие, но тонкие березки кокетливо смотрелись в затихшую реку. Вода сверкала, как лист жести на ярком солнце. Синицы щебетали свое цъфу-цъфу-тир-гар-га и вили колокольню над лесочком. Завтра по-поморски сжидалась перемена погоды. Под ногами путников проскочила жирная мышь-пеструшка и скрылась в норке под старым замшевым плем. Люди остановились возле пня. Зверек, успокоившись в норке, высунул острую мордочку, но снова юркнул в убежище, едва завидев людей.

Люди осторожно продвигались вперед, хрустя ногами по валежнику. На берегу реки вырос перед ними старый-престарый рыболов. Он склонился над рекой и смотрел на воду, на поплавок, на короткое удилище. Чечулин заглянул в его маленькое ведерко. Большая форель билась в ведерке, наполненном до краев водой. Старик будто не замечал людей.

Чечулин шел рядом с директором, держа под руку Милицу. Высокий Чечулин восторженно смотрел на маленького директора, как тот легко перепрыгивал с кочки на кочку. Но в глазах директора он видел грусть, которую не замечала Дорошенко. Директор отвечал не всегда впопад, говорил необычно торопливо. Его что-то угнетало. И вдруг Чечулин вспомнил о жене директора. Маленькая, худенькая женщина, быстроглазая, с подкрашенными тонкими, в ниточку, губами. При разговоре носик ее смешливо вздрагивал. Она почему-то старалась смотреть не на Чечулина, а мимо него.

Половинкин приехал в совхоз полный жизни, горящий желанием бороться и побеждать дикую природу. Он строил перед начальником снабжения широкие и красивые планы будущей работы. Он жил и наслаждался этой войной с природой, которую побеждал на глазах у всех. И вот вдруг как-то согнулся, реже произносил свое назидательное «та-ак» и затих, как река в безветренную погоду.

В Мурманске Половинкин встретил на совещании сельскохозяйственников

Севера знакомого агронома, приехавшего издалека работать на Мурмане.

Они встретились молчаливо. Один — худой, поджарый, загоревший на ветрах тундры и летнем незаходящем солнце. Другой — высокий, полный, городской человек с вьющимися волосами, красноватый весь и какой-то маслянистый, словно только-что отобедал сытно и, казалось, вот-вот облизнется по-кошачьи. Он ухаживал когда-то за женой директора совхоза, — это было на черноморском Юге, — когда та была еще девушкой. И, увидав ее снова в совхозе, стал встречаться с ней. Бывало, когда директор уезжал в Мурманск или Колу, агроном заявлялся на квартиру директора. Жена Половинкина часто просила мужа взять ее с собой, не оставлять одну в совхозе. Она боялась встреч с новым агрономом. Но Половинкин надо было побывать в городе в десяти местах, и он не хотел мучить жену длинными переходами. Она потеряла сон, волновалась при встречах с человеком, любовь которого отвергала несколько лет назад. Теперь она думала только о новом человеке.

— А знаешь, Филипп Сергеевич говорит мне, что я все хуюю, и это ко мне идет. Ты не находишь? — сказала как-то она Половинкину.

— А кто это Филипп Сергеевич? — спросил недоуменно Половинкин.

— Новый агроном!

— А-а-а... — протянул Половинкин и стал подсчитывать что-то на счетах.

По всему совхозу знали о том, чего не знал только сам Половинкин, и когда он наконец почувствовал обман, то вдруг с'ежился весь, стал отвечать невпопад, говорить торопливо и часто задумываться.

Чечулин смотрел на Половинкина и думал:

— Какой был молодец! И как эта самая любовь замучивает человека!

Половинкин проводил Чечулина и Милицу до самого поля.

По полю стлался дым костров. Рабочие жгли собранные в копна кривые, тонкие стволы карликовой березы. Чечулин с Милицей подошли к старику, поправлявшему огонь ближайшего ко-

стра. Лицо старика было желтое, пергаментное, светящееся насквозь. Из-под старой, задымленной кострами кепки перьями торчали жидкие волосы.

— Здорово, отец! — сказал Чечулин, подходя к старику.

— Здравствуй! — ответил старик, показав изъеденные годами и пожелтевшие зубы.

— Сколько тебе лет, отец?

— Немного. Всего пятьдесят четыре. Да болезнь вот иссушила меня.

— Давно ли ты здесь?

— С основания совхоза.

— А веришь ли ты, что здесь, на Севере, пойдет дело сельского хозяйства?

— А как же не верить, когда это фактом стало! Были такие, что не верили, и сейчас, может быть, есть, которые не изжили еще старинку. Вон, видите, заброшенная землянка. Это я в ней с семейством своим жил, когда впервые начали здесь работать. Кругом тундра была, а теперь сердце радуется на овсы смотреть, на брюкву, на картофель, капусту. Как же не верить, мой дорогой! Верю! Крепко верю!

Его умирающие глаза загорелись неожиданным блеском, и захрустели ветви карликовой березки на костре, хваченные порывом набежавшего ветра. Огонь шумно побежал по березке, словно человек в тяжелых сапогах.

— А что это, отец, лицо у тебя такое восковое? — спросил его Чечулин.

— Язва у меня желудка.

— Лечиться надо!

— Может быть, и надо. Да говорят, что рак этот самый не излечишь. Да и какая мне жизнь будет без работы. Я вот и то попросился на легкую работу. Спасибо директору товарищу Половинкину, поставил меня жечь тальничек да березку ползучую, все-таки не скучно и с таким даже делом. А лечиться, — со скуки, боюсь, умру раньше времени!

Старик подкладывал в огонь тальничек. Чечулин смотрел зачарованно на огонь, разгоравшийся в вечернем поле ярким пламенем, на старика, сжигавшего ползучий лесок, освобождавшего место для полей, для человека, который пришел на Мурман добывать рыбу Советскому Союзу.

... На бот она возвращалась поздней ночью. Чечулин бережно вел Милицу под руку, словно по льду, а не по твердой накатанной телегами дорожке.

Милица вдруг неожиданно вздрогнула

— Не пугайтесь! Что вы? Это пеструшка пробежала. Сей год нашествие мышей на Мурманск, — сказал Чечулин, крепко сжимая руку Милицы.

Но не пеструшки испугалась Милица. Она вздрогнула при мысли о Дорошенко. Где-то высоко в Баренцовом море ходил сейчас траулер «Зубатка», и на нем любящий и верящий Милице человек.

Володька не бросился, как обычно, на встречу матери. Не подошел он и к «дедушке» Чечулину. Мальчик лежал спиной к вошедшим. Милица подошла к нему с поцелуем.

— Подожди, вот папка вернется, я ему все скажу, как ты меня одного на боте оставляла, — сквозь слезы сказал Володька.

— Конфетку хочешь? — спросил его Чечулин.

Володька ничего не ответил. Вечер был темный. Душисто пахло морской водой и зелеными еще берегами. Чечулин сидел рядом с Милицей у открытого иллюминатора. Огоньки мотора быстро скользили по зыбившей воде залива. Милица не верила самой себе.

Бот остановился у десятого причала.

— Здравствуй, тетя Поля! — сказал Чечулин, повстречавшись с работницей рыбообработывающего завода. — Ты что так поздно домой не идешь?

— Здравствуй, — ответила тетя Поля. — Пойди-ка сюда, я тебе что скажу, — остановила она Чечулина.

Тетя Поля была лучшей ударницей завода. Больше всех она снимала в свой рабочий день зубаточьих и тресковых шкур. Тетя Поля была совестью тралбазы, не даром ее выбрали в народные заседатели. Даже пьяные матросы побаивались ее.

Милица, держа Володьку за руку, продолжала медленно идти вперед.

— Ты что, тетя Поля? — спросил Чечулин.

— А вот что, племянничек, не знала я, что ты такой кобёл! Мало тебе одной

жены, чужих стал улещивать. Кобёл ты бессовестный! Вернется Дорошенко с рейса, все расскажу.

— Да что ты, тетя Поля? — возразил было Чечулин.

— Да я, племянничек, ничего! А вот ты-то чего? За какими чертями в Лавну ездил, в совхоз, будто я не знаю!

«Все знает, старая чертовка» — подумал про себя Чечулин и сказал:

— По делу ездил, надо же нам было лес выручать, он у нас в верховьях застрял, а сплавать надо к заливу срочно. Бондарный завод весь план срывает...

— Голову вам надо сорвать, коблам, — перебила его тетя Поля. — Ну да ладно, ступай, Чечулин, да смотри, подумай, и как следует подумай! А нам в Советской России этак не к лицу — отправлять человека на промысел в штормовую погоду да пугаться с его женой. Смотри, в окружке рассказу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Милица до первых дней замужества вела дневник, но, не желая, чтоб он был кем-нибудь прочитан, однажды изорвала и бросила его в голландскую печь. Края дневника сразу охватило пламенем. Огонь стремительно перелистал страницы и сделал их пепельно-серыми. Она подула на них, они разлетелись впрах. Здесь были записи ее девических дней. Она росла в большой семье. У ней были три сестры, но ни с кем из них она никогда не делилась переживаниями. Охотно выслушивая подруг по классу, она старалась ничего не рассказывать о себе. Ее считали скрытной. Она была откровенна лишь в своем дневнике, но и его предала огню. Милица училась в медицинском техникуме, но оставила учение вскоре после отъезда Дорошенко на Мурман. Очень много отнимал времени подраставший сын Володька.

Давно мечтала Милица переменить место жительства. Ей хотелось жить без опеки сестер и матери, перестать выслушивать замечания о том, как надо воспитывать сына. Милице казалось, что с переменной города переменится и ее жизнь. И когда наконец Дорошенко

вызвал ее в Мурманск, она радостно уехала на далекий Север.

В Мурманске она сама оклеила обоями свою комнату, сама выбелила потолок, повесила на окна занавески. Дорошенко перед рейсом говорил, отдыхая на кушетке в чистой комнате:

— Мне никакого вина не нужно. После передрыги в море я отдохну здесь, забыв о штормах и туманах.

Свидания с Николаем в Мурманске были короткими. Томительно тянулись дни ожиданий. И в эти томительные дни одиночества ей встретился Чечулин. «Если бы Николай был в Мурманске, ничего бы не случилось! А теперь: как я поцелую Николая? Как подойду к нему? Быть может, он почувствует сам во мне перемену. Но нет! Я люблю его попрежнему, только бы скорей, скорей он возвращался в порт!» — думала Милица.

«Зубатка» штормовала в море. Милица Николаевна сидела за маленьким столом над книгой. Книга была раскрыта, но Милица не читала ее. Она думала о Чечулине:

«Чем взволновал он меня? Почему я не спала ночей и думала о нем? Нескольким лет назад я вот так же не могла заснуть, думая о своем Колихе. Как же мне быть сейчас? Уехать? Но куда? Обрато в Одессу? А Колиха? А Володька? Взять Володьку с собой? Нехватит у меня средств! Оставить Колихе? Я умру без Володьки с тоски!»

Не приезжал Колиха в Мурманск. И каждый день приходил к Милице Чечулин, приносил Володьке конфет, книжек с цветными картинками, и как только Милица слышала знакомые шаги за окном, то сразу приходила в волнение, которое старалась не показывать. Но, едва завидев Чечулина, сама тянула к нему мягкие, дрожащие, податливые губы. Из пышной прически осенним листопадом осыпались шпильки на деревянный некрашенный пол.

Перед последним уходом «Зубатки» в рейс Милица собиралась лечь в больницу, чтобы сделать аборт. Милица настаивала на аборте, несмотря на то, что Николай был категорически против. Милица приводила много доводов в свою

защиту: и тесноту квартиры, и скромный оклад, и наконец желание отдохнуть немного от многочисленных и без того забот семейной жизни. Дорошенко нехотя согласился с нею.

Аборт Милицы прошел удачно, и ей было предложено находиться в постели еще два дня. Она думала о том, что, когда вернется из рейса Дорошенко, быть может, до него дойдут разговоры о ее поездке с Чечулиным за город, в Лавну, в совхоз. Город маленький, и сплетня распространится быстро. Милицу тяготил обман. Она сама никогда не ревновала Николая, но часто говорила ему, что больше всего боится обмана с его стороны. А теперь обманывала сама, и потому так тосковала и грустила.

Еще в больничной палате утром, перед тем, как выписываться, Милица заметила у себя странные недомогания. Она ничего не сказала об этом дежурному врачу, но дома весь день просидела за медицинскими книгами, доискиваясь причины этих недомоганий. Чем больше она читала, тем страшнее становилось ей при мысли о том, что она заболела и никак до приезда Николая не успеет излечиться. Измена ее Николаю будет сама собой раскрыта. Револювер Дорошенко лежал в столе. Она щелкнула ключом. Володька проснулся и плачуще сказал:

— Мама-а-а, пи-и-ить...

Она налила стакан воды, напоила сына и немного успокоилась сама. Она решила лечиться так, как советовали книги. Но ей казалось, что болезнь только развивается. Часто по ночам Милица жалостливо смотрела на спавшего сына, ей было неловко за себя перед ним. На маленьком столике возле окна рядом с зеркальцем стоял небольшой портрет Николая в морской форме. На фуражке моряка блестел золоченый «краб». Милица брала портрет, целовала улыбку, открытое лицо моряка... Она перестала встречаться с Чечулиным и просила его не навещать ее. Она ничего не сказала ему и трепетно ждала возвращения Дорошенко с моря. Надо было открыться ему, вымолить прощение... Она думала о том, что, когда Дорошенко вернется домой, все пойдет по-хорошему.

«Я люблю только Николая. К Чечулину у меня было одно лишь волнение. Я никогда не изменю Николаю...»

Милица вспомнила о том, как Николай еще перед отъездом из Одессы в Мурманск просил ее ни с кем не танцевать. В бюваре на столе хранились конверты со штемпелями «Мурманск» и «Одесса». Время еще не успело выплывать чернил, которыми были написаны эти письма. Милица села за стол и стала разбирать переписку, от которой повеяло ушедшей радостью. Она быстро нашла свой конверт с мелко выведенным адресом: «Мурманск, Тралбаза, штурману рыбного траулера «Кета» тов. Н. Дорошенко».

«Все мне удивляются. Говорят, я стала монашенка. Ни с кем не танцую. У нас был физкультурный праздник, и я участвовала конечно в нем. Но я ни с кем не танцевала, как ты просил меня об этом перед своим отъездом».

Она отложила письмо, прошлась по комнате, снова взялась за раскрытую книгу и прочла последний на странице абзац:

«Вначале мы некоторое время, стоя на месте, забавлялись разнообразным переплетением рук. Как грациозны, как легки были ее движения! Когда дело дошло до вальса и пары закружились, словно сферы, на первых порах была порядочная давка и толкотня от неловкости большинства. Мы были себе на уме, обождали несколько, и когда наименее ловкие пары очистили зал, мы снова пустились и с другой парой — то был Одран — прекрасно овладели танцем; я был в ударе и, казалось, стал иным существом. Обнимать прелестнейшее создание и кружиться с ним, как вихрь, когда все идет кругом! Знаешь, что я тебе скажу? — в это время я дал себе клятву, что не позволю вальсировать ни с кем той девушке, которую буду любить и к которой буду иметь какие-нибудь притязания, — умри я на месте! Ты понимаешь меня?»

Милица захлопнула книгу. На обложке книги ярко горели слова: «Страдания молодого Вертера». Милица снова прошлась по комнате и снова взяла почтовый листок:

«Колиха! Ты просишь написать о том, что я буду чувствовать при нашей встрече. Я не представляю совсем, что будет со мной от радости. Ведь я встречу живого Колиху, которого сейчас вижу только на фотографии и представляю себе только мысленно. Я буду с Колихой ходить, говорить. Как хорошо! Я прямо брошусь к тебе на шею и повисну... Колиха, я встречу тебя так, как люблю...»

В дверь комнаты постучались.

— Вам телеграмма, — сказала рассыльная из треста. — С «Зубатки», должно быть, от мужа.

«Промысел закончили точка неделю штормовали точка Завтра наконец увидимся Николай».

Слова поскакали перед глазами...

Дорошенко вернулся с рейса, как всегда, веселый, крепко обнял Милицу, и она вдруг разрыдалась. Володька, за слышав голос отца, проснулся и стал прыгать в кроватке.

— Тебе нездоровится? — заботливо спросил жену Николай.

Она хотела рассказать ему, выплакать все, но ответила коротко:

— Да, после аборта как-то не по себе.

— Я же говорил тебе, что, кроме вреда, от аборта ничего не будет. Только состаришься раньше времени. — И он обрattился к сыну.

— На, вот тебе морскую звезду, Володька! — сказал отец, раскрывая чемодан. — Держи, не бойся! Что? Колется? Это ничего! Сам засушил для тебя. А вот это краб-осьминог. Вот ракушка-труборог! Видишь, вот морской ежик, этот верно, что колется! Во, сколько я тебе подарков привез!

За занавеской шумел примус и плыл по комнате запах желудового кофе.

— Колиха! Я больна, — вдруг строго сказала Милица, приближаясь к Дорошенко.

Моряк собирался умываться и доставал чистое полотенце из чемодана и мыльницу. Перебросив полотенце через плечо, он обернулся к Милице.

— Когда я лежала в палате, рядом со мной была одна роженица. После родов обнаружилось, что она была больна нехорошей болезнью. Мы пользовались

общим судном. Боюсь, не заразилась ли я?

Дорошенко рассмеялся.

— Что ты смеешься? — спросила удивленно Милица.

— Смеюсь потому, что той болезни, о которой ты думаешь, внеполовой не бывает, а на половой почве я у тебя никаких болезней не допускаю. Если же это тебя сильно волнует, у нас есть врачи, пусть исследуют тебя.

С утра Милица ушла в амбулаторию, а Дорошенко, лежа на кушетке и забавляясь с шалунишкой-сыном, вдруг вспомнил Никирим-Куку:

— Не думай, дорогой, что твоя жена какая-нибудь особенная! Такая же, как и все! Пока ты тут рыбу ловишь, она там на берегу с китайцем гуляет, и Никирим-куку!

«И все же он врет, Никирим-Куку» — решил про себя Дорошенко, высоко на согнутых коленях подбрасывая Володьку.

Исследование показало полное здоровье. В доме Дорошенко все потекло по-старому. Только Чечулин здесь больше не показывался. Милица избегала с ним встреч.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Утро было пасмурное, погода ветрекая, осенняя. Начальник снабжения Рыбтреста ехал в Мурманши один. Он не понимал, за что Милица Николаевна наказывает его. И в Мурманшах, подобно Лавне, Чечулин должен был выяснить возможность вывозки леса, застрявшего на Туломе. Капитанил на боте Спиридон Малыгин, находившийся в очередном отпуску, но никуда не поехавший отдыхать, так как считал это для себя излишней роскошью.

Год назад здесь, в Мурманшах, был в первый раз Спиридон Малыгин. Тогда здесь стоял только один серенький домик. Возле него ходили ягнята, сидели на привязи собаки и возились с цыплятами наседки. С тех пор цыплята подросли и стали курчонками. Запыленная древняя новгородская икона все так же висела в комнате, и под стеклом на стенах покоились порыжевшие от вре-

мени фотографии людей в старинных костюмах. Это были родственники и знакомые родителей и прародителей Сусанны Буслаевой.

Сусанны дома не было. Спиридон стеснялся спросить о ней у матери и будто только затем зашел в дом, чтобы попросить чаю. Чечулин развернул большой принесенный с бота сверток с семгой. Мать Сусанны пошла на кухню ставить самовар для редких в Мурманских гостей.

За Туломой на озерах было много диких гусей. Сусанна взяла ранним утром дробовик и ушла на озеро с лайкой Пиной. Она жила у Буслаевых второе лето, но еще не привыкла к русскому языку, и Сусанна говорила с собакой по-фински. Когда впереди в нескольких шагах заблестело сквозь ветви деревьев показавшееся озеро, Пина неожиданно залягла. Пять жирных откормленных гусей поплыли быстро на другую сторону. Они были далеки от выстрела, и Сусанна, приказав лайке замолчать, направилась на другую сторону озера по берегу, закрытому тайгой. Пина послушно и тихо шла сзади. На том месте, где выбрались из воды гуси, охотница нигде не обнаружила их и остановилась в нерешительности. Собака отстала, выскивая леммингов-пеструшек. Как вдруг, промчавшись мимо Сусанны, она с лаем вспугнула гусей, отсиживавшихся метрах в тридцати от берега в высокой траве. Гуси шумно побежали к воде. Лайка бросилась за гусями. Сусанна хотела выстрелить, да побоялась сгоряча убить собаку. Выждав, когда гуси добегут до воды и Пина отстанет от них, Сусанна дважды разрядила ружье. Эхо подхватило звуки выстрелов и понесло их далеко по таежным крутогорам. Два гуся распростерли свои крылья на воде, забились и умолкли, остальные снялись и полетели, оставляя на спокойной глади озера тонкий след своего долгого взлета. Сусанна успела перезарядить ружье и дважды выстрелить по улетающим. Еще один гусь свалился на воду. Пина сейчас же устремилась в воду за добычей, и, схватив одного, доплыла до берега, отряхнулась, подбежала к своей хозяйке и положила гуся у ее ног. Затем поплы-

ла за вторым и, когда вытащила его на берег, села возле Сусанны.

— Заморилась, Пиночка, — сказала ласково Сусанна, трепля голову собаки.

Возле берега был плот, сбитый из бревен. Сусанна стала на плот, чтобы поехать за гусями. Пина разгадала намерение Сусанны и опередила ее, бросившись в третий раз в воду.

Собака напоминала по виду лису — своим красным цветом, пушистым и длинным хвостом, стоячими ушами и острой мордой.

— Исту (ляг)! — сказала Сусанна по-фински, когда Пина принесла последнего гуся.

Вытянув лапы, лайка разлеглась на мшистом берегу. Сусанна убрала гусей и пошла с ними вниз с горного озера. Собака продолжала лежать на берегу.

— Тулатанне (иди сюда)!

И Пина побежала за Сусанной.

Год назад Спиридон Малыгин, пришедший на боте в Мурманши, встретил впервые Сусанну. Как и сейчас, он приезжал вместе с Чечулиным, чтобы сплавать с верховьев Туломы лес для Рыбреста в Мурманск. Много леса прогнало по Туломе вниз к заливу в тот год трестовики.

Сусанна носила сапожки, казавшиеся детскими по своим размерам. Пестрый самотканый свитер обнимал ее высокую грудь. На слово девушка была по-северному бойка и быстра, как речка перед падуном. И рослый, молодой помор, сын старого кормщика, крижистый парень, одним ударом отрубавший на рыбоделе голову метровой треске, здесь, в низеньком доме, вдруг оробел перед маленькой девушкой.

Ее имя он прочел в грамоте, висевшей на стене около древней новгородской иконы. Грамота была написана от руки золотыми буквами. Внизу под текстом синела круглая печать.

«Выдана Буслаевой Сусанне за участие 6 января 1932 года в разряде женщин команды Кольского рыбакоюза в лыжном пробеге — круговой эстафете — по городу Ленинграду. Команда Кольского рыбакоюза заняла в пробеге первое место».

Сусанна была недовольна своим древним именем. Отец Сусанны был недоволен тем, что она с юных лет спознала с чужой стороны, съездила в далекий Ленинград. «У нас Питер все бока вытер» — говорили в старину коляне. Они исстари боялись чужой стороны, выходили замуж и женились только на своих, на кольских.

Предка Сусанны казнили за участие в пугачевском бунте, а семью казненного сослали на Север, в Колу. По линии матери Сусанна происходила из пугачевцев, по линии отца — из новгородских выходцев, первых поселенцев на мурманском Севере, в Коле.

Сусанна вошла в свой серенький маленький домик на Туломе, принесла голнующие свежие запахи тайги и моря. Она поздоровалась со Спиридоном, как со старым знакомым, хотя видела его всего второй раз. Спиридон заметил, что она была оживлена. Сусанна сразу подошла к маленькой стеклянной горке, где хранилась веками посуда Буслаевых. На столе зазвенели чашки, она расставила их по числу сидевших за столом. Самовар шумел и пел песни. Между двумя рядами чашек посреди стола на тарелках возвышались горки всякой снеди.

— У нас сейчас замечательный гастролитрует театр, — сказал Спиридон. — Артисты из Москвы приехали.

— Давно я не была в театре, — сказала мать Сусанны, Марфа Ивановна, разливая чай гостям. — Последний раз мне пришлось быть в театре в Ленинграде. К нам в Колу инженеры-геологи приезжали, землю нашу мурманскую исследовали, отжили у нас целое лето, а на зиму пригласили к себе в Ленинград погостить. Я в первый раз по чужине поехала. Первый раз большой город увидела.

— Ну, и как по-вашему, лучше в Ленинграде, чем в Коле? — спросил Чечулин.

— Хорошо и в Ленинграде, хорошо и в Коле, как кому, — ответила Марфа Ивановна.

— Нет, я спрашиваю, как в ам было в Ленинграде — лучше, чем в Коле, или нет?

— Мне Кола дорогà такая, как она была. Ведь я здесь выросла вместе с деревьями. Вот где сейчас Мурманск стоит, — непроходимый лес был на Семеновском. А где сейчас колонизационный поселок, там Семенова яма была. Темная-темная, солнца днем не видать. С краю, с берега шел лес — березняк и особенно густо елка росла. В Семенову яму как зайдешь, не выберешься одна. Бывало, с проводницами и ходили, которые хорошо дорогу знали, а одна так ничо чем не выйдешь! В Семеновой яме морошку брали, больше туда незачем было и ходить. Там, где теперь в Мурманске тралбаза, мы на лещади, на обсушке, тайники на семгу ставили. Первые люди, которые приехали строить Мурманск, у нас в Коле жили. Вот мы с ними и познакомились, с ленинградцами.

— Хотелось бы и мне посмотреть, какой-такой Ленинград, — вставил слово Спиридон.

— Будет следующий лыжный пробег, пойдемте вместе, — предложила Сусанна. — Тогда и увидите настоящий город.

— И у вас там знакомые есть? — спросил Спиридон.

— С того пробега остались. Там в Ленинграде студент один живет, он в том пробеге участвовал, в котором мне грамоту выдали.

— У ней с ним сей год переписка все идет, — сказала Марфа Ивановна. — На одних почтовых марки чистое разорение. Спиридону взгрустнулось.

Он пил чай и поглядывал украдкой на Сусанну, замечал цвет ее глаз, волос, пышного свитера, видел, как она, улыбаясь, поднимала уголок своих губ, показывая крепкие и замечательно белые зубы.

После чая Спиридон вышел вместе с Сусанной на улицу.

Испокоен веков на Туломе стояла такая тишина, что ушам было больно. Но вот вдруг все переменялось. С левого берега Туломы, у самого устья реки, грянул предостерегающе тревожный звон. Звон покотился по реке, застывшей в мертвом штале. Набатный звон, извлеченный из рельса, подвешенного к высокому столбу, будоражил, как ночной

набат в глухой деревне. На нижних и верхних террасах изрытого людьми берега курились таинственные дымки. Земля неожиданно загудела и застонала. Высоко в небо взвился береговой камень, окутанный черными клубами облаков. Один за другим девяносто четыре взрыва плеснули в воздух камень берегов, оставив на воде торопливо разбегающиеся круги.

Подрывники стояли с красными флагами, преградив из поселка подходы к берегу, где гудела потрясенная земля. Красные флаги виднелись далеко, и гулкие шумы далеко катились по просекам, поджваченные многократным эхом. И, будто перекликаясь своей могучей силой, неслись сюда отдаленные громы мурманских взрывов. Зеленый берег оголялся и становился серым и ступенчатым. По этим ступеням смогли бы свободно ходить диплодоки и бронтозавры, — так широка была необычайная терраса.

Люди на берегу побежали к блиндажам. Даже на боте все, кроме Спиридона, юркнули в каютку с верхней палубы. Залив онемел в коротком молчании. Лишь одинокий тюлень, любопытствуя, выставлял из воды черную круглую лоснящуюся голову и подолгу смотрел на берег. Спиридон рассказывал Сусанне, как его с покойным отцом отдрало от берега и унесло далеко в голомень, как таскало по морю и как выручил их Гольфштрем, как отец по теплой воде узнал Гольфштрем. Рассказал, как погибали в Гольфштреме тральщики во время шторма и как он на «Кете» своего отца искал в шторму. И Сусанна внимательно слушала рассказы моряка.

— Говорят, к нам в Мурманск Сталин приезжал, — сказала Сусанна. — Докатилось и до нас теперь строительство. У нас, в Мурманшах, думают гидростанцию полярную строить. Тулому перерогаживают. Потому и гремят у нас по целым дням взрывы. Только одно плохо, — смутившись, сказала Сусанна. — На стройке гидростанции были почти одни мужчины. Их пятнадцать тысяч человек, а я одна! Вот выйдешь погулять. Одни на тебя жадно смотрят,

по-волчьи. А другие говорят какие-нибудь непристойности. Я жду, не дождусь, когда отцу квартиру дадут в Мурманске, взамен нашего домишки. Наша площадь должна отойти под строительство. Мне надоело здесь, в Мурманшах.

— Поедьте сегодня с нами в город, — предложил Спиридон, — а завтра я сам доставлю вас на этом же боте в Мурманши. Этот бот — чечулинский, в его личном распоряжении, он мне разрешит.

— Мне родители не позволяют уезжать в Мурманск одной, — ответила Сусанна.

— Ночуйте тогда у нас в стане с матушкой моей! — предложил Спиридон.

— У меня родственники есть в Мурманске, да все равно родители не позволяют отлучаться надолго из дома. Ночевать мы, колянки, ночуем только у себя дома, — ответила Сусанна.

— Хотелось бы мне вам показать наш театр, — продолжал Спиридон. — Ладно очень играют! Островского, может, слышали пьесу «Таланты и поклонники»? Хорошо у них получается, будто в жизни, а не в театре. Битком полон зал. Нам, морякам, это очень интересно после долгого рейса. Придешь в порт, отштормовав с недельку под ряд, хорошо в театре посидеть, все забывается плохое. Да вот одному скучно, — сказал Спиридон, близко заглянув в глаза Сусанне.

— Вот переедем в Мурманск, тогда чаще будем видаться, — говорила Сусанна молодому помору.

Одно не давало покоя Спиридону, и он осмелился заговорить:

— А скажите, Сусанна, кто это вам письма из Ленинграда шлет? — спросил Спиридон, проводив Сусанну до самого дома.

Девушка остановилась с ним во дворе, не заходя в избу. Наседки собирались с цыплятами уже около курятника. Стемнело. Собаки спали возле своих конур, уткнув морды в мохнатые лапы.

— Да это так, знакомый один, хороший товарищ. Обещал к нам приехать в Колу на практику. Но, небось, надует. Теперь молодежь неверная стала, обма-

нывает нас, девушек, — смеясь, сказала Сусанна.

Спиридон опять загрустил.

— Ну что же, Спиридон, нам ехать пора! А то до ночи не успеем в порт! — выходя из избы, сказал начальник снабжения. — Чорт возьми, и в Мурманшах не возьмем никак лесу. Реку на-днях перегораживают дамбой. Ну, прощайте, дорогая Сусанна! — сказал Чечулин.

Девушка взглянула на Спиридона, взмахнув своими длинными ресницами.

— Вот я смотрю на вас, Сусанночка, — сказал Чечулин, — и мне кажется, что вы находитесь на стыке теплого и холодного течения, на стыке старого и нового. Тут вот Гольфштрем течет, а тут холодные воды океана, — прочертил по песку ногой Чечулин.

— Вы ошибаетесь! — сказала строго Сусанна. — Я не на стыке старого, я вся с новым. Вы меня еще мало знаете, чтобы так говорить, — обидчиво отвечала девушка. — Не смотрите на наш ветхий домик. В нем растут новые люди.

Нас взрывами подняло. Старой спячке давно наступил конец.

— А с бондаркой-то у меня совсем плохо получается! В Лавне леса не взял, в Туломе тоже. Придет вдруг селедка, набьет мне морду! — вдруг вспомнил Чечулин.

Он намеревался проникнуть на боте вверх по Туломе, чтобы сплавить с верховьев реки лес, необходимый для бондарного завода Рыбтреста. Но до перекрытия реки дамбой оставались считанные дни. Река, повинувшись воле человека, должна была свернуть в сторону, туда, где расчищалось место для гидростанции. Пропускать лес по Туломе было уже поздно.

Темной ночью, миновав сонную Колу, бот возвращался к ярко горевшим огням Мурманска. Спиридон стоял у штурвала, где было тепло от работавшего внизу мотора. Спиридон не любил еще ни разу. Воспоминания о Сусанне смутно тревожили его. Он думал о предстоящих встречах.

(Окончание следует)

Коломенский завод

2. Два мира¹⁾

Н. МХОВ

Стулились крытые соломой избы. Скуднели мужики. Тощала скотина. Подати, безземелье, неурожай делали жизнь безнадежной, беспросветной.

У Татьяны Пыниной в Хорошеве умер кормилец. Слесарю Федору Пынину, дяде Семена Ситникова, осколком стали выбило глаз, повредило мозг. Не приходя в сознание, Федор кончился на четвертый день. Акционерное общество выдало «жене погибшего рабочего завода» единовременное пособие в размере 30 рублей, с удержанием «из оной суммы задолженности по заборной книжке продуктовой лавке — 8 руб. 24 коп.».

Татьяна получила 21 рубль 76 копеек. Справила за красненькую похороны с кутьей и отцом-диаконом, завязала в уголок клетчатого платка остатние рублишки, забила крест-накрест темные окна кособокой избы, повесила через плечо холщевый мешок, остругала можжевелевую суковатую палку и пошла российскими путями-тропами от села к селу кормиться христовым именем.

По осени приезжал пышноусый, бравый урядник. Объявлял недоимки, грозил угнать, «куда Макар телят не гоняет», и показать «кузькину мать», тыр-кал первому попавшемуся бородачу обтянутым лайкой кулаком в зубы, распекал старосту, сулил «спноить в клоповнике» и назначал последний, трехдневный срок.

Кряхтели мужики, выли бабы дурным

голосом, как по покойнику, провожая на базар единственную коровенку. Старосту одаривали холстинами, яичками, курочкой, работой на его огороде или арендованной земле.

Староста, не замечая, но не отклоняя подарков, грозил в свою очередь «на сходе поучить» и прятал в кладовой податные самовары, хомуты, сбрую, тулупы, перины.

Татьяна Пынина не принесла ни самовара, ни одежды, она не поклонилась старосте ни курочками, ни яичками, — дом ее со всем барахлом пошел с молотка за 62 рублика с копейками да за полштофа сивухи на угощение писаря и десятского.

Дом на снос для городской своей лавки купил кулак-торгаш Темнов.

Татьяна превратилась в «странницу божию», в «без роду, без племени» российскую люмпенпролетарку.

Семен с Катей проводили тетку Татьяну до лесу. Катя несла узелок с морковкой и луком, надерганными на дорогу тетке из собственного огорода.

— Перво-наперво подамся к Казанскому монастырю, помолюсь пресвятой казанской, попрошусь у матери-игуменьи на какую ни на есть черную работу. Монастырский харч сытный, потружусь цариче милостивой за хлеб-соль, авось, не прогонит, — рассуждала Татьяна.

— А то б пожила покеда, — неуверенно предложил Семен.

Но тетка, горько усмехнувшись, возразила:

¹⁾ См. «Нов. мир», кн. 5, с. г.

— И штой-то ты, христос с тобой, Семенушка! Самим есть нечего. Спаси те христос на добром слове...

Поклонившись на все четыре стороны поясным поклоном богомолки, она поцеловала, перекрестив, племянника с племянницей, утерла черными кончиками ситцевой косынки красные глаза, попрощалась:

— Живите, детки, господь с вами, в мире-согласии, не поминайте, коли ко-го чем обидела, меня, грешную, лихом, авось, бог даст, свидимся!.. Мамку, Сения, слушайся, а пуще всего не балуйся зельем, угрожай мастеру!.. Прощай, Катенька, красавица моя! Не торопись замуж — на шею хомут всегда найдется, была бы холка — натереть николи не опоздаешь! Марфинька, не красавица ли, не умница ли, а ишь как горе горевает за иродом своим, прости господи, окаянным. От матери, от сестры родной скрывает, веселой притворяется, а у самой слезыньки день-депской не высыкают!

Поклонилась еще раз и пошла, не оборачиваясь, тыльным Казанским трактом, постукивая белянкой палочкой.

Катя нешумно плакала, закусив полную розовую губу; между густых бровей ее вздрагивала страдальческая морщинка. Семен хмурился, выковыривая заскорузлым пальцем босой ноги белый подорожный голыш.

На всю жизнь тетка Татьяна Пынича осталась в сердце Семена незалеченной болью.

В 1907 году, спасаясь от охраны в рязанских селах, пришлось ему две недели рыбачить на Оке, в Тырнове, ночуя в шалаше на песчаной отмели берега, у просмоленных челнов и развешанных по шестам сетей.

Однажды, когда пало за стога солнце и полированная ширь Оки залилась девичьим румянцем, у шалаша остановилась тощая старуха. Была она в ломотьях, дряхлая, высохшая, изможденная, хрипучая, страшная. Протянув трясущуюся, из жил и костей коричневую руку, она прошамкала, гнусавя, не поднимая головы:

— Подай во имя христа, что господь сподобил!

Семен лежал на соломе головой к выходу. Он заглянул снизу вверх в лицо побирושки, вспомнил что-то незабываемое, давнее, и, будто подброшенный пружиной, вскочил на ноги: перед ним стояла тетка его, Татьяна Пынина.

Произошло это много лет спустя после описанного времени, — об этом после.

Семен вставал в 5 часов утра, смывал холодной водой сонную намять с лица, наскоро с'едал яйцо с хлебом, запивал квасом, завязывал в коричневый платок луковицу с куском хлеба, бутылкой квасу и в перешитой отцовской ватной ту-журке спешил за восемь верст на завод к половине седьмого утра.

Мастер, прессовщик-кузнец, бывший «услужавший заведения», вывезенный из Питера и обученный мастерству немцем-инженером за доставку ему «девочек», гориллоподобный садист, не принимал в ученики хлопца, если тот не соглашался «посмотреть Москву». Он сжимал лапищами уши парнишки¹⁾, сдавливал голову до того, что лопались барабанные перепонки или надламывались ушные раковины, и под отчаянный вопль несчастной жертвы, обнажая улыбкой сифилитически отделенные друг от друга гнилые зубы, поднимал ее высоко над собой.

Этот мастер по праздникам, разгуливая в Пестрикове²⁾, высматривал девиц, а к приглянувшейся шел в гости: либо отец ее, либо брат обязательно служил на заводе. Ночью разыгрывалась девичья трагедия.

Семена он догнал у ручного молота, когда тот длинными, цепкими клещами волочил раскаленный кусок железа.

— Ты у кого, шкет, стоишь?

— У горна Михайлы!

— А Москву видал?

Семен молча потянул с головы шапку, вытер ею нос и дереступил с ноги на ногу.

— Без Москвы дураком помрешь, деревенщина! Надо-ть посмотреть, уму-разуму набираться!

¹⁾ Учениками принимались ребята от 12 до 16 лет.

²⁾ Деревня в двух километрах от завода.

И уже было протянул волосатые лапищи к ушам Семена, как горный кузнец Михайла крикнул:

— Ты, что ж, сукин кот, прохлаждаешься? Тащи железо минтом, а то изуродую!

Семен нырнул под ладони мастера и бросился к своему старшему кузнецу — земляку дяде Михайле.

Но через три дня, в обеденный перерыв, мастер все-таки поймал парнишку, когда тот задремал на колесных бандажах под горячим августовским солнцем.

Не говоря ни слова, мастер схватил его за голову, зажал ладонями и, не обращая внимания на отчаянный визг мальчугана, высоко поднял его над собой, нравоучительно советуя:

— Не перечь старшим! Слушайся старших!

И, опустив на землю, ослабившись, поздравил:

— С московским крещением вас, господин Ситников! Теперя на полштоф с вас за показ беспрерменно надо!

Семен шатался, как пьяный, в глазах красные круги сменялись зелеными, а в ушах стоял комариный писк и колокольный звон.

Не отвечая мастеру, он повернулся и нетвердой походкой зашагал в цех.

Это было вторым, неизгладимым на всю жизнь, впечатлением от завода.

Акционеры, с видом детского неведения, оставались жизнерадостными, веселыми, бравыми царевыми служаками. Смотрели на мир «орлами», являясь рабочим беспечными, добродушными и добрыми хозяевами, не замечающими ни хмурой замкнутости, ни суровой изможденности испитых лиц, ни отрепьев вместо пиджаков и рубах на «братцах тружениках».

Житейские мелочи вроде смерти рабочего или любовных походов мастера ни в коей мере не влияли ни на ход производства, ни на состояние духа «господ акционеров-директоров». Зато дни выпуска сотенных паровозов ознаменовывались «всенародным» помпезным торжеством с молебствием, опрыскиванием «святой водою», провозглашением многолетия царствующему дому

и обильным возлиянием сивушных отечественных и искристых заморских вин.

Обычно в этом торжестве принимали участие высшие чины министерства путей сообщения, финансовые тузы и биржевые ловкачи. Разукрашенный трехцветными флагами, с оглушительным оркестром на тендере паровоза, специальный поезд доставлял в Голутвин именитых гостей.

Ландо, кабриолеты, добротнорусские трючные тарантасы с кучерами в три обхвата, в бархатных безрукавках и ластиковых рубахах, доставляли дорогих гостей по усыпанной речным песком дороге к заводской конторе.

Перед этим день и ночь лошадные рабочие-крестьяне возили с Оки за четыре километра в телегах сырой песок, а жены их и сплавные «девахи» раскидывали и разглаживали его, засыпая уличные колдобины.

Тысячи рабочих с утра терпеливо ждали конца «представления» и начала завтрака. На длинных, устроенных из тесин, столах заманчиво солнцем играла в бутылках водка и паром курились в мисках щи.

Древнебоярские ратники с секирами, в кольчугах, медных «шеломах»-касках окружали паровоз, символизируя былинную российскую мощь. Выбирался теплый весенне-ясный день. В такой день кольчуги становились вдвое тяжелее, неудобнее, и ратники, добровольцы из мастеров, вызывая остроты рабочих и сдержанные улыбки гостей, топтались у приземистого тонкотрубного паровозишки, смущенно поворачиваясь к насмешникам спиной и являя собою кукольно-глупую картину.

Три бородача «от рабочих» в тужурках из чортовой кожи (кладовщик обещал за каждое пятно или изъяс, обнаруженный при возвращении, на тужурке удержать недельный заработок) и два крестьянина в чуйках и смазных сапогах, с намасленными до глянца волосами, подносили хлеб-соль на резном, дубовом блюде, покрытом льняным полотенцем в петушках, в завитушках, и низко-низко кланялись, касаясь рукой земли.

Аманд Егорович Струве кружевным платком вытирал сухие глаза. Густав Егорович лобызал троекратным русским лобзанием остолбенелых мужиков. Антон Иванович Лессинг, ответно кланяясь, принимал блюдо и провозглашал «ура великому русскому народу».

— Старики! — благодарил за хлеб-соль Аманд Егорович. — Вы покажите пример ващим юным собратьям! Пусть на будущее время мы останемся между собой в самых близких отношениях, в самом тесном объединении, и тогда между нами будут царствовать согласие и довольство!

Старики ничем не выражали желания оставаться «в самых близких отношениях» с господами акционерными. Они стояли черной кучкой, истомленно переступая с ноги на ногу. Кузнец Михайла, демонстративно полутвернувшись от генерала, шипел в бороду пожилого плотника:

— Согласие! Намедни штраф мастер наложил полтора целковых на уголь! Сырой, плохо жженный — уходит вдвое, а кузнец виноват, что горит много! А жги меньше, — жару нет, опять штраф за медленную оковку!.. Довольство! Ишь, гладкой, от'елся!.. Празднество устроили, угощение, а за поковку шины две копейки сбавили. Выходит, за наш же грош стал нам хорош!

Плотник высморкался, огладил бороду, неопределенно произнес:

— Обещали к петрову на покос с деньгами пустить, ан вагоны новые заказали, деньги попридержали. Куда пойдешь? Вот и остались, — дома-т баба одна справляется!

И вдруг, разозлившись, сердито уставился на Михайлу:

— Что рещем прицепился? Без тебя тошно!

Михайла сплюнул и полез в карман за табакеркой.

Длиннорукий, сухогрудый глухарь-котельщик, давно потерявший слух от беспрестанного гула при клепке котлов, с неизменным выражением покорного безразличия шумно, с охом зевнул, вытер кулаком слезинку и — ему казалось, что он говорил шопотом, — громко сказал:

— Рот, как рыба, раззявает, погонями дрыгает, а чего бубнит — не разобрать!

Кругом сдержанно засмеялись.

Противоположная кучка людей из подрядчиков, купцов, урядников и околоточных строго воззрилась на рабочих.

— Ни стыда, ни совести! — слышно укорил ростовщик, притонодержатель, торгош Темнов. — Благодетель о вас, дуроломах, печется, а они ржут!

— Шкурятник! — осадил кто-то басом Темнова, но казачий сотник показал рабочим нагайку, и воцарилась напряженная тишина.

В последних рядах, сзади рабочих, стоял городской мастеровой народ. Здесь были сапожники, жестяники, бондари, точильщики, стекольщики, портные, половые трактиров и просто случайно забредшие людешки, почувывшие даровую еду.

Мастеровые, никого не слушая, вели между собой зазорный разговор и тут же бесцеремонно вышибали пробки из бутылок. Уже некоторые порывались петь. Уже кое-кто пробовал «зачинать» драку, но стоящие рядом рабочие его удерживали, а особо «разорывшегося» просто брали за шиворот и выгалкивали из рядов.

Но вот кто-то у кого-то стянул полштоф. Обиженный владелец водки закатил оплеуху ни в чем неповинному соседу. Сосед, кулачный боец, к делу отнесся серьезно: он снял поддевку, растегнул жилет, закатил до локтя ситцевую рубаху и плюнул в ладошку. Стражники в черных папахах пробирались к ним, но мастеровые оттискивали, выпирали их, плотно сгрудившись вокруг бойцов, и стражники, бессильно грозя плетками, отходили все дальше и дальше.

Впереди служили благодарственный молебен. Курился сизый ладан. Боговоейно слушало благостные слова коломское купечество, хитро шурил острые глазки богатырь Василий Абрамов, истово крестились Аманд и Густав Струве, умиленно склоняли головы набок именитые гости, чудесно пел хор.

После молебствия, поощряемый конторщиками и мастерами, на паровоз

взбирался «заводский стихотворец», рабочий Сурин, пьяница и бахвал, за стакан водки в трактире Яковлева рассказывавший подгулявшим торговорядским молодцам похабные случаи из собственной жизни. Сиплым голосом алкоголика он декламировал обычно два стихотворения: «Святая Русь» и «Паровозик», в котором воспевался Аманд Струве:

... Он дело с нами воевал —
Трудился много, мало спал!
За любовью к делу страдался
И победителем остался!
Да, кстати, скажем в этот день:
При нем не знали слова лень.
Ему вся честь, ему и слава,
Что боролся с делом браво!..

На праздновании четырехсотого паровоза их превосходительство, скромно опустив очи долу, незаметно приблизился к уху инженера Геие и неслышно спросил:

— Как он в работе?

— Плохо! — так же незаметно ответил инженер и, тонко перекося губы мексиканской улыбочкой, прибавил:

— Впрочем, можно поощрить: перевести в подмастерья!

И обычно в эти праздничные вечера жестоко дрались поселковые бобровские и коломенские мастеровые с сандыревскими хозяевами.

Спокон веку повелось сандыревским крестьянам (ныне село слилось с городом) держать в каждом доме шинок и постоянный двор.

Бойкий московско-рязанский тракт, всегда оживленный длинными обозами, и близость города обеспечивали постоянную наживу. Сандыревцы подрабатывали «бражкой», ночевкой обозов и «солдатками», готовыми являться к «господам купцам» в любое время дня и ночи.

Тут же, в Сандырях, случались лихие ограбления подгулявших купцов и в связи с этим внезапное обогащение захудалого крестьянина. Случались и убийства. Сандыри славились веселыми гулянками, «темными делами», а обитатели его слыли народом «лихим» и зажиточным.

Мстила ли призаводская, городская голь сандыревской сытости, выливалась

ли наружу классовая ненависть к «чужаку», живущему темными делами, — ни устных, ни письменных следов, разъяряющих это обстоятельство, не сохранилось, но побоища происходили страшные, нередко со смертными случаями.

Теперь, спустя три четверти века, драка вспоминается оставшимися в живых стариками простым, беспричинным «игрищем».

Василий Иванович Абрамов, смакуя и грустя, рассказывал, что за молодцы были и у сандыревцев, и у бобровцев.

— Бывало, поставит пять мужиков з плечо в плечо, да как даст крайнему в ухо, так все пять столбами и валятся!

Были почти профессионалы-кулачки, содержимые купцами-толстосумами, любимые и пестуемые знатоками кулачных боев, как призовые лошади — владельцами конюшен.

Они выпускались, когда «свои» начинали сдавать и противник, наседая на ослабевших бойцов, жал их от Сандырей к городской заставе. Тогда вдруг врезался в толпу геркулес. Перед ним, как гнилой тын под ветром, падали бойцы, и воспрянувшие поселковые со свистом и улюлюканьем прогоняли их большаком вдоль всего села до моста через заливной сандыревский овраг, откуда мирно расходились все по домам.

Особой славой пользовался кривоногий, одноглазый, с мифологической силой детина, неизвестно откуда появившийся в Коломне и сразу обретший расположение купцов тем, что в базарный день, на Николу-зимнего, кулаком свалил с ног быка. За низкий рост и подпрыгивающую, воробьиную походку прозвали его Куличком, и никто никогда не интересовался и не знал ни его фамилии, ни его настоящего имени.

Официально служил он весовщиком на сеной площади, помогая тощим коньягам крестьян ввозить на площадку весов телегу с сеном, но в действительности содержали его купцы, одаривая одеждой, продуктами и водкой, за что он честно исполнял обязанности кулачного лидера.

Кончил он плохо в один из тех вечеров, когда, отпраздновав очередной сотый паровоз, господа акционеры торже-

ствовали дома, а купцы разожгли бой между поселковыми и сандыревцами.

Куличок, по обычной своей манере, тишком протискался в самую серединку боя и, откинув назад голову, заработал, как цепями, кулачищами, суя их «под душу», «в едало», «под вздох». Сандыревцы валились направо и налево со свернутыми челюстями, ютшибленными легкими, захватившимся до беспамятства вздохом.

Вдруг полил холодный осенний дождь, и кулачники начали расходиться. Куличок перепрыгнул через придорожную канаву, в темноте наткнулся на бревно, упал, и в то время, когда он цеплялся мокрыми руками за скользкую траву, кто-то всадил ему в бок острый, как штык, подпил. Куличок долго катался в грязной воде канавы, дико воя и грозя:

— Опрежь, чем богу душу отдам, спалю Сандыри и всем мужикам черепками голову об голову поколю!

Свою угрозу он не успел осуществить — утром его извлекли из канавы застывшим, в вывернутой, напряженно изогнутой позе.

Купцы похоронили его с почестями, хоругвями, монастырским хором и выписанным из Рязани протодиаконом.

В этот вечер в особняке Густава Егоровича Струве играл оркестр и произносились трогательные речи о «мужичках-правдолюбцах», о «величии русской народной души», о добродетелях превосходительных акционеро́в, об отцовской заботливости хозяев и неблагодарной черствости рабочих.

Лакеи во фраках (последнее слово европеизма!) и безукоризненных перчатках наполняли узкие хрустальные бокалы золотистым вином, разносили мороженое.

Дворники подбирали избитых, извозчики отвозили их в участок и больницу.

У Репьянского оврага, в покосившейся хибарке, доканчивали юбилей котельщики. Пили стаканами сивуху, пели безнадежные «народные» песни, тискали грошевых бабенок и, грозя кому-то в ночь кулаком и отборной руганью, засыпали тут же на табуретках пьяным, больным,

отвратным сном. Бабенки шарили по карманам и допивали водку.

Был глухой российский 1882—83 год.



Восьмидесятые годы ознаменовались жесточайшим экономическим кризисом, охватившим всю Европу. Капиталистический способ производства неизбежно приводил к перепроизводству товаров, к страшному несоответствию между выпуском продукции и ее потреблением.

Депрессия повлекла за собой небывалое снижение цен, колоссальные убытки и заставила лихорадочно искать потребителя, рынка, покупателя. Взоры Европы с надеждой обратились к России.

Но неудачная дарданелльская авантюра 1877—78 годов, с одной стороны, больно ударила по государственным финансам, а с другой, крайне ослабила покупательную способность населения, увеличив налоговое, податное бремя крестьянина.

Бессистемный, безучетный анархизм производства ставил жизнь в зависимость от случайностей. 1880 год дал необычайный урожай. Хлеб пал в цене, помещики, конкурируя с крестьянами, снизили зерно до себестоимости, и крестьянин не выдержал. Рожь не покупалась, подати платить было нечем, — началось массовое разорение деревни, отобрание зерна за подати, продажа за бесценок сельскохозяйственного инвентаря, скотины и вещей. Обнищавший крестьянин бросился в город.

Аграрный кризис жесточайше ударил по экономическим основам феодально-капиталистического государства.

Кризис с полей и деревень перебрался в тяжелую и легкую промышленность. Избыток рабочей силы дал возможность промышленнику уменьшить плату рабочему и благодаря этому снизить продажную стоимость продукции. Но покупателя не было, рынок заваливался товарами, и то там, то здесь начинали закрываться заводи́ки, фабрички, мастерские. Купцы банкротились не по дням, а по часам, объявляя вексельные платежи по гривеннику за рубль.

Заморские товары перестали интересовать Россию (собственные не находили сбыта), и Европа презрительно отвернулась от «русских варваров».

Кризиса не избежали и акционерные железнодорожные компании. Будучи чисто спекулятивными организациями, срывающими «куши» преимущественно на государственных заказах, после турецкой войны они вдруг оказались в положении вынужденного бездействия. Обессиленное войной государство срочно свернуло железнодорожное строительство и прекратило финансирование железнодорожной промышленности.

Без государственной помощи частные организации не в состоянии были выполнять заключенные обязательства, и к концу 1880 года все железнодорожные общества остались должны казне больше миллиарда рублей.

Все это, естественно, не могло не повлиять на детище российского капитализма — на Коломенский машиностроительный завод. Завод отразил в себе, как в зеркале, непримиримые капиталистические противоречия, уродующие и усложняющие жизнь.

Выпуск паровозов с 81 в 1879 году сразу пал до 42 в 1882 году.

Государство до минимума сократило заказы, прекратив финансирование.

Аманд помчался в Питер. Густав принялся за письма к высокопоставленным приятелям. Но испытанные методы оказались непригодными: письма оставались без ответа, министерские секретари холодно-официальны, а двери министерского кабинета непроницаемы. Кризис оказался сильнее «сильных мира сего», и украшенные сединами, орденами и лентами важные чиновники, как сленные щенки, барахтались в кризисном омуте, тщетно стараясь выкарабкаться на спасительный берег.

Взволнованный неудачной поездкой, Аманд Егорович вернулся поздно вечером в общем вагоне первого класса поезда дальнего следования. В ожидании экипажа он зашел к начальнику станции.

Начальник, склоняясь в угодливейшем поклоне, осмелился полюбопытство-

вать, чему обязан он честью видеть у себя их превосходительство.

— Прекращению заказов! — оглаживая скобелевскую бороду, мрачно пробубнил генерал и велел послать сторожа за лошадьми.

Начальник кинулся к двери, но в это время под окном проскребли подковками по мостовой осажённые кони. Аманд Егорович, услышав знакомое «трр!», встал, расправил на две стороны клинья бороды, молодежато выпятил грудь и твердо шагнул к выходу, протянув козыряющему начальнику два лайковых пальца.

История не сохранила ночного диалога двух превосходительных братьев, но, несомненно, генералы толковали о кризисе.

По крайней мере, когда измученный борьбой со сном лакей принес крепкий черный кофе и, раздвинув портьеры, предложил запахнуть окно (в комнату ворвался чудесный оранжевый восход, и на седые бороды господ Струве легкомысленно вскочили золотые зайчики), Аманд Егорович проговорил длинную немецкую фразу, зычно откашлялся, потянулся и бодро заключил:

— Придется заставить!

Густав понимающе ухмыльнулся, пощурился на радужное солнце и, ничего не ответив, протянул брату широкую, пухлую ладонь.

На другой день в обширном кабинете директора-распорядителя состоялось заседание правления акционерного общества с одним вопросом на повестке дня: «Сокращение производства».

Из цеха в цех с молниеносной быстротой пролетела молва: сокращение! снижение заработка!

Несмотря на осторожные, вежливые протесты исправника, резонно боявшегося возможности эксцессов, несмотря на предложение городского головы воздержаться впредь до получения министерского ответа, акционеры, умело разыгрывая «отцов родных», с широкими жестами и напыщенными либеральными речами о единстве с рабочими, о справедливости к слабым, о честной прямоте, настояли на сокращении тысячи человек.

К концу занятий рабочие читали распоряжение дирекции о временном сокращении работ завода, в особенности по котельному, паровозоборочному, вагонному и деревообделочному цехам, так как «количество заказов не соответствовало производственным масштабам этих цехов».

В витиевато, путанно изложенном распоряжении ни звука не говорилось о расчете рабочих, о количестве рассчитываемых. Но рабочие из всего многословия поняли одно: предстоит сокращение, расчет, безработица, голод.

И по цехам, в курилках, в уборных, в то время игравших роль клубов, пошел, как во встревоженном улье, гул недовольства.

За столярным цехом, деревянная стена которого до крыши была завалена стружками и опилками и откуда открывался просторный вид на заречье и всю прибрежную территорию завода, вплоть до зеленой излучины у женского Бобровского монастыря, в обеденный перерыв прятались котельщики.

Разговор был лаконичен, строг, деловит. Котельщики боялись, что с уменьшением паровозных заказов прежде всего будут сокращать их, поэтому загодя сговаривались между собою после объявления расчета требовать вместо частичного увольнения снижения заработка без сокращения.

Котельщики все были чистыми пролетариями. Завезенные в большинстве с питерских верфей, они не имели связи с крестьянством, и увольнение каждого из них было равнозначных голодной смерти.

Народ все был подбористый, крепкий, дружный (на клепке котла слабому не место!), и сговор происходил без лишней суеты и шума.

— Кто пойдет к директору? — спрашивали подхлывшие рабочие и, получив ответ: «Пономарев», одобрительно кивали головой и уходили другой стороной цеха на завод.

Пономарев был стар. Стариком сманили его с Путиловского завода, посулив дом и корову в рассрочку. Но дома так ему и не дали, а корова сдохла в первую же осень, об'евшись капустного

листа, и он пять лет выплачивал выданную на нее ссуду.

Зарабатывал он 30 рублей. Старший 13-летний сынишка ходил пастушонком с поселковым стадом, освобождая летою семью от одного рта. Но за ним оставалось еще четверо ребят, и 30 рублей едва хватало на полуголодное существование.

Старик был уверен, что его не сократят, но ради товарищей согласился на добровольное снижение.

После работы он доложил мастеру, что цеховые посылают его к директору. Мастер потребовал объяснения. Пономарев коротко сказал, что вместо увольнения рабочие согласны на дележ заработка между собою.

Мастер, приказав ждать, отправился в контору. Через час он вернулся с распоряжением главного инженера расколотиться по домам и не вмешиваться в действия дирекции.

Рабочие зашумели, скопом, было, повалили в контору. Но Пономарев, оставив их во дворе, пошел один.

Дирекция в окна конторы наблюдала все происходящее на дворе. Старика провели в кабинет Гейе.

Главный инженер выслушал Пономарева и, коверкая русские слова, об'явил:

— Завод прежде всего учреждение коммерческое: что ему не выгодно, то он делать не может! Всякий беспорядок не совместим с производством, а требования рабочих есть беспорядок, зачинщиков какого дирекция не потерпит. И потому в первую очередь будет уволен клепальщик Пономарев! В указаниях рабочих дирекция вообще не нуждается!

Старик хмыкнул, тут же в кабинете перед директором напялил на полуседую голову замасленный картуз и спокойно вышел.

Рабочим он сказал коротко:

— Меня уволили!

Поднялся шум, угрозы. Кто-то бросил картуз в венецианское окно директорского кабинета. Картуз шмякнулся в толстое стекло второго этажа, упал на железный подоконник.

Через 20 минут примчался исправник. Не спрашивая разрешения, он стреми-

тельно прошел в кабинет Лессинга. Прикатил городской голова. Зябко потирая руки и семена подагрическими ножками, прошмыгал к Густаву Егоровичу.

Исправник с двумя окологлочными вышел на крыльцо, рявкнул:

— Разойдись! Чтоб в пять минут никого не было!

Через проходную будку, через двери конторы и запасные ворота во двор бежали городовые.

Это было первым массовым протестом, началом тех стачек, которые вскоре охватили весь завод и перекинулись на другие коломенские предприятия.

Городской голова из именитых купцов-баржевщиков, Афанасий Пантелеймонович Петров, знакомый с питерской, «заграничной» модой, поэтому во фраке и вылезавшей из короткой жилетки крахмальной манишке, с толстой золотой цепью поперек живота, с цилиндром в руке, постриженный в скобку и намащенный, прикладывая волосатую короткопалую руку к сердцу, доказывал:

— Зарезали, ваше превосходительство! Петлю набросили! Теперь в горде такое пойдет, — нос на лицу не кажи! Все лавки растащат! Без городского в управу не проедешь! Потерпите маленько, ваше превосходительство, — я уж написал кому следует!..

Генерал улыбался, поощрительно-фамильярно похлопывал Петрова по плечу, протягивал ящик с гаваннскими сигарами.

Распоряжение сняли, но рабочие по-прежнему тревожно ждали дня сокращения. Во все концы, по всем линиям полетели рапорты, донесения, служебные записки, частные и официальные, «не подлежащие оглашению», «особо секретные» письма.

Акционеры в свою очередь «объективно» изложили министру внутренних дел положение вещей на Коломенском заводе. Крайняя недостаточность заказов на Коломенском машиностроительном и Кулебакском горном заводах, — заявили они, — может поставить общество в необходимость не только распустить большое число мастеровых, но даже и остановить деятельность заводов.

Прекрасно понимая общность своих и государственных интересов, генералы Струве рекомендовали министру внутренних дел, во-первых, установить сроки службы подвижного состава железных дорог, а во-вторых, увеличить пошлину на железнодорожные запасные части, машины и станки.

Первое влекло за собой изъятие из обращения «просроченных» паровозов и вагонов и обязательную замену их, т.-е. изготовление на заводах, в том числе и на Коломенском. Второе означало уменьшение импорта за счет увеличения отечественного производства.

Но «заботы о государственном благе» и «объективизм» повествования не в состоянии были скрыть собственнической корысти. Докладная записка кончалась просьбой о «предоставлении обществу правительственного заказа в 50 паровозов и 300 товарных крытых вагонов». Министр внутренних дел каллиграфически начертил на оторванном с имперским гербом бланке: «На благоусмотрение министров финансов и путей сообщения».

Антон Иванович Лессинг, скрывшись под псевдонимом «Благомыслящий», написал редактору «Московских ведомостей» пространное письмо, в котором доказывал необходимость вмешательства общественности в положение завода, ибо «отсутствие поддержки со стороны казны неизбежно повлечет остановку производства и роспуск рабочих, что породит эксцессы и нежелательное возбуждение рабочего населения». Далее «Благомыслящий», анализируя недавнее выступление котельщиков, приходил к выводу, что «получение государственных заказов есть единственный выход из создавшегося тревожного положения».

И «Московские ведомости» осмелились известить читателей, что «тысячи человек будут уволены от дела вследствие прекращения правительством выдачи денег г. Струве вперед под заказы». Тогда возникло всеобщее опасение «волнений». Департамент полиции просил губернатора «надлежаще осведомить», и московский губернатор «надлежаще осведомил» министерство внутрен-

них дел, департамент полиции и генерал-губернатора о том, что

«на Коломенском машиностроительном заводе г. Струве по случаю неимения заказов в настоящее время уже приступлено к сокращению числа рабочих. Для продления занятий остающимся на заводе рабочим работы распределены так, что каждый из них занят на заводе в течение недели только три дня.

Такое распределение работ, вероятно, продлится 3 месяца. Тогда, если не будет заказов, завод придется закрыть совсем.

Сокращение работ в настоящее время и возможность совершенного их прекращения возбуждает в рабочих опасение за будущее.

Всех мастеровых и рабочих на заводе, кроме служащих, находится до 3.000 человек, и, за исключением из этого числа 1.000 человек чернорабочих, могущих в летнее время найти занятие на полевых работах, остальные, исключительно занимавшиеся специальными работами на заводе, за отсутствием в Московской губернии и соседних подобного производства, останутся на неопределенное время без средств к прокормлению себя и семейства».

Городской голова, после беседы с Густавом Струве, посоветовавшись кое с кем из «гласных», на категорический, беспокойный запрос губернатора послал следующее «представление»:

«На состоящем при гор. Коломне машиностроительном заводе братьев Струве и компании все рабочие почти исключительно состоят из самого беднейшего класса граждан гор. Коломны и жителей ближайших окрестных сел, которых на том заводе постоянно с давних пор работает до 3.000 человек, доставляющих тем пропитание своим семействам в числе не менее 20 тысяч душ. А как до сведения моего дошло, что директором и распорядителем сего завода генерал-майором Струве на-днях заявлено правлению завода, что правительственный заказ 40 локомотивов на

вновь строящуюся правительственную Криворожскую железную дорогу, которые г. Струве предполагал взять на свой завод, ныне по ходатайству С.-Петербургского завода поступил на сей последний, вследствие чего Коломенский машиностроительный завод, не имея частных заказов, должен неминуемо быть закрыт не далее как к 1 мая сего года, то, принимая со своей стороны во внимание, во-первых, что других подобных заводов как в Коломенском уезде, так и в близлежащих местностях нет и, во-вторых, что жители города Коломны, работая на означенном заводе бр. Струве с давних пор производящиеся там работы, других работ не знают и вследствие этого принуждены будут при закрытии завода лишиться совершенно всяких средств к существованию своих семей, отчего даже могут быть при крайнем их положении весьма дурные последствия, что я считаю необходимым покорнейше просить ваше превосходительство не оставить своим ходатайством перед правительством о поддержании вышеупомянутого завода братьев Струве какими-либо заказами, дабы оный мог несколько возможно продлить свою деятельность и тем не лишить наших беднейших граждан средства к пропитанию».

В эти памятные дни коломенский исправник проявил вдруг необычайную ревность к службе и поразительную, не свойственную ни его возрасту, ни тучности подвижность. С утра в полной, непереносимой под майским солнцем форме, при мундире, шашке и в лакированных сапогах он мчался от волости к волости в сопровождении двух урядников.

Он «распекал» волостных старшин, предлагал быть «особо зоркими», «чуть что — неукоснительно доносить» и «держаться ушки на макушке».

Взмыленная тройка, раскидывая печу, вскачь возвращалась под вечер в Коломну, и горожане, любясь изогнутыми в кольца крутыми шеями пристяжных, с тревожным ощущением грядущей беды провожали взглядом пыльную спину исправника.

Наконец, окончательно загнав вороную тройку, измытарив выбившихся из сил урядников и совершенно запугав волостных старшин с десятниками и писарями, «господин исправник» завершил свою деятельность таким откровенным донесением:

*«Его превосходительству
господину московскому губернатору
коломенского уездного исправника*

р а п о р т.

Коломенский машиностроительный завод при селце Боброве по случаю неимения заказов намерен значительно сократить число своих рабочих. В настоящее время к такому уменьшению числа рабочих завод уже приступил и, кроме того, чтобы продлить занятие для остающихся рабочих, производит распределение между ними времени работы таким образом, что в течение недели каждый рабочий занят работою только три дня. Но при всем этом, если новых заказов не поступит, завод может доставить рабочим занятие лишь по май и никак не далее начала июня сего года, а затем вынужден будет закрыть свое действие. Слух о предстоящем закрытии завода уже распространился между рабочими и начал производить между ними волнение.

Имея в виду, что в настоящее время на заводе, кроме служащих, находится до 3.000 человек мастеровых и рабочих, которые с закрытием завода останутся без занятий и средств к существованию, что из упомянутого числа только чернорабочие, число коих простирается до 1.000 человек, будут в состоянии во время лета приискать себе занятия на полевых работах, мастеровые же до 2.000 человек, как неспособные ни к какой другой работе, кроме своего ремесла, оставшись без дела, потребуют усиленного надзора местной полиции и, чтобы приискать себе занятие, конечно, обратятся в Москву, где наплыв их во время предстоящей выставки, вероятно, также произведет немало затруднений для полиции, — я счел

необходимым о вышеизложенном донести вашему превосходительству и покорнейше просить, не признаете ли возможным, в видах отклонения дурных последствий, могущих произойти от закрытия машиностроительного завода, ходатайствовать, перед кем будет следовать, о доставлении этому заводу заказов, которые могли бы продлить его существование».

Так на защиту интересов капиталиста, поднялась вся «власть предрежащих» — от министерства и департамента полиции до уездного исправника и городского головы включительно.

Коломенский завод сравнительно с другими, не менее значительными заводами, как Невский или Мальцевский, которые объявлены были несостоятельными, благополучно выпутался из кризиса, наполовину сократив производство паровозов и вагонов.

Но как ни вывертывались Струве; как ни мобилизовывали все силы и средства на получение больших заказов, как ни помогала им полиция с городской властью, заказы не поступали, и несколько сот мастеровых очутились без работы.

Сокращенные с утра ходили по Почтовой и Дворянской улицам, возбуждая настороженную внимательность городских и беспокойство купчишек — владельцев бакалейных лавочек.

От непривычного, вынужденного безделья рабочие шатались по магазинам, пробовали на-ощупь и на язык (не линяет ли) материю, примеряли картузы и пиджаки и в конце концов со смехом, под язвительные остроты торгашей, ничего не покупали.

На третий день их уже встречали в дверях нагло улыбающиеся приказчики:

— Товара-с нет, пушать не велено-с! Уходя с завода, каждый получил в среднем 20—25 рублей, и этого, особенно холостым, могло кое-как хватить на месяц.

Семейные рабочие, живущие в поселках, с первых же дней занялись кустарничеством.

Старик Пономарев начал брать в починку утюги, замки, чайники, делал из

железа кастрюли, кочерги, нередко получая вместо гривенника или пятака кусок пирога для ребят, что-нибудь из старого платишка или изношенные башмаки. В базарные дни, весь обвешанный замками, ключами, печными заслонками, самоварными кранами и конфорками, он стоял против трактира на площади, привлекая к себе внимание звоном железа. Редко проходил базар, в который бы Пономарев не выручал три-четыре гривенника.

Он попрежнему был спокоен, тверд и уверен в себе. Его одинаково уважали молодежь и пожилые рабочие. По праздникам любили приходить к нему на дворик, где у сарая, в самодельной трехаршинной мастерской, старик пилил, сверлил или вытачивал какую-нибудь штуkenцию и под режущий визгливый звук металла неторопливо калякал о разных житейских разносях.

Семёна, как и всех мальчиков, не сократили: во-первых, они были почти даровой рабочей силой, во многом уже заменявшей квалифицированных работников, во-вторых, необходимой «сменой» старикам. К тому же это дало акционерам повод на отчетном годовом заседании гордо заявить, что «всемерно заботясь о благосостоянии своих рабочих, дирекция, несмотря на крайнюю материальную стесненность, в ущерб своим интересам, сочла необходимым оставить на работе учеников». О прямой выгоде «оставления на работе учеников», само собою разумеется, не было сказано ни звука.

Пока в кармане водились деньги, сокращенные не унывали, а молодежь казалась даже веселой. Это однако не снижало, а, наоборот, повышало бдительность исправника Позументова, ознаменовавшего тревожные дни кризиса приказом по подчиненной ему коломенской полиции:

«Впредь до изменения, сим предписываю всем находящимся в моем ведении чинам полиции Коломенского уезда особое наблюдение иметь над сборищами на улицах и на реке под видом гуляния рабочих завода, уволенных по причине отсутствия рабо-

ты. Дворникам надлежит круглосуточно находиться при домах».

Жандармский ротмистр, украшая рапорт витиеватой, со множеством кружков, завитушек и черточек, совершенно неразборчивой подписью, докладывал «3-му отделению собственной его императорского величества канцелярии»:

«До сего дня прямых выступлений мною не наблюдалось, но поведение уволенных рабочих внушает опасение, в силу чего мною установлен особый надзор за сомнительными элементами, каждым в отдельности, а также сообщая собирающимися для совместного времяпрепровождения. Список поднадзорных при сем прилагаю».

Время не сохранило «при сем приложенного списка», и, значился ли в нем старик Пономарев, или не значился, — установить невозможно. Но городской Пузиков, из будочников, полупьяный, придурковатый человек, привыкший за долгие ночи сидения в будке разговаривать с самим собой вслух, повадился каждый праздник посещать соседа Пономарева.

Придет, не здороваясь, попросит табачку, набьет им волосатые ноздри, отчихается, отсморкается, усядется на полено или ступеньку крыльца и, тупо поглядывая мутными плоскими глаз на постоянных гостей старика, не перебивая, слушает, о чем говорят рабочие.

Так и остался бы Пузиков соседом (его дом был напротив, на углу, под зеленой крышей с палисадником), привыкшим, как и приятели рабочие, посещать по праздникам старика Пономарева, если бы однажды он не предложил шпионить Семену.

Ситников дружил с сыном Пономарева, не по годам развитым, недоужинным способностей мальчиком. Семена покорило в нем все — от умения делать из жести игрушечные лодочки с мельничным колесом, которое, вращаясь, двигало за собой лодку, до взрослых рассуждений о необходимости «уму-разуму набираться».

Семену удалось стянуть для приятеля наждачный круг, который он вечером, после работы, спрятав под рубаху, потащил к Пономареву. На углу переулка,

на низкой скамеечке у заваленки, сидел городской Пузиков и сосредоточенно плевал в брошенный тлеющий окурок.

Он так был увлечен своим занятием, что, казалось, ничего не видел и не слышал, и Семен спокойно засеменил босыми ногами по противоположной стороне улицы.

Но Пузиков вдруг поднял руку и указательным пальцем поманил его к себе.

Делая вид, что он ничего не замечает, Семен продолжал шагать. Тогда городской поднялся и угрожающе сказал:

— Коли начальство кличет, должен минтом быть!

А когда Семен боязливо приблизился к нему, держа руки позади и прижимая к спине холодный круг точила, пригрозил:

— Ежели слушаться не будешь, — гляди!.. Куда идешь?

Семен решил, что попался и сейчас вот эти два мясистых протабаченных пальца вцепятся в его ухо. Он отступил шага на два, приготовившись к бегству, но городской успокоил его:

— Знаю, к Пономареву! Держи пяточок! Держи, дура!

Семен перехватил камень правой рукой и протянул левую, ничего не понимая, но чувствуя какой-то подвох.

Пузиков подумал и наставительно сказал:

— Я завсегда тебя, пащенко, уважу, и их благородие, околодочный, гривеник даст, ежели ты про всякие тары-бары, каки у старика промеж себя мастеровые гуторят, докладывать будешь!..

Пузиков устал. Необходимость держать речь и роль вербовщика были для него одинаково трудны, и, покончив с этим, он чувствовал величайшее облегчение.

Семен, не совсем еще понимая, чего от него хочет «сеledка», ответил, чтобы только отделаться, «ладно» и бросился к Пономареву.

Представление о городских, урядниках, казаках, жандармах всегда ассоциировалось у Семена с продажей теткинго имущества, с описью добра у матери за недоимки, и из глубины детского сердца поднималась лютая, жгучая ненависть.

Отдышавшись, сдвигая белесые брови, он рассказал Пономареву все происшествие с городовым и в доказательство разжал руку, в которой лежал стертый медный пятак.

Старик посмотрел Семену в глаза, пробурчал: «так», и, взяв пяточок, посоветовал:

— Вы с Николкой его вот тут подпилите! Края вот так, крендельком, загните!..

И он объяснил, как из пятака сделать подобие фиги, и посоветовал отослать ее городовому.

Через неделю, едва Пузиков показывался на улице, как неведомо откуда на заборах появлялась босоногая команда, пронзительно кричащая: «Фига! Фига!»

Пузиков бросался к забору, но «фига» неслось уже с другой стороны.

Кличка эта так и осталась за ним на всю жизнь.

Как ни экономно жили сокращенные, как ни выгадывали на еде гроши, деньги таяли очень быстро, и голод, настоящий голод, грозным призраком приближался к рабочим.

Начали искать работы у купцов.

Старик Шевлягин, миллионер-ското-владелец, почесывая пятерней сивую бородищу, поучительно ответил:

— Ежели прогнали, стало-быть, не заслужил хозяйской милости! Для таких работы не имеем!..

Член городской думы Силуан Кузьмич Субботин, старый вдовец и голубятник, принял их по-другому.

Субботин славился на весь город похождениями с огородницами, которых он самолично набирал из девушек-крестьянок Михайловского уезда. Причудам и самодурству его не было границ.

То утром горожане узнавали, что огородница, бросившись ночью с сеновала, куда ее Силуан Кузьмич отправил к приказчикам «за непокорность хозяйской воле», сломала себе ногу, и Силуану Кузьмичу пришлось «замазывать дело» четвертым билетом да отрезом на платье с коробкой душистого мыла.

То видели, как он, весь в пару и поту, вырывался из бани, бросался в снег,

роготал, а затем с криком: «Парашка, веник!» — кидался снова в баню, утопавшую в густых клубах пара.

Рабочие застали Субботина за чаепитием. Расшитое полотенце лежало у него на коленях, и после каждой чашки Силуан Кузьмич обтирал им лоб, шею и подмышками.

Он был настроен благодушно, спросил о заводских делах, подивился паровому молоту, недавно установленном в кузнечном цехе, и, ставя чашку кверху дном, полюбопытствовал, какие дела заставили господ мастеров посетить его.

«Господа мастера», без картузов покорно стоявшие перед купцом, нерешительно выразили свою просьбу. Субботин подумал, похлопал пальцами по медному подносу и вдруг, блеснув глазами, заявил:

— Приму любого, который перетянет Фому!

Фома, дворник, подсовывал голову под брюхо лошади, держал ее за связанные ноги и уносил на шее в стойло. Драться он не любил и, как истинный силач, был безмерно добродушен, но в городе не было человека, который мог бы перетянуть его на палке. Этого первенства он никому не уступал и гордился им.

Рабочие потоптались, подумали, потом нахлобучили картузы и, с сердцем плюнув у порога, молча покинули самодуракупца.

Пошли к подрядчику Василию Ивановичу Абрамову.

Абрамов с покупкой заводом Селецкого торфяного болота стал не только вербовщиком торфяниц, но и поставщиком на торфоразработки продуктов и производственных материалов.

Был он строен, русокудр, ходил в тонкой синей поддевке, в козловых сапожках. Он еще не утерял деревенской непосредственности и не успел напол-

ниться кичливым чванством толстосума. охотно посещал родню в деревне, не гнушался сидеть за самоваром с оборваным земляком и, когда его величали «степенством», замечал:

— Я не купец! Это кто с гильдиями, тот в степенство рядится! Я мужик, меня можно и по скуле! Только шалишь-мамонишь, которых умом действуют, не тронешь, ум откусается!

И, протягивая могучую лапищу, сжимал пальцы в огромный, твердый, как сталь, кулак:

— Ежели прикажет, — показывал он на лоб, — вот так сожму: и дух вон, и лапти кверху!

Абрамов входил в силу. Его уже не раз вызывал в кабинет директор-акционер Лессинг, советуясь с ним о завозе продуктов, явно поощряя его природную смекаливость, торговую подрядческую ловкость.

Рабочих Василий Иванович принял по-деловому. Оглядел каждого внимательным, оценивающим хозяйским взглядом, что-то долго прикидывал на пальцах, шевеля губами, и, наконец, объявил, что согласен взять всех на болото в Сельцы, по шести гривен в день на своих харчах.

Рабочие знали селецкое житье, знали, как люди гибли там от лихорадки, как тяжело от зари до зари копать бурую гущу по колено в воде. Но другого выхода не было. Шестьдесят копеек рождали представление о горячих щах, о хлебе, и рабочие тут же объявили о своем согласии.

Наутро, чуть свет, получив на дорогу по четвертаку, с узелками и котомками, веселой, пестрой толпой отправились новоиспеченные торфяники в 40-верстный путь к Селецкому болоту.

Вчерашние котельщики, слесаря, кузнецы, металлисты уходили к ненужному им, незнакомому, дешево оплачиваемому труду.

Люди и факты

1. Д. АРАНОВИЧ — Архитектура московского метрополитена. 2. Б. ЛАВРОВ —
Первая Ленская

1. АРХИТЕКТУРА МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Д. Аранович

«Это — подлинное чудо! — воскликнул посол. — Помните сказки «Тысяча и одна ночь»? Так вот, московский метрополитен наводит на мысль, что одна из этих замечательных сказок воплотилась в жизнь».

«Правда», 28/V 1935 г.

История первой и второй пятилеток знает немало блестяще завершенных строителей. Но только некоторые из них заслужили столь высокой оценки партии, правительства и всей нашей общественности, как московское метро. Огромные преимущества московского метро вынужден признать и весь буржуазный мир, где метро отличается лишь большей или меньшей скудостью архитектурного оформления. Наряду с огромными техническими завоеваниями московский метрополитен показывает своей архитектурой павильонов и подземных станций, залитых яркими потоками жизнерадостного, бодрящего света, подлинную заботу о человеке, о тех миллионах пассажиров, которые ежедневно проходят через многочисленные вестибюли метро.

Чем объясняется такая яркая художественная насыщенность московского метро, которая в одинаковой мере охватывает как надземные, так и подземные сооружения?

В архитектуре надземных сооружений метрополитена необходимо отметить прежде всего два основных исходных положения. Во-первых, в целях сохранения существующих архитектурных ан-

самблей улиц, бульваров, площадей и набережных ни один участок из сооруженных трасс не получил выхода на поверхность земли (как это имеет место в Берлине, частично в Париже и в других городах). Во-вторых, надземные павильоны московского метро решены по самостоятельному принципу, отличному от метро городов Запада. Как известно, в архитектурном отношении надземных павильонов парижского, берлинского и других метро проектировщики, в целях облегчения пассажиру возможности сразу найти среди разнообразных зданий большого города нужный ему павильон метро, стремились к тому, чтобы все павильоны метро имели, по возможности, однообразный вид. Поскольку, следовательно, на Западе на первом месте стояли не архитектурные, а ориентировочные задачи, постольку архитектуре надземных павильонов там уделялось мало внимания. В Берлине даже во многих случаях надземные павильоны вообще отсутствуют. При спуске в тоннель их заменяют перила лестницы и невысокий щит, на котором имеется условная надпись по остекленному фонарю «U» (Унтергрунд).

Внешняя архитектура павильонов московского метрополитена решалась по совершенно иным принципам. Именно для лучшего запоминания пассажиров станций и отличия их одной от другой станции московского метрополитена выполнены не по одному стандарту, а исходя из самых разнообразных принципов архитектурной композиции. Тринадцать станций первой очереди метро решены, не одним каким-либо архитектором, как это практикуется на Западе, а с привлечением всех лучших архитектурных сил, которым были предоставлены все условия для проявления самостоятельной творческой инициативы. Естественно, это не могло не сказаться самым благоприятным образом на творчестве каждого архитектора. В результате каждая из станций метро имеет свои отличительные художественные особенности и существенные достижения.

Первая по расположению на трассе и по времени строительства — станция «Сокольники». Надземный павильон станции «Сокольники» расположен на аллее, ведущей через Сокольнический круг к парку. Авторы проекта стремились разрешить павильон так, чтобы он был одновременно не только входом в метро, но и своеобразным преддверием в парк. Архитектура станции, таким образом, решена по принципу гармонирования с парковым характером местности. Правда, здание павильона, пожалуй, несколько чрезмерно распластано по горизонтали. Но в условиях малоэтажной окружающей застройки и свободного пространства прилегающего бульвара принятая проектировщиками объемная конфигурация павильона и даже его небольшой масштаб безусловно оправданы. Несколько схематичная объемная трактовка сокольнического павильона удачно обогащена фризом и круглой скульптурой.

В совершенно ином плане решена архитектура надземного павильона «Красносельская улица», авторами которого являются Б. В. Виденский, В. А. Ершов и Я. Д. Ромас. В соответствии с требованиями местного графика уличного движения, эвакуации пассажиров

метро и создания нормальных условий восприятия архитектуры, павильон расположен несколько в стороне от точки пересечения двух магистралей. Перед зданием разбита небольшая площадь (300 кв. м.). К тому же проект генерального плана предусматривает создание в недалеком будущем специального проходного сквера, связывающего обе улицы. Самый павильон решен по принципу объемной композиции и рассчитан на восприятие его с разных точек сквера и площади. Композиция масс решена по принципу облегченных форм павильонной архитектуры, но благодаря его богатой фактурной обработке даже небольшие масштабы павильона выделяются как притягательный архитектурный объект площади.

Станция «Комсомольская площадь» имеет два надземных павильона. В павильоне, находящемся в здании Казанского вокзала, в композиционном отношении выделен только вход. Значительно выше архитектурное решение второго павильона (между Северным и Октябрьским вокзалами), авторами которого являются проф. Кринский и арх. Рухлядев. Здание этого павильона решено в виде монументального, покоящегося на невысоком стилобате, объема, рассчитанного на восприятие с разных сторон. Компактная, почти кубическая, конфигурация основного объема павильона обогащается двумя мощными боковыми портиками с монументально трактованными четырехгранными колоннами.

Отличительная особенность станции «Красные Ворота» — ее глубокое залегание, вызвавшее сооружение пятидесятиметрового (по наклонной) эскалатора. Эта особенность станции «Красные Ворота» получила свое отражение прежде всего во внешней архитектуре надземного павильона. Вопреки первоначальному проекту акад. И. Фомина, который решал надземный павильон в соответствии с внутренней архитектурой подземных вестибюлей в плане классических принципов, автором утвержденного проекта, проф. Н. А. Ладовским, внешней архитектуре этого павильона придана оригинальная форма, воспроизводящая вход



Товарищи И. В. Сталин и Л. М. Каганович

в наклонный тоннель эскалатора. Правда, это решение, несмотря на его тщательную проработку в виде системы описанных порталов, несколько парадоксально и схематично. Но поскольку оно дает остроумное выявление специфичности данной станции (эскалатор) и поскольку строителями метро преследовалось разнообразие форм павильонов, его следует признать в целом оправданным.

Построенный по проекту проф. Н. Я. Колли и расположенный у Чистопрудного бульвара надземный павильон Кировской станции не связан в композиционном отношении с окружающей обстановкой. Несмотря на это, архитектуру павильона следует признать удовлетворительной. Благодаря преобладанию высотной координаты и ряду других приемов архитектуры павильона Кировской станции выгодно выделяется из обычных городских павильонов. Это впечатление усиливают также четырехколонные портики по обе стороны входа и сильно развитая венчающая часть в виде значительно выступающего массивного неполного антаблемента.

Павильон станции «Площадь Держинского» выгодно отличается своим масштабом, продиктованным общим архитектурным оформлением площади, оригинальным решением входов и архитектурной композицией фасада в целом. В соответствии с непрерывным интенсивным движением людей, происходящим на этой центральной площади, Д. Фридман делает массивные порталные входы определяющим моментом архитектурной композиции всего павильона. Несмотря на ощутительную тяжеловесность обрамляющих входы порталных арок, в целом, благодаря броскости и ассоциативной привязке к метро, павильон этот и композиционный прием, по которому он выполнен, следует признать безусловно удавшимися.

В решении надземных павильонов станции «Охотный ряд» перед проектировщиками стояла трудная задача найти наилучшее оформление надземных и монументальных павильонов в условиях крайне интенсивной застройки огромными многоэтажными зданиями. Проекти-

ровщики решили эту задачу включением надземных павильонов в расположенные в Охотном ряду здания гостиницы Моссовета и многоэтажного жилого дома. Вызывает возражение то обстоятельство, что оба они расположены непосредственно у тротуаров магистральных улиц с напряженным движением. Но от постройки павильонов рядом расположенной площади Свердлова проектировщики сознательно отказались, щадя архитектуру площади и самого павильона, которому трудно было бы противостоять монументальной архитектуре выходящего на площадь Большого театра.

Надземный павильон станции «Библиотека им. Ленина» расположен по Моховой. Непонятно, почему архитектура этого павильона не решена в стиле старого или нового здания библиотеки им. Ленина. Подобное решение напрашивалось требованиями архитектурного ансамбля магистрали. Что же касается композиции самого павильона, то обработка его главного фасада по принципу противопоставления большой остекленной плоскости каменной плоскости стены вполне соответствует общему архитектурному замыслу.

Архитектура станции «Дворец Советов» должна быть признана одной из наиболее интересных со стороны решения как надземного павильона, так подземных вестибюлей. В частности архитектура небольшого по своим масштабам павильона выделяется остроумной привязкой его форм к месторасположению в начале бульвара. Павильон решается в стиле подчеркнуто легкой по своим массам садово-парковой архитектуры и трактуется по своему общему композиционному замыслу, как вход на бульвар через кессонированную воздушную арку. Правда, парным колоннам портика с подчеркнутыми раскреповками антаблемента по обе стороны входа не совсем соответствуют находящиеся в одной плоскости с портиком современные большие оконные проемы боковых поверхностей павильона. Но по своему общему замыслу данное решение в целом следует признать одним из наиболее удачных.



Надземный павильон на Арбатской площади

Станция «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького» имеет два надземных павильона. Архитектура надземного павильона станции, выходящей на Крымскую площадь, решена в простых прямолинейных формах. Обрамляющий здание портик с двумя высокими гарными четырехгранными колоннами выделяет павильон как общественно-значимое сооружение.

Арбатский радиус имеет три станции: «Улица Коминтерна», «Арбатская площадь» и «Смоленская площадь». Из них надземный павильон станции «Ул. Коминтерна» решен в простых, несколько схематичных, прямолинейных формах, напоминающих павильон станции «Библиотека им. Ленина». Павильон станции «Арбатская площадь», напротив, выделяется своим художественным замыслом. Расположенный непосредственно у линии больших людских потоков, павильон имеет свободные подступы со всех сторон площади и своим графиком движения ни в какой мере не может

стеснять движения по магистрали и на площади. Оригинально решена внешняя архитектура самого павильона, который имеет в плане форму пятиконечной звезды и возвышается на стилобате такой же формы. Правда, намерение автора проекта, арх. Л. С. Теплицкого, дать объемное выявление эмблемы Красной армии не достигло своей цели. Конфигурация пятиконечной звезды в объемном выражении здания не доходит до зрителя. Это может служить наглядным уроком того, какая пропасть лежит между графическим восприятием архитектуры в чертеже, в проекции и объемно-пространственным восприятием архитектуры в натуре. Однако не доходящая в своей эмблематичности пятиконечная конфигурация плана оказалась весьма выразительной для восприятия ее как со стороны магистралей, так и со стороны площади.

Надземный павильон станции «Смоленская площадь» тоже можно отнести к одному из наиболее удачных, как по

его расположению в точке пересечения магистралей, так и в отношении его внешней архитектуры. Несколько схематичная об'емная форма павильона обогатывается тремя основными композиционными приемами. Первый из них — обрамление об'ема со стороны входов двумя пространственно решенными портиками, с неравномерно расставленными, в целях выделения входа, четырехгранными колоннами. Второй композиционный прием — удачная обработка продольных стен павильона сплошной клеткой массивных по своему профилю квадратных оконных проемов. Третий прием — вынесение вперед массивного антаблемента, венчающего об'ем со всех четырех сторон.

Несмотря на наличие целого ряда удачных моментов во внешней архитектуре надземных павильонов, основным достижением архитектурного решения московского метрополитена является внутренняя архитектура его подземных вестибюлей и в частности перронных зал вдоль дебаркадеров. При решении архитектуры подземных вестибюлей проектировщикам приходилось сильно считаться с характером залегания станции от уровня поверхности. Станция глубокого залегания и мелкого залегания потребовали двух принципиально различных подходов к архитектурно-композиционному решению подземных вестибюлей. Поэтому удобнее сделать обзор подземных вестибюлей станций не в порядке их следования по трассе, а по группам вестибюлей глубокого и мелкого залегания.

Станций глубокого залегания имеет четыре: «Красные Ворота», «Кировская станция», «Площадь Дзержинского» и «Охотный ряд». Наибольшее впечатление на этих станциях производит глубинная перспектива наклонных тоннелей трех эскалаторов, из которых каждый рассчитан на пропускную способность 9 — 10 тысяч человек в час.

Тоннель станции «Красные Ворота» тянется (по уклону) на 53 метра. Полуциркульные своды эскалаторных тоннелей

— на фоне тщательно обработанной линолеумом поверхности деревянных ступеней и полированных широких перил — в резком ритме убывают в протяженной перспективе. Резко сокращаясь в ракурсной перспективе, вертикально утвержденные по перилам высокие светильники со сферической люстрой подчеркивают глубинность развертывающегося пространства. По мере плавного передвижения по эскалатору вниз раскрывается архитектурная перспектива на дебаркадер станции. Когда спускаешься к нему, зрелище эскалаторного тоннеля все еще увлекает настолько, что, прежде чем перейти к дебаркадеру, невольно оглядываешься назад, на обратную перспективу снизу вверх. Отсюда открывается перед зрителем еще более увлекательное зрелище. Когда зритель спускается вниз и воспринимает перспективу лестницы в обратном направлении, вверх, спокойно наблюдая ее с перрона, она производит, благодаря своим огням, почти феерическое впечатление. Вспоминаются величественные перспективы лестницы театральных постановок.

Расположенный на глубине 26 метров (по отвесной), дебаркадер станции «Красные Ворота» решен в виде трех сообщающихся вестибюлей, перекрытых кессонированными полуциркульными сводами. Из них центральный, распределительный перронный зал отделен от боковых, примыкающих непосредственно к путям, массивными опорными пилонами, которые облицованы кавказским мрамором «порша» насыщенного красного цвета. Ярко освещенное полуциркульное белоснежное перекрытие по контрасту выделяется на фоне низких массивных пилонов белым пространственным полем и оттеняет интенсивность тона красного мрамора пилонов и черного цоколя. Ведущая композиционная роль расположенного в центре главного перронного зала оттеняется не только его большой шириной, но также более разнообразной кессонной обработкой свода, благодаря сложному ритмическому сочетанию шестигранных, ромбоидальных и треугольных кессонов с двойным уступчатым контуром. Своды



Станция «Комсомольская площадь»

вестибюлей у путей обработаны более схематично — крупными прямоугольными кессонами. Продольные плоскости массивных пиллеров всех нижних зал обработаны посредством глубоких ниш. Переход от криволинейной поверхности полуциркулярных сводов к вертикали стен смягчен посредством подчеркнуто рельефного уступчатого карниза. Все вместе взятое показывает характерный метод конструктивного и архитектурного решения станции метро глубокого залегания. В то время как станции мелкого залегания допускают использование для вертикальных опор колонны с поперечником в пределах 0,8 м., здесь, в соответствии со значительно большей нагрузкой на вертикальные опоры, пришлось колонны заменить массивными пиллерами. Несмотря на их значительно меньшую высоту и на неизбежную оптическую изоляцию центрального перронного зала от боковых вестибюлей дебаркадера, благодаря замене плоского перекрытия сводчатым и активной обработке его кессонами и ярким, насыщенным светом архитектору вполне удалось и при данных трудных условиях из-

бегнуть впечатления глубокого подземелья.

Из целого ряда подземных вестибюлей «Кировской станции» основной архитектурной работой следует признать, как и в других, композиционное решение перронных зал дебаркадера. Как и станция «Красные ворота», «Кировская станция» представляет собой образец архитектурного решения дебаркадера глубокого залегания. Совершенно неслыханная для надземных сооружений нагрузка на вертикальные опоры (35-метровый слой земли) потребовала и здесь замены колонн мощными пиллерами, продольное сечение которых больше их высоты, благодаря чему пиллеры образуют стену с арками. Несмотря на то, что необходимость подобного конструктивного решения вертикальных опор создает все предпосылки для создания характерных черт подземной, давящей архитектуры, автору проекта «Кировской станции», проф. Н. Я. Колли, блестяще удалось эти неблагоприятные предпосылки инженерно-технического характера преодолеть. Основными, соответственным образом использованными,

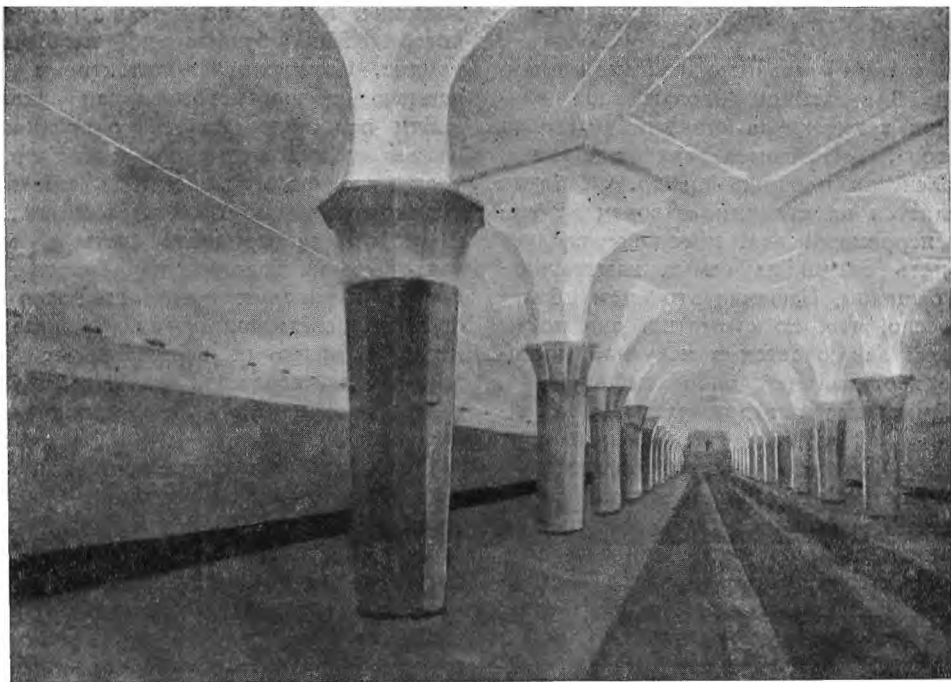
композиционными средствами этого архитектурного преобразования действительности и здесь являются конфигурация перекрытия, фактура облицовочных материалов и богатство цвета и света. Совершенно ясно, что в условиях такой исключительно большой нагрузки на вертикальные опоры, когда поперечное сечение пильера оптически достигает около двух метров, реальное увеличение высоты перронных зал было бы обоюдоострым оружием. Ибо при большой абсолютной величине модули пильера его значительная высота привела бы к превращению почти кубических пильеров, которые читаются сейчас в продольном направлении как части стены, в грандиозные, давящие своей массой пилоны. И совершенно правильно поступил Н. Колли, идя по линии создания иллюзорной высоты и пространственности перронных зал посредством соответствующей деформации плоскости перекрытия и материальности его массы. Полуциркулярный свод большого радиуса ощутительно восполняет малую высоту пильеров. Но особенно эффективно исполь-

зованы архитектором свет и цвет. Спрятанный за выгнутым антаблементом, отраженный свет, обильно растекаясь по криволинейной поверхности, почти дематериализует массу свода, оптически уничтожает его весомость и насыщает ракурсную перспективу пространством. Равным образом облицованные серым мрамором пильеры, благодаря соответствующему освещению их полированной поверхности, тоже скрадывают как тяжесть воспринимаемой нагрузки, так и вес собственной массы.

Из внутренней архитектуры станции «Площадь Дзержинского» следует выделить переходный вестибюль. Благодаря криволинейности плана он четко впечатляет своими поверхностями, облицованными желтыми глазурированными плитками с узкими черными вертикальными интервалами и черным цоколем. Интенсивный свет полусферических люстр выгодно усиливает светлоту цветового тона стен. Предэскалаторный вестибюль широких размеров искусно перекрыт без колонн. Стены его облицованы розовым мрамором. Кессонированная обработка перекрытия связана с



Станция «Охотный ряд»



Станция «Дворец советов»

оригинальной композиционной системой распределения световых точек. Последние обрамляют кессонированную плоскость перекрытия в виде шарообразных люстр. Остается лишь пожалеть, что переход от горизонтальной плоскости перекрытия к вертикали стен осуществлен несколько резко: прямолинейной срезкой образующегося прямого угла, то есть заменой одного прямого угла двумя тупыми.

Грандиозное впечатление производят перронные залы станции «Охотный ряд». По своим координатам — 170 м. длины, 34 м. ширины и 13 м. высоты — станция «Охотный ряд» является наиболее грандиозным (из построенных закрытым способом) подземным сооружением современной мировой техники. К дебаркадеру этой центральной станции московского метрополитена, которая уже получила у нас эпитеты «сердце метро», «сердце подземки», ведут шесть эскалаторов. В своем архитектурно-композиционном построении перронных зал авторы (12-я архитектурно-проектная

мастерская Моссовета, руководитель — Н. Г. Боров) старались исходить из простых монументальных форм, способных уничтожить у пассажиров ощущение пребывания на глубине около 20 метров. С этой целью архитекторы уменьшают сечение вертикальных опор посредством введения парных колонн. Перекрытие трактуется плавной кривой неполного полуциркульного свода большого радиуса. Инертность вертикального движения вверх достаточно массивных опорных колонн успешно восполняется стройными высокими вазообразными люстрами на пьедесталах. В соответствии с той же целью архитекторы старались выдержать облицовку перронных зал в исключительно светлых, серебристых тонах мрамора и окраски. Насыщенный отраженный свет действительно скрадывает титаническое опорное сопротивление несущих конструкций и в сочетании с большим масштабом пространства создает атмосферу жизнерадостной свето-цветовой насыщенности.

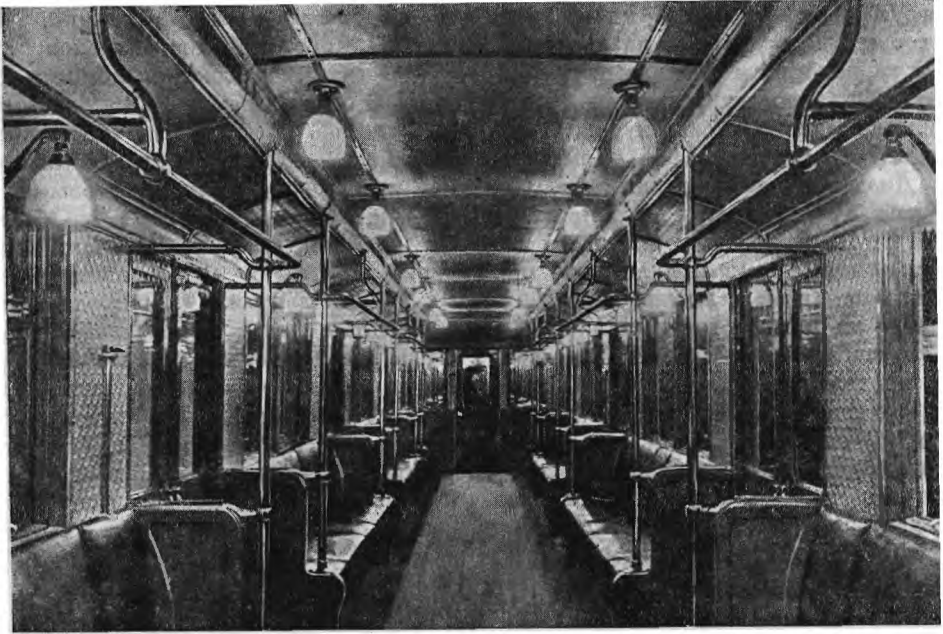


Из станций мелкого залегания наибольшего внимания заслуживает внутренняя архитектура станций «Дворец Советов», «Комсомольская площадь», «Смоленская площадь» и др. Особенно выделяется на станции «Дворец Советов» перронный зал, который следует признать одним из самых замечательных решений. Решение это тем более интересно, что, по существу, оно почти целиком заключается в искусной постановке вертикальных опор дебаркадера. В этом отношении две смежных станции — «Библиотека им. Ленина» и «Дворец Советов» — представляют два противоположных метода решения архитектуры перронного зала. Архитектор станции «Библиотека им. Ленина», исходя из архитектурных соображений, предпочел обойтись вовсе без вертикальных опор. Архитекторы станции «Дворец Советов» (А. Н. Душкин, Я. Г. Лихтенберг), напротив, использовали именно вертикальные опоры в качестве основного композиционного средства. Сравнительный анализ обоих решений показывает, что, в условиях наших технических и архитектурных возможностей, при решении зала с сильно преобладающей продольной координатой (оптически протяженность координат подземной станции укладывается в пределах 6 : 30 : 150 метров) безусловно более благодарным является второй метод решения.

Однако наиболее ценным в решении вертикальных опор станции «Дворец Советов» является именно то, что архитекторы нашли совершенно новую форму колонны, которая целиком порождена одновременно конструктивными и композиционными требованиями перронного зала метро. Уширяющиеся снизу вверх и заканчивающиеся большой раскрытой чашей, светящейся отраженными лучами, десятигранные колонны перронного зала приятно поражают не только новизной их очертаний, но и тщательно взвешенным соотношением частей. Вся архитектурная практика последнего столетия показывает, что найти органическую архитектурную форму

колонны, эмансипированную от исторической бутафории, необычайно трудно. Советским архитекторам для данного конкретного случая удалось найти подобную новую органическую, художественно-конструктивную форму колонны. Даже независимо от удачной облицовки светлым мрамором, все тридцать четыре мощных, высоких колонны перронного зала, капители которых воспринимаются как огромные светильники, излучающие свет непосредственно из вертикальных опор перекрытия, создают величественную и совершенно необычную архитектурную перспективу.

Основное композиционное звено станции «Комсомольская площадь» — тоже грандиозный дебаркадер с двумя параллельными галереями на уровне 5 — 6 метров. Одно лишь передвижение по этим галереям и дебаркадеру потоков пассажиров в разных уровнях и по разным направлениям будет создавать необычайно динамические и разнообразные перспективы. Вторая отличительная особенность этого дебаркадера — его грандиозные масштабы по всем трем координатам. К этому следует прибавить репрезентативную обработку его вертикальных и несущих конструкций, оживление сложной фактурной гаммы различных цветов мрамора колонн и стен искусно распределенным светом и ряд других композиционных приемов. Все это вместе придает перронному залу станции «Комсомольская площадь» характер величественного дворцового зала. Мощные четырехгранные колонны, облицованные розовым мрамором, с высокими композитными капителями, в которые включены между видоизмененными окаймленными листьями эмблемы — КИМ, пятиконечная звезда и серп и молот, — удачно подчеркивают, что это зал советского дворца. Как указывалось, художественный эффект данного архитектурного решения достигается не только грандиозными масштабами и удачной вертикальной планировкой, но и тщательной отделкой деталей в обработке стен, перекрытий, в очертаниях осветительной арматуры и т. п.



Архитектура вагона

Из внутренней архитектуры станции «Смоленская площадь» верхний вестибюль у лестницы отличается своим пространственным масштабом и декоративными, утвержденными непосредственно на перилах, высокими светосильными электрическими лампами. Нижний вестибюль решен в строгих прямолинейных формах. Ровные, гладкие плоскости его стен служат фоном для массивных четырехгранных колонн, облицованных серым мрамором. Огромный перонный зал условно членится мощными четырехгранными колоннами, облицованными мрамором. Сечение колонн благодаря их большой высоте является вполне масштабным. Найденное соотношение пространственных координат внутреннего объема уничтожает малейший намек на подземное расположение перонного зала станции.

Дебаркадер станции «Сокольники» является одним из наиболее скромных. Но и на этой станции отчетливо видны все основные преимущества архитектурного решения московского метрополитена. В первую очередь к ним относится большой масштаб всех трех его

координат. В то время как самые крупные дебаркадеры Парижа, где архитектура метро стоит выше, чем в других странах Запада, имеет в длину не более 100 метров, а вестибюли берлинского метро, даже в «аристократическом» районе Вестен (станции «Виттенбергплац», «Ам Цоо» и др.) достигают едва 3,5 метра высоты, перонные залы московского метро имеют от 4,5 до 6 метров высоты и достигают 160 метров длины. Второй прием архитектурно-композиционного решения дебаркадера, обеспечивающий перспективное богатство перонного зала, — это упомянутая вертикальная планировка перрона. В частности перрон Сокольнической станции имеет две больших возвышающихся площадки в своих крайних продольных точках. Третий прием — архитектурно-композиционное освоение несущих конструкций и перекрытия.

Как и на других станциях московского метро, наибольшим архитектурным размахом на станции «Красносельская улица» отличается ее дебаркадер. Ведущим архитектурно-композиционным зве-

ном здесь является опять сочетание масштаба и конфигурации внутреннего объема с его вертикальной планировкой, обработка несущих и опорных конструкций, обработка поверхности стен и перекрытия, насыщенный свет, художественное решение осветительной арматуры и др. Диаметр десятигранных колонн оптически укладывается в пределах 0,7 метра. Высота колонн оптически достигает не менее семи модулей, что при данной абсолютной величине поперечника делает их в меру монументальными. Облицовка стержня колонн желтым крымским мрамором (из карьера Бюк-Янкой) выгодно облегчает их сравнительно ощутительный объем.

Пространственно решенный большой перронный зал станции «Крымская площадь» выделяется своей тщательно продуманной фактурной композицией стен, обработанных фарфоровыми плитками, мощными массивными колоннами, облицованными мрамором, и декоративной обработкой перекрытия. Распределенные по заданной конструкторами сетке, колонны перронного зала выгодно расположены и в архитектурном отношении и удачно выделяются своей фактурой мрамора. Решение колонн вызывает возражение лишь со стороны трактовки их капителей и базы. Сильно расчлененный декоративный профиль базы как-то не вяжется с опорным сопротивлением стержня тяжелой колонны. Аналогичное замечание можно было бы сделать и относительно подчеркнуто декоративного характера трактовки капители.

Два ряда массивных, облицованных темножелтым крымским мрамором, четырехгранных колонн станции «Арбатская площадь» членят опромное пространство дебаркадера на три просторных пролета.

Необходимо в заключение отметить, что результат напряженной композиционной работы представляет собой также внешняя и внутренняя архитектура цельнометаллических сварных вагонов московского метрополитена (арх. С. Кравец). Внутренняя архитектура вагонов метро, благодаря их большим габаритам, отличается тем же принци-

пом пространственного решения, что и перронные залы станций. Внутреннее оборудование вагонов выделяется своими высокими, мягкими диванами с большими поверхностями боковых спинок, блестящими металлическими горизонталями и вертикалями стержней и шарообразными матовыми люстрами. Все это вместе с большими плоскостями зеркального стекла окон делает их своеобразными залами отдыха в пути. 32 широкие, двухстворчатые двери восьмивагонного состава поезда метро обеспечивают быструю разгрузку поезда, вмещающего до 1.600 человек. Внешняя архитектура вагона выделяется своими четко очерченными крупными объемными формами и спокойными изгибами монументальных плоскостей по краям. Кремовая крыша вагона, двухцветные стены, тонкий алюминиевый пояс по нижней линии широких зеркальных окон — все впечатляет своею тщательностью отделки. Своими объемными формами, цветом и полированной поверхностью вагоны метро не только вполне гармонируют, но и заметно восполняют архитектуру перронных зал, заполняя специально предназначенное для них пространство.

Все вместе взятое говорит о необычайно высоком архитектурном уровне первой очереди московского метро, который действительно является лучшим в мире не только с технико-эксплуатационной и инженерно-строительной, но и с архитектурно-композиционной стороны. Можно без всякого преувеличения сказать, что архитектура московского метро — ценнейший вклад в мировую архитектуру сооружений транспорта. Прделанная работа по строительству первой очереди метро оказалась прекрасной архитектурной школой, на которой творчески выросли не только наши молодые мастера, но и ряд зодчих старшего поколения.

Чем объяснить подобный всесторонний успех в строительстве московского метрополитена?

Во-первых, к строительству метро было приступлено своевременно, когда огромные успехи в области индустриа-

лизации страны и высокое техническое переоборудование наших предприятий позволило нам обойтись почти без иностранной помощи. Второе условие — социалистический характер строительства, сооружение метро широкими массами трудящихся для самих трудящихся. Ни одно предпринимательское строительство капиталистических стран никогда такого пафоса строительства конечно создать не может. Третье, решающее условие, обеспечившее успешное строительство, — огромная помощь метро со стороны московского комитета партии и в частности руководителя московских большевиков — Лазаря Моисеевича Кагановича. Являясь ближайшим помощником инициатора строительства московского метро — товарища Сталина, Лазарь Моисеевич Каганович неизменно находил время для помощи строителям метро. Тов. Каганович не только неустанно заражал строителей своим исключительно бодрым

личным пафосом социалистического строительства. Один из выдающихся политических деятелей и темпераментнейший трибун, Л. М. Каганович буквально вынес на себе все основные трудности технической и творческой организации строительства от начала его до момента окончания. Участие Л. М. Кагановича выразилось не только в том, что он неизменно проверял ход работ в шахтах метро, инструктировал инженеров и рабочих и т. д. Одновременно Л. М. Кагановичем была проделана очень ценная творческая работа по консультации всего архитектурного проектирования московского метрополитена.

Вся эта работа по техническому и архитектурному проектированию лишний раз говорит о том, что лучшее в мире московское метро действительно должно носить имя его лучшего ударника, вдохновителя — Л. М. Кагановича.

2. ПЕРВАЯ ЛЕНСКАЯ

1. Подготовка. — Разбуженный Енисей

Б. Лавров

В дореволюционное время Север был известен преимущественно как место политической ссылки и как район, где местные туземные племена подвергались особенно грубой и беззастенчивой эксплуатации.

Вековые лесные массивы, горные богатства, огромные количества рыбы и морского зверя оставались нетронутыми. Только хищнически истребляясь ценный пушной зверь, и первобытным способом разрабатывались золотые месторождения.

Попытки развития северной промышленности, начатые наиболее передовыми представителями сибирской буржуазии — Сидоровым и Сибиряковым, встречали самое грубое противодействие со стороны царских администраторов.

Единственный выход для этих бо-

гатств — Северный морской путь — также не встретил поддержки со стороны царского самодержавия. Север был целиком принесен в жертву колониальной политике правительства, продиктованной столичными биржевиками.

В семидесятых годах прошлого столетия сибирский промышленник Сидоров направил тогдашнему «наследнику престола» докладную записку «О средствах вырвать север России из его бедственного положения».

Эта записка не осталась без ответа. Генерал Зиновьев наложил на ней исчерпывающую и решительную резолюцию: «Так как на севере хлебопашество невозможно и никакие другие промысла немислимы, то, по моему мнению и мнению моих приятелей, необходимо народ удалить с севера во внутренние страны государства. А вы хлоп-

почете наоборот и объясните о каком-то Гольфштроте, которого на севере быть не может. Такие идеи могут проводить только помещанские».

Так генеральский апломб задавил здоровую инициативу прогрессивной части сибирской буржуазии.

Несколько позднее правительство все же пошло на уступки. В 1877 г. был разрешен беспошлинный провоз товаров через Северный морской путь в устья рек Оби и Енисея. Кое-какие суда пришли из-за границы с импортными товарами и вывезли несколько десятков тысяч пудов сибирской пшеницы. Но тут забили тревогу московские биржевики, для которых выгодно было держать Сибирь на положении колонии. По их ходатайству, льготы для судоходства по Северному морскому пути сначала были сильно ограничены, а затем и совершенно отменены. Карское море вновь опустело.

Не лучше дело обстояло и в позднейшее время. В 1908 г. думская фракция сибиряков возбудила перед властями ходатайство о частичном порто-франко в устьях Оби и Енисея, указывая на всю выгодность этого мероприятия для развития производительных сил Севера, в частности для лесной промышленности.

В ответ на это министр финансов Ковцев написал: «Тот ли это лес, который может выдержать конкуренцию не говоря уже скандинавского или канадского леса, но даже леса хотя бы Архангельской губернии. Континентальный климат Сибири губительно отзывается на росте деревьев, от сильного мороза древесина их разрывается...»

Отсюда последовал вывод: «Министерство финансов не решается возлагать надежды на экспорт леса за границу и могущие произойти от сего выгоды для Сибири».

Так еще раз бюрократическим рощерком пера, при содействии буржуазной науки, был похоронен и Северный морской путь, и сибирский лесной экспорт.

Эти исторические цитаты звучат особенно курьезно теперь, когда через Карское море и устья Оби и Енисея

ежегодно проходят десятки кораблей, когда проложены первые вехи к устью реки Лены и даже к Берингову проливу.

Октябрьская революция, похоронившая в России царизм и капитализм, вызвала к жизни Северный морской путь. Лозунг индустриализации СССР стал лозунгом и заполярного Севера.

Советское правительство, в лице Сибревкома, сразу же после изгнания банд Колчака из Сибири, глубоко и всесторонне занялось разрешением проблемы Севера в целом.

В 1920 г. был организован Комитет Северного морского пути при Сибревкоме (Комсеверпуть), в 1922 г. — Управление по обеспечению безопасности кораблевождения (Убекосибирь) и в 1923 г. — Комитет содействия малым народам при ВЦИК (Комитет Севера).

Работа этих организаций дала много положительного для всего заполярного Севера и для изучения Северного морского пути к устьям Енисея и Оби. Изучение шло параллельно с практическим использованием этого пути.

Морские пароходы, сначала в очень ограниченном количестве, начиная с 1921 г. начали проходить ежегодно через Карское море. Они привозили импортные грузы для Сибири и Урала и увозили наиболее рентабельные товары — лен, кожевенное сырье, шерсть и т. п. При этом не только в ценностном, но и в весовом отношении импортные грузы очень часто преобладали над экспортом. Это свидетельствовало о слабом развитии производительных сил Севера и неприспособленности в то время Северного морского пути к транспортированию малоценных и громоздких грузов.

В 1922 г. против 5.837 тонн экспорта было импортировано 7.790 тонн. В следующем году на экспорт пошло только 24 тонны. Пароход привез 1.076 тонн импортных грузов.

С 1924 г. началась отправка пиломатериалов. Красноярские заводы послали за границу первые 757 стандарт. Количество совершенно ничтожное. Но и эта партия показала, во-первых, физическую возможность транспорти-

ровки леса через Карское море, а, во-вторых, определила лицо сибирского леса за границей. Вырученная средняя цена за стандарт пиломатериалов была много выше средней цены скандинавского, канадского и беломорского леса.

Так жизнь опровергла глубокомысленный скептицизм министра Ковковца.

С этого года лес занял доминирующее положение среди экспортных грузов Карских экспедиций.

Период с 1924 г. по 1928 г. можно назвать первым периодом хозяйственной эксплуатации Карского моря. Он характеризуется следующими чертами: во-первых, крайне медленным ростом экспорта; во-вторых, почти постоянным преобладанием, даже в весовом отношении, импортных грузов над экспортными; в-третьих, дорогой себестоимостью фрахта и, в-четвертых, получением экспорта исключительно с заводов, расположенных по линии железных дорог. Леса Севера, непосредственно тяготеющие к Северному морскому пути, оставались неиспользованными.

Поворотным пунктом явился 1929 год. В этот год был заложен первый дом будущего заполярного города и порта на пустынной протоке реки Енисей — Игарке. Планы работ были значительно расширены как в части транспортных операций через Карское море, так и в части развития северной лесной промышленности.

Консерватизм многих видных специалистов, боязнь новаторства, отголоски идей Ковковца и К^о — все это сильно затрудняло развитие работ по освоению Севера.

Указывали на исключительную трудность проводки больших судов через льды, на краткость навигации, на невозможность закончить своевременно все погрузочно-разгрузочные работы в Игарке, на невозможность сплава по Енисею и т. д. Не забыли даже летнюю мошкору тайги, как угрозу работе заводов на Игарке.

Конечно указания на трудности, стоящие на пути к завоеванию Севера, были совершенно правильны, но совсем неправильно было считать эти трудно-

сти непреодолимыми. И они были преодолены. Город и порт Игарка выросли очень быстро. Три лесозавода, графитная фабрика, ряд подсобных предприятий и совхоз давали новый тон всему енисейскому Северу.

Экспорт леса начал увеличиваться быстрыми темпами. Центром лесоэкспортных операций стала Игарка и тяготеющие к ней северные лесные массивы. В 1932 г. Игарка дала 64 проц. всего карского экспорта. При этом полезный выход древесины для экспорта увеличился до 40 проц.

Начиная с 1931 г. карский лес удерживает за собой первое место в Союзе как по своему качеству, так и по качеству укладки и перевозки на пароходах.

Заметно снизилась за эти годы и себестоимость фрахта за стандарт. Против прежних 119 шиллингов 1932 год дал понижение до 74 шиллингов, плюс к этому 17 руб. советской валютой в оплату ледокола и авиации. В 1933 г. валютные расходы выразились в 67 шиллингов на стандарт, а в 1934 г. — в 58 шиллингов. Не менее резко понизились и страховые ставки за экспортируемые и импортируемые грузы.

Этот период можно назвать вторым периодом в работе по развитию экспортно-импортных операций через Карское море.

В результате хозяйственная возможность и целесообразность работы через Карское море также были вполне доказаны. Западная часть Карского моря превратилась в артерию нормальной водной связи севера Сибири и Урала с европейскими портами и портами СССР.

Накопленные знания и опыт позволили выпустить в 1930 г. первую лоцию Карского моря на русском и английском языках, с подробными картами. Карское море получило свой первый паспорт, где были обозначены если не все, то по крайней мере основные его приметы. Это положило конец экспедиционности плавания. Одиночные корабли, ранее оваянные славой арктических исследователей, теперь сменились десятками лесовозов, выполняющих заранее составленный план грузоперевоз-

зок. Ранее почти безлюдные низовья рек Оби и Енисея получили мощный толчок к развитию своих производительных сил. Мертвые богатства Севера впервые стали на службу страны строящегося социализма.

На этой работе выковались кадры северных моряков, изучивших условия полярного плавания и стремящихся в своей работе к темпам, какими живет весь Союз.

Естественно, что при этих условиях дальнейшее продвижение на восток явилось совершенно логическим шагом. На очереди встал вопрос об организации постоянных плаваний к берегам Якутской республики, вокруг самой северной оконечности Северной Азии — мыса Челюскина.

История знает очень немного примеров прохождения отдельных экспедиций этим путем и не знает ни одного случая прохождения здесь не только грузового каравана, но и хотя бы одного грузового судна.

Первым и наиболее удачным из всех путешествий вокруг Таймырского полуострова было плавание «Веги» в 1878 г. под руководством знаменитого полярника Норденшельда. Выйдя из Готебурга 4 июля, «Вега» 6 августа была на острове Диксон; 14 августа она достигла реки Таймыр; потеряв здесь 4 дня на стоянку из-за туманов, 19 августа она прошла около мыса Челюскина, почти не встретив льдов. Поход «Веги» осложнялся тем, что ею буксировался речной пароход «Лена». Несмотря на это, 1 сентября пароход этот был у места назначения — в бухте Тикси.

В 1893 г. путь Норденшельда повторил Хансен на своем «Фраме». В дневнике Хансен писал: «Мы вошли в Карское море, страшное море. Отправляясь, я всегда говорил, что если мы благополучно пройдем Карское море, мимо мыса Челюскина, то самое трудное будет сделано».

Карское море поставило перед Хансеном большие препятствия. Только 18 августа он миновал остров Диксон. В результате мыс Челюскина был пройден им чрезвычайно поздно — 10 сен-

тября. Как известно, дальнейший путь Хансена лежал к Новосибирским островам, откуда он и начал свой знаменитый дрейф к Северному полюсу.

Следующим судном, прошедшим это направление в 1900 г., была шхуна «Заря». Она вышла с острова Диксон тоже чрезвычайно поздно — 18 августа. В результате 26 сентября она стала на зимовку в бухте Кольи-Арчер, не будучи в состоянии бороться с окружающими льдами. Только 25 августа следующего года она освободилась из этого плена и 1 сентября прошла мыс Челюскина.

С таким же успехом или, вернее, неуспехом проделало этот путь в 1914 г. судно «Эклипс», вышедшее на поиски погибшего геолога Русанова. «Эклипс» дошел до острова Диксон только 28 августа. У острова Скотт-Гансена льды уже показали большую сопротивляемость. 12 сентября судно зазимовало у мыса Вильде, освободившись от льдов только 11 августа 1915 г.

С 1912 по 1914 г. два ледокольных парохода, «Таймыр» и «Вайгач», пытались осуществить сквозной проход в обратном направлении, идя с востока на запад. В 1912 г. они не могли пройти до мыса Челюскина приблизительно 150 миль и 9 сентября повернули обратно. Эта попытка была повторена в 1913 г., но окончилась также безуспешно. Подойдя 1 сентября к мысу Челюскина, пароходы вновь повстречались с тяжелыми льдами. 12 сентября был отдан приказ возвращаться во Владивосток.

Важность прохода сквозным Северным морским путем заставила продолжать эту работу и в 1914 г. На этот раз «Таймыр» и «Вайгач» 1 сентября снова были у мыса Челюскина. Состояние льдов оказалось чрезвычайно неблагоприятным. Не дойдя до архипелага Норденшельда, оба судна зазимовали. На следующий год лед пришел в движение около их зимовки 2 августа. При крайне неблагоприятных условиях 11 августа пароходы приблизились к северо-восточной конечности полуострова Таймыр. Здесь один из ледоколов получил большую пробоину. Состояние



Чум енисейских остяков

льдов и погоды оставалось крайне неблагоприятным. Только 30 августа «Таймыр» и «Вайгач» подошли к острову Диксон, пройдя, таким образом, путь Норденшельда в обратном направлении, но потеряв для достижения этой цели чрезвычайно много времени.

Для полноты картины о плавании вокруг Таймырского полуострова, до похода «Сибирякова» и «Таймыра» в 1932 г., нам остается только напомнить о походе Амундсена на шхуне «Мод» в 1918 г. Как известно, Амундсен предполагал повторить дрейф Нансена через полярный бассейн. «Мод» вышла с Диксона 4 сентября; через три дня она пришла к архипелагу Норденшельда. Здесь были встречены значительные льды. Попытка обойти их с севера потерпела неудачу. Держась вдоль берега, шхуна смогла подойти к мысу Челюскина 10 сентября. Можно сказать, что этим ее дальнейшее продвижение закончилось, так как, пройдя далее на восток не более 20 миль, Амундсен должен был стать на зимовку из-за льдов и простоял до 12 сентября 1919 г.

Этими плаваниями исчерпываются все исторические попытки овладения северо-восточным проходом. В 1932 г. этот путь повторил «Сибиряков». 4 августа он был на острове Диксон, 14 августа — на Северной Земле, 27 августа — в устье Лены и 1 октября — у берегов Берингова пролива. Льдов встречалось мало, и они не мешали продвижению судна нигде, за исключением восточного берега Северной Земли, где льды были более плотные.

Таким образом, не считая «Сибирякова», только два судна — «Вега» и «Фрам» — совершили поход Диксон—Лена в одну навигацию. Причем «Вега» сделала путь Диксон—Лена в 17 дней, а «Фрам» — в 30 дней. Три экспедиции на четырех судах — «Заря», «Таймыр», «Вайгач» и «Мод» — прошли этот путь после зимовки; двум пароходам — «Таймыр» и «Вайгач» — поход с востока не удался совершенно.

Для всех путешествий вокруг Таймырского полуострова характерно то, что, чем позднее судно выходит с острова Диксон, тем менее удачным является

исход экспедиции. Это показывает, что состоянием льдов запада Карского моря до известной степени предопределяется ледовое положение и его восточной части.

1932 год был чрезвычайно благоприятен для плавания в Карском море. «Сибиряков» почти не встречал льдов и на северо-востоке его.

Политическое и экономическое значение овладения этим участком Северного Ледовитого океана чрезвычайно велико.

Обширная Якутская республика и Хатанго-Авамская тундра, населенная более чем 300 тыс. человек, изобилуют разнообразными природными богатствами. Уже на настоящей, далеко не совершенной, стадии наших знаний о богатствах Севера можно говорить о наличии там больших залежей каменного угля, полиметаллических руд, соли, исландского шпата и т. д. Есть основания считать этот район будущим источником снабжения рынков СССР и нефтепродуктами. В самой ничтожной степени используются также леса Якутской республики, богатства северных рек и моря этого района.

Без освоения Северного ледовитого океана политический и экономический рост Якутской республики и других местных национальных округов и районов не может идти теми темпами, которые характерны для всего нашего Союза.

Освоенный многолетними работами Карских экспедиций запад Карского моря давал все основания для дальнейшего продвижения на восток, к берегам Якутской республики, и через Берингов пролив — на Камчатку и Дальний Восток.

При учете всего этого становится понятным постановление Совнаркома СССР от 20 декабря 1932 г. о посылке в навигацию 1933 г. первого каравана морских и речных судов из Архангельска к устью реки Лены и парохода «Челюскин» во Владивосток Северным морским путем.

Подготовка экспедиций, идущих в неисследованные зоны суровой Аркти-

ки, представляет не меньшие трудности, чем самое плавание.

Надо учесть все будущие случайности плавания во льдах, надо взять все, что нужно для работы и жизни в необжитых пространствах, и не брать ничего лишнего. Надо использовать каждую минуту, потому что Арктика только на очень короткое время открывает узкую дверь в свои необъятные однообразные пространства.

1-я Ленская экспедиция была трудной для осуществления именно потому, что она была первой. Она не ставила себе задач изыскательского порядка, но по логике вещей она должна была быть одновременно и изыскательской, и хозяйственной. Она должна была дать груз Якутской республике и открыть этой стране ворота через Ледовитый океан в порты СССР.

После освоения западной части Карского моря Енисей и Обь сделались воротами Красноярского края и Омской области для выхода их продукции ко всем портам. Изучение и освоение востока этого моря и моря Лаптевых должны были сделать такими же воротами для Якутской республики реки Лены, Хатангу и др.

Насколько эта задача назрела, видно хотя бы из того, что с каждым днем увеличивались предложения для перевозки грузов в бухту Тикси, в устье Лены, и в бухту Нордвик, около устья Хатанги. Вместе с этим не было ни одного предложения на вывоз грузов оттуда. Это также было симптоматично. Побережье Ледовитого океана оставалось еще мертвым. Его богатства были скованы вековым сном. Ленская экспедиция должна была его разбудить.

Три лесовоза, «Володарский», «Товарищ Сталин» и «Правда», с 3 тысячами тонн груза каждый, были зафрахтованы, чтобы взять на себя перевозку предьявленных грузов на реки Лены и Хатангу. В том же направлении шел «Сибиряков» — на мыс Челюскина, «Русанов» — в бухту Прончищевой, находящуюся на восточном берегу Таймырского полуострова, «Седов» — на Северную Землю и «Челюскин» — к Владивостоку.

Грузы морских пароходов росли. Это вызвало необходимость одновременной переброски на р. Лену двух речных пароходов и громадного лихтера. Существующий флот р. Лены не был в состоянии принять привезенные грузы и доставить их к месту назначения.

Река Обь должна была отдать на р. Лену теплоход «Первая пятилетка» в 1.400 сил и лихтер № 7 грузоподъемностью в 3 тыс. тонн. Река Енисей выделила пароход «Партизан Шетинкин» в 800 сил.

Задачи усложнялись. Там, где не проходило ни одно грузовое судно, должны были пройти несколько судов, в том числе три со слабым речным корпусом.

От Омска до Якутска предстояло совершить путь «Первой пятилетке» с лихтером на буксире. От Красноярска до Якутска лежал путь «Партизана». Расстояние сказочное даже для плавания в обычных условиях.

Силам Арктики современный полярник может противопоставить метеорологию, авиацию, радио и наконец ледоколы. Вооруженная всей современной техникой, экспедиция может рассчитывать на успех там, где раньше всякие попытки оказывались безнадежными.

Краснознаменный ледокол «Красин» пойдет во главе экспедиции. Испытанный в многочисленных полетах над Карским морем самолет «Дорнье-Валь» обеспечит ее разведкой. Радиостанции о. Диксон, мыса Челюскина, бухты Тикси и радиостанции пароходов позволят держать непрерывную связь. Метеорологические станции, разбросанные на о. Диксон, по многим пунктам Новой Земли, на мысе Челюскина и на Северной Земле, дадут возможность синоптикам пароходов за много времени вперед предсказывать изменение погоды.

Экспедиция готовилась по-серьезному к встрече с серьезным противником.

Подготовка экспедиции

«Красин» заканчивал свой ремонт в Ленинграде. Водническая общественность

горячо приняла к сердцу интересы экспедиции. Ее энтузиазм сообщился всем. Вокруг «Красина» день и ночь кипела лихорадочная работа. Формой напоминания громадный уют, с мощным механизмом, с испытанной в многочисленных ледовых схватках командой, ледокол был надежным бойцом в близком походе. Его капитан, М. Я. Сорокин, постоянный участник Карских экспедиций, вел энергичную подготовку.

— Мы к сроку успеем. Не подвели бы только речники. Архангельск тоже делает свое дело. А вот, как в Омске и Красноярске, этого уже я не знаю.

— И повидают же речники горя на море. Им и от берега отойти будет страшно, — заранее потешалась над речниками морская команда «Красина».

Конечно в нашей экспедиции это было «слабое звено». Но во главе речного похода стоял опытный моряк, капитан Модзалевский. Его помощники внушали не меньшее доверие. Все они видели Карское море не раз. Они же привели из-за границы эти изящные речные пароходы в 1931 г. в устья Оби и Енисея. На их долю выпала теперь еще более трудная задача — перебросить часть этих пароходов на р. Лену.

Команда состояла из речников-ударников Обского и Енисейского бассейнов. От земли им отойти будет не страшно. Но льды—возможная зимовка — могут иметь для них очень тяжелые последствия. На это звено надо обратить особое внимание.

Итак, флотилия 1-й Ленской экспедиции разбросана по четырем пунктам, отделенным друг от друга колоссальным расстоянием: «Красин» — в Ленинграде, лесовозы — в Архангельске, «Первая пятилетка» — в Омске и «Партизан» — в Красноярске.

Местом их встречи назначен о. Диксон со сроком прибытия в первых числах августа. К этому времени обычно освобождаются от льда проливы Карского моря, а также Обская губа и Енисейский залив.

Графики похода судов разработаны детально.

Омская пристань жила непривычно напряженной жизнью. Время бежало незаметно. Приближался срок отхода судов. Между тем еще многое не было готово. Надо было поставить добавочные крепления на лихтер, получить все научные приборы, запасные части к дизельным машинам «Первой пятилетки» и обеспечить все снабжение судов как для похода, так и на случай вынужденной зимовки.

Все это было послано из Москвы, и все это где-то медленно тащилось в товарных вагонах между Москвой и Омском. Надо было выйти обязательно во-время. Река Иртыш быстро мелела. Нормирующие глубины на перекатах падали с такой быстротой, что не исключена была задержка в пути из-за необходимости перегрузок и других остановок.

На лихтер же возлагали все надежды морские пароходы. Он должен был подвезти уголь на Диксон для их добункеровки. Его опоздание вызвало бы опоздание всего морского каравана.

— Ну, сегодня пришли наконец все наши грузы, — торжествовал завхоз Маслов. — Скоро выйдем.

Увы, торжество было преждевременным. На другой день он в отчаянии стоял над полученной спецодеждой. Шапки годились только на головы школьников, зато сапоги отличались необыкновенной вместительностью. Ватные куртки были налицо, о брюках же сообщалось, что они «досылаются».

Весь этот день сотрудники экспедиции провели в обследовании складских помещений г. Омска. Местные власти сделали все возможное, чтобы можно было подбирать «спецодежду для команды, а не команду для спец-одежды».

Это было исправлено. Но по мере распаковки грузов обнаруживались дальнейшие сюрпризы. Пришел аммонал и к нему бикфордов шнур. Запалов же не было. Они тоже «досылались». Ружья и винтовки были одного калибра, патроны для них — других размеров и т. д.

— Хорошо, что мы грузимся в Омске. А что бы мы делали, если бы все это было нам передано на Диксоне, — говорили сотрудники экспедиции.

Конечно хорошо, что в Омске значительную часть «несоответствий» можно было исправить. Но нехорошо начинали свой первый год работы полярники-снабженцы.

Невозмутимый Шарашов, начальник обского транспорта Главсевморпути, рассуждал просто и резонно:

— Вы лучше уходите скорее, а то вода падает. А дорогой либо шапки к головам притрутся, либо головы к шапкам. Без воды же пропадете.

17 июля «Первая пятилетка» с двумя лихтерами двинулась в путь.

Можно было ехать дальше в Красноярск. Каково же было наше разочарование, когда вечером того же дня в Омске опять показались знакомые лица. Вода все-таки «подвела». В 18 километрах от Омска, на Ново-Зиминском перекате, нормирующая глубина упала до 160 сантиметров. Там работал землечерпательный караван, обещая дать нужные глубины через два дня.

— Никак не оторвемся от Омска, — злились моряки. — Скорей бы выйти в море. Пусть льды, пусть что угодно, только бы не эти проклятые мели.

Их негодование было понятно. Все сознавали ответственность «Первой пятилетки» перед всей экспедицией. Все старались итти как можно быстрее. «Пятилетка» нагоняла время на хороших глубинах, но успехи целого дня сводились на-нет при первой же посадке на мель. Служба пути на Иртыше была далеко не на высоте. К этому прибавилось необычное мелководье. Более четырех суток потерял экспедиционный караван на пути к Тобольску.

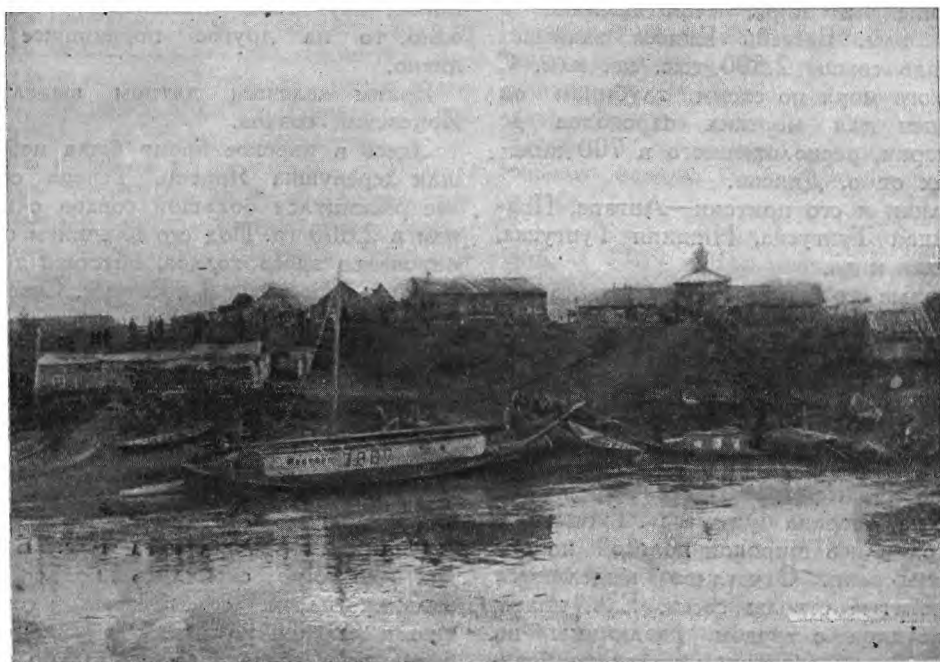
Впереди предстояли, повидимому, не меньшие затруднения. Радиограммы из Нового Порта — Обской губы — говорили о небывало долгой задержке льда в этом районе и о полной непроходимости его даже для морских судов. Обстоятельства здесь начали складываться неблагоприятно.

В Красноярске «Партизан Щетин-

кин» с угольным лихтером на буксире также готовился к походу. Дела с его снабжением обстояли не блестяще, но впереди был г. Игарка, где можно было рассчитывать основательно пополниться. Его корпус, уже потрепанный в предыдущих плаваниях, был особенно ненадежен при проводке во льдах. Цистерны для питания котлов пресной во-

Игарку. Он, несомненно, придет на о. Диксон своевременно, если залив Енисей уже свободен ото льдов. Его лихтер с углем будет базой для первых морских пароходов.

Время дорого. Надо воспользоваться аэропланом, чтобы притти в Игарку и на о. Диксон как можно раньше. Там разгар подготовки к очередной Карской



Туруханск 1931 г.

дой во время морского перехода на «Щетинкине» не было, и это предопределяло его буксировку, если только ему не представится возможность захода в реки Таймырского полуострова.

Подкрепили корпус судна, установив в фортике айсбимс. Это все, что можно было сделать на случай встречи со льдами. Вообще же ему не рекомендовалось встречаться с большим скоплением льдов.

Прекрасный речной буксир, он будет выглядеть на море маленькой лодочкой по сравнению с морскими пароходами и даже с «Пятилеткой».

15 июля «Партизан Щетинкин» отошел от Красноярской пристани на

экспедиции. Важно продвижение на восток по Полярному морю, но не менее важно не терять уже завоеванные позиции на его западном участке.

— Наш самолет готов к отлету, — отрапортовал по-военному пилот Липп.

С тов. Липп мы старые знакомые. Под его управлением самолет проделал ряд больших полетов над Енисеем, над тайгой и тундрой. С ним мы летали в далекий залив Гыдо-Ямо, на реку Юрибей, устанавливая там первую избушку для промышленников этого пустынного побережья. Реки Нижняя Тунгуска, Курейка не раз видели его самолет.

На этот раз он сидел на «скучной» линии Красноярск—Игарка—Диксон.

- Ничего теперь нового здесь для меня нет. Куда-нибудь подальше бы!
- Попадём и дальше, а теперь пока идем в Игарку к старым знакомым.
- Есть. Готовы к отлету.

Полет над Енисеем

Под нами узкой лентой расстилается Енисей. Это огромная река, — пятая по величине в мире, протяжением в 4.475 км. Бассейн Енисея занимает площадь свыше 2.500 тыс. кв. км. С Карского моря по своим глубинам он доступен для морских пароходов до г. Игарки, расположенного в 700 километрах от о. Диксон.

Велики и его притоки—Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Турухан и др.

Правые его берега возвышенны, левые низменны. Поэтому правые его притоки быстры и порожисты, левые же спокойны, широки и часто меняют русло. От старых русел остаются многочисленные озера и протоки.

С высоты самолета прекрасно видна долина Енисея, эта, по выражению Нансена, «страна будущего». Густые леса столпились широкой полосой по обе стороны реки. Отчетливо выделяются красноватые стволы сосен. Ель, пихта, лиственница с трудом различимы на общем ковре, сотканном из разнообразных зеленых оттенков.

Местами идут березняки и осинники. Ближе к реке леса прерываются иногда луговыми пространными. Сейчас они, вблизи редких деревенок, уже скошены и сложены в маленькие кучки — копны.

Дальше на восток и на запад, за зоной лесов, виднеются ржавые пятна болот и озер. На них лишь изредка виднеются чахлые одиночные стволы лиственниц.

Самолет идет прямой дорогой на север. Он то режет мысы, удаляясь в тайгу, то идет над самым руслом Енисея. Под нами проходят заросли леса, острова, пески и небольшие поселки.

Однако в этой обычной северной картине уже есть и признаки начавшегося оживления.

Внизу виднеется Придивинская судостроительная верфь. Не более трех лет назад здесь была та же тайга, которая видна кругом. Теперь там поселок в 5.000 человек. Оттуда выходят те громадные баржи, которые плавают теперь на вольном плесе Енисея, в длинных караванах, медленно идущих с грузами на север.

Мой сосед по кабине, художник Рыбников, изумленно показывает то на одно, то на другое поразившее его пятно.

Ярким зеленым пятном выделился Ярцевский совхоз.

Здесь в царское время была небольшая деревушка Ярцево. Теперь около нее раскинулся большой совхоз с посевом в 2.000 га. Под его влиянием организовался здесь колхоз, который также занялся огородами и посевами. Северное земледелие сделало большой шаг вперед.

В закрытой кабине самолета гул мотора не заглушает речи. Поэтому можно разговаривать не только записками, но и несколько повышая голос.

— Это что там внизу? — то и дело спрашивает сосед.

Под нами прошла река Кас. Видно, как в ее устье скопились большие неуклюжие плоты леса, готовые к отплытию к далекой Игарке. Это тоже «разбуженный Север». Совсем недавно здесь стояла непроходимая тайга. Теперь в этом районе выросли крупные поселки. Енисей никогда не видел сплава древесины на своем русле. Сибиряки не верили в его возможность. Теперь сотнями тысяч кубометров плывет лес к лесопильным заводам Севера.

Причудливыми извилистыми зигзагами прорезают тайгу небольшие речки. Они без имени, потому что к большинству из них еще не подошел человек.

Художник Рыбников — давнишний путешественник по европейскому Северу. Побывал он в далеком Онежском районе, был в Карелии. Теперь его потянуло на необжитый азиатский Север. Во время полета он то и дело делает наброски эскизов в свой путевой блокнот.

Погода не совсем благоприятна для полета. В этом году стоит холодное, пасмурное лето. Аэроплан нередко проходит сквозь густые заряды тумана или дождя. Затем он вновь вырывается на солнце. Тогда около крыльев самолета появляются круги радуги.

— Неудобно как-то и разрисовывать это. Не поверят, — сомневается художник.

Остановка намечена около Подкаменной Тунгуски, где самолет должен взять бензин. Скоро она свернула своей длинной темной полосой, резко отличаясь по цвету воды от Енисея. Вслед за этим у ее устья показалась и деревня, носящая то же имя.

Она стоит на правом берегу реки. Около берега приткнулись лодки, начиная от крупной пружовой «илимки» и кончая легкой «веткой», на которой плавать можно только одному человеку и притом с большой сноровкой. Для каждого нового ездока на ней купанье почти обязательно.

На берегу развешаны сети, и стоит несколько чумов племени кето, или, как их раньше называли, «енисейских остяков».

Самолет, сделав крутой вираж, опускается на воды Тунгуски. Появляется приятное ощущение тишины. Гул мотора, хотя и заглушенный, порядочно надоел.

Небольшой пробег по воде, и поплавки самолета упираются в гальку берега. Можно сходить в деревню, повидать старых знакомых и «наладить» чай, чтобы восстановить силы для дальнейшего полета.

К нам подходят владельцы чумов. Хотя они и привыкли уже к виду аэроплана, но каждый раз самолет доставляет им новое развлечение. На фоне однообразия жизни его прилет — все-таки событие.

Это — довольно рослые и крепкие люди. С бесстрастными лицами, не вынимаемая трубок изо рта, они здороваются с нами, протягивая огрубевшие, твердые руки.

— Здорово, здорово... Хорошо летит, долго летит, — выражают они свое удовольствие на своеобразном русском языке.

На этот раз с ними несколько женщин и дети. В привязанной лодке видны головы двух крупных ездовых собак.

— В интеграл рыбу сдавал, — объясняют они свое присутствие. — Товар в лавке брал, живем хорошо...

Видно, что теперь они живут неплохо. Советская власть возродила это угасавшее племя.

Обложенные ранее тяжелым налогом, теснимые царскими чиновниками и кулаками, они старались уйти как можно дальше от встреч с начальством. Находясь в вечном долгу у спекулянтов и торговцев, спаиваемые водкой, они потеряли всякую надежду на лучшую жизнь.

Памятная книжка Енисейской губернии за 1889 г. так рисовала их положение:

«Караконско-остяцкая орда сидит у заповров речек в ямах или в убогих чумах, почти голая и нередко голодная, питаясь только рыбой. Нередко в этой орде бывают случаи людоедства. Значительная часть остяцкого Байхинского рода, проживая в плохих чумах, представляет жалких нищих, пропитывающихся милостыней».

Это никого не беспокоило.

«В чем дело? Низшая раса! Она вымирает, это естественно...» — таково было мнение представителей «высшей» расы, создававших себе богатства самой дикой эксплуатацией народов Севера.

Теперь не то. Социалистическая революция показала и племени кето путь к новой жизни.

— Однако мы скоро поедем. Полетит аэроплан, и поедем, — торопятся они.

У них несложный, но чрезвычайно приспособленный к обстановке «мотор». Это — две собаки, которые сейчас спят в лодке. Нагруженную лодку собаки свободно тянут против течения, умело обегая крупные камни и переплывая встречные ручьи.

Мы поднимаемся на приподнятый берег, в самую деревушку.

Местоположение прекрасное. Редко можно найти на Севере такой красивый и привлекательный вид. Деревушка стоит на мысу, образованном слиянием

рек Подкаменной Тунгуски и Енисея. Позади и напротив ее раскинулись красивые таежные леса. На открытых пространствах растет хороший травяной покров, откуда глядят разнообразные цветы Севера.

Летом здесь солнце светит довольно часто. При его сиянии особенно красиво сочетание зеленых красок берега с темной окраской воды.

Сама деревушка красотой не блещет. Здесь типичные сибирские постройки. Кое-как срублены стены. На постройку приличных крыш уже нехватило терпения. В некоторых домах они односкатные, в других же хотя и двухскатные, но в большинстве случаев производят впечатление сделанных наспех, со многими недоделками. О хороших хозяйственных постройках и говорить не приходится. Местный скот волей-неволей должен «привыкать» к суровому климату.

Кажется, что пришли сюда первые поселенцы, наскоро сбили себе временные постройки и заторопились куда-то дальше, на другую работу, чтобы потом закончить постройку, но так ее и не закончили. Потомки же их чувствовали себя вполне удовлетворенными доставшимися им в наследство «архитектурными» сооружениями.

Здесь нет и следа построек, напоминающих собой постройки Кировского (б. Вятского), Вологодского или Архангельского районов. Внимание останавливается только на домах фактории Союзпушнины, радиостанции и школы. Прилично выглядит старый дом кузнеца.

Чистота в деревеньке относительная. В хорошую погоду это скрадывается. В дождливую же осеннюю или весеннюю пору грязь здесь отчаянная.

Основное занятие жителей — охота и рыболовство. Но довольно много и скота — лошадей и коров.

Мы идем «налаживать» чай к своему старому знакомому — заведующему факторией тов. Комелягину.

В просторных, светлых комнатах фактории чисто и уютно. По-северному, с непритворным радушием, встречают он и его жена неожиданных гостей, хотя ко-

нечно ничего, кроме излишних хлопот, мы не приносим.

— Ну вот, так мы и знали. Опять на Север потянуло. Не надоело еще — встречает нас хозяин дома. — А мы давно уже посматриваем... Пора, пора... Скоро Карская...

На столе удивительно быстро появляется самовар. За ним — прекрасная рыба северных рек — жареная нельма.

У нас есть свое угощение, для северных жителей очень желанное. Мы предусмотрительно закупили в Красноярске небольшое количество свежих огурцов и помидоров.

— Ну, скоро вы нас этим удивлять перестанете, — подает реплику один из членов семейства.

— А что, ждете парохода с таким же грузом?

— У нас свои овощи будут не хуже красноярских...

Оказывается, здесь уже организовался крепкий колхоз, и люди, занимаясь охотой и рыболовством, произвели также и пробный посев. На поле в 2—3 гектара засеяны ячмень, лен, картофель, капуста, огурцы, брюква и т. д.

Несмотря на сравнительно холодное время, все это дало прекрасные всходы и прекрасно росло.

— Осенью приедете, угощать будет чем, — уверенно подтверждает Комелягин. — Да и вообще здесь развернуться можно...

Это совершенно справедливо. Здесь есть, над чем поработать. В настоящее время около самой деревни геологическая партия Главсевморпути ведет разведку на каменный уголь. На другой стороне реки, в 8 километрах от устья, ясно виден выход другого угольного пласта. Там же обнаружены залежи прекрасной огнеупорной глины. Выше, на притоке Тунгуски, есть гипс, магнетиты и исландский шпат. Уголь молодой. Его теплотворная способность не выше 5.000°, но все же его можно будет использовать для Енисейского пароходства, которое до сих пор пользуется дровами или везет с собою баржи с углем Черемховского бассейна.



Игарка, улица Сталина, постройки 1931 г.

— Пора и о лесах ваших подумать, — говорю я.

Но мое замечание присутствующие встречают с некоторым холодком. Это не ново для меня. Очень часто охотничьи деревни с недоверием и опаской смотрят на приближающегося лесоруба. Его топор может испортить охоту.

— Ну, лесов-то в других местах побольше. Наши пока можно и не трогать, — вот обычное возражение.

Но это не совсем так. Выше по Енисею, действительно, «лесов побольше», но и леса Подкаменной Тунгуски, где уже есть много перестойного леса, где старый лес губит молодняк, пора поставить на службу советскому государству. Надо однако организовать здесь не выборочную рубку сосны, как вынуждены мы это делать в Ярцевском и других леспромхозах. Пора продвигать на рынок великолепную северную лиственницу, кедр и пихту.

Наш разговор возвращается опять к работе молодого колхоза.

— План наш в этом году выполнен и по пушнине, и по рыбе, — заявляют колхозники. — А к осени и с овощами будем...

Я вкратце рассказываю им содержание доклада профессора Вавилова о проблемах северного земледелия.

«В целом предельной границей вызревания современных самых разных сортов хлебных злаков можно считать широту Полярного круга ($66^{\circ}30'$ с. ш.). Большинство овощных культур, включая картофель, как показал наш и мировой опыт, практически не знает северных пределов, — так заявил профессор в своем докладе.

Это заявление встречается общим одобрением:

— У нас дело развернется! Колхоз — это не единоличник.

Чаепитие закончено. Аэроплан получил нужное количество бензина. Пилот, тов. Лишп, торопит с отлетом. Он хочет ночевать если не в Игарке, то по крайней мере в Туруханске.

— Приедете с Ленского похода, опять заезжайте. Расскажите, как там люди живут...

— Ладно. А вы мне расскажете о вашем колхозе, чтобы было что сообщить о Подкаменной Тунгуске...

Самолет снова несет нас сначала над темными водами Тунгуски, а потом над желтоватым Енисеем; резкая черта видна на поверхности в том месте, где они соединяются.

Под нами снова только вода и леса. Начиная с реки Бахты, природа все более принимает северный колорит. Леса становятся мельче, почти не встречается сосны. Лиственница и мелкий березняк становятся преобладающими породами, но и они грядутся около Енисея и его притоков суживающейся полосой. Ржавые пятна болот с чахлой растительностью отвоевывают все больше и больше пространства.

Левый берег дал уже бесчисленное количество озер самой разнообразной формы. Видно, как иногда слетают с них утки и чайки, вспугнутые шумом нашего мотора.

Погода заметно ухудшается. Аэроплан то и дело пролетает среди низких, сырых облаков. Они скрывают от нас ленту Енисея. Полет становится затруднительным. Однако тов. Липп настойчиво гонит аэроплан вперед. Он хочет быть обязательно в Туруханске. Это вполне понятно. Неуютно сидеть в холоде и сырости на берегу пустынной реки. Будем лететь, пока редкие просветы дают возможность правильно ориентироваться.

Рыбников задумчиво вертит перед собой лист зарисованной бумаги. Со стороны мне кажется, что он сам в сильном недоумении—где верх и где низ его рисунка.

— Ни за что не поверят, что так это было...

На рисунке — тайга, над ней протянувшаяся вверх дуга радуги, смыкающаяся с нашим аэропланом. Рисунок, действительно, производит впечатление фантастического. Но я подтверждаю, что «так было на самом деле», на тот

случай, если москвичи не поверят художнику.

Енисей уже не кажется узкой лентой. Приняв в себя многочисленные притоки с правой и левой стороны, он широко раскинулся в обе стороны, оттеснив дальше таежные и лесотундровые пространства. Часто встречаются пески, идущие длинной полосой. Обычно на них стоит несколько чумов племени кето (енисейских остяков). Это рыбаки, выехавшие для летнего и осеннего промысла. С появлением льда они вновь отходят вглубь родной им тайги. Небольшие лодки, разостланные на песках сети, несколько собак около чумов — вот и все их несложное хозяйство.

Нужны большая выносливость, исторически выработавшаяся привычка, чтобы долгими месяцами жить в тесном, дымном чуме среди пронизывающей сырости и холода северной погоды.

Пожалуй, правы те, кто утверждает, что главное богатство Севера — это народы Севера. Они стали теперь жить несравненно лучше в материальном отношении, а главное, почувствовали себя свободными гражданами великой трудовой семьи. Но много еще надо сделать на енисейском Севере, чтобы создать нужные северянину культурно-бытовые условия.

На восток от Енисея виднеются длинные цепи гор. Туда стремится и преречная полоса леса, становясь все гуще по мере приближения к горам. Это берега самого большого притока Енисея — реки Нижней Тунгуски. Самая река, скрытая высокими гористыми берегами, еще не видна. Она откроется около самого Туруханска, под $65^{\circ}47'22''$ сев. широты, недалеко от Полярного круга.

Сказочная, но еще мало исследованная река! Длина ее — 3.250 км. В своем верховьи она отделяется от р. Лены водоразделом всего в 30 км. Несмотря на малую разведанность, район Нижней Тунгуски уже сейчас известен как место мощных залежей каменного угля, графита, исландского шпата и огнеупорной глины. Сравнительно удобными водными путями сообщения все эти богатства связаны с Северным морским путем и через него — со всеми портами СССР.

Здесь вероятный центр будущей северной промышленности.

Показались луга, покрытые многочисленными копнами сена, низменный мысок, и перед нами открылся Туруханск. Тов. Липп добился своего: мы будем ночевать в Туруханске. Самолет круто идет на посадку.

***!

Один из центров самой жуткой и беззащитной эксплуатации покоренных народов Севера, один из наиболее отдаленных центров ссылки, в том числе и ссылки многих видных революционеров, — таков был дооктябрьский Туруханск.

Для сбора ясака с обитавших в этом районе туземцев в 1607 г. было построено зимовье «Туруханское».

После пожара исторического города Мангазеи, находившегося в устье р. Таза, сюда в 1672 г. было переведено все управление Мангазейского воеводства.

Ясак с покоренных народов Севера был троякий: податной — по 10 соболей «с женатого и вполы холостого»; десятинный — каждый десятый зверь всякой породы и «поклонный» — в количестве, определяемом «доброй волей и усердием приносителя к особе царской».

К этому надо прибавить произвол собиравших налог царских чиновников и наезды русских торговцев, в прямом и переносном смысле слова грабивших туземное население.

Все это способствовало разорению туземцев и вызвало даже своеобразный протест со стороны московского правительства. В грамоте 1697 г. на имя енисейского воеводы писалось: «Многие служилые люди себе и жонам своим делают портница золотые и серебряные, а иные на собольих и лисьих черных мехах. И знатно, что те служилые люди от неправого своего нажитку, кражею нашей великого государя казны или грабежом с иноземцев те богатства свои наживают».

Местное население вымирало или разбегалось.

Как орудие для заселения Туруханского края была использована ссылка.

По указу 1669 г. было повелено: «ссылать в Сибирь с семьями за одно и два воровства без отсечения рук и ног, уличенных в разбое без убийства — с отрезанием левого уха и отсечением двух пальцев на левой руке».

Туда же посылались «гулящие в Москве и пришлые люди», не имеющие возможности уплатить за это положенный штраф.

В тридцатых годах XIX столетия сюда, в Сибирь, было переведено 10.000 заключенных из европейских крепостей. После подавления польского восстания в шестидесятых годах население пополнилось тысячами ссыльных поляков.

Здесь отбывали ссылку и некоторые декабристы — князь Шаховской, Бобрищев-Пушкин, поручик Аврамов и др. Разного рода сектанты, не подчинившиеся господствующей церкви, также оказались в этих местах.

В последнее время перед революцией Туруханск и его окрестности стал ссылкой многих вождей и работников Октябрьской революции. Здесь был в ссылке тов. Свердлов, в станок Курейку, севернее Туруханска, был сослан тов. Сталин.

Естественно, что хозяйственная жизнь города Туруханска, созданная на такой базе, была не блестяща. Его состояние в 1875 г. так описывается в отчете Норденшельда: «Город производит впечатление большой разрушенной деревни, его окрестности наполнены болотами и лужами стоячей воды, в силу чего климат в нем нездоровый. Маленькая церковь и стоящая одиноко покосившаяся башня — единственные здания, которые могут хотя сколько-нибудь претендовать на внимание, все же остальное, за весьма малыми исключениями, ничего более, как развалившиеся избы и мазанки, большей частью необитаемые. Впрочем, в этом несчастном местечке есть почта, лавка, кабаки и пр.» (Норденшельд — «Экспедиция к у. Енисея 1875 — 1876 г.»).

Теперь этот город принял другой вид. Октябрьская революция вымела царских чиновников, торгашей и попов. Деятельность местного Совета, работа кооперации и Союзпущинины, школы и интерна-

ты для туземных детей сильно способствовали культурному росту местного населения. Несколько новых зданий придали городу более парадный вид.

Все же, по существу, это не город. Он производит впечатление несколько большей деревни, чем другие станки на Енисее. Промышленной базы он под собой не имеет. Его заметно забил город Игарка, а в недалеком будущем его будут забивать и новые промышленные центры на Нижней Тунгуске.

Большое оживление придают Туруханску сплавы, пригнавшие сюда плоты для Игарки. Около плотов напряженно работают несколько небольших пароходов. Енисей здесь широк и штормист. Плоты, проплывшие пороги Тунгуски, порядочно потрепаны. Надо их заново укрепить.

Заведующий лесопристанью тов. Степанов, вятчик, один из первых сплавщиков по Енисею, встречает нас, как старых знакомых.

— У меня и ночуйте. А наши ребята помогут завтра заправить самолет.

Так и делаем. Тов. Степанов — патриот своего дела. Он верит в леса Сибири и в Игарку как в будущий сибирский Архангельск.

— Теперь все верят в нашу Игарку, а раньше... И сплавать-де по Енисею нельзя, опасно, и народу не найдем... Мало ли, что говорили. А теперь плывут наши плоты и по Ангаре, и по Енисею, и по Тунгуске. Никто и внимания не обращает.

Рыбников в это время делает набросок Туруханска со стороны Енисея.

— А вы что старье рисуете? Деревня — деревня и есть. Вот бы вам нарисовать наши плоты, как они идут через порог, — это дело...

Солнце в это время в Туруханске уже не заходит. Но, хотя ночи и нет, люди нуждаются в отдыхе. Понемногу городок затихает.

Мы выходим из дома на обезлюдивший берег и уходим по плотам как можно дальше от него, чтобы избежать полчищ комаров и мошек.

Так мы садимся на бревна, глядя на молчаливые, старые дома Туруханска и на реку, беззвучно катящую свои волны

дальше на север. Вдали виден небольшой табун лошадей, заснувших в самых разнообразных положениях. Часть их дремлет, стоя на ногах, часть лежит, растянувшись на песке. Спят и собаки, закрывши хвостом носы от болезненных комариных укусов.

Странное впечатление производит вид спящего города в свете незаходящего солнца. Вспоминается старая детская сказка о спящей красавице — как заснули все от мала до велика в самых разнообразных позах, и спали беспробудно целые годы, пока не явился долгожданный избавитель.

Степанов, покуривая трубку, неспеша сообщает новости начавшейся навигации.

— Слав наш идет неплохо. Были аварии на небольшие. Трудно пришлось в этом году только рыбацкому каравану. Больно спешить народ стал, а народ новый — малотолковый.

— А в чем дело?

— Да в том, что пришел к нам караван рыбаков вслед за льдом. Народу там, пожалуй, около тысячи. Пароход, лихтер да промысловых судов немало. Мы им говорим: переждите повыше по реке, еще лед из Тунгуски не весь вышел. Станем ждать, — говорят, — этак всю путину пропустим. Пошли дальше. Ну, идите, если вы такие умные. А к вечеру Тунгуска лед дала, да еще какой. Пароход туда-сюда. Не то, брат! Буксир пополам, лопасти винта долой, и готово. Вниз по матушке... Деревянная посуда стала к лихтеру держаться. Да где тут! Кого куда льды разогнали. Надо помощь бы дать. А какая тут помощь, когда льды кругом. Так и понесло к Игарке. Думали, все перетонут...

— Ну, и как же?

— Дали знать на Игарку: ловите, мол, гостей. Рыбу только рано захотели ловить, как бы к рыбам сами не попали. Ну, игарцы мобилизовались. Только толку мало, так и пронесло одно судно за другим мимо Игарки, а одно уже затонуло. Лед подрезал его. На лихтере шкипер, видать, толковый. Во-время, после Игарки, успел бросить якоря. Подбились к берегу, а других дальше понес-

ло. Еще одна посуда затонула. Потом как-то стали выбиваться одно за другим к берегу. Не досчитывались мы человек десяти. Ну, думаем, все-таки дешево отделались. А потом и эти объявились. Вышли они на берег по льду, пониже, кажется, Дудинки... Люди не пропали, а дело-то сорвалось. Пока чинился пароход, да пока собирали свой караван, времени ушло много. Хорошие для лова дни пропустили. На севере — это не на Волге. Посматривай да послушивай.

— Ну, что же, тут ничем не поможешь. Несчастные случаи везде бьгают, и у нас тоже на сплаве... — начинает возражать один из сплавщиков.

— Ты, брат, тоже, видать, из первоходников. Так дело не делают. Хорошо было бы на лесозаготовках, если бы мы тоже к сезону каждый год возили рабочих. Да пока возем их, так горя нахватаешься и время пропустишь. Построили теперь на лесозаготовках деревни, клуб там построили, школу. Чем не жизнь! Куда от такой жизни народ побежит? Вот и весь разговор. План всегда выполняем.

— А рыба-то не на земле живет, а в воде. Как ее зимой возьмешь? — не сдается молодой.

— Построй, брат, ты деревни, где ход рыбы есть, а рыбак ее и зимой найдет. Не найдет, так и на печи полежит, пока новый ход не объявится. Хороший рыбак дело знает. А теперь посмотри, каких рыбаков возят. Они и весло не знают, как взять в руки.

— Зимой там жуть!.. Темная ночь, чистое поле. Не с кем и поговорить!..

— Это другое дело. С непривычки иногда жутко. Только и во льдах рыбакам тоже жутко. Без постоянных поселков на Севере рыбы не взять.

Это, по существу, совершенно правильно. Сезонники — не кадры для Севера. Их завоз дорог, и труд из-за непривычки к условиям малопроизводителен. Надо заселить Север, создать нужные условия для жизни. Тогда можно ожидать возврата с Севера затраченных капиталов. Одна техника без людей — не сила...



Игарка, управление порта

Енисей здесь уже могучая, широкая река. Он пополнился водой Нижней Тунгуски и Турухана, впадающего в Енисей с левой стороны.

Мертвую тишину прервал шум парохода. Сплавщики начинали свой трудовой день. Помимо обычной работы, сегодня им предстояло проделать и другую работу. Ногинский угольно-графитовый рудник, расположенный на Нижней Тунгуске, переживал весной обычную трудную пору. Нехватало барж для вывоза продукции. Сплавщики предложили использовать свои плоты. Впереди ждал их так называемый Большой порог. Вода прорывается там через горный массив со скоростью 18 километров в час. В 9 километрах от устья находится страшная «корчага» (водоворот). Ее рычание слышно еще издали. Почти ежегодно несколько человек становятся ее жертвами. Через эти быстрины и водовороты перебросили сплавщики на своих плотках несколько тысяч тонн графита.

— Шахтерам помогали, а когда нужно, они нам помогают, — отвечают сплавщики. — А только за деньги едва

ли бы повезли. Страшно на пороге, когда плот вдруг идет под воду. А с графитом он еще тяжелее.

Трехсотильный «Сплащик» усиленно работал винтом, выходя на середину реки. За ним вытянулся длинный хвост плотов, посланных на Игарку с верховьев Тунгуски. Индустриализация этой части Севера идет быстрыми шагами.

— И на Курейке этого графита добыли много. Не поймешь только, чей графит лучше: курейцы отстаивают свое, тунгусцы — свое. Весь Союз можно заполнить этим графитом. Только давали бы карандаши скорее. А пока пишем прямо графитом. Обтешешь его, и готово... А вот, кажется, и сам начальник рудника идет, — заметил Степанов.

К нам подходил широкий, плотный человек. Это не начальник рудника, а старший инженер. С ним мы не видались около года.

— Пришел поздороваться с полярниками. На Лену идете?

— На Лену. Будем искать новый графит. Ногинцы говорят, что у вас плохой графит...

— Это наш-то!.. Первый в мире. Углерода больше 90 проц. Пусть лучше за своим смотрят... Новый графит нам не страшен. А вот Курейку, говорят, в Минералруд передаете...

— Ему самому. Пусть поработает на Севере...

— Голову даю на отсечение — законсервируют рудник. Ему с украинским графитом работать больше с руки. Зря передали. Здесь еще нужен глаз да глаз. А им это не по пути...

Мощный графитовый пласт, расположенный на р. Курейке, действительно, прекрасного качества. Не хуже качеством и ногинский графит Нижней Тунгуски. Наша промышленность, металлургическая, электротехническая, химическая и карандашная, имеет здесь неисчерпаемые сырьевые ресурсы.

Начало разработки этого пласта относится к 1862 г. Это сделал энергичный Сидоров, имя которого тесно связано с первыми изысканиями на Севере

и с Северным морским путем. Он вывозил графит в Пермь, Златоуст, Петербург (Ленинград), Лондон, Гамбург и Вюрцбург. Преследования, которым подвергались со стороны царского правительства все его начинания, привели его к полному разорению. После него дело переходило в разные руки. С 1912 по 1919 г. им занималось товарищество «Туруханский графит». Им было добыто 2.500 тонн, из которых часть была вывезена в Гамбург.

В 1922—23 г. рудник, переданный губсовнархозу, был законсервирован. С 1925 по 1926 г. работы на нем возобновило акционерное общество «Россграфит». Переданный в ведение ВСНХ в 1929 г., рудник был вновь законсервирован. С 1930 по 1932 г. работу на нем возобновил Комсверпуть. Тогда растущая промышленность СССР предъявила на этот графит большой спрос. Теперь рудник опять переходит в руки Наркомтяжпрома. Снова поднялись разговоры о консервации.

Естественно, что при таких частых передачах рудник не мог нормально развиваться.

В прошлом графит этот с успехом вывозился за границу. Эта возможность не отпала и теперь.

— Нельзя на Севере часто менять хозяев. Хозяином должна быть та организация, для которой индустриализация Севера является прямой, а не побочной задачей!.. — таково было общее мнение всех местных постоянных работников.

Выше рудника начинаются великолепные Курейские пороги. В будущем, когда Север дорастет до мощных гидростанций, пороги эти сыграют свою роль в качестве колоссальных источников энергии.

Последний порог особенно красив и силен. С шумом падают водопады, образуя огромные воронки и волны. Он непроходим для судов. Его голос, ровный и мощный, слышится на громадном расстоянии. Вода, падающая под большим напором, выбила в твердых камнях углубления. В жаркое лето часть этих камней выходит из-под воды, напоминая своеобразные кресла.

Курейцы гордятся своим порогом:

— В тайге заблудишься, и то всегда выйдешь на его голос.

Дневное время пред'явило свои права. Сонное царство окончилось. Снова ожил берег. Аэроплан понес нас дальше на север, к Игарке.

Таежная зона осталась уже позади. Под нами типичная лесо-тундра и широкий, теперь медленный в течении Енисей. Нет уже пышного ковра из крон разнообразных деревьев тайги. Большую часть пространства занимают коричневые пятна болот, озера с черной водой и низкие кустарники тальника.

Около впадения р. Курейки в Енисей самолет перешел Полярный круг. Мы вступили в «переднюю» крайнего Севера.

Игарка показала сначала только строениями своего совхоза, разместившегося на Самоедском острове, против города. Сама же она еще скрыта глубоко вдающейся в берег изгибистой протокой. Только пройдя через остров, можно увидеть всю панораму Игарки, ее заводы и биржу пиломатериалов.

В 1929 г. на этом острове было царство уток, глухарей, куропаток и зайцев. Теперь на этом месте видны раскорчеванные и распаханые поля, парники и теплицы. На луговых пространствах уже сложены стога сена. Оттуда идет на полуденную дойку стадо коров. Хозяйственные постройки и дома вытянулись на возвышенном берегу острова правильной линией.

Через протоку видна вся Игарка.

На улицах — толпы людей, автолеса, возы и лошади. Южная часть протоки вся забита прибывающими сверху плотами. На северной ее стороне плоские пловучие пристани ждут морских пароходов.

Самолет садится в протоку и рулит к берегу, к красивому зданию порта.

Игарский совхоз

«Игарка соединяет Сибирь с Карским морем. Благодаря Карскому морю Енисей течет на тысячи миль больше того, чем природа намеревалась это сде-

лать. Енисей течет в Балтийское море, до Ленинграда, до Гамбурга, до Антверпена, до Роттердама, до Лондона, до Нью-Йорка.

«Игарка обозначает будущность Сибири. Когда мне говорят, что Игарке всего два года, я искренне и глубоко преклоняюсь перед мужчинами и женщинами, которые проявили столько храбрости и тигантской выносливости. Я был бы слепым, если бы не заметил, что Игарка еще не отесана и еще примитивна, и что нужны годы сознательного труда, чтобы развить это место до такой степени, как этого желают те, кто первоначально планировал этот город».

Так писал про Игарку 1931 года член английского парламента мистер Маттер, приехавший сюда из Лондона с пароходами Карской экспедиции.

Он правильно оценил роль и экономическое значение Игарки для Восточной Сибири. Но он как турист-иностранец не мог оценить ее политическое значение. Здесь выковались новые кадры северного пролетариата. Здесь было положено начало индустриализации заполярного Севера.

1929 год был переломным годом в работе Карских экспедиций. До этого времени в низовьи Енисея речные караваны приходили навстречу лишь одиночным морским пароходам. Грузы для них давали районы, расположенные вдоль линии Сибирской железной дороги. Вековые лесные массивы Севера, его полезные ископаемые оставались мертвым баластом для народного хозяйства нашего Союза. Разного рода звери и птицы оставались главнейшими обитателями этого обширного пространства.

В 1929 г. в Игарке был заложен первый дом. Одновременно с шумом топора и пилы здесь такие же звуки раздались и во многих северных точках притоков Енисея — на реках: Тасеева, Сым, Дубчас, Каса и Нижняя Тунгуска.

В этом же году Игарская протока впервые осуществляла функции морского порта. Сюда пришли морские пароходы, привезшие импортные товары для

Сибири и принявшие взамен экспортный груз.

Здесь они почувствовали себя так, как чувствует себя пароход в самой надежной гавани, созданной современной техникой.

Но к Игарскому порту в это время рука человека еще не прикасалась. Его создала сама природа, как бы предусмотрев все требования. Он глубок, свободен от камней и банок, прекрасно защищен от ветров.

Закончились работы Карской экспедиции этого года, ушли морские пароходы, нагруженные экспортным лесом. В воздухе уже летали густые хлопья снега. Север стремительными темпами шел в атаку на юг.

Речной караван торопливо собирал опустевшие баржи. Туда садились грузчики, рыбаки, плотники, вообще все сезонники всяких квалификаций.

Прощальные гудки пароходов и последние приветствия уезжавших были в этом году особенно сердечны и трогательны. Это и понятно. На совершенно пустынном ранее берегу, среди дикой лесотундры, высились несколько свежесрубленных домиков. Там оставались на зимовку 200 человек — первое население Игарки.

Ушли пароходы. Дождь сменился мокрым снегом. Болотистая почва стала непроходимой для людей и лошадей. На набережной начали делать сплошной деревянный настил. Потом завывла вьюга, начались 40-градусные морозы и полярные сумерки. Новые, срубленные из сырого леса дома были неудобны и плохо держали тепло.

— Встанешь утром, а у тебя волосы к стене примерзли. Стали в шапках спать, — вспоминает о первой зимовке один из старожилов Игарки.

Но ни на один день не останавливались работы. Появился еще ряд домов, заканчивалась монтаж первой на Севере паросиловой станции, а к весне вырос и лесопильный завод № 1.

Зимовали отборные работники. Никто из них не заболел, ни у кого не было прогулов. Избежала зимовка и другой частой гостью таких заполярных зимовок — «полярной склоки».

Снова вскрылся Енисей. Весенний подъем воды достиг невиданной ранее высоты — 18 метров. Вода подошла вплотную к новому заводу и сорвала бревнотаску. На заводе продолжали работать, на ходу исправляя повреждение. Новорожденному поселку уже была задана первая экспортная программа — сдать Карской экспедиции 2.000 стандартов пиломатериалов. К 20 июня вновь пришли пароходы из Красноярска. С ними приехали сезонники, но уже в гораздо большем количестве. Под их напором лес отступал от реки. На его месте продолжали расти новые дома и биржа для пиломатериалов.

Скоро появилось и первое высокое здание — пожарная каланча. С нее, через Самоедский остров, были видны и Енисей, и весь город.

Морских пароходов должно было притти вдвое больше, чем в предыдущий год. Должны были притти также и первые плоты из северной части тайги.

Протока в ожидании их начала принимать вид культурного порта. В северной ее части прижались к берегу широкие длинные пристани-причалы для морских пароходов. На берегу появились портовые амбары. В южной части протоки шла подготовка к приему, расстановке и выкатке плотов.

Основная работа кипела на постройке паросиловой станции и на втором лесопильном заводе.

Дело шло туго. Впервые пришлось здесь столкнуться с вечной мерзлотой оригинальной структуры.

— Не мерзлота, а слоеный пирог с начинкой из мерзлоты, — в отчаянии говорили инженеры.

— Опереться не на что, — подтверждали техники и десятники.

Вырытый с колоссальными усилиями и опирающийся как будто на твердую породу котлован на другой день оказывался опять заплывшим.

Сплошные цементные «подушки» сквали наконец дно и стены котлована. Опираясь на них, возвышались столбы будущего здания.

Приходили из тайги кочевники из племени кето или эвенки со своими оленями.

— Зачем, начальник, тайгу порти-
тил? — с упреком говорили одни.

— Большой базар здесь будет, боль-
но хорошо, — с удовлетворением заме-
чали другие.

Приезжий народ был, что называет-
ся, со всячинкой. Наряду с рабочими
приехали любители длинных рублей,
аферисты и лодыри. Это доставляло
всегда много неприятностей. Придет та-
кой человек на работу, и первая мысль
у него: чем бы ему сегодня заболеть?

— Товарищ инженер, отпустите к
доктору!..

Конечно, доктор не дает отпуска здо-
ровому человеку, как бы ему ни угро-
жали. Но важно то, что таким образом
бесполезно растрачивается самое доро-
гое на Севере — время.

Появились картеж, хулиганство. В
сторону этого сброда откололась не-
устойчивая часть сезонников. Работа
срывалась.

— Что с этими хулиганами де-
лать? — огорчались инженеры. — У нас
ни милиции, ни суда, ни тюрьмы, вооб-
ще ничего, чем можно было бы их на-
пугать.

Собрались партячейка и актив.

— Что делать с теми, кто срывает ра-
боту, кто дурным примером дезоргани-
зует все производство?

— Выселить немедленно с Игарки, —
предлагали одни.

— Куда выселить? В тайгу не про-
гонишь. Не пароход же для них вызы-
вать.

— Кто не работает, тот не ест. Не
давать им пайка! Противопоставить их
агитации агитацию и работу партийцев
и комсомольцев.

Работа пошла лучше, но неисправив-
мая часть продолжала хулиганить, изде-
ваясь над работниками. Терпение лоп-
нуло.

— Суда и милиции здесь нет. До
Красноярска далеко. Слов они не слу-
шают. Поговорим по-другому.

Вечером группа рабочих собрала во-
жаков-хулиганов.

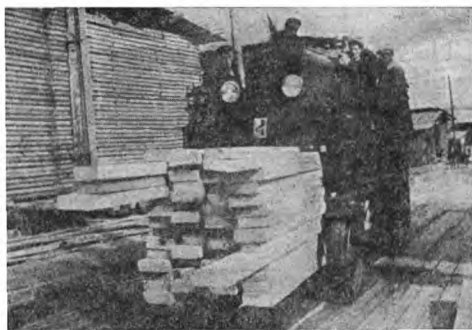
— Протока глубока? На вас ее хват-
ит? Поняли?

Хулиганы угрюмо молчали. Видимо,
дело дошло до серьезного.

— Завтра тебе выдадут хлеб, уходи
из Игарки пешком. Для таких бар у со-
ветского государства пароходов нет.

На другой день часть стала на рабо-
ту, а часть ушла в Туруханск. Правда,
в первой или второй деревне они укра-
ли лодки и вновь спустились на Игар-
ку, но уже с другими настроениями.

Работа пошла вновь по-ударному. На
зиму осталось уже 2.000 человек. Кар-
ская экспедиция прошла с гораздо луч-
шими качественными показателями, чем



Автовоз на бирже, Игарка, 1932 г.

за все предыдущие годы. Игарка вы-
полнила свои экспортные обязательства.
2 тыс. стандартов, выпиленных из бре-
вен, присланных северными лесорубами,
ушли за границу.

Игарка строилась и одновременно по-
лучала ответственные задания на рас-
пилку бревен для экспорта с еще не
выстроенных заводов.

Ругались малодушные:

— Никогда в эту проклятую Игарку
не поедем.

— Нам таких и не надо, — возража-
ли другие. — Игарка должна себя оправ-
дать. Здесь индустриализация, как на
ладони. Ничего не было, а смотри, как
бы мы Енисейск скоро не догнали.

— И перегоним. Что в Енисейске?
Ни одного завода нет.

7 тыс. стандартов экспорта — такова
была новая программа на 1931 г. Вто-
рой завод в это время еще едва подни-
мался над землей. Установка фундамен-
та в вечной мерзлоте отняла много до-
рогого времени.

Капитаны заграничных морских пароходов, прибывших на Игарку, удивлялись быстрому росту этого города и энергии рабочих.

«Местные поселенцы, — писал английский капитан в одной лондонской газете, — представляют собою рослых, широкоплечих людей. Одеты они в белые парусиновые брюки и куртку. Они считают себя акционерами всех местных предприятий и всего поселка».

Так оригинально было разъяснено капитаном строительство в рабоче-крестьянском государстве, при диктатуре пролетариата.

На следующий год зимовать осталось уже 12.000 человек. Туруханск, которому в административном отношении в то время была подчинена Игарка, остался далеко позади.

— Чего мы поедем к туруханцам на совещание? Нам больше, пусть к нам едут, — говорили игарцы.

И туруханцы приехали. Центр заметно перемещался в эту сторону. Постановлением правительства новый поселок был назван городом с самостоятельным районом. Зависимость от Туруханска отпала.

В напряженной работе пролетела зима. Оказались преодолемыми темные ночи, снежные бураны и морозы. Завод № 2, один из лучших в Союзе, построенный инженером Ильиным, должен был весной вступить в эксплуатацию. Ждали с нетерпением первого каравана из Красноярска, который должен был привезти дополнительные стройматериалы. Особенно велика была нужда в гвоздях, железе и строительной пакле.

Но силы природы иногда временно торжествуют над усилиями и планами человека. Баржа разбилась на Казачинском пороге. Груз уцелел, но мог притти только в середине лета, т.е. тогда, когда завод должен был уже работать. Экспортная программа срывалась. Положение становилось угрожающим.

— Весь остаток гвоздей и железа — на завод! Послать мальчишек искать растерянные гвозди на постройках! — последовало распоряжение.

Ребята взялись за дело очень ретиво. Сначала они перерывали щепу и мусор

около строек, отыскивая там завалившиеся гвозди. Потом начали ходить по домам.

— Дяденька, у тебя в комнате лишний гвоздь есть?

— Какой гвоздь? Идите к чертям!

— А вон штаны висят на гвозде. Ты можешь и деревянный сделать.

Из-за нехватки материалов завод все-таки опоздал на несколько недель. Только самая напряженная работа могла спасти экспортную программу. В это время получились дополнительные наряды «Экспортлеса» для игарских заводов, которые должны были покрыть прорыв красноярских заводов.

— Игарцы должны стоять на-страже Карской экспедиции. Покроем прорыв красноярцев, — решили игарцы.

Инженер Ильин, сам энергично работавший на заводах днем и ночью, удивлялся подьему настроения:

— Совсем особый народ. Выдержит ли только кишка до конца.

«Кишка» выдержала. 7.962 стандарта пиломатериалов сделал завод в Карскую экспедицию 1931 г., перевыполнив свой план и покрыв прорыв красноярских заводов.

Молодой северный пролетариат с честью выдерживал свое боевое испытание.

Зимой же, когда лес был продан за границу, выяснилось, что по своему качеству карский лес занял первое место в Союзе.

Это было результатом коллективной работы лесорубов, врубившихся в девственные дебри тайги, сплавщиков, пригнавших бревна через пороги Ангара и Енисея, игарских лесопильщиков и грузчиков Карской экспедиции. Эти люди были участниками великого социалистического строительства, пионерами индустриализации енисейского Севера.

Летом тайга переживает праздничное время. Зеленеют лиственницы и березы. Всюду видны самые разнообразные цветы. Жара доходит до 30°. На пышном моховом покрове — густые кусты брусники, черники и других ягодных растений.

Но это время быстро пролетает. В конце августа или начале сентября начинаются первые заморозки. Деревья надевают осеннюю одежду. На корню засыхает трава. Наступает короткая осень с дождями и туманами. Это самое безотрадное время на Севере. На смену осени идет суровая, длительная зима.

речные — в Красноярск. Но в порту остался зимовать большой караван судов.

Новые лесозаводы получили план приготовить на экспорт будущего года 17.000 стандартов. Строился третий завод.

— Карское море еще не освоено,



Игарский совхоз за Полярным кругом.

В отдаленных местах ее приближение всегда сопровождается некоторой нервностью.

«Не охватит ли жуткая тоска в этой безотрадной местности, не одолеет ли цынга, не собьет ли с дороги снежная поземка или туман...»

Такого настроения уже не могло быть в то время в Игарке. Это был вполне оформившийся заполярный город. Школы, клуб на 1.000 человек, поликлиника, совпартшкола, магазины Горта, кооперации — все это обеспечивало уже нормальные условия быта. Нужно было только скорее покончить с жилищной теснотой, обусловленной быстрым ростом населения.

Кончилась Карская. Морские пароходы ушли в разные заграничные порты,

вы погубите все достижения Северного морского пути, — твердили скептики.

— Через Карское море можно провести не одну сотню пароходов, — возражали работники Севера.

В Москве собралась конференция по разбору плана будущей Карской экспедиции.

Борьба за Игарку была одновременно борьбой и за Северный морской путь.

— Игарка будет сибирским Архангельском. Таковую же Игарку надо создать и в низовьях Оби. Карское море и вливающиеся в него реки являются нормальными водными путями Сибири и Урала, — таков смысл постановления этой конференции.

На Игарке в это время пошли перебои. Три лесозавода потребовали новых партий рабочих. Их дала сибирская деревня, их дали и города. Но это был уже не тот пролетариат, присутствие которого наложило отпечаток на всю работу Игарки в первые два года ее жизни.

Программа заводов срывалась, к весне было выполнено только 40 процентов.

В плане работ 1932 г. стояли обследование и освоение Нижней Тунгуски. В районе реки шли большие лесозаготовки; были найдены каменный уголь и графит. В районе Киренска нащупали хорошую слюду. Во всех этих местах производилась промышленная разведка, соединенная с разработкой. Надо было осмотреть эти работы для составления планов заселения.

Прорыв на Игарке заставил отложить эту поездку до осени. Самолет, уже долетевши до Иркутска, свернул на Ангару и затем на Енисей к Северному городу.

Весело тогда жила разросшаяся Игарка. По улицам ходили толпы народа с гармониками и балалайками, в клубе докладывалось «о международном положении», а на заводах ежедневно отмечалось недовыполнение плана расpielки.

Где причина срыва?

— Бревна не те подают на распиловку. Пристань и виновата в прорыве, — говорили лесозаводы.

— Ваша работа виновата, а не мы. Что ни распили, то технический брак, — возражала лесная пристань.

— Вообще не тот рабочий пошел, что раньше. Деревенщина и городская гультепа, — приходили к соглашению руководители обоих этих участков.

Надо было переломить настроение безнадёжности у руководителей, создать действительное соревнование и ударничество, устранить ряд технических недостатков, а главное — показать каждому заводу картину его работы и дать этой работе ежедневную оценку.

«Игарцы никогда не давали прорыва, — писала игарская газета «На северной стройке», — они заняли первое

место в Союзе по качеству своего леса. В этом году Игарка может потерять все результаты своих предыдущих достижений».

Анализ причин прорыва заводов, выработка нового плана работ и передача его на заводские собрания отняли не много времени.

«Красноярцы в этом году будут помогать игарским заводам» — писал представитель «Экспортлеса».

— Никакой помощи не понадобится! — отвечали игарцы.

И заводы добились высших в лесопильном деле показателей. Начала сдавать сплавная пристань. Ударники взяли ее «на буксир». К приходу карских пароходов весь экспортный план был выполнен.

Пароходы пришли в этом году в количестве больше, чем пропустило их Карское море за все предыдущие десятилетия. Среди них были уже пароходы в 5—6 тыс. тонн вместо обычных прежде 2,5—3 тыс. тонн.

Игарский порт развивал лихорадочную деятельность. Днем и ночью слышались пароходные гудки, шум моторов, грохот лебедок. Ночью издалека видно на небе отражение многочисленных электрических огней Игарки. Здесь бился пульс большого заводского города.

Все это было особенно эффектно после длительной поездки по молчаливому, пустынному Енисею. Тунгус был прав: здесь стал большой «базар».

В 1932 г. зима рано вступила в свои права. Мороз сковал грязь лесотундры и дал ледяные забереги на воде Енисея. С тревожным криком днем и ночью проносились над Игаркой стаи гусей и уток. Они спешно отступали перед зимой. Загорелось на небе полярное сияние. Наступил октябрь. Около морских пристаней в это время еще стояли в интенсивной погрузке пять больших пароходов. Так долго они никогда не задерживались.

С моря шли тревожные радиogramмы:

— Бухта Диксон замерзает, в море идет ледообразование. Торопитесь!..

Люди устали. Брезентовые куртки не защищали от холода. Производитель-

ность падала. Среди сезонников расплодилось тревожное настроение:

— Замерзнем в пути, тогда погибать... Надо требовать отправки в Красноярск.

— Какая-то заколдованная баржа. Нисколько не поддается выгрузке. Грузчики окончательно сдали, — рапортовал капитан, заведующий погрузочными работами.

— В Карском море можно плавать весь октябрь. Прежние сроки нас не устраивают. Льды Енисейского залива пробьет «Малыгин», — был ответ.

Но грузчиков и всех сезонных рабочих надо было отпустить как можно скорее. Было бы, действительно, трагедией, если бы речной караван с 3.000 людей замерз где-либо на плесе Енисея, среди глухих лесов, без топлива и продовольствия.

«Сегодня об'является по всему городу Игарке «день помощи Карской», — извещали экстренно выпущенные листовки. — Всем собраться около лесозаводов».

Наступила тяжелая, темная ночь. Сухой, острый снег, поднятый сильным ветром, слепил глаза людям и лошадям. Руки распухали от холода. Но с каким-то злым упорством все стояли на своих местах. Как по конвейеру, шли доски от биржевых штабелей к пароходам.

К утру 6 октября все было закончено. В тот же день ушли из Игарки речные и морские пароходы. Шли, ломая молодой лед, с обмерзшими мачтами и корпусами. Речные пароходы торопились на юг, где еще стояла теплая погода, навстречу же морским пароходам, ломая лед Енисейского залива, шел ледокольный пароход «Малыгин».

Игарка активно боролась за Северный морской путь и одержала победу. На 40 проц. сократились валютные расходы по морским пароходам. С этого года умолкли скептики. Карские экспедиции, овевянные раньше ореолом полярной экзотики, сменились нормальными «карскими рейсами».

Игарка выработала план будущей своей работы. Ее экспорт пиломатериалов определялся этим планом в 23 тыс. стандартов. В строй готовилась вступить новая фабрика по размолу курейского графита. Усиленно работал кирпичный завод. Население приближалось к 15 тысячам.

Игарка выросла не случайно. Она создана как морской порт полярного Карского моря. Ее заводы должны были дать нагрузку этому пути. Только через море она могла наиболее выгодным способом приобщиться к хозяйственной системе всего нашего Союза, к внутреннему и внешним рынкам.

За рубежом

1. Проф. Д. ЛИФШИЦ — Япония и морские вооружения на Тихом океане. 2. Международная хроника

1. ЯПОНИЯ И МОРСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Проф. Д. Лифшиц

При первых слухах о том, что Япония намерена отказаться от Вашингтонского договора, в иностранной и больше всего в английской печати говорили: «Япония идет на блеф. Она не посмеет отказаться от договора». И в самом деле. Перенапрягая уже достаточно истощенное народное хозяйство, Японские империалисты в те дни стремились перевооружить армию для нападения на СССР. Какие разумные основания могли существовать для отказа от договора, если он позволял Японии ограничить расходы на дополнительные морские вооружения и тем самым давал возможность усиливать вооружения на суше и в воздухе?

За несколько месяцев до формального отказа японского правительства от Вашингтонского договора внутри Японии была предпринята инсценировка «гнева нации» против «оскорбительного» договора. Были призваны к националистическим беснованиям многочисленные носители «духа Ямато» и пророки «императорского пути». Полицейские чины, жрецы, руководители союза резервистов во всех уголках страны дирижировали, как умели, «воплями оскорбленной нации»: «Никто, кроме неба, не смеет ограничить свободу императорского флота развиваться в соответствии с задачами национальной обороны». Но за все время этой агитации действительные ее руководители не обмолвились ни одним

словом, и подлинные цели отказа от Вашингтонского договора оставались неясными. Англичане первыми взяли на себя смелость понять своеобразный стиль японской политической жизни: отказ от договора провоцирует гонку вооружений на Тихом океане; в этой гонке примут участие могущественные США, которые бросят громадные средства на морское строительство. Следовательно, отказ Японии от договора — явно безрассудный шаг. Но — и здесь лица английских дипломатов обретают обычную мягкость — национальные чувства японцев чрезвычайно остры и болезненны. Воздавая должное этим чувствам, дипломаты пытались найти способ удовлетворить их и одновременно спасти правительство Японии от совершения безрассудного шага. Англичане предложили: пусть императорский флот получает право неограниченного развития, но японское правительство должно заключить «джентельменское соглашение», что императорский флот не будет развиваться неограниченно.

Японские адмиралы, повидимому, оказались неспособными воспринять эти тонкие нюансы понятий о национальной чести. И, не оценив английского дружелюбия, они прервали переговоры.

Истинные намерения японских империалистов сделались еще более загадочными. Не ошиблись ли иностранцы, расценивая агитацию против Вашингтон-

ского договора, как плохо разыгранный спектакль? Может быть, и верно, что японское правительство против собственной воли и здравого смысла вынуждено было подчиниться демонам национализма? Из последующего изложения читатель увидит, что для таких выводов нет оснований: в отказе Японии от ограничения вооружений на море содержится ровно столько политического безумия, сколько можно обнаружить в каждом акте империалистической подготовки к войне. Ни больше, ни меньше.

1. Вашингтонский договор в свое время превозносили как гуманнейшее изобретение современности, позволяющее ограничивать вооружения на море.

Говорили при этом, что устранение гонки вооружений служит наилучшей гарантией мира на Тихом океане.

Классические формы гонки вооружений на море были созданы Германией и Англией в период между 1903 и 1914 гг.

Следуя этому историческому опыту, мы можем установить: гонка вооружений налицо, если морские державы увеличивают мощь флотов, доводя до предельного напряжения свои финансовые возможности. Тогда верно и обратное: если тихоокеанские державы не увеличивали своих морских сил или увеличивали их весьма медленно, оставляя неиспользованными какие-то финансовые возможности, то мы должны будем признать, что Вашингтонский договор действительно предотвратил гонку вооружений на Тихом океане.

Что же дала практика договора?

Ни один из участников не нарушил его до сих пор. По крайней мере не нарушил открыто и явно. И однако боевая мощь флотов Японии, Англии и США непрерывно возрастала с момента заключения договора, и возрастала так быстро, как никогда за всю историю империалистических вооружений.

Специалисты измеряют боевую мощь корабля посредством так называемого боевого коэффициента, в который входят: скорость стрельбы, вес залпа из всех

орудий главного калибра корабля, дальность полета снаряда, начальная скорость снаряда, толщина и качество бронирования, скорость хода корабля и радиус его действий.

Если мы измерим современную мощь флота Англии посредством применения боевых коэффициентов (для отдельных классов кораблей) и сравним эту мощь с боевой силой довашигтонского флота, то получим следующие результаты: а) одна тонна водоизмещения современного флота содержит в себе по крайней мере на 200 проц. больше боевой мощи, чем раньше, б) несмотря на то, что флот Англии 1935 г. на 650 тысяч тонн меньше, чем в 1922 г. (вместо 1,9 млн. тонн 1,25 млн. тонн), боевая мощь его увеличилась на 50 — 60 проц.

Или иначе: если бы старый флот Англии принял бой против современного, то все ютландские страшилища вместе с их многочисленным окружением (крейсера, эсминцы и т. д.) были бы превращены в столбы дыма и пламени через 45 — 60 минут после начала сражения: в современную тонну боевого корабля втиснуто разрушительной силы, живучести и маневренности гораздо больше, чем раньше.

Англия сокращала об'ем тоннажа и все-таки добилась огромного увеличения боевой мощи своего флота. Но Япония и не обязалась по договору сокращать общий тоннаж флота. И, применяя новые методы кораблестроения, она добилась результатов еще больших, чем Англия. США не отставали от Англии за время действия Вашингтонского договора, хотя и не сделали для усиления своего флота так много, как Япония.

Обратимся теперь к финансовой стороне морских вооружений за последние двенадцать лет. Известно, что морские бюджеты Англии, США и Японии росли из года в год и сейчас стоят на уровне более высоком, чем до мировой войны. Но не столь важны абсолютные величины расходов на вооружения, сколько степень приближения к пределу напряжения, который может вынести каждый из участников договора.

Почти половину государственного бюджета Англии пожирала проценты

по внутреннему военному долгу (таков результат победоносной войны!). Помощь безработным отнимала в 1922 — 27 гг. от 12,5 проц. до 15 проц., а в 1928—34 гг. до 25 проц. всех государственных расходов. Усилившиеся колониальные волнения вынудили английский империализм непрерывно увеличивать расходы на моторизацию и механизацию армии и на авиацию в колониях. К довершению всех бед германский фашизм вызвал Англию на участие в гонке воздушных вооружений. При всех этих условиях Англия могла тратить на дополнительные морские вооружения в среднем по 100 — 120 млн. рублей ежегодно. Увеличить значительно морские расходы Англия уже не могла. Рост налогов усилил бы классовую борьбу; уменьшить расходы по другим статьям было явно невозможно. Отсюда видно, что морские вооружения Англии стояли на пределе ее финансовых возможностей.

По абсолютной величине ежегодных расходов на морские вооружения Япония почти догнала Англию. Но японские империалисты в отличие от английских уже перешли «нормальный» предел роста военных расходов. Вооружаясь одинаково интенсивно на суше, в воздухе и на море, японские империалисты непрерывно уменьшают реальную зарплату в стране и производят ограбление крестьян в неслыханных масштабах. Такой способ финансирования возрастающих военных расходов уже привел к крайнему обострению классовой борьбы. Пришлось прибегнуть к фашизации политической системы, что уже само по себе показывает крайнюю степень внутривнутриполитической напряженности: фашизм — последнее оружие буржуазии в борьбе за удержание классового господства.

Теперь видно: Вашингтонский договор не помешал тихоокеанским державам увеличивать свои морские силы и не препятствовал увеличению морских расходов отдельных участников до крайних пределов. Это значит, что Вашингтонский договор ни на один час не приостановил гонки вооружений на море. Важно подчеркнуть, что наибольшую

энергию в этой гонке развила именно Япония.

В неограниченной гонке вооружений каждая держава строит столько, сколько может, и подбирает состав флота, который в наилучшей степени соответствует ее политическим и стратегическим задачам. Япония строила новые корабли и увеличивала свои морские силы так быстро, как это позволяло ей возрастающее финансовое напряжение. Но, может быть, ее вынудили строить неэффективные корабли? Может быть, Вашингтонский договор ограничивал свободу выбора средств вооружений на море?

2. Современные военные корабли делятся на следующие классы: линейные корабли, линейные крейсера, крейсера класса «А», крейсера класса «Б», минный флот и подводный флот. Вашингтонский договор, дополненный впоследствии Лондонским соглашением 1930 г., установил множество ограничений, относящихся почти ко всем классам кораблей. В силу этих ограничений участники договора обязались не строить линейных кораблей свыше 35.000 тонн водоизмещения и не вводить на них артиллерию свыше 16" калибра. В строительстве крейсеров участники договора обязались не увеличивать их водоизмещения сверх 10.000 (это и есть «вашиingtonский» крейсер) и не ставить на них орудий свыше 8". Одновременно Вашингтонский договор определил верхние пределы тоннажа по отдельным классам кораблей. Эти пределы позволяли США, Англии и Японии доводить линейный, крейсерский, воздушный (авианосцы) и подводный (океанский) флоты до объемов, относящихся друг к другу, как 5 : 5 : 3.

На первый взгляд Вашингтонский договор связал японских империалистов по рукам и по ногам всяческими ограничениями и «унизил» Японию, не разрешая «императорскому флоту» подняться из состояния слабейшего.

Но на деле вашингтонские лимиты (5 : 3) создают Японии полную гарантию безопасности и неуязвимости. Строго говоря, это положение уже доказано самим опытом, поскольку япон-

ские империалисты совершенно безнаказанно уже в течение нескольких лет захватывают территории Китая, расширяют его богатства и методически заколачивают все «двери», через которые еще не так давно выкачивались немалые прибыли английскими, американскими и французскими капиталистами. Само собой разумеется, японские адмиралы и генералы лучше, чем кто-либо, понимают бессилie США или Англии помешать разграблению Китая. И следует напомнить: в самый разгар кампании против продления Вашингтонского договора военное (не морское!) министерство выпустило свою знаменитую брошюру, где было сказано: «Императорский меч справедливости не имеет ничего общего с мечами других стран...», «но меч этот должен быть силен...», «так, например, идеи императорской справедливости не могли бы осуществиться в Китае, если бы у нас не было сильного флота». Но так как флот надлежащей силы оказался налицо, то «политика справедливости была проведена, несмотря на все угрозы Стимсона». Сила флота Японии, гарантирующая ей безнаказанность, обнаруживается, таким образом, самими событиями последних лет. Остается объяснить: как и почему Вашингтонский договор в конце концов создал для Японии прочную безопасность на море.

3. Линейные корабли несут на себе самую мощную артиллерию и обладают максимальным бронированием, а следовательно, и наибольшей живучестью. Боевое значение линкора легко понять из следующего примера: встречаясь с каким угодно количеством кораблей других классов, линейный корабль всегда останется победителем: снаряды линкора будут уничтожать слабобронированных противников, тогда как их относительно слабая артиллерия будет бессильна разрушить мощную броню линкора. Или иначе: линейный корабль действует в морском сражении подобно «классическому аргументу» формальной логики: он кладет конец спору.

По Вашингтонскому договору Япония имеет 9 линкоров против 15 американских и 15 английских. Из девяти

японских линкоров только два — «Мутцу» и «Нагато» — вооружены 16" артиллерией и построены после 1919 года. Остальные еще старше по возрасту и вооружены 14" артиллерией. Вашингтонский договор практически запретил Японии строить новые линкоры и замещать старые новыми, так как установил определенные возрастные цензы для линкоров, подлежащих замене. Но договор не запретил модернизировать линейные силы. И Япония, не отставая от других участников договора, использовала все завоевания новой техники и военного кораблестроения для того, чтобы втиснуть в старые корпуса своих линкоров как можно больше артиллерийской силы и бронирования: не хуже США и Англии она разрешила проблему увеличения скорости стрельбы, дальности действительного огня, дополнительного бронирования палубы, надделки противоминных утолщений и т. д., и т. д. В результате ее линейный флот по качеству хотя и ниже английского, но во всяком случае не хуже американского. И однако линейный флот Японии будет разгромлен в решительном сражении и США, и Англией: он все-таки слабее флота США и по крайней мере в 2 раза слабее флота Англии (если учесть и качество, и количество линкоров).

Но разгромить слабого противника гораздо легче, чем найти его и заставить сражаться. И как-раз Япония по совокупности всех политических и стратегических условий может избежать линейного сражения ровно столько времени, сколько захочет; ее политические задачи в данный момент разрешаются в Азии, поэтому ей важно поддерживать регулярную и нерушимую связь с материком, где находятся ее сухопутные армии и откуда она получает сырье, необходимое для поддержания своей боеиспособности. При таких условиях жизненное значение для Японии приобретает полное господство в Японском море и только в этом море. Для осуществления этого господства она должна иметь линейный флот, способный отразить всякую попытку противника провалиться в Японское море через Симоно-

секский пролив, Цусиму и т. д. Все эти проливы достаточно узки для того, чтобы организовать здесь сильные минно-артиллерийские позиции. В то же время сила, возможности дислокации, средства разведки и скорость хода линейных кораблей Японии совершенно достаточны для того, чтобы подойти своевременно к атакованным проливам и во взаимодействии с мощной береговой артиллерией отразить попытку прорыва. И больше того: нанеся известные потери атакующему, японское командование могло бы дать возможность ему прорваться и потом уже запереть его в Японском море изнутри. В то же время линейный флот Японии может служить средством поддержки ее сухопутных операций, например таких, как операция за овладение Вейхайвеем (ближайшей к Японии базы английского флота): отвлекая на себя огонь английских кораблей и береговой артиллерии, линейный флот упрощает атаку сухопутных укреплений. И если превосходные английские силы подойдут на помощь Вейхайвею, Япония успевает спрятать свои корабли в безопасные места.

Абсолютной меры вооружений не существует. Силы противника, его стратегические и политические возможности, представляют собой единственный критерий мощи своих вооружений. И в свете этого положения следует признать, что линейный флот Японии достаточно силен для успешного выполнения своих задач против воли США или Англии.

4. Крейсера имеют в морской войне два назначения: а) они несут разведку для главных сил, предупреждая командование о движении неприятельской эскадры (одновременно они препятствуют крейсерам противника нести разведку); б) они уничтожают торговое судоходство противника.

Для выполнения второй задачи можно применять не только боевые корабли. Наиболее быстроходные суда коммерческого флота приспособляются еще в мирное время для несения функций вспомогательных крейсеров. Правительство Японии щедро субсидирует торговое судостроение, требуя создания судов,

способных выдержать артиллерийское вооружение и обогнать среднее коммерческое судно.

Но эрзац-крейсер не обещает дать большую эффективность, так как огромное большинство «купцов», уже при рождении своем заботливо опекаемых морскими министерствами США и Англии, будут вооружены во время войны. Поэтому эрзац-крейсер должен опираться на помощь военных крейсеров.

Какими качествами должен обладать боевой корабль, чтобы обеспечить действия вспомогательных крейсеров? Очевидно, прежде всего, что его артиллерия должна быть более сильной, чем артиллерия «купцов», составляющих предмет охоты. Необходимо далее придать ему бронирование, чтобы защитить его от шального попадания «купца». Такой крейсер должен обладать и очень значительным перевесом в скорости хода над «купцами»: находясь где-то в центре определенного района, крейсер поддержки должен успеть притти на помощь каперу и уничтожить торговые суда раньше, чем они успеют уйти из неохраямемой зоны.

И наконец «холостой» ход крейсера — от базы, где он возобновляет свои запасы (топлива, снарядов и т. д.), до места действий и обратно — должен составлять возможно меньшую часть всего количества миль, которые крейсер может пройти, не возобновляя запасов.

Есть основания предполагать, что «купцы» будут вооружаться артиллерией до 4,2" и сопровождающие их военные суда (конвой эсминцев) будут иметь артиллерию в 5,1". Отсюда необходимость иметь на крейсере пушки 6" или 8" калибра.

Линии коммуникации США с Азиатским материком, коммуникации Австралии с Америкой, Индией и т. д., все коммуникации Китая могут быть отнесены на такое расстояние от Японских островов, что японский крейсер должен будет пройти добрые тысячи миль, прежде чем выйдет на курсы следования «купцов». Старые японские крейсера не смогли бы выполнить задачи нападения на такие отдаленные коммуникации противника. Здесь требуется

крейсер с радиусом действий 10 — 12.000 миль.

Складывая все требования: 6" и 8" артиллерия, возможность бронирования, скорость хода в 30 — 32 узла (против скорости среднего «кушца» в 12 — 14 узлов), радиус действий в 10 — 12.000 миль, военные кораблестроители и получили водоизмещение в 10.000 как условие, совершенно достаточное для удовлетворения всех этих требований.

В это водоизмещение—10.000 тонн—свободно укладываются и требования, которые предъявляются и к крейсерам, следующим в составе линейной эскадры¹⁾.

«Ограничивая» свои права в постройке крейсеров, Япония получила благодаря Вашингтонскому договору возможность создавать крейсера, вполне соответствующие условиям Тихого океана.

Обратимся теперь к соотношению крейсерских сил на Тихом океане, как оно сложилось благодаря неукоснительному выполнению Вашингтонского договора со стороны Японии. Следует отметить прежде всего, что из всех участников договора Япония первой выполнила свои «обязательства» по обновлению крейсерских сил и первая заполнила свои лимиты. И на сегодня Япония имеет 16 «вашиINGTONов» (против 18 английских и 14 американских) и 16 крейсеров класса «В» с 6" артиллерией (против 7 американских и 34 английских²⁾). Но это еще не все крейсерские силы Японии. Подводные лодки, как известно, предназначены к крейсерской войне.

¹⁾ Вашингтонские «миротворцы», как теперь выясняется, установили лимиты водоизмещения с большими резервами, учитывая неизбежный прогресс кораблестроительного искусства. Первые «вашиINGTONы» получили кличку «гробовых гвоздей». Длинные, узкие, очень слабо бронированные, они заслужили ее: современный лидер эсминцев своей 5,1" артиллерией мог бы при удаче пустить ко дну этот нелепый корабль. Сейчас облик «вашиINGTONа» изменился. Американские инженеры ухитрились навесить на него пятитонное бронирование, сохранив 8" артиллерию и 32 — 33 узла хода.

²⁾ Крейсер класса «В» следует считать не менее сильным, чем первые экземпляры «вашиINGTONа» (класс «А»). Японцы не спешили со строительством «вашиINGTONов», пока не научились надежно бронировать их. Японские крей-

Япония построила подводных лодок 79.000 тонн против американских 70.000 и английских 50.000.

Что же дает это соотношение крейсерских сил Японии? Само собой разумеется, что крейсерские силы Японии совершенно недостаточны для того, чтобы блокировать США или Англию. Но верно и другое: крейсерский флот Японии весьма сильно затруднит оказание крупной и регулярной помощи Китаю извне путем отправки войск, снаряжения, продовольствия и т. д. И во всяком случае крейсерские силы Японии достаточны для того, чтобы сделать существующие торговые коммуникации США и Англии гораздо менее надежными, чем они были во время мировой войны. Объясняется это положение особенностями крейсерской войны на Тихом океане: торговые суда пересекают огромные водные пространства и практически находятся под угрозой атаки в каждой точке своего длинного пути. Для преодоления этой угрозы необходимо охранять суда во все время следования по океану, т. е. создавать систему «конвоев». Но если сообщения по морю должны быть регулярными, то придется все средства охраны распылять между множеством «конвоев». При наличии одной только подводной опасности сильная охрана конвоя не нужна: вооруженные «кушцы» будут отвечать на огонь подлодки; небронированная, имеющая немногочисленную артиллерию, подлодка будет потоплена раньше, чем нанесет большой вред конвою. Если же подводная лодка действует в погруженном состоянии, то «кушцы» успеют разбежаться во все стороны, так как подлодка, погружаясь, теряет ход. И наконец конвой может быть охраняем мелкими судами (эсминцами и т. д.). Иная обстановка складывается при охране конвоя от крейсерской атаки. Сильная и скорострельная артиллерия современного крейсера может быть подавлена только при

сера класса «В» представляют собой компромисс между живучестью и его огневой мощью: вводя 6" артиллерию вместо 8" на крейсере «В», японцы довели бронирование его палубы до 3", а бортов — до 3,5 — 4". Скорости хода крейсеров обоих классов обычно равны.

том условии, если в составе конвоя будут следовать корабли тех же классов, какие высылаются для атаки судоходства. Здесь и лежит главная трудность: защита конвоев требует много больше сил, чем атака, так как защищающийся распыляет свои силы между многими точками, в то время как отступающий сосредоточивает свои силы. Некоторое представление о количестве крейсеров, которыми должен располагать противник Японии на Тихом океане, чтобы можно было защитить свое судоходство, можно получить из следующего примера истории: в 14-м и 15-м годах в Тихом океане оперировали два германских крейсера: «Шарнгорст» и «Гнейзенау», сопровождаемые тремя малыми крейсерами класса «Лейпциг». Чтобы положить конец их операциям, союзники сосредоточили в Тихом океане 24 военных корабля, из них 3 линейных. Германские корабли не имеют собственных надежных баз питания, не чинились, весьма часто принимали топливо в море и не могли рассчитывать на полную скрытность своих переходов. Отсюда видно, что японские крейсера, опирающиеся на острова метрополии и многочисленные «подмандатные» островки, обладающие гораздо большим ходом и лучшим качеством вооружения, будут несравненно более грозным противником в крейсерской войне, чем немцы.

Подавить крейсерскую деятельность японцев можно только при том условии, если США или Англия будут иметь достаточные силы для непрерывного блокирования выходов крейсеров в море. Но, во-первых, количество баз крейсерского флота Японии велико и может быть легко увеличено. И, во-вторых, линейный флот Японии может всегда появиться в море для обеспечения выхода и входа своих крейсеров. Это значит, что для «тесной блокады» японских крейсерских баз требуется участие линейных кораблей, которые все время должны «дежурить» во многих местах сразу. Такое рассредоточение линейного флота недопустимо, ибо он будет разбит японцами по частям.

При всех этих условиях контратака коммуникаций Японских островов с

внешним миром является одним из важнейших средств сковать крейсерские силы Японии. Но и в защите своих коммуникаций японский империализм сохраняет относительное преимущество. Искусственно созданная замкнутость Японского моря позволит бросить часть мелких кораблей и вспомогательный флот на борьбу с подводными лодками, если им удастся прорваться в Японское море. И весь свой крейсерский флот Япония сможет сосредоточить на защите относительно коротких коммуникаций с Китаем (на Дайрен и т. д.). Но японское командование уже сейчас предусмотрительно увеличивает число портов в Манчжурии: в случае крайней необходимости эти порты позволяют перенести все коммуникации с Азией в Японское море.

Мы видим теперь, что крейсерский флот Японии, созданный в условиях Вашингтонских «ограничений», представляет собой оружие весьма серьезного значения.

5. Относительно слабой представляется морская авиация Японии при сравнении с английской и американской. В то время как Англия держит в строю 115.000 тонн авианосцев и Америка 100.000, Япония «довольствуется» 68.000 тонн.

Морская авиация, базирующаяся на авианосцах, может быть действительным средством нажима на противника, если действия ее непрерывно повторяются в достаточно широких масштабах.

Регулярность нападений — единственное условие помешать восстановлению разрушенных средств обороны. В свою очередь безнаказанность нападений или относительно небольшие потери — единственное условие регулярности воздушных атак с моря: воспроизводство морских вооружений, уничтоженных во время атаки, требует довольно больших сроков времени.

Ни одно из этих условий США или Англия не могут выполнить. Пусть например авианосцы США отправляются в поход с Гавайских островов. Чтобы достигнуть берегов Японии, им предстоит идти тысячи миль, днем и ночью под непрерывной угрозой

атаки: днем авианосцы будут атакованы крейсерами, ночью — торпедными силами. Понадобится поэтому охранять авианосцы. Но тогда и японцы усилят средства давления на походную колонну, охраняющую авианосцы. В конце концов понадобится сопровождать авианосцы всеми силами линейного флота. Но в этом случае японский линейный флот, взаимодействуя со своими крейсерами и торпедными силами, получает множество шансов уравнять силы для линейного сражения: вцепившись в хвост колонны своими крейсерами, атакуя ее фланги торпедными силами, вводя внутрь построения колонны подводные лодки, японское командование сможет в конце концов найти момент, когда линейные силы походной колонны рассредоточатся — для отражения крейсерских атак на хвост колонны или по каким-нибудь другим причинам. Именно в этот момент линейный флот Японии обрушится на противника, имея своей руководящей целью расстрелять авианосцы, помещенные где-то в центре колонны. При таких условиях боевая сила флота США понижается главным образом потому, что все маневры, необходимые для сражения, будут в большой степени осложнены необходимостью прикрывать и спасти авианосцы — сердце всей операции. Если же американское командование изменит план и сосредоточит все усилия на уничтожении японских линейных кораблей, предоставляя авианосцы обычной судьбе всех средних кораблей эскадры, японцы вернутся к тактике уклонения от решительного сражения, уничтожив предварительно авианосцы противника.

Но и это не все. Чем ближе успеет подойти походная колонна к японским берегам, тем больше уравниваются силы противников: средства береговой обороны, в особенности авиация и торпедные мелкие силы (в том числе и малые подводные лодки), приходят на помощь японскому флоту.

Из всего этого видно, что операция воздушной атаки островов Японии слишком громоздка и опасна, чтобы командование США могло делать на нее ставку как на основной метод борьбы.

6. Спрашивается теперь: какими силами должны располагать морские противники Японии, чтобы сокрушить ее сопротивление? Достаточно ли например союза США и Англии для поражения Японии? Обороноспособность Японии покоится на двух основаниях: а) ее противники не могут прорваться в Японское море благодаря узкостям, относительно легко защищаемым минно-артиллерийскими и авиационными средствами береговой обороны, и б) возможностью выкачивать из Китая сырьевые ресурсы, питающие войну. Соединение флотов США и Англии, если оно не сопровождается изменением роли Китая в обороне Японии, не может произвести решающих изменений в ее оборонительных позициях. Само собой разумеется, что союз Англии и США принудит Японию к предельному напряжению сил. При таком союзе учащаются воздушные атаки и растут угрозы прорыва в Японское море. Однако Япония имеет средства защищаться и при этих условиях: для парализования угрозы прорыва в Японское море она построит корабли, приближающиеся по своим качествам к простой пловучей батарее или монитору, с огромной живучестью и устрашающей артиллерией. Такие суда, строго специализированные, совсем тихоходные, освобожденные от всех атрибутов полноценного линейного корабля, должны стоить много дешевле линкоров и могут быть созданы за короткие сроки. Эти же суда, обеспечивая проливы, ведущие в Японское море, полностью освободят японский линейный флот для контр-атакующих операций.

Если морские силы США и Англии недостаточны, чтобы решить наступательную войну против Японии, то и обратно: силы Японии недостаточны для наступательной войны против союзников. Но следует подчеркнуть: против каждого из своих противников отдельно Япония способна действовать наступательно уже при наличном соотношении сил, если общая политическая обстановка сложится для нее благоприятно. Так например, оккупация Филиппинских островов, проведенная внезапным уда-

ром (например во время ежегодных морских маневров), осуществима довольно легко, так как США держат на Филиппинских островах совсем слабые силы (крейсера и не более 2 бригад морской пехоты). Захватив Филиппины, японцы поставят США в такое положение, что флот и армия США должны будут истощать себя в атаках, имеющих целью вернуть потерянное. Это значит, что командование США окажется в положении не намного лучше, чем при атаке Японских островов. И, не имея базы более близкой, чем Гавайские острова, США не смогли бы уничтожить коммуникаций экспедиционного корпуса Японии. Формоза (расположенная вдвое ближе к Филиппинам, чем Гавайи) сделалась бы фланговой базой в операциях против американских крейсеров.

Более важным объектом для интересов Японии представляет нефтеносный Борнео. Предпринять что-нибудь успешное против Англии японские империалисты не смогут до тех пор, пока Гонконг будет висеть у них на фланге как база английских крейсеров, до тех пор, пока в Сингапуре будет сосредоточена вся мощь линейного флота Англии. Но если англичане не могут вести успешную войну против Японии даже при двойном превосходстве в силах, то для японской экспансии против Борнео не требуется такого большого превосходства: англичане, действуя против главных островов Японии, преодолевают огромное пространство, имея на флангах¹⁾ множество угрожающих препятствий (от Формозы к северу); напротив, японцы, атакующие Борнео, базируются на Формозу и таким образом преодолевают меньшее пространство, имея на фланге только Гонконг и Сингапур.

7. Существующее соотношение сил на Тихом океане объясняет агрессивную активность Японии только с узко-такти-

ческой точки зрения. Но само собой разумеется, что морская мощь Японии не может служить достаточным объяснением пассивности США и Англии.

Любой из противников Японии — США или Англия — способен обуздать японских империалистов, если бы перенес центр тяжести войны на материк и применил свои морские силы только как средство добавочного давления на Японию и как средство обеспечения действий на материке. Но перенести центр тяжести войны на Азиатский материк — это значит опереться на национально-революционную войну самого Китая против Японии, это значит развязать те самые социальные силы, которые уже однажды и, повидимому, весьма крепко напугали империалистических противников Японии. Англия и США много раз подумают, прежде чем разыграют карту Китая: поднять Китай для национально-освободительной войны — это значит потерять его как колонию...

Но если бы США и Англия, вместе или раздельно, решились вести войну с Японией с напряжением всех своих гигантских возможностей, то даже при одной морской войне и при полной пассивности Китая они добились бы победы. Против Японии они могли бы построить корабли совершенно новых классов, безмерно дорогие, но чрезвычайно эффективные, могли бы создать сильнейшие самолеты, и все это в количествах, исключающих возможность успешного сопротивления. Но ни Англия, ни США уже не способны начать такую войну по какому-нибудь незначительному поводу: «большая война», или, как ее назвал бы Клаузевиц, «абсолютная война», обрекающая трудящиеся массы на опрощные лишения и начатая только для того, чтобы защищать права магнатов капитала на прибыли в далеком Китае, может очень скоро превратиться в пражданскую войну.

Все это показывает коренное изменение роли морских вооружений, порожденное эпохой империализма. Со времен Кромвеля и вплоть до мировой войны английский капитализм выращивал флот как самостоятельное, самодовлеющее, а потому и острейшее оружие им-

¹⁾ Японцы конечно не упустят случая превратить берега Китая (от Сватоу к северу) в свои опорные пункты. По крайней мере в военной литературе японцы открыто настаивают на создании многочисленных противовесов Гонконгу, где засел «главный негодяй». (В 1934 г. японская печать редко награждала Англию более нежными эпитетами).

периалистической политики. Не принуждая народные массы к дополнительным жертвам сколько-нибудь значительных размеров, английский капитализм разрастал свои задачи силами флота, накопленными в мирное время. И в большой степени это положение было результатом абсолютного, решающего превосходства Англии на море. Из этого превосходства возникала возможность использовать флот при наличии сильнейшей оппозиции к политике правительства внутри страны (дела Дизраэли!). В этом превосходстве коренилась и убедительность демонстраций флота у берегов противника: каждый знал, что пушки английских кораблей действительно могут заговорить в любую минуту.

В настоящее время положение радикально изменилось. Ни одному из соперников на Тихом океане не удастся создать флот, который мог бы непосредственно и самостоятельно решить исход войны. Эпоха морских войн, когда флоты сражались, а нации только радовались победам «славных моряков», ушли безвозвратно. Никто из соперников на Тихом океане не может применить ни «блеф», ни «запугивание»: наличные флоты совершенно недостаточны, чтобы они одни могли испугать кого бы то ни было из соперников. Обуздать или напугать противника можно только решимостью воевать, решимостью бросить на войну все силы нации, решимостью увеличить наличные вооружения до пределов экономических возможностей страны. Ни один из соперников не сможет спрятать такой решимости воевать и ни один из соперников не может инсценировать ее для запугивания партнера. До сих пор только японские империалисты умудрялись уверить и себя, и других, будто им удастся начать войну по любому поводу и вести ее с предельным напряжением как угодно долго. Напротив, Англия и США вынуждены ожидать удачной коалиции большого числа держав, когда война сделается «большой» и «абсолютной» для Японии, но не будет слишком тяжелой для каждого из ее противников. Или другая перспектива: империалисты Англии и США

будут пассивно ожидать такого разворота японской агрессии, когда хотя бы мелкая буржуазия, «говорящая по-английски», будет в достаточной мере напугана и позволит увлечь себя на путь войны с «желтой опасностью».

Отсюда видно, что инициатива развязывания войны на Тихом океане находится в руках японских империалистов: изменяя степень и направление нажима на чужие интересы на Дальнем Востоке, они будут задерживать образование коалиции против себя; наступая на позиции Англии и США, они будут прощупывать состояние умов в этих странах, определять, как далеко находится точка «кипения» мелкой буржуазии, и соразмерять свои захватнические действия с общими условиями обстановки.

Мы можем теперь подвести некоторые итоги. Безнаказанность японских империалистов коюится на двух основаниях: а) соотношение морских сил на Тихом океане таково, что союз США и Англии не ведет к поражению Японии, если союзники применяют только наличные морские вооружения и ведут войну без крайнего напряжения сил, б) способность противников Японии к решительной войне в известной степени регулируется самой Японией, регулируется в том смысле, что способность США или Англии (или обоих вместе) к войне с Японией нарастает и падает прямо пропорционально нарастанию и смягчению японской агрессии.

8. Во время переговоров, связанных с продлением Вашингтонского договора, японские адмиралы требовали равенства сил на море и предлагали уничтожить соответствующее количество английских и американских кораблей, чтобы получить 3:3:3 вместо существующего 5:5:3. Ни Англия, ни США не согласились добровольно уступить равенство. Таким образом, разрывая договор, японские империалисты угрожают добиться равенства на путях неограниченной гонки вооружений. Каковы же шансы Японии выиграть такую гонку?

Мы уже видели, что отказ Японии от продления Вашингтонского договора означает не начало, но продолжение гонки морских вооружений. Размах мор-

ского строительства за последние годы позволяет поэтому установить объем ежегодных вооружений, которые будут достижимы для Японии, США и Англии без дополнительного нажима на уровень жизни трудящихся, а следовательно, и без дополнительного внутривойскового напряжения.

Темпы строительства, которые успела набрать Япония до сих пор, позволяют ей спускать на воду ежегодно от 30 до 35 тыс. тонн новых кораблей. Рационализируя технику кораблестроения, перераспределяя «дань» с Китая и Манчжурии в пользу морского строительства, Япония сможет увеличить его, скажем, до 45—50 тыс. тонн¹⁾. Так как в настоящее время флот Японии на 400 тыс. тонн меньше английского, то понадобится 8 лет для установления равенства, при том условии, что за 8 лет ни США, ни Англия не будут увеличивать своих вооружений на море.

На деле конечно и США, и Англия будут строить. После 1931 года США закладывают по 100 тыс. тонн в год. Допустим, что это и есть предел возможного напряжения для США, хотя такое допущение заведомо не соответствует истине: руководители «новой эры» еще и сейчас затрачивают на разное строительство огромные суммы; и так как эти затраты имеют весьма слабую, а может быть, и нулевую рентабельность, они могут быть обращены на усиление морского строительства без особого ущерба для хозяйства. При таком допущении Япония должна будет строить по 100 тыс. тонн ежегодно только для того, чтобы удержать наличное

¹⁾ По сведениям, проскользнувшим в прессу в 1934 г., производственная мощь судостроительных предприятий концерна Мицубиси приблизительно равна 45 — 50 тыс. тонн. Это обстоятельство придает известную достоверность допущению, сделанному в тексте.

Банкротство верфей Мицубиси неизбежно в случае продления договора: Мицубиси строил крейсера, и крейсерские лимиты уже заполнены. Разумеется, императорское правительство требует пересмотра договора вовсе не для того, чтобы спасти концерн от банкротства. Но верно и другое: никто в Японии не умеет так толково и красиво разъяснить нации всю универсальность Вашингтонского договора, как это делают люди из концерна Мицубиси.

неравенство флотов, и дополнительные 50 тыс. тонн для преодоления этого неравенства в течение 8 лет. Это значит, что она должна строить 150 тыс. тонн вместо тех 35—40 тыс. тонн, которые она уже с большим трудом вытягивала в последние годы. Отсюда видно, что в неограниченной гонке вооружений Япония не сможет добиться равенства. Позиция Японии в морских переговорах потому и представляется необъяснимой для широкой публики за границей, что угрозы Японии обогнать США в морском строительстве не имеют никакой убедительности.

Но существует еще один участник гонки — Англия. Втянутая в соревнование и стремясь сохранить равенство с США, она вынуждена будет больше чем удвоить темпы своего строительства и довести его до 100 тыс. тонн вместо существующих 35—45 тыс. тонн. Но Англия не может положиться на умеренность США. Что помешает США осуществить пропорцию 6:3 путем гонки вооружений с Японией вместо существующей пропорции 5:3? Ведь английские адмиралы, вероятно, не хуже других знают, что даже при соотношении 5:2 Япония остается неуязвимой для США.

В конце концов, если бы речь шла только о сохранении престижа, Англия могла бы отказаться от равенства своих сил с США, как она уже отказалась однажды (по Вашингтонскому договору) от превосходства своего флота над флотом США. Но мы уже видели, что японская агрессия против Борнео или Гвинеи осуществима уже при относительно небольшом перевесе сил Японии над английскими. Создать такой перевес сил путем гонки вооружений Япония не сможет, ибо Англия и Япония при наличном соотношении 5:2,2 строят одинаковое количество тоннажа. Но с некоторых пор Япония обзавелась воинственными друзьями в Европе. И по неспостижимой случайности агитация против Вашингтонского договора в Японии совпала с агитацией внутри Германии за восстановление германского могущества на море. Если такого рода синхронность действий Японии и Германии сохранится

в будущем и если германскому фашизму удастся хотя бы только утроить свои морские вооружения, Англия неизбежно будет недостаточно сильной либо в отечественных водах, либо на Тихом океане. Это значит, что Англия окажется вынужденной «пригласить» какие-то другие державы защищать ее жизненные интересы либо на Тихом океане, либо в Европе.

Ни один из доброжелателей Англии не возьмет на себя роли защитника Индии или Британских островов бесплатно. И как бы мало будущие союзники ни запросили за защиту английского империализма, его мощь, абсолютно и относительно, будет сильнейшим образом подорвана.

В конце концов плата за союз и помощь зависит от значительности объекта, ради которого союз заключается.

Проводя гонку вооружений на море, Япония усугубляет положение Англии в процессе вызревания антияпонского союза: не США будут обращаться за помощью к Англии, но, наоборот, Англия к США. И если США обратились бы к Англии за помощью для спасения рынков Китая, то при гонке вооружений на море Англия будет просить помощи для защиты краеугольной основы всей Британской империи — Индии.

Все вместе показывает, что отказ Японии от Вашингтонского договора создает наибольшие осложнения именно для Англии.

Не лежит ли здесь объяснение того факта, что Англия постепенно выдвигается в первую линию борьбы против японской экспансии на Тихом океане? Не потому ли английское правительство все чаще подчеркивает непризнание Манчжоу-Го, хлопочет о предоставлении займа Китаю и т. д.

Игра Японии против Вашингтонского договора была начата в тот момент, когда внутри Англии известное влияние имели антисоветские круги и «некоторые адмиралы» деятельно интриговали против кооперации Англии и США на Тихом океане. Японские империалисты могли рассчитывать, что антисоветские и антиамериканские круги перейдут в решительное наступление при первой же

возможности. Такая возможность и создавалась отказом от равенства на море, т.-е. отказом от требования, заведомо неосуществимого для Японии. Здесь и раскрывается истинный замысел атаки Японии на Вашингтонский договор; угрожая поставить Англию в нестерпимо тяжелое положение и активизируя тем самым японофильские круги Англии, японские империалисты создавали для себя наилучшие позиции в дипломатической торговле с Англией по множеству нерешенных вопросов (Китай, Сиам, тарифы Индии, признание Манчжоу-Го и т. д., и т. д.).

Японофильские круги в Англии полностью оправдали расчеты японской политики. Несколько месяцев под ряд они сеяли панику в широкой публике, доказывая необходимость соглашения с Японией для спасения целостности Британской империи. Какую цену запрашивала и запрашивает Япония за продление Вашингтонского договора, мы еще не знаем. Но английские японофилы не скрывали «товара», который следовало бы предложить в обмен за отказ Японии от равенства на море.

В перечне таких «товаров» появлялись попеременно нефтяные концессии на Борнео, рудные богатства Австралии, хлопковые концессии в Египте. И наиболее напуганные из японофилов требовали от своего правительства возобновления союза Англии и Японии против США; саботажа Восточного пакта, чтобы усилить позиции Японии против СССР; требовали наконец крупного займа, маскируя истинные цели займа — подготовку войны против СССР — необходимостью развить «дружбу с молодым государством Манчжоу-Го».

Японская печать в свою очередь намекала на то, что Вашингтонский договор может быть принят императорским правительством с теми или иными изменениями в зависимости от платы, которую Япония получит за отказ от требования равенства на море: Япония может полностью принять наиболее важные статьи Вашингтонского договора; может принять 5:5:3 с тем, чтобы иметь право укреплять Маршалльские острова; может принять 5:5:3 с тем, чтобы

строить в пределах отведенного ей тоннажа все, что она пожелает, и т. д.

Короче говоря: в торге с переторжкой, начатом вокруг продления Вашингтонского договора, недостатка в товаре не было и не будет.

Антисоветские круги в Японии подерживали движение против Вашингтонского договора. Надо думать, что поджигатели войны против СССР расценивали требование равенства, как орудие шантажа и вымогательства, облегчающего сколачивание антисоветского блока.

Твердая политика мира, опирающаяся на непрерывно укрепляющуюся обороноспособность нашей страны, привела к известному ослаблению напряженности на Дальнем Востоке. Тем самым влияние антисоветских кругов Японии нейтрализовано на какой-то срок времени.

Но антисоветские круги не исчезли с политической арены и ждут своего часа. Можно не сомневаться, что поджигатели войны против СССР попытаются теми или иными способами использовать морские переговоры для осуществления своих проектов.

Сэр Джон Саймон пригласил представителя Германии в Лондон на морскую конференцию. Фашистские делегаты, вероятно, и возьмут на себя роль агентов и слуг антисоветских сил Японии и всех других стран...

9. Что произойдет, если английское правительство не сможет или не захочет откупиться от Японии? И в этом случае Япония потеряет немного и во всяком случае меньше других: соотношение сил на Тихом океане, как мы видели, должно очень резко измениться против Японии, чтобы существенно ослабить ее.

Но даже в том случае, если США создадут вдруг и сразу громадное приращение своих морских сил, японцы располагают возможностями смягчить падение относительной мощи своего флота.

Введение нового типа корабля может изменить соотношение сил на море при неизменном соотношении тоннажей. Военная история дает множество подтверждений этому положению.

Англия в 1904 г. спустила на воду линейный корабль нового типа («Дредно́т» — «ничего не боящийся», в бук-

вальном переводе). Появление первого дредно́та превращало линейный флот всего мира в кучу бесполезного хлама, так как дредно́т получил чуть ли не учетверенную мощь артиллерии и утроенную живучесть при увеличении скорости хода (по сравнению с линейным кораблем додредно́тного типа). Он был способен поэтому выдержать бой с любым количеством старых линейных кораблей. Но результаты этого прогресса техники кораблестроения повернулись против Англии: Германия сосредоточила все усилия на строительстве дредно́тов. И относительная мощь Германии на море измерялась уже не простым сопоставлением количества кораблей и тоннажа Германии и Англии, но количеством кораблей новейших дредно́тных типов. В конце концов Англия просто сняла с вооружения корабли дредно́тного типа и тем самым сократила разницу между английским и германским тоннажем.

Пример другого значения дает подводная лодка. Во время мировой войны мощь Англии была достаточной, чтобы сковать и обречь на бездеятельность германский флот. Но появление нескольких десятков германских подводных лодок на всех коммуникациях союзников сразу изменило соотношение сил на море. И по крайней мере 18 месяцев под ряд немцы успешно преодолевали английское господство на морях, несмотря на то, что по тоннажу флот союзников сохранял прежнее превосходство над германским.

Нечто подобное может повториться и в предстоящей гонке вооружений на Тихом океане. В иностранной печати уже появляются сообщения о каких-то «чудесах», которые припасены американцами и японцами на случай расторжения Вашингтонского договора. Слухи эти никакой почвы под собой не имеют: в наше время «чудеса» на море не могут появиться, ибо наука военного кораблестроения во всех случаях и заранее позволяет определить пределы возможных успехов соперника на любой линии морского строительства. И если японцы заложат свои «чудо-корабли», США при кооперации аппарата разведки и инженеров раскроют их тайные свойства

задолго до поступления этих кораблей на вооружение флота.

Дело здесь вовсе не в «чудесах» и неожиданностях, на которые в равной степени способны и неспособны обе стороны, но только в различии стратегического и экономического положения соперников.

Пример дреднота показывает, что новый тип корабля может изменить соотношение сил только на время (относительно короткое). И новый тип корабля делается действительным средством преодоления накопленной мощи противника только в том случае, если противник экономически ослаблен и не способен удержать превосходство на новых объектах строительства. Пример подводной лодки показывает, что новый тип корабля делается опасным только потому, что имеет место различие стратегического положения: немцы могли применить новое оружие, поскольку боеспособность Англии и ее союзников покоилась на мощных грузовых потоках, идущих из всех стран света к театрам военных действий. Англичане не могли пользоваться этим оружием, но не потому, что не знали «секретов» немецкой техники: боеспособность Германии воспроизводилась при полной изоляции от мирового хозяйства и английские лодки не имели объекта для крейсерской войны.

В предстоящей гонке вооружений японцы не преминут конечно воспользоваться уроками истории. Было бы праздным занятием строить догадки об ее конкретных действиях в ближайшие годы. Можно показать только общие линии морского строительства, на которых Япония попытается нейтрализовать экономическое превосходство своих соперников.

Обороноспособность Японии падает вместе с увеличением относительной мощи линейного флота ее соперников: если враги Японии имеют подавляющее превосходство в линейных кораблях, то они могут широко применить авиацию и при случае осуществить десантные операции решающего характера. Экономическая мощь противников Японии велика, но не беспредельна. Отсюда возник

ает первая задача: принудить США к расточению своих ресурсов на создание кораблей оборонительного назначения с тем, чтобы превосходство их линейного флота возрастало по возможности медленно. Отсюда и вторая задача Японии: возможно большую часть своего морского бюджета расходовать на усиление линейного флота. И наконец третья задача Японии: добиваться «морального» сбеоценения линейных сил противников посредством создания нового типа линейного корабля.

Возможность строительства кораблей достаточно сильных и живучих для линейного сражения, достаточно быстрых для крейсерских операций и меньших по размеру, чем современный линейный корабль, уже доказана. Французский «Дюнкерк» имеет 26.000 водоизмещения, 14" артиллерию и 30—32 узла хода. Если японцы начнут строить «Дюнкерки» или что-то близкое к ним, они сразу и одновременно усиливают и линейный, и крейсерский флот и через это достигают известной экономии средств. Если США тоже перейдут к строительству кораблей тех же классов, значение разности тоннажа наличного, т.е. «старого», все-таки ослабляется, ибо «Дюнкерки» получают те же 14" пушки, какие установлены на американских линкорах и имеют громадный перевес в скорости. Но и это не все. Как уже было показано, «Дюнкерки», брошенные на поддержку японских крейсеров, оттянут на борьбу с собой тройное число кораблей того же класса. Это значит, что Япония, вводя «Дюнкерки», может заставить США и Англию расходовать свои ресурсы на увеличение средств обороны, но не наступательных, чего и должны добиваться японцы. На каждые два «Дюнкерка» японских следует отвечать 5—6, чтобы преодолеть их крейсерскую силу. Но 5 «Дюнкерков» — это уже 140 тыс. тонн!

Строительство новейших линейных крейсеров не разрешает всех задач Японии. В известный момент противники Японии могут прервать судоходство, исключить свои «Дюнкерки» в состав эскадры и появиться у берегов Японии,

имея превосходство по всем классам линейных кораблей. Отсюда возникает для Японии новая задача: использовать особенности своего стратегического положения.

Клаузевиц говорил, что оборона — сильная форма войны и наступление — ее слабая форма.

Сила обороны возникает из того положения, что атакующий преодолевает препятствия (естественные или искусственные), заблаговременно подготовленные противником. И препятствия эти создаются с таким расчетом, чтобы обеспечить возможность контратаки, неотразимой и решающей исход сражения¹⁾.

В будущей войне на Тихом океане Япония всегда обороняется: начиная политически-наступательную войну, она захватывает территорию противника внезапным броском и переходит к обороне захваченного. И обратно. Ее противники обречены на наступательные действия даже в том случае, если ведут политически-оборонительную войну: они вынуждены атаковать захватчика.

В этом глубоком и принципиальном различии стратегического положения Японии и ее противников заложена возможность создать оружие, не применимое против Японии и опасное для ее врагов.

Трудно сказать что-либо определенное о новых средствах борьбы, через которые Япония будет стремиться реализовать свое тактическое превосходство. Такими средствами могут быть и новый тип линейного корабля береговой обороны (скорее монитор или пловучая батарея), и новый способ минирования, и новая подлодка и т. д., и т. д. Таким средством может быть и новая система взаимодействия флота, авиации и неподвижных средств береговой обороны. Но для понимания действий Японии, провоцирующей гонку вооружений, нет необходимости «отгадывать» вид и свойства будущего специфически японского

оружия. Важно только установить теоретическую возможность его появления.

Само собой разумеется, что противники Японии не останутся бездейственными. Они будут энергично совершенствовать существующие виды наступательного оружия и создавать новые. В этой связи следует напомнить, что северяне во время гражданской войны проявили поразительную изобретательность. И, что важнее всего, северяне умели пренебрегать сложившимися традициями кораблестроения.

Они создали беспримерный «монитор» («увещеватель») с 18" артиллерией и броней в 21" (18" дубовой брони плюс 3" железной), разгромивший лучшие силы южан. Создали прототипы современной мины и подводной лодки и множество других средств войны, неожиданных и эффективных. Нет оснований думать, что способности американцев к изобретательству ослаблены с тех времен. И сам недостаток боевых традиций флота США — наилучшее условие для прогресса морских вооружений: носители боевых традиций — лихие моряки — по большей части с болезненной подозрительностью относятся ко всему беспреимному и склонны думать, что в былые времена все было правильно и лучше...

Судя по сведениям печати и по составу морских и военных расходов, США затрачивают особую энергию на развитие морской авиации. Уже и сейчас американцы сообщают о том, что их летчики бомбардируют подвижную цель с высоты 5.000 метров с рассеиванием не более 15 метров. Сообщают о полетах целых эскадрилий, управляемых по радио и дающих точность бомбардировки не меньшую, чем точность обычной бомбардировки в 1925—27 гг. Если все эти сведения подтвердятся, то следует ожидать понижения удельного веса затрат на крупнейшие линейные корабли (35.000 тонн и выше).

По совокупности всех условий качественные результаты гонки обещают быть весьма «плодотворными». Новые перевороты в составе морских вооружений не за горами.

¹⁾ В японских боевых уставах говорится: «Оборона — это тигр, сжавшийся для прыжка».

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

19 мая. Выборы в чехословацкий парламент. Компартия по сравнению с выборами 1929 года получила на 100 тыс. голосов больше. Чешские буржуазные партии и социал-демократическая партия в общем сохранили прежнее количество голосов. Разгромленными на выборах оказались немецкие буржуазные партии и немецкая социал-демократическая партия, потерявшие значительную часть голосов в пользу фашистского блока судебных немцев. Фашистский блок собрал 1.250 тыс. голосов и получил 44 мандата. Прежняя правительственная коалиция, состоявшая из чешских и немецких буржуазных и социал-демократических партий, в новом парламенте имела бы 149 мандатов из общего числа 300 против 174 до сих пор. В связи с этим стал вопрос о расширении прежней коалиции.

20 мая. Открытие сессии совета Лиги наций под председательством тов. Литвинова. Важнейший вопрос сессии — итало-абиссинский конфликт.

* Части квантуноской армии начали наступление к югу от Великой китайской стены. Предлог — «изгнание бандитских отрядов Сун Юн-цзина из демилитаризованной зоны».

21 мая. Декларация Гитлера. По вопросу об отношении Германии к Восточному пакту Гитлер заявил:

«Национал-социализм не может призывать своих сторонников к борьбе за сохранение системы, которая выступает в нашем собственном государстве, как наш злейший враг. Мы сами не желаем военной помощи со стороны большевизма и не можем оказать ему эту помощь».

Далее Гитлер сказал, что он согласен лишь на двухсторонние пакты о ненападении с отдельными соседними с Германией государствами. Таким образом, он взял обратно свое же предложение, сделанное за десять дней до его декларации через Саймона конференции в Стресе. Гитлер дал Саймону согласие на заключение восточно-европейского пакта о ненападении и неоказании помощи агрессору. Гитлер предложил Англии

начать переговоры, о воздушном пакте и морских вооружениях. Тактика Гитлера, сказавшаяся в его декларации, все та же: добиться соглашения с Англией и Францией, сорвать пакт о взаимной помощи и развязать себе руки на Востоке.

* Опубликован закон о военной службе в Германии. Срок военной службы устанавливается в один год. Военнообязанными объявляются все немцы от 18 до 45 лет. Выполнение трудовой повинности является предпосылкой к активной военной службе (допризывная подготовка). В случае войны военнообязанными являются не только мужчины, но и женщины. Министерство рейхсвера переименовано в военное министерство.

22 мая. В палате общин и в палате лордов от имени британского правительства заявлено, что воздушные силы в метрополии будут увеличены втрое.

23 мая. Министр торговли Ирана Алям и министр земледелия Баяд, выехавшие в Иран после посещения СССР, прислали на имя наркома внешней торговли тов. А. П. Розенгольца телеграмму, в которой говорится:

«Мы уверены, что наша поездка в Советский Союз будет все больше и больше способствовать консолидации дружеских и экономических отношений между нашими странами. Мы просим вас передать о наших чувствах гражданским и военным властям».

* Лондонский «Таймс» подтверждает широко распространенные слухи о предстоящей реорганизации английского кабинета.

24 мая. Лаваль передал т. Литвинову от имени французского правительства официальное приглашение приехать в Париж.

25 мая. Закрылась сессия совета Лиги. Совет Лиги предложил Италии и Абиссинии договориться в двухмесячный срок. Если обе стороны не договорятся, то совет Лиги назначит своего арбитра. Итальянская делегация, несмотря на то, что Муссолини в своей сенатской декларации от 16 мая категорически отклонил бы то ни было вмешательство в действия Италии в Абис-

синии, эту резолюцию совета Лиги одобрила.

26 мая. Глава бельгийского правительства Ван-Зееланд заявил, что его кабинет «изучает вопрос об установлении официальных отношений с СССР».

28 мая. Верховный суд США признал НРА (рузвельтовскую «Национальную администрацию промышленности») противоречащей конституции. Решение верховного суда — крупнейшее поражение Рузвельта.

29 мая. Чехословацкий кабинет Малипетра подал в отставку. Президент Чехословацкой республики поручил Малипетру образование нового кабинета.

* В советской печати опубликованы статьи краковской газеты «Час», посвященные польско-германским отношениям. «Час» — орган князя Радзивилла и группы польских консерваторов, входящих в состав правительственного блока. Князь Радзивилл — председатель иностранной комиссии сейма. В этих статьях польская внешняя политика истолковывается, как политика союза с Германией против СССР.

30 мая. В Москву прилетела из Праги чехословацкая военная авиационная делегация во главе с начальником военной авиации Чехословакии генералом Файфр.

* Китайская красная армия успешно продвигается из западной части провинции Сычуань по направлению к провинции Цинхай. 50-тысячная красная армия под командованием Чжу-Дэ и Мао-Цзедуна заняла Юэцзюнь в юго-западной части Сычуаня и достигла реки Дадухэ. Части красной армии приблизились к городу Ченду и к Кандину.

* Японские военные власти вручили Нанкину ультиматум, в котором требуют вывода китайских войск из Северного Китая.

* Малипетр сформировал кабинет с Бенешем в качестве министра иностранных дел. Правительственная коалиция расширена путем привлечения в состав правительства чешской ремесленной партии.

31 мая. Кабинет Фландена вышел в отставку. Причина отставки — отказ большинства палаты депутатов предоста-

вить правительству чрезвычайные полномочия для санирования бюджета. Правительство Фландена предполагало сократить расходы за счет ассигнований на социальные и культурные нужды, уменьшения численности государственного аппарата и сокращения зарплаты.

1 и юн я. Председатель французской палаты депутатов Бюиссон сформировал правительство, которое мало чем отличалось от предшествующего кабинета Фландена. Социалист Фросар вошел в кабинет, несмотря на отказ социалистов от участия в правительстве. Неосоциалист Лафон исключен из партии за участие в правительстве.

* Германское правительство разослало меморандум, в котором заявляет, что франко-советский договор о взаимной помощи якобы несовместим с локариским договором.

* Германский посол в Лондоне передал Саймону проект германских предложений об авиационной конвенции. Одновременно он попросил разъяснения, выступит ли Англия против Франции, если последняя в согласии с советско-французским договором выступит против Германии в случае германо-советской войны.

2 и юн я. Умер турецкий посол в СССР Васыф Чинар. В телеграмме тов. Молотова председателю совета министров Турции говорится:

«Глубоко опечален неожиданной и тяжелой утратой выдающегося деятеля Турции, нашего уважаемого друга, посла Турецкой республики Васыф Чинара».

3 и юн я. В Праге подписано советско-чехословацкое кредитное соглашение. СССР выпускает гарантированный правительством Чехословацкой республики 6-проц. облигационный заем в 250 млн. крон сроком на 5 лет. Заем предназначается на уплату по заказам, которые торгпредство СССР будет выдавать чехословацким фирмам.

* В Лондон прибыл фон-Риббентроп для переговоров с английским правительством по военно-морским вопросам.

* В Данциге после девальвации гульдена на 42 проц. началась паника, которая привела к штурму сберкасс и банков. Данцигское правительство прекра-

тило выдачу денег из сберкасс и закрыло все банки.

4 и ю н я. Кабинет Бюиссона не собрал большинства в палате депутатов для своего предложения о предоставлении ему чрезвычайных полномочий. Правительство Бюиссона пало.

5 и ю н я. Лаваль отказался сформировать кабинет.

6 и ю н я. Президент Лебрен вторично предложил Лавалю сформировать кабинет. Лаваль согласился.

7 и ю н я. Реорганизация английского кабинета. Макдональд уступил пост премьер-министра Болдуину. Сэмюэль Хор назначен министром.

* Лаваль сформировал кабинет. В палате депутатов он огласил правительственную декларацию, а также текст законопроекта о предоставлении правительству в целях «борьбы против спекуляции и для защиты франка» чрезвычайных полномочий. Палата выразила кабинету Лавалья доверие большинством 412 против 137 голосов.

8 и ю н я. В Москву прибыл министр иностранных дел Чехословакии доктор Эдуард Бенеш.

* Состоялся обмен ратификационными грамотами договора о взаимной помощи, торгового договора и других соглашений между СССР и Чехословацкой республикой.

* В Париже открылся конгресс «Общества друзей СССР» с участием 500 делегатов. Конгресс одобрил организацию с 9 июня «дней франко-советской дружбы», в которых принимают участие видные представители политики, литературы и науки.

9 и ю н я. Министр иностранных дел Чехословацкой республики г-н Эдуард Бенеш был принят т. И. В. Сталиным и В. М. Молотовым. В беседе, протекавшей в дружественной атмосфере и продолжавшейся свыше часа, принимали участие т. М. М. Литвинов, посланник Чехословакии в СССР Богдан Павлу, советник министерства иностранных дел Чехословакии Кучера и полпред СССР в Чехословакии т. Александровский. После беседы т. Молотов дал завтрак в честь г. Бенеша. Кроме упомянутых лиц присутствовали тт. Л. М. Каганович,

К. Е. Ворошилов, Г. К. Орджоникидзе, А. И. Микоян, В. Я. Чубарь, В. И. Межлаук, А. П. Розенгольц, Е. Ф. Гришко, И. Е. Любимов, М. И. Калманович, М. И. Пахомов, И. С. Уншлихт, Н. Н. Крестинский, Н. А. Булганин и др.

* Председатель ЦИК СССР товарищ М. И. Калинин принял г. Бенеша.

* Президент Рузвельт принял отставку председателя НРА Ричберга. НРА ликвидируется.

* Нанкинское правительство подчинилось требованиям Японии.

* На выборах в греческий парламент рабоче-крестьянский блок получил 100 тысяч голосов, на 80 проц. больше, чем в 1933 г. По существующей конституции избранным считается список, получивший большинство. Правительственный блок собрал 542 тыс. голосов из миллиона голосовавших и получил 283 мандата из 300. Выборы происходили в атмосфере жестокого полицейского террора. Республиканская оппозиция — сторонники Венизелоса — выборы бойкотировали.

10 и ю н я. Советник полпредства СССР в Японии т. Райвид заявил протест японскому министерству иностранных дел против неслыханного нарушения советской границы японо-манчжурским отрядом. Японо-манчжурский отряд напал на советский конный наряд в 1.700 метрах от линии границы на территории СССР. Пограничник Силуянов был ранен или убит и увезен японо-манчжурским отрядом на манчжурскую территорию. Протест требует строжайшего расследования и наказания виновных, а также принятия действительных мер к недопущению беспримерного нарушения советской границы, неслыханного в обстановке мирных отношений между странами.

* Между Боливией и Парагваем заключено перемирие.

11 и ю н я. В советской печати опубликовано сообщение о беседах д-ра Эдуарда Бенеша с тт. И. В. Сталиным, В. М. Молотовым и М. М. Литвиновым. Сообщение гласит:

«Во время своего пребывания в Москве министр иностранных дел Чехосло-

вакии д-р Бенеш имел несколько бесед с народным комиссаром по иностранным делам т. Литвиновым, а также беседу с гг. Сталиным и Молотовым. Эти беседы протекали в атмосфере искренности и полного взаимопонимания.

Собеседники выразили друг другу полное удовлетворение состоянием взаимоотношений между Советским Союзом и Чехословацкой республикой и теми значительными успехами, которые сделали сближение между обоими странами за последний год, а также результатами их сотрудничества в деле содействия укреплению всеобщего мира. Было признано, что заключенные обоими правительствами договоры и соглашения создали прочную базу для продолжения этого сотрудничества, а равным образом для успешного развития хозяйственных отношений. Особое внимание было обращено на желательность систематического сближения обоих народов в области науки, литературы и искусств. Было решено поручить соответствующим существующим или имеющим быть созданными организациями в обеих странах приступить к выработке надлежащих конкретных мер для осуществления цели, которую оба правительства ставят себе на пути укрепления интеллектуальной связи между народами СССР и Чехословацкой республикой.

В беседах было подвергнуто тщательному обсуждению нынешнее международное положение в Европе с точки зрения интересов мира. Представители обоих государств вынуждены были констатировать, что то чувство тревоги за судьбу всеобщего мира, которое овладело за последние годы государствами Европы, не только не улеглось, а, наоборот, стало интенсивнее, особенно вследствие сопротивления, которое встречают наметившиеся на различных международных совещаниях и при встречах государственных деятелей в Женеве меры обеспечения безопасности европейских стран путем коллективных усилий. Установлено единство взглядов собеседников на исключительное значение в настоящее время действительного осуществления всеобъемлющей коллективной орга-

низации безопасности на основе неделимости мира. Признав, что заключенные недавно пакты о взаимной помощи между СССР и Францией и между СССР и Чехословакией являются частичной реализацией этих мероприятий, собеседники подтвердили решимость их правительств продолжить усилия в преодолении препятствий, стоящих на пути более обширной, коллективной организации безопасности.

Основой сотрудничества обеих стран признано их искреннее стремление к укреплению мира на благо всех народов Европы».

12 июня. Японское официальное агентство Симбун Ренго сообщает, что на чрезвычайном совещании квантунской армии по вопросам Сев. Китая было решено «создать особую буферную зону с включением в эту зону районов Бэйпина и Тяньцзина».

13 июня. В Тегеране открылись переговоры о заключении торгового договора между СССР и Ираном.

15 июня. В Риме подписано соглашение о государственной гарантии кредитов и ряд других актов, относящихся к торговому обмену между СССР и Италией.

16 июня. Г-н Э. Бенеш после посещения Ленинграда, Харькова и Киева и осмотра культурных учреждений, промышленных предприятий и колхозов выехал за границу. Перед отъездом г-н Бенеш заявил представителям советской печати:

«Мои впечатления прекрасны, так как везде, куда бы я ни приезжал, я видел, что все население понимает смысл наших дружественных отношений и тепло встречает нас. Прием, оказанный нам в Москве, Ленинграде, Харькове и Киеве, всегда выражал чувство дружеских отношений. Это для меня является выражением дружеского отношения народов СССР к Чехословакии. Это отношение не только политиков, а отношение масс, народов. Вот, что для меня самое важное, замечательное. Надо эту работу по сближению наших народов продолжить и углубить».

Наука и техника

НАШИ МИНЕРАЛЬНЫЕ БОГАТСТВА

Проф. Н. М. Федоровский

Наступление на недра.

Октябрьская революция вызвала небывалый в мировой истории рост научно-исследовательской работы. Это особенно заметно в области геологического исследования страны и использования ее минеральных богатств.

Геологический комитет старого времени объединял небольшую группу геологов — около 75 человек — и занимался главным образом составлением геологической карты. Научно-исследовательская работа протекала в высшей школе, при кафедрах минералогии и геологии, обычно с одним профессором и 2—3 ассистентами. Бюджет старого Геологического комитета не превышал 300 тысяч рублей в год на полевые исследования и такой же суммы на содержание штатов.

Строительство новой, социалистической промышленности колоссально увеличило потребность страны в строительных материалах, в металлическом и химическом сырье. На этот участок работы были брошены огромные силы и средства. Главное геолого-гидро-геодезическое управление имело в 1933 году 150 миллионов госбюджетных средств и на 60 миллионов средств от промышленности. В его распоряжении находится в настоящее время 2 крупных исследо-

вательских института, из которых Ленинградский научно-исследовательский институт объединяет около 1.500 геологов, минералогов и ученых других специальностей, занятых главным образом исследованием минерально-сырьевых ресурсов горных районов Союза.

В этом году мы празднуем юбилей Института минерального сырья, созданного в 1923—24 г., имеющего отделения во всех крупных центрах Союза и объединяющего около 1.000 работников.

Потребность социалистического сельского хозяйства в удобрениях вызвала к жизни специальный Научный институт удобрений, который в течение 15 лет работает над выявлением минеральных ресурсов в этой области и работы которого послужили основой для создания нашей фосфато-туковой промышленности.

Совершенно несравнимо с прежним выросла и высшая горная школа. В до-революционное время из трех учебных заведений существенные выпуски горных инженеров и геологов давал лишь Горный институт, который за 150 лет своего существования подготовил около 3.000 специалистов. Кроме того, некое небольшое количество их выпускали университеты.

В первые же годы революции в Москве возник новый горный центр — Московская горная академия, положившая

в дальнейшем начало шести специальным высшим техническим учебным заведениям в области геологии, горного дела и металлургии. Московская горная академия за 10 лет своего существования выпустила около 1.000 специалистов.

На ряду с Московской горной академией вырос и развивается Уральский политехнический институт в Свердловске. На Украине, в Донбассе (Сталино), был организован крупный горный институт.

Угольная и нефтяная промышленность также создали свои новые нефтяные центры — в Москве, Баку и Грозном.

Реорганизованный Ленинградский горный институт выпустил за годы революции столько специалистов, сколько было выпущено за 50 дореволюционных лет.

Кроме того, чрезвычайно усилилась экспедиционная деятельность. Охватываются исследованиями и планомерно изучаются новые горные районы. Академия наук охватила своими экспедициями все мало исследованные до сих пор районы Союза. Особенно значительны работы Таджикско-Памирской экспедиции, за три года осветившей этот почти совершенно не исследованный и чрезвычайно интересный высокогорный район. Благодаря работам ТПЭ выяснено геологическое строение Памира и открыт ряд новых полезных ископаемых, в том числе интересные оловянные месторождения. Комплексная Таджикско-Памирская экспедиция имела в своем распоряжении в 1934 г. 70 отрядов с более чем тремястами участников. Другая крупная — Якутская — экспедиция Академии наук осветила и этот мало доступный, но исключительно интересный в отношении минеральных ресурсов отдаленный край, а работы ее ускорили промышленное развитие Якутской АССР.

В результате этого социалистического наступления на недра к началу второй пятилетки удвоена заснятая геологической съемкой площадь, геологически освещены крупные горные районы и обнаружены новые запасы полезных ископаемых.

К началу первой пятилетки из общей площади территории СССР в 21.000.000 кв. километров заснято было лишь 2.500.000 кв. километров.

Широкое социалистическое строительство заставило нас форсировать темпы геологической съемки, и к началу второй пятилетки заснятая площадь удвоилась.

Ископаемые, дающие энергию

На группу энергетических ресурсов направлены были первые усилия советской разведки, давшие здесь исключительно яркие результаты.

До революции нефтяная промышленность ограничивалась эксплуатацией месторождений Баку и Грозного и в ничтожных количествах — Эмбинского района, Майкопа и среднеазиатских месторождений, а представления о промышленных ресурсах нефти были крайне ограничены.

Сейчас, на базе последних достижений нефтегазразведки, мы вправе рассматривать старые нефтяные районы лишь как отдельные звенья мощных нефтеносных зон. Начинаясь с крайнего Севера (Ухта—Печора), зоны эти тянутся, с интервалами, через Урал (Чусовая), Башкирию, Урало-Эмбинский район, Закаспийский край до крайних юго-восточных границ Ср. Азии (Фергана, Гаурдагский район). Отсюда они перекидываются через Каспийское море, следуют вдоль обоих склонов Кавказского хребта (Апшерон, Грузия — на юге, Дагестан, Грозный, Азово-Черноморье — на севере) и заканчиваются на Керченском полуострове. Нефть обнаружена также в Сибири (Байкал) и на Дальнем Востоке (Сахалин, Камчатка).

Общие запасы нефти у нас исчисляются теперь в 2,2 миллиарда тонн, что ставит СССР по нефтяным богатствам на первое место в мире.

Достигнутое в революционное время радикальное изменение географической карты нефтяных месторождений позволяет коренным образом перепланировать всю систему нефтеснабжения, выделяя все большие количества нефти на экспорт и в значительной мере раскрепощая наше внутреннее нефтеснабжение от

дальнего громоздкого завоза нефти с Кавказа.

Не менее радикально изменились также наши представления о ресурсах каменного угля. На международном геологическом конгрессе 1913 г. в Торонто (Канада) Россия выступала с общим запасом угля в 130 миллиардов тонн, занимая в этом отношении 10-е место в мире. Свыше $\frac{1}{3}$ этих запасов приходилось на Донецкий бассейн. Сейчас мы располагаем разведанными запасами в размере около 1.200 миллиардов тонн, т.е. почти в 10 раз большими, и по абсолютным размерам запасов вышли на 3-е (после США и Канады), а учитывая более высокую калорийность наших углей, — на 2-е место в мире.

Здесь дело также не ограничивается чисто количественными показателями. Не меньшее значение имеет изучение разведанных запасов, дающее возможность широко использовать уголь в качестве химического сырья.

Следует отметить создание новой угольной базы на Востоке — выдвигание Кузнецкого бассейна, запасы которого вместо прежних 13 миллиардов тонн исчисляются ныне в 400 с лишком миллиардов тонн, а также подготовку крупной Буреинской базы в Дальневосточном крае. В 6 раз увеличились запасы Подмосковского бурого угольного бассейна. Одновременно нами освоена техника химико-энергетического использования низших сортов углей, а постройка крупного химического комбината в Сталиногорске подняла значение бассейна до ранга первосортной базы.

Существенно увеличилась уральская угольная база. Открыты новые угольные бассейны: Тунгусский (300 млрд. тонн) и Печорский, ждущие разработки. Разведан и вступил в эксплуатацию Карагандинский район (Казакстан) с его мощными пластами коксующегося угля (свыше 15 млрд. тонн).

Таким образом, успехи георазведки позволяют значительно децентрализовать добычу угля, разгрузив в известной мере главную базу — Донецкий бассейн. Ресурсы этого бассейна увеличились с 55 млрд. тонн до 71 млрд. тонн, а геофизические методы разведки позволили

проследить периферическое продолжение продуктивных отложений, в частности в северном направлении, навстречу железным рудам Курской магнитной аномалии.

Битуминозные сланцы как топливо и химическое сырье стали объектом систематического изучения только во время революции. Изучено крупнейшее месторождение Общего Сырта (Поволжье) и разведаны новые месторождения: Гдовское (Ленинградская область) и в Нижнем Поволжье. На этих месторождениях выросла новая промышленность.

Металлы

Огромные сдвиги в послеоктябрьское время произошли в наших железорудных запасах. В 1911 г. они исчислялись в 461 млн. тонн (в единицах металла). Сейчас они исчисляются в 4 млрд. тонн, т.е. увеличились почти в 10 раз. Кроме того, открыты крупные запасы титанистых железняков (70 млн. тонн) и огромные запасы железистых кварцитов, содержащих от 30 до 45 проц. железа. Учитывая эти ресурсы, мы можем констатировать, что СССР занимает по железу первое место в мире.

Из региональных достижений следует отметить разведку в районе Курской магнитной аномалии (около 100 млн. тонн), в Липецком, Тульском, Хоперском и Халиловском районах, на Урале, в Закавказье и Сибири.

Запасы эти обеспечивают с избытком развертывание нашей черной металлургии по годовой выплавке чугуна в 23 млн. тонн к концу второй пятилетки.

Значительно увеличились разведанные запасы марганца, и СССР выдвинулся здесь на первое место в мире, оставив далеко позади Бразилию и Британскую Индию.

Цветные металлы

Ограниченность разведанных запасов меди, свинца, цинка и других металлов в первые годы революции тормозила развертывание цветной металлургии.

Благодаря энергичным усилиям советских геологов этот дефицит ликвидирован. Наши запасы увеличились по меди

в 10 раз, по свинцу — в 4 раза, по цинку — в 5 раз, и в настоящее время на долю СССР приходится 14 проц. мировых запасов меди и цинка и около 9 проц. — свинца. До войны медь добывалась у нас только на Урале и в небольших количествах в Закавказье. Сейчас нашей основной базой является Казакстан с его мирового масштаба месторождениями. Разведан Коунрад, давший запасы в 2,5 млн. тонн металла, и там строится завод производительностью в 100 тыс. тонн меди ежегодно. Геологически и технологически освоены новые для нашей эксплуатационной практики типы медных руд — порфириновые («вкрапленные») руды Казакстана и медистые песчаники гидротермального происхождения.

Совершенствование техники разделения (селективной флотации) полиметаллических руд, на ряду с успехами геологии, позволило организовать комплексное использование этих руд, с охватом и их неметаллических спутников (барит). Чрезвычайный интерес для такой эксплуатации представляют сложные руды района Карамазар в Ср. Азии, содержащих, помимо обычных компонентов полиметаллических руд, также мышьяк, уран и радий. Выявлена сырьевая база и построен завод для нового у нас производства никеля (Урал, Башкирия). Значительно расширена база по ртути как за счет увеличения запасов Никитовского (Украина) месторождения, так и за счет разведки ртутно-сурьмяных руд Ср. Азии.

Необходимость создания в СССР собственного производства легких металлов, в первую очередь алюминия, притом сразу в крупных масштабах, заставила форсировать поиски соответствующего сырья.

До революции у нас было известно только одно месторождение бокситов — в районе Тихвина (Ленинградская обл.), с относительно скромными запасами при среднем качестве боксита. Сейчас наши представления о ресурсах этого месторождения расширились, в частности за счет вероятного восточного продолжения залежи под отложениями нижнего карбона. Месторождение это служит сырье-

вой базой для двух глиноземных заводов — Волховского и Днепровского. Найдена вторая, более мощная база на Урале (район Режа, Алапаевска, Надеждинская и месторождения Южного Урала) и в перспективе вырисовывается третья база — в Сибири.

Кроме того, геологически и технологически освоены новые виды глиноземного сырья — нефелины Хибинской тундры, где они получают как отход при обогащении на фосфор апатито-нефелиновых пород, и алуиты Закавказья. Нефелиновые концентраты применяются на Волховском заводе в добавлении к бокситу, а для переработки закавказских алуитов только-что пущен опытный завод в Гандже.

Организуется производство магния, которое будет базироваться на карналитах Соликамска и магнезильных солях озер юго-восточной части Союза (Эльтон и др.).

Неметаллические ископаемые

Промышленности неметаллических ископаемых в царской России не существовало. В первый период существования социалистической промышленности неметаллическое минеральное сырье приходилось импортировать. В дальнейшем, благодаря интенсивным разведочным и исследовательским работам геологических институтов, в нашей стране были обнаружены огромные запасы многих неметаллических ископаемых. На первое место здесь надо поставить наши достижения в области изучения минеральных ресурсов агроруд, имеющих очень большое значение для интенсификации сельского хозяйства Советского Союза, и прежде всего открытие в 1927 г. мирового месторождения калийных солей на Урале, в Соликамском районе. Запасы в этом районе исчисляются в 15 млрд. тонн окиси калия, что во много раз превосходит все известные мировые запасы.

Уже вступило в эксплуатацию мощное предприятие по разработке Соликамского соляного месторождения. Специальная ж.-д. ветка, соединяющая это предприятие с городом Соликамском и общей рельсовой сетью страны, открывает ка-

лийным солям выход на внутренний рынок, а соединение речных систем Камы и Печоры дает им дешевый выход на внешний рынок. На базе Соликамского месторождения создается исключительный по масштабам центр основной химической промышленности — Березниковский химический комбинат.

Большим достижением советской науки является также открытие на Мурмане, в Хибинских тундрах, богатейшего месторождения апатитов. Разведки показали, что комплексная апатито-нефелиновая порода залегает колоссальными массами в районах центральной части Кольского полуострова, причем обогащенные рудой участки сосредоточены в двух зонах дугового очертания, с общим вероятным запасом апатито-нефелиновой породы в размере минимально около 1 млрд. тонн.

В нашем Союзе много природных фосфатов, но вследствие низкого качества их по сравнению с большинством иностранных мы вынуждены были для производства стандартного суперфосфата ввозить часть высокопроцентных фосфоритов из-за границы. Хибинский апатит дал возможность получать концентрированное сырье с содержанием фосфорного ангидрида свыше 35 и до 40 проц., и наши заводы на базе хибинского апатита уже выпускают суперфосфат, не уступающий лучшим сортам его на мировом рынке. Разрабатываются методы переработки апатита на концентрированные удобрения, методы использования в разных отраслях промышленности других ценных компонентов апатито-нефелиновой породы — нефелина, ванадия, титана и пр. Закончено грандиозное строительство мощного комбината, и на месте, где три года назад жила одна семья лопарей, сейчас построен город, в котором около 50 тысяч жителей.

Обладая на Урале богатейшими в мире месторождениями асбеста (Башеново) и магнетита (Сатка), царская Россия эксплуатировала их хищнически. Достаточно указать, что на асбестовых предприятиях путем примитивного обогащения извлекалось из горной массы не более 25—30 проц. асбестового волокна, главным образом высоких сортов, вся же остальная масса асбеста шла в отвалы,

которые в настоящее время изучаются советскими специалистами на предмет вторичной их переработки.

Учитывая ценность и возможность широкого использования в промышленности асбеста-хризотил, наша наука и техника уделили ему особое внимание. Башеновское месторождение было детально разведано на глубину, причем было подтверждено его мировое значение как по запасам, так и по качеству волокна, которое по прочности превосходит канадское и родезийское. Изучены были также другие месторождения асбеста на Урале, причем было открыто ценное месторождение кислотоупорного антофилит-асбеста. Изучены были месторождения асбеста в Сибири (Ильчирское, Аспагашское) и в других частях Союза. Проведена большая исследовательская работа по изучению свойств асбестового волокна, разработаны новейшие методы обогащения асбеста и выяснены новые возможности применения, в особенности низших его сортов.

Систематическими разведками Саткинского магнетитового месторождения выяснено, что запасы его достигают 150 миллионов тонн. Таким образом, по запасам оно может быть поставлено на первое место в мире, если не считать манчжурских месторождений, о которых у нас нет достаточных сведений. На базе этого месторождения в настоящее время реконструируется мощное предприятие по выпуску разнообразной магнетитовой продукции.

Несмотря на богатство Украины каолинами высокого качества, в царской России каолиновая промышленность находилась в зачаточном состоянии. До 80 проц. потребности в каолине удовлетворялось ввозом его из Англии. Украинские же месторождения оставались совершенно неразведанными. Благодаря проведенным в советское время интенсивным работам мы имеем теперь на Украине разведанный запас каолина — до 50 млн. тонн сырья, что обеспечивает развитие электротехнической и бумажной промышленности. Открыты новые крупные месторождения на Урале и в Сибири. Проведено изыскание новых методов обогащения каолина, в том

числе разработан метод пневматического, или «сухого», обогащения, имеющий особое значение для ряда месторождений, находящихся в безводных местностях, где обычно применяемый метод отмучивания непригоден.

Из достижений в области хромитовых руд следует отметить изучение руд типа хромпикатитов Сарановского месторождения на Урале, которое по своим запасам можно поставить на одно из первых мест в мире.

Применяя комплексный метод изучения к другим видам неметаллического минерального сырья, социалистическая наука достигла больших результатов в отношении таких ископаемых, которые в царской России почти совсем не были известны и нужда в которых удовлетворялась исключительно импортом. Сюда следует отнести графит, серу, барит, плавиковый шпат и пр. Разведки по графиту, производимые систематически, начиная с 1927 г., показали, что в Советском Союзе имеется ряд крупных месторождений высококачественной графитовой руды. Сюда относятся Курейское месторождение в Туруханском крае, ряд месторождений на Украине, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Проведены были большие исследовательские работы по изучению методов обогащения и переработки графитовых руд разных месторождений, и в настоящее время Советский Союз располагает подготовленной сырьевой базой, которая обеспечивает работу строящихся крупных графитовых заводов.

Сера в довоенное время импортировалась, и изучение серных месторождений внутри страны царская Россия не знала. Сейчас создается серная промышленность на базе ряда разведанных месторождений в Средней Азии (Кара-Кумы, Шор-Су, Гаурдаг, Чангыр-Таш и др.), из которых крупнейшим месторождением является Гаурдагское, в южной части Туркменской ССР. Разведки показали значительное распространение сероносных пород в этом районе на площади около 30 кв. километров. Работами самого последнего времени обнаружены мощные запасы сероносных пород в ряде месторождений Куйбышевского края

(Алексеевское, Водинское и др.). Все это обеспечивает возможность широкого развития серной промышленности и полного прекращения импорта.

Таковы суммарные итоги огромного скачка вперед, который страна диктатуры пролетариата сделала в области обнаружения своих минеральных ресурсов.

Однако промышленное использование наших минеральных богатств стоит еще на исключительно низком уровне.

Трудности освоения минерального сырья

Минеральные вещества, металлические руды, соли, каменные строительные материалы — все это встречается в природе в недостаточно пригодном для прямого применения состоянии, а требует, кроме добычи, еще и переработки способами, которые необходимо установить и выработать. Перенос западноевропейской практики в чистом виде здесь невозможен, так как каждое месторождение рудного или неметаллического сырья отличается особенностями, требующими специального изучения и специального подхода.

Возьмем самый простой пример. Мы имеем огромные залежи песков по всему Союзу. Но строить какое-нибудь промышленное предприятие на основе этих залежей невозможно без разведки, которая бы определила истинную мощность этих залежей, а также без детального изучения качественного состава этих песков и применимости их. Так, одни пески, чисто кварцевые, годятся для стекловых заводов; полевошпатовые пески хороши для керамического производства; некоторые глинистые пески великолепны для литейного дела; наконец черные магнетитовые пески побережья Азовского и Черного морей интересны большим содержанием в них ильменита — этого ценного материала для красочной промышленности.

Так вот, при общем знании о богатстве песками нашего Союза отсутствует детальная разведка их. Обычно мы судим на-глазок, по поверхностным пробам, и вместо цифр оперируем понятиями: «большие запасы», «огромные залежи», «мощные слои» и т. д.

Это очень хорошо для популярной книжки, но очень скверно для проектирования промышленности предприятия.

Далее, если мы даже где-нибудь и имеем разведанные запасы, которые исчисляем уже сотнями тысяч тонн, то в этих случаях у нас отсутствует технологическая изученность применимости этих песков, а следовательно, и точное знание того, какие предприятия можно основывать на разведанных нами залежах.

Таким образом, трудности наши заключаются не столько в открытии тех или иных ценных минералов и руд (мы открываем подчас очень много) и даже не столько в разведке этих запасов (общего характера разведок у нас произведено, как мы видели выше, довольно много), сколько в расшифровке пригодности открытых и разведанных полезных минералов и руд для того или другого производства, в выработке технологического процесса их использования и внедрения нового минерального сырья в социалистическую промышленность.

На первый взгляд кажется, что, если найдено новое интересное сырье, то промышленность за него ухватится, оно будет быстро разведано и широким потоком хлынет в народное хозяйство. Может быть, это и так по отношению к хорошо известным уже рудам, таким например, как медные руды, железные. Здесь мы имеем уже работающие заводы — гиганты черной и цветной металлургии. На залежах соли построен Березниковский химический комбинат. На подмосковном угле выстроен Сталиногорск. Однако если это сырье именно новое, то путь его в промышленность довольно тернист и полон больших неожиданностей.

Титано-магнетит и его значение

Возьмем например далеко не новый минерал — титано-магнетит. Он содержит в себе около 50—52 проц. железа и 12—14 проц. окиси титана.

Однако железные руды титано-магнетитов нигде в мире не применяются, потому что плавке этих руд мешает содер-

жающийся в них титан. Титан делает шлаки тягучими, вязкими. Домна быстро забивается этими шлаками, получается так называемый «козел», и не только не выплавляется чугуна, но и сама домна выходит из строя.

Титан же является ценным элементом в красочной промышленности, давая широко применяемые титановые белила. В Союзе титановых белил, кроме импортных, не было, и потому один из научно-исследовательских институтов — Институт прикладной минералогии — обратил внимание на титано-магнетиты и стал их исследовать в целях создания сырьевой базы для красочно-белильного производства.

Оказалось, что у нас на Урале имеется огромное месторождение титановых руд, тянущееся полосой от района реки Вишеры на севере Урала до района Златоуста на юге.

Разведки титановых руд установили здесь наличие свыше 70 млн. тонн общих запасов их категорий: $A + B + C_1 + C_2$.

Таким образом, если бы из титано-магнетитов можно было выплавлять чугуна, то количество железных руд на Урале соответственно увеличилось бы.

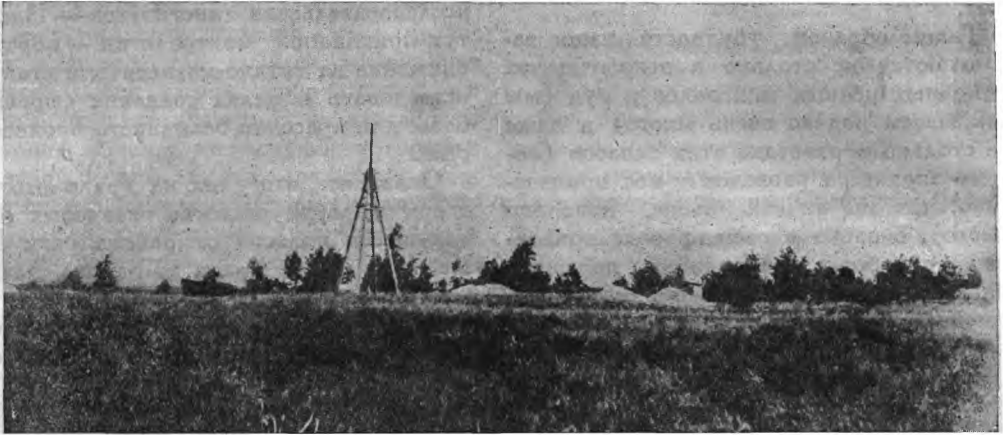
Идея превратить титан из вредной примеси к железу в новый ценный источник сырья и использовать попутно ванадий и железо побудила Институт прикладной минералогии предпринять соответствующие исследования.

Одному из инженеров, И. В. Шманенкову, пришла в голову мысль производить плавку титано-магнетитовых руд с солью. Соль оказалась превосходным средством, понижающим вязкость получаемых шлаков и дающим хороший, вполне промышленный выход чугуна. Соль вводилась в виде соляного кокса изготовленного специально для этой цели на кузнечных коксовательных печах. Лабораторные опыты были проверены бригадой инженера Шманенкова на одной из уральских домен. Домна работала бесперебойно целый месяц без всякого ремонта и дала превосходный чугун. Шлак содержал до 35 проц. титана. Это делало его превосходным сырьем для производства титановых белил.

Казалось бы, надо немедленно освоить предложенный и проверенный в промышленном масштабе способ. Однако со времени этих опытов прошло три года, а титано-магнетиты до сих пор покоятся в глубине земных недр, не давая социалистической промышленности ни титана, ни железа, ни другого содержащегося в них очень ценного элемента — ванадия. Крупнейшее месторождение титано-

броневые плиты, и пушечная сталь делаются с применением этого металла.

Если бы мы зашли с читателем на Златоустовский завод, изготавливающий превосходную златоустовскую сталь, то в сталелитейном цехе мы увидели бы большие запасы хранящегося, как зеница ока, импортного американского ванадия. Всего в 30 с небольшим километрах от Златоустовского завода, в земле — на



Пылевидный кремнезем, месторождение — Нагайбакский р-н, местность Светлые дачи

магнетитов — Кусинское, близ Златоуста. Титано-магнетиты этого месторождения содержат 0,65 проц. пятиокси ванадия, или, в переводе на металлический ванадий, — 0,366 проц. Следовательно, при общих запасах титано-магнетитов Кусинского месторождения в 20 с лишком миллионов тонн, общее теоретическое содержание в нем ванадия превосходит 70 тыс. тонн, или 70 млн. килограммов. А килограмм ванадия стоит 10 долларов.

Таким образом, переводя на валюту, мы имеем в этом месторождении на 700 миллионов долларов ванадия. Даже учитывая неизбежную неполноту извлечения, мы видим, что речь идет о сотнях миллионов золотых рублей.

Ванадий же является редким элементом, чрезвычайно ценным для изготовления ванадиевой стали, которая обладает исключительной устойчивостью против всякого рода резких толчков и ударов. Не только автомобильные части, но и

сотни миллионов рублей золотом ванадия, а завод вынужден импортировать его из-за границы.

Почему же так получилось? Потому, что титано-магнетиты — новое сырье, никогда не применявшееся раньше, а законы инерции, установленные Ньютоном для твердых тел, оказываются не менее мощными и в отношении живых людей¹⁾.

Необыкновенная находка

Кварц — чрезвычайно твердый минерал. Как известно, по шкале твердости он определяется цифрой 7. Тверже его только группа топаза, а также корунд и алмаз.

Ясно, что кварц благодаря своей твердости может прекрасно применяться в мелкодробленном виде как шлифовальный и полировальный материал.

¹⁾ На днях получено известие о начале первой опытной плавки титано-магнетитов на Урале.

Для этой цели он и используется на Западе.

Кварцевые жилы рвут динамитом, на вагонетках доставляют куски к дробилке, которая дробит их до величины нескольких миллиметров. Дробленый материал поступает в шаровую мельницу, где он мелется и просеивается сквозь сита. Молотый кварц очищается путем промывания кислотами от всех вредных примесей и в виде белоснежного порошка поступает в продажу. Конечный продукт получается довольно дорогим, вследствие чего применение его сравнительно ограничено.

В природе крайне редко встречается кварц в пылевидном состоянии. Широко известны кварцевые пески состоят из видимых зерен этого минерала. Поэтому мы можем представить себе удивление одного из охотников-уральцев, бродившего в районе Магнитогорска за дичью и обратившего внимание на белые кучки, выброшенные сусликами из их нор. Любопытный охотник набрал в карман белого порошка, поразительно напоминавшего молотый мел, думая применить его на побелку стен. Однако этот порошок хотя и взмучивался в воде, но быстро оседал и вообще для побелки оказался непригодным. Тогда охотник принес его как диковинку магнитогорскому инженеру, ведавшему горными работками.

Инженер определил, что это не мел и не известь, а более твердый материал, не поверил на слово охотнику и поехал сам посмотреть на место, где порошок был найден.

Действительно, на протяжении нескольких километров, у мордовского переселенческого хутора, он увидел разбросанные белые кучки сусликовых нор.

Взяв рабочих, инженер пробил несколько шурфов, или, как по-местному их называют, дудок, и буквально в полуметре или метре от поверхности земли лопаты рабочих врезались в белоснежную массу тончайшего пылевидного порошка. Первый пробный шурф прошел на глубину 7 метров, обнаруживая мощную залежь пылевидного минерала, название которого инженер еще не мог установить с достоверностью.

Присланные им в Институт минерального сырья, в Москву, образцы произвели фурор среди работников института. Пылевидный минерал оказался кварцем, причем кварцем исключительно чистым.

Я вспоминаю, что приблизительно в это время у меня в кабинете сидели два немецких инженера, приехавшие устанавливать крупные размольные агрегаты на различных предприятиях Союза. Это были большие специалисты по минерально-размольному делу. Я взял со стола банку с пылевидным кремнеземом и предложил его немецким инженерам на экспертизу.

— Скажите, на какой мельнице, по вашему мнению, размолот этот кварц.

Инженеры начали усердно испытывать порошок, сыпали его на ноготь, растирали между пальцами, пробовали на язык, смотрели в лупы, и наконец один из них сказал:

— Это поразительно мелкий, однородный размол. Несомненно это размолото на американской мельнице типа «Саймонс».

Я взял банку обратно, высыпал содержимое на лист бумаги и сказал:

— А можете вы себе представить, что этот кварц смолот самой природой. Мы имеем месторождение этого минерала в таком состоянии в количестве, исчисляемом миллионами тонн, на Урале.

На лицах инженеров выразилось полное недоумение и явное недоверие.

— Да, но тогда вы можете, повидимому, обойтись без наших немецких и американских размольных установок. Вы можете предложить этот материал чрезвычайно дешево, и он найдет большое распространение за границей. Это может подорвать нашу промышленность.

Когда они наконец поверили, они разразились возгласами удивления. Еще и еще раз исследовали они порошок и высказали свой полный восторг перед таким необычайным явлением природы.

Пылевидный кварц, как мы назвали этот минерал, оказался действительно превосходным шлифующим и полирующим материалом. Наши металлообрабатывающие заводы несомненно найдут в нем исключительный по качеству материал средней полировальной силы. Пока

что при исследовании его на заводе «Шарикоподшипник» результаты некоторых операций оказались блестящими.

В предприятиях по обработке цветных металлов, в оптической промышленности и, возможно, в деревообделочной промышленности, особенно в отделочных вагонных мастерских и на фабриках мебели, пылевидный кварц должен найти широкое применение.

применяли пылевидный кварц для плавки стекла.

Если мы заглянем на месторождение сейчас, то увидим там большой карьер, принадлежащий Челябинскому заводу. Завод ведет там кустарную добычу этого драгоценного материала, но на месторождении нет козырина, оно никому не принадлежит, никто о нем не заботится. Разведочные работы прекращены, — по-



Выход вермикулита

Кроме того, этот порошок является прекрасным наполнителем: прибавка его в резину повышает ее прочность и сопротивление внешним воздействиям; прибавка к пластмассам придает им исключительную твердость.

Перед научными работниками развернулись грандиозные перспективы использования пылевидного кварца.

Наши геологи определили первоначальные запасы месторождения в 5 млн. тонн, но вся прилегающая местность совершенно не разведана и тоже пестрит норками сусликов с горками пылевидного кремнезема около них.

Пока шло исследование, материал стал применяться на Магнитогорском заводе взамен импортного маршалита для обсыпки литейных форм, а также на Челябинском тракторном заводе.

Наши стеклоделы, в лице профессора Китайгородского, с блестящим успехом

ка этим занимаются одни только суслики.

История о плавающем камне

Не менее поучительна история с вермикулитом. Всего несколько лет назад вермикулит не входил даже в курсы минералогии для вузов. Вермикулитом называлась гидротизированная слюда. Черная слюда под влиянием процесса пневматизма в верхних частях земной коры, подвергаясь действию паров воды, превращалась в мягкую, гибкую непрозрачную слюду.

Слюда ценится, во-первых, светлая, по возможности прозрачная, во-вторых, упругая и, в-третьих, огнестойкая. Между тем вермикулит не обладал ни одним из этих свойств. Поэтому на этот минерал никто не обращал внимания.

Однако исследователь, давший ему имя, так странно звучащее, назвал его

латинским словом от корня «червяк». Что же нашел исследователь общего между червем и слюдой? Оказывается, что если мы будем подвергать вермикулит нагреванию, даже просто на спичке, то он начинает вспучиваться, и листочек его превращается в пухлую червеобразную массу.

От нагревания объем вермикулита увеличивается в 20 — 30 раз. Это замечательное свойство долго рассматривалось только как курьез, который преподаватели часто демонстрировали на лекциях.

Американские технологи первые обратили внимание на то, что, увеличиваясь в объеме, вермикулит тем самым становится исключительно легким и плавает на воде.

«Плавающий камень», «плавающий минерал» — это навело на мысль о том, что вермикулит может заменить пробку. Стали испытывать его термоизоляционные свойства. Оказалось, что нагретый и увеличивающийся в объеме вермикулит является одним из лучших теплоизоляционных материалов. Достаточно тонкого, в сантиметр, слоя вермикулита, чтобы создать идеальную изоляционную камеру.

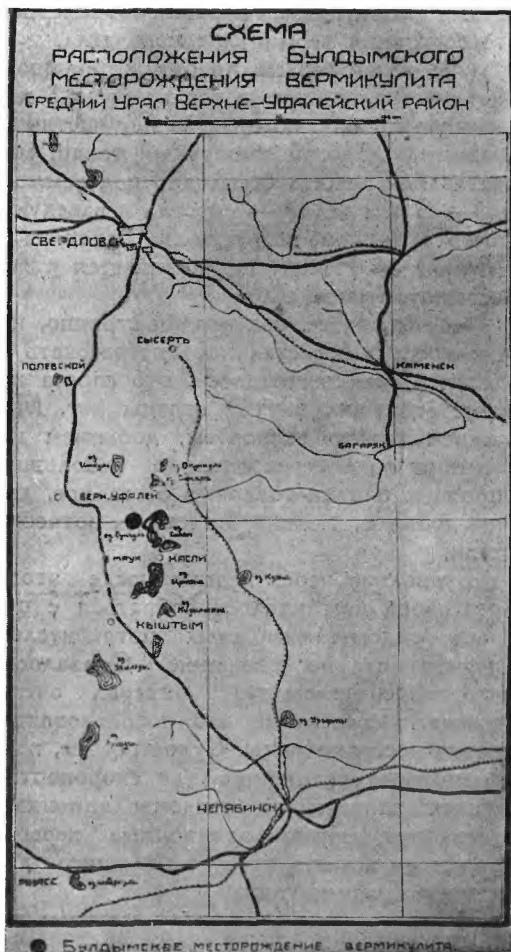
При дальнейших исследованиях оказалось, что вермикулит обладает свойством задерживать звук. Тогда сразу для дотле неизвестного минерала открылись огромные перспективы.

«Несгораемая пробка» — этот материал оказался крайне ценным для морских судов, аэропланов, дирижаблей и особенно важных объектов строительного дела.

Вермикулит легко смешивается с цементом и другими связывающими веществами, давая прочную теплопроводную и звукоизоляционную штукатурку и прокладку.

В СССР вермикулит открыт два года назад разведочной партией Института прикладной минералогии. Недалеко от Кыштыма, на Среднем Урале, в болотистой местности выходят прямо на поверхность пласты темной слюды, до сих пор никого не интересовавшие, так как они гибки, непрозрачны и вообще не обладают ни одним из нужных для слюды качеств.

При первых же пробах на нагревание эта слюда оказалась чистым вермикулитом. До 75 тыс. тонн лучших сортов его разведано в этом месторождении, и подсчитано, что столько же имеется здесь вермикулита более низкого качества.



150 тыс. тонн — это цифра, с которой можно уже начать развертывание соответствующего производства.

И вот под влиянием пропаганды, печатной и устной, научных работников ряда уральских и московских научно-исследовательских институтов было приступлено к постройке первого вермикулитового рудника.

Прошло более двух лет. Рудник влачит жалкое существование: полуразвалившиеся сараи среди болот, накопан-

ные в земле ямы, рабочие вроде сезонников-торфяников, не разбирающиеся в материале, не умеющие добывать этот ценный минерал, загнанные сюда только крайней необходимостью, так как ни на каком особом снабжении этот рудник не состоит.

Вот неприглядная картина современно-го состояния вермикулитового дела.

Мы импортируем пробку в большом количестве, платим за это золотом, а каменную пробку, которая может частично заменить дорогой импортный товар, мы оставляем лежать бесплодно под землей.

— В чем дело? — спросил я заведующего рудником, встретив его однажды в Москве. — Почему не развивается у вас вермикулитовое дело?

— Вы знаете, как это ни странно, но вермикулит перестал нас интересовать с тех пор, как выяснилось, что спроса на этот материал внутри страны нет. Мы живем только экспортом, добываем на экспорт пока сравнительно небольшие пробные партии товара, а остальное, даже добытое, лежит, не находя потребителя.

Буквально через неделю после этого разговора нам удалось собраться с целым рядом возможных потребителей вермикулита на совещание. Оказалось, что потребителям этот минерал очень нужен. Перспективы его использования почти неограниченны. Судостроение, всевозможные хранилища для скоропортящихся продуктов, теплоизоляционные установки, звукоизоляционные перегородки — все это требует большого количества вермикулита.

Однако факт остается фактом: на дальнейшие разведки отпущено пока 36 тыс. рублей — абсолютно ничтожная и ненужная сумма. Между тем, если бы нам удалось вести дальнейшие разведки, — а есть ряд указаний на возможные находки больших масс вермикулита, — то мы могли бы получить незаменимый материал для нашего арктического строительства. В самом деле, привезя на место, куда-нибудь на Новую Землю, Шпицберген или на побережье Ледовитого океана, сотню кубометров этого материала, мы могли бы на месте путем

простого технологического процесса получить из него до трех тысяч кубометров, иначе говоря, сэкономить на перевозке в 20 — 30 раз, а главное — получить совершенно исключительный теплоизоляционный материал, столь необходимый в полярных условиях.

Казалось бы, на поиски этого чудесного минерала нужно немедленно ассигновать средства и направить многочисленные партии разведчиков. Пока же унылое болото на Булдиме хранит в себе неиспользованные запасы даже того, что уже найдено.

Я привел здесь только три примера, требующих большей инициативы для промышленного освоения собственного минерального сырья. Но и они говорят о том, что еще мало сделано для мобилизации внимания широких масс к вопросам использования минерального сырья. Слишком жива еще здесь инерция прошлого. Ведь в старину понимали под минеральными богатствами почти исключительно золото, серебро, свинец, медь, железо, уголь и нефть.

Однажды как-то я сравнивал тариф железнодорожных перевозок Соединенных Штатов Америки на минеральные вещества со списками минералов в курсах минералогии. Результаты сравнения были исключительно интересны. Оказалось, что не менее 30 — 40 названий минералов, которые перевозятся в США поездами и пароходами, не вошли даже в старые учебники для высшей школы.

Несмотря на то, что в области изучения минеральных богатств мы шагнули далеко вперед, над этим делом нам придется еще много поработать. Камень просто в руки не дается.

Одного геологического изучения минерального сырья недостаточно. Недостаточно и чисто деляческой, исключительно практической работы по добыче и обработке сырья. Надо широко развить перспективу тех необозримых возможностей, которые сулит нам рационально поставленное использование наших недр. Сил и знаний у нас для этого достаточно много.

Литература и искусство

1. С больной головы на здоровую. 2. В. КИРПОТИН — „Губернские очерки“ Салтыкова-Щедрина в классовой борьбе шестидесятых годов. 3. Н. СОКОЛОВА — Рисунки В. А. Серова. 4. Н. СЛАВЯТИНСКИЙ — „Литературные манифесты французских реалистов“

1. С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

В номере «Литгазеты» от 20 мая напечатан дневник «Литературной газеты», представляющий собой «программные» соображения редакции по случаю обсуждения работы «Литгазеты» в бюро критической секции 13 мая с. г. В этом дневнике редакция пытается ориентировать читателей против якобы «безусловно вредного мнения, что «Литгазета»... — это орган «каких-то литературных групп». Однако, благородно негодуя против названного выше «вредного мнения», «Литгазета» упустила из виду малость: фактические доказательства. «Литгазета» забывает о том, что групповая или негрупповая линия того или иного органа печати может быть доказана, проверена только практикой. Практика же явно противоречит словам редакции «Литгазеты».

Возьмем, например, номер «Литгазеты» от 10 мая с. г. В этом номере напечатан такой отчет о докладе редакции «Нового мира» на правлении ССП, который никак не соответствует уверениям «Литгазеты» об отсутствии у нее групповых интересов.

Прежде всего заслуживает внимания тот факт, что «Литгазета» в извращенном виде передает прения по докладу редактора «Нового мира». В своем отчете «Литгазета» воспроизвела одно единственное, да и то не совсем вразумительное, выступление тов. Розенталя,

умолчав о выступлениях гг. Пильняка, Накорякова, Рейзена, Пастернака, Герасимовой, Ермилова, Беспалова и Щербакова. Это умолчание весьма характерно для «Литгазеты». Выступавшие товарищи весьма убедительно опровергали «критические» утверждения тов. Розенталя. Но выступления названных товарищей, видимо, идут в разрез с групповой линией «Литгазеты», и поэтому она их замалчивает. Известно, что основное правило советской печати, это — правдивое изложение фактов. Выходит, что для «Литгазеты» это правило не существует.

«Литгазета» «беспристрастно» сообщает читателям, что у «Нового мира» «нет своей отчетливой физиономии, нет руководящего принципа в подборе сотрудников (если не считать принципом ставку на большие имена)...» Что хочет сказать «Литгазета» этим утверждением? Что понимает «Литгазета» под «руководящим принципом»? Руководящим принципом в подборе сотрудников (речь идет о писателях) у «Нового мира» является принцип борьбы за пролетарскую социалистическую литературу. Считает ли «Литгазета», что «Новый мир» печатает несветские произведения? Если она хотела сказать это, то она должна была подобное утверждение доказать фактами. У «Литгазеты» же нет и тени доказа-

тельств. Могут ли бездоказательные утверждения помочь проведению принципиальной политики? Нет, подобные утверждения могут пригодиться только при проведении групповой, т.-е. беспринципной, политики.

Далее. Из рассуждений «Литгазеты» получается, что ставка на большие имена есть грех... Но что такое ставка на большие имена в советской литературе? Это ставка на качество, на то самое качество, которого настойчиво потребовал от писателей Всесоюзный съезд писателей. Что же получается? Получается, что «Литгазета» не понимает элементарных задач советской литературы, а уж кому-кому, а ей-то понимать оные задачи полагается по штату.

В отчете сказано: «Печать случайности лежит на всем критическом отделе журнала, причем текущие явления литературной жизни почти совершенно вне поля зрения критиков из «Нового мира».

Это утверждение «Литгазеты» является совершенно вздорным. Чтобы судить о том, случаен или неслучаен критический отдел «Нового мира», надо работу этого отдела оценивать в прямой связи с теми конкретными вопросами, которые выдвигаются самой жизнью перед советской литературой на данном этапе. Основной и коренной вопрос советской литературы — это вопрос о социалистическом реализме. Несмотря на трехлетний срок, прошедший после постановления ЦК от 23 апреля 1932 года, мы не имеем основания утверждать, что «Литгазетой» основной и коренной вопрос о социалистическом реализме разрешен. Работа, проделанная «Новым миром» в этом направлении, заключается в том, что он первый выступил против попыток опознания метода социалистического реализма, против попыток сведения метода социалистического реализма к «здоровой эмпирии», к самотеку. По нашему мнению, в статьях «Нового мира» дан правильный, марксистский ответ на вопрос о том, что такое социалистический реализм, и этот ответ дан в борьбе с враждебными марксизму-ленинизму течениями в названном вопросе. Спрашивается: является ли

вопрос о социалистическом реализме основным и главным «текущим явлением литературной жизни»? Несомненно, является. Но в таком случае ясно, что утверждения «Литгазеты» о случайном характере критического отдела «Нового мира» являются, «мягко говоря», необоснованными, совершенно неверными.

Редакция «Нового мира» далека от успокоенности. Она прекрасно знает, что отдел литературной критики «Нового мира» еще слаб. Она отнюдь не считает, что все явления литературной жизни в критическом отделе «Нового мира» охвачены. Нет, этому отделу еще предстоит многое сделать. В соответствии с изложенным в этом отделе пониманием социалистического реализма предстоит шире развернуть конкретную критику, конкретный разбор творчества отдельных писателей. От охвата явлений первоочередных критический отдел «Нового мира» должен и будет переходить к охвату явлений последующих. Речь, таким образом, может идти о продолжении и развитии принципиальной линии критического отдела «Нового мира» в смысле охвата явлений литературной жизни. Такова принципиальная линия «Нового мира». «Литгазета» не входит в обсуждение этой линии по существу. Она не анализирует фактов, она пытается без всяких фактов, с помощью голословных утверждений опорочить линию критического отдела «Нового мира». И после всего этого у «Литгазеты» хватает смелости говорить об отсутствии у нее групповых тенденций.

Далее в отчете говорится: «Очень много внимания, правда, уделяет журнал смежным искусствам — в этом его несомненная заслуга, но, к сожалению, как правильно заметил т. М. Розенталь, этот отдел отличается чрезвычайно вульгарным социологизмом».

Если «Литгазета» считает, что статьи «Нового мира» по вопросам «смежных искусств», главным образом по вопросам живописи, отличаются «чрезвычайно вульгарным социологизмом», то она должна была конкретно указать, в чем же этот вульгарный социологизм заключается. К сожалению, «Литгазета» этого

опять не делает. Ее утверждения насквозь голословны. «Литгазета» замалчивает то обстоятельство, что «Новый мир» первый начал и продолжает вести борьбу за революционно-демократическое наследство в живописи (Перов, Репин и др.), ведет борьбу с враждебным течением формализма в живописи, и в этом вопросе «Новый мир» занимает свою собственную, самостоятельную позицию, в корне отличную от той, которая находит свое выражение на страницах журнала «Искусство». «Литгазета» обо всем этом молчит. Отсюда ясно, что за словечками «Литгазеты» о «вульгарном социологизме» скрывается отсутствие принципиальной линии у «Литгазеты» в вопросах «смежных искусств».

Указав на то, что научно-публицистический отдел «Нового мира» пользуется успехом у читателя, «Литгазета» приходит к тому «директивному» выводу, что «именно по этой линии, так же, как и по линии дальнейшего расширения и улучшения отдела смежных искусств, и лежат возможности индивидуализации «Нового мира», придания ему того своеобразного характера, который выделял бы его из ряда других журналов».

Мы считаем, что в вопросе об определении линии журнала «директива» «Литгазеты» не может быть принята во внимание. Научно-публицистическому отделу и отделу «смежных искусств» редакция «Нового мира» придавала и будет придавать важное значение. Однако редакция отнюдь не считает целесообразным осуществлять развитие журнала только по линии этих двух отделов. Своеобразный характер «Нового мира» редакция усматривает в проведении большевистской линии в борьбе за социалистический реализм в литературе и в области «смежных искусств». «Литгазета» делает вид, что она не замечает всего этого. Пытаясь обвинить «Новый мир» в беспринципности, «Литгазета» валит с больной головы на здоровую. Легко показать, что печать беспринципности лежит как-раз на выступлениях «Литгазеты». Возьмем например вышеназванный «Дневник» из номера от 20 мая. В этом «Дневнике» сказано:

«Сейчас нам надо очень и очень много работать над созданием теории советской литературы...».

Совершенно верно. Надо очень и очень много работать. Ну, а что же сделала «Литгазета» в области теории за три года, прошедшие после постановления ЦК партии от 23 апреля 1932 г.? В упомянутом итоговом «Дневнике» «Литгазеты» об этом ни звука. Но за нее сказать можем мы: «Литгазета» ничего не сделала для создания марксистской теории в советской литературе. А когда «Литгазета» пыталась что-либо сделать, то, кроме эклектики и извращения марксизма, у нее ничего не вышло (см. статьи В. Гольцева и Левинова по вопросам критики, откровения Оксенова, углублявшего на страницах «Литгазеты» троцкистский тезис о противопоставлении метода мировоззрению, деборинского типа статья Л. Ортодокс, защита «здоровой эмпирии» в связи с дискуссией о Панферове, путаные, антимарксистские подвалы Мирского, наконец знаменитые «Дневники», в которых до сих пор нет анализа причин отставания критики, анализа своеобразия положения в литературе...).

Впрочем, куда уж «Литгазете» до разрешения теоретических вопросов советской литературы, когда у нее нет элементарной принципиальности в оценке злободневных вопросов советской литературы и критики. Так, в номере от 10 августа 1934 г. «Литгазета» в передовой писала о том, что всеобщее критическое «совещание сыграло свою положительную роль в деле развития критической мысли, в деле постановки проблем и вопросов, связанных с дальнейшими путями развития советской критики», а в номере от 24 ноября 1934 года та же «Литгазета» в своей передовой утверждает, что «всеобщее критическое совещание не внесло ничего нового в разработку вопросов теории и практики литературной критики»... Нужны ли комментарии? Далее: в номере от 6 марта 1935 г. «Литгазета» писала о том,

что «мы достигли решительных успехов в борьбе с групповщиной»; «групповщина разбита» коренным образом (номер от 22 января 1934 г.), а в номере от 16 апреля 1934 г. сказано: «групповщина сейчас опаснее, чем когда бы то ни было», «сплошь и рядом целые группы писателей объединяются под признаком беспринцип-

ной групповщины» (номер от 4 апреля 1934 г.). Подобные факты беспринципности не исключение, а правило в деятельности «Литгазеты». Что же можно после этого сказать о попытках «Литгазеты» обвинить «Новый мир» в беспринципном подборе писателей? Надо сказать, что «Литгазета» валит с больной головы на здоровую.

2. „ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ“ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА В КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

В. Кирпотин

А. Югорский, автор предисловия к биографическому очерку Салтыкова-Щедрина, написанному народником С. Н. Кривенко, жалуется: «Интерес к Щедрину с конца девяностых годов систематически и быстро падает. Новых критических исследований о нем почти не появляется. Собрания его сочинений перепечатываются вновь с первого издания без изменений, не будучи пополняемы невошедшими в оное работами его, несмотря на весь интерес, представляемый ими. Короче говоря, Салтыков забыт...»¹⁾. В жалобе Югорского есть некоторые преувеличения — Щедрин не был и не мог быть забыт. Но в ней есть, и очень большая, доля истины: буржуазия старалась предать Щедрина забвению, старалась представить его как писателя архаического, современному читателю уже непонятного и ненужного. Творчество Щедрина было ей не по нутру. Щедрин беспощадно высмеивал бессмысленность пережившего себя самодержавно-крепостнического режима, — российская буржуазия искала соглашения с самодержавием и помещиками; Щедрин, прошедший школу утопического социализма, и не разделяя выводов последнего, сумел с убийственной наглядностью выставить на всеобщее позорище бесчеловечность эксплуататор-

ского и собственнического мира, — российская же буржуазия, особенно с конца XIX века, старалась вытравить из литературы идею «долга народу» и восславить ничем не ограниченное право имущих накапливать и потреблять за счет ограбления масс. Буржуазии выгодно было загнать Щедрина в пыльные архивы прошлого, как, наоборот, пролетариату и крестьянству в их революционной борьбе выгодно было использовать для своих высоких целей драгоценное наследие гениального русского сатирика. Совершенно естественно поэтому, что издание первого полного собрания сочинений Салтыкова-Щедрина стало возможным только при диктатуре пролетариата, совершенно естественно поэтому, что в Советской России мы наблюдаем все нарастающий интерес к творчеству Щедрина, который не может быть удовлетворен даже невиданными раньше тиражами его произведений.

«Губернские очерки» являются первым крупным произведением Салтыкова-Щедрина. Они были написаны в 1856 — 57 гг., тотчас по возвращении их автора из вятской ссылки, в самый разгар «весны» шестидесятых годов, напечатаны они были первоначально в «Русском вестнике» Каткова, тогда еще не сбросившего со своего лица маску умеренного либерала. «Губернские очерки» сразу были восторженно приняты всей современной читающей публикой. За полтора-два десятилетия перед этим

¹⁾ С. Н. Кривенко. — М. Е. Салтыков. Изд. 3-е. Петроград. 1915 г. Предисловие А. Югорского, стр. V — VI.

«Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя, из школы которого родилась исследуемая нами книга, были встречены многочисленными и ожесточенными нападками. В изменении отношения общества к обличению язв российской действительности Чернышевский справедливо видел симптом политического прогресса. Однако Чернышевский, достаточно зрело разбиравшийся в политической и классовой дифференциации российского общества, понимал, что не все по одинаковым мотивам приветствовали появление книги Щедрина. «Если для всех уже очевидно теперь, — писал он в статье, посвященной разбору «Губернских очерков», — что необходимо для нас знать о себе правду, если большинство, одобряющее писателей, высказывающих ее, так огромно, что бывшие противники ее или сознаются в том, что прежняя вражда их была несправедлива, или лишились отважности защищать свое несправедливое дело, — то далеко еще не все согласны в том, какой существенный смысл имеют сочинения, одобряемые всеми за правдивость»¹).

Существенный смысл «Губернских очерков» Щедрина истолковывался разными политическими лагерями по-разному. Единодушные в похвалах «Губернским очеркам» было только кажущимся единодушием. Дворянско-либеральная критика стремилась обезвредить огромное политическое впечатление от книги Щедрина. Революционно-демократическая критика стремилась использовать успех «Губернских очерков» для внедрения своей тактической программы в возможно более широкие круги. Под видом похвал нашумевшему произведению шла упорная полемика между дворянским либерализмом и крестьянской революционной демократией.

Дворянско-либеральная критика пыталась уверить читателя, что в «Губернских очерках» дано изображение отдельных отрицательных явлений, вполне устранимых в пределах данного общественного строя. Она обвиняла

людей, выведенных Щедриным, а не порядок, не политический режим. «Отечественные записки» в статье некоего П. Б.—ва писали: «В самом деле, что такое большая часть «Очерков»? — Случаи из действительной жизни, рассказанные очень умно и занимательно, но все же не более как случаи, которые могли быть, могли и не быть... По содержанию своему эта книга принадлежит к тому разряду книг, к которому относятся «Открытие тайнства карточной игры» и т. п. сочинения. Ее следовало бы, собственно, назвать: «Открытие плутней русских чиновников», — вот и все ее значение». Рецензент «Отечественных записок» полагал, что факты, изображенные в книге Щедрина, не объединены никакой идеей, а потому и не запечатлены внутренней правдой, которая одна только не оставляет в уме читающего и тени сомнения, что рассказанное событие могло совершиться какнибудь иначе. А «без идеи факт, — добавляет он; — как бы он справедлив ни был, остается не больше, как случайностью, не имеющей никакого значения и не допускающей никаких выводов»¹). В «Сыне отечества» факты, рассказанные Щедриным, названы просто анекдотами.

Вся дворянско-либеральная печать в один голос твердила, что наивысшая заслуга Щедрина заключается в том, что он обличал только одно явление, одну сторону в русской жизни — взяточничество. Щедрин «в своих увлекательных рассказах, так ловко и верно обрисовывающих действительность, затронул одну из важных сторон нашей болезни — неправду и взяточничество», — уверяли своих читателей «С. Петербургские ведомости», понимая под неправдой нарушение закона чиновником за благодарственное даяние²). Того же мнения был «Русский инвалид». В этом же видели заслугу Щедрина уже поименованные выше «Отечественные записки», деликатно называвшие взяточниче-

¹) Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского, 1906 г., т. III, статья «Губернские очерки», стр. 201. В дальнейшем статья Чернышевского цитируется по этому изданию.

¹) Критическая литература о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. С. портретом и биографическим очерком, написанным Н. Денисюк, вып. 1-й, стр. 167.

²) Там же, стр. 75.

ство «закулисной стороной администрации».

Более тонко пытается смягчить громкое впечатление от «Губернских очерков» Дружинин в «Библиотеке для чтения». «По верности и основательности подробностей, — пишет он, — по непринужденной прямоте, с какою г. Щедрин подходит к делу, нельзя не признать в нем человека, служившего и знающего службу да сверх того глядящего на служебные интересы глазами полезного и практического чиновника... Наш автор умеет всюду провести, невзирая на темные стороны рассказа, одно честное и доброе лицо, про которое говорит и гр. Толстой в своем «Севастополе». Это лицо — истина, не отвлеченная и сухая истина, а истина, живущая своей жизнью и наполняющая собой все части рассказа. Проныра Порфирий Петрович, мрачный грабитель Фейер и др. лица в таком роде не ужасают читателя бесплодным ужасом, ибо это живые люди, списанные с натуры, а не размалеванные страшилища, воплощение заданной мысли и воображаемых пороков. Читатель видит и понимает очень хорошо, что рука, набросавшая портрет какого-нибудь вредного Порфирия Петровича, сумеет и в жизни поймать Порфирия Петровича, взять его за ворот и предать в руки правосудия, назло всем козням виноватого»¹⁾. Дружинин как бы успокаивает читателя: не ужасайся, мол, перед лицом Порфириев Петровичей и Фейеров, — есть уже честные, полезные и практические чиновники, в роде г. Щедрина, написавшего «Губернские очерки», которые сумеют изловить взяточников и нарушителей закона и предать их в руки благодетельной власти. Истина в искусстве под пером Дружинина превращалась в вульгарную надежду благонамеренного либерального обывателя, уповающего, что есть еще правда на земле в лице недремляющего начальства, вытаскивающего за ушко да на солнышко проштрафившихся чиновников. «Произведение г. Щедрина носит на себе печать современности, — вторит Дружинину Л. У.

из «Русского инвалида». — Общество громко и открыто требует искоренения этого зла, с благоговением повторяя многозначительные слова державной власти, призывающие всюду справедливость»¹⁾.

Следует однако подчеркнуть, что и в среде вульгарно-либеральной критики были опасения, что общественный резонанс от «Губернских очерков» перешагнет за рамки простой надежды на изложение виновных в нарушении законов самодержавно-крепостнической России. Хваля Щедрина, его одновременно обвиняли в преувеличениях, в неправдоподобности (тот же «Сын отечества» например). «Русский инвалид» желал бы «видеть в «Губ. очерках» черты более примирительного характера. «Спб. ведомости» пытаются опочинить те очерки Щедрина, в которых можно было увидеть разоблачение классовых основ дворянского либерализма («Талантливые натуры») или слишком большое народолюбие («Богомольцы, странники и проезжие»), как художественно неудачные. Рецензент «Спб. ведомостей» призывает Щедрина не выходить из сферы обличения чиновников и раскольников: «Здесь он хозяин своего дела, здесь все ему удается». Обработывая только этот материал, Щедрин «оказал бы русской литературе и обществу гораздо большую услугу, чем рассказами о Горехвостове, Корепанове и других»²⁾.

И совершенно уж умилительно звучит политический урок, который извлекает «Сын отечества» из «Губернских очерков»: «Для искоренения этой язвы России (т. е. взяточничества) честным людям следует твердо решиться: не только не брать, что разумеется само собою, но и не давать им малейшей взятки. Пусть каждый из нас проиграет свое дело, испытает всякого рода притеснения и неудовольствия, лишится своей собственности, но пусть он так же строго и решительно не дает, как не берет, тогда — и только тогда — можем мы ожидать искоренения этого возмути-

¹⁾ Денисюк, выпуск 1-й, стр. 60—61.

¹⁾ Денисюк, вып. 1-й, стр. 73.

²⁾ Там же, стр. 79.

тельного порока, который мы всосали с молоком матери, по словам одного из наших поэтов»¹⁾.

Либеральная критика ставила себе целью оградить политический режим от слишком радикальных выводов, которые мог бы сделать читатель на основе «Губернских очерков». Она хотела создать впечатление, что царский режим обладает и готовностью, и силами для исправления своих недостатков. Она хотела удержать сатиру Щедрина в строго ограниченных рамках, при соблюдении которых его обличения направлялись бы против отдельных лиц и фактов, не затрагивая основ общественно-политического строя. Либеральная критика хотела ввести сатиру Щедрина в русло так называемой «обличительной литературы», высмеянной сотрудиниками «Современника» (в том числе несколько позже и Щедриным в рассказе «Литераторы-обыватели»). В своих политических выводах либеральная критика опускалась до мизерабельно-пошлых советов бороться со злом даже не путем устранения виновных чиновников, а «самотверженным» решением не давать взятки!

Диаметрально-противоположно отнеслась к «Губернским очеркам» революционно-разночинная критика Чернышевского и Добролюбова, выразительница крестьянско-демократической линии в русской революции. Она увидела в «Губернских очерках» общественный документ, подтверждающий в необычайно доступной форме правоту ее революционной позиции. Критический разбор «Губернских очерков» дал возможность обоим великим критикам шестидесятых годов с естественной необходимостью подвести читателя к вопросу о революционном перевороте, как актуальнейшей проблеме дня. Чернышевский и Добролюбов выступали в «Современнике», легальном журнале. Они вынуждены были говорить эзоповским языком, но мысль их была так обстоятельно и так настойчиво выражена, что образованный читатель не мог не заметить ее и при всех недомолвках и обиняках, вызванных

условиями работы в подцензурной печати при самодержавном режиме.

Чтобы сделать ясной свою мысль, Чернышевский прибег к исторической аналогии, вернее, к исторической притче, сочиненной им на основании фактов римской истории. В древнем Риме, тысячи за две лет тому назад, Цицерон наделал страшного шума, выступив с обличениями против злоупотреблений и нарушений законов, совершенных пропретором Сицилии Верресом. Веррес струсил и бежал из Рима, не защищаясь. Меж тем, — указывает Чернышевский, — Веррес зря струсил, он мог бы вполне удовлетворительно доказать, что при нравах и политическом режиме, господствующих в Сицилии, он иначе поступать не мог. В Сицилии не могло быть справедливости в судах, ибо там были широко распространены взятки, подкуп, лжесвидетельство, подделка документов и т. д. Выступить против этих обычных сицилианских нравов в одиночку — значило разыгрывать Дон-Кихота, лишиться и пропреторства, и головы.

В предполагаемой самозащите Верреса исходной точкой являются нравы сицилианцев, в обвинениях же Цицерона исходной точкой служила буква закона. С своей точки зрения, Цицерон был так же непоколебимо прав, как прав был и Веррес, но правота их обоих была правотой односторонности. Ни один из них не учитывал силы обстоятельств. Истинно государственный человек, например Юлий Цезарь, понял бы, что для того, чтобы оздоровить нравы и добиться уважения к закону в Сицилии, необходимо изменить обстоятельства, т. е. политический строй. Только тогда и нравы бы оздоровились, и создались бы условия для строгого соблюдения законов.

«Вот в этом деле, — пишет Чернышевский, — мы имеем трех людей, занимающих различные положения. Веррес — пропретор, Цицерон — юрист, очень благонамеренный, но ровно ничего не понимающий в историческом ходе событий своего времени; Юлий Цезарь — государственный человек. Сообразно различию своих положений каждый из

¹⁾ Денисюк, выпуск 1-й, стр. 194.

них смотрит на дело совершенно различными глазами. Веррес думает: «Сицилианцами нельзя управлять с соблюдением законности и справедливости. Но между тем нужно же как-нибудь управлять ими. Я поставлен в необходимость управлять ими так, как я управляю». У него исходный пункт — нравы сицилианцев. Цицерон говорит: «Законы должны быть уважаемы. Кто нарушает их, тот злодей и должен быть наказан». У него исходная точка — буква закона. Обстоятельств он не принимает в соображение. С своей точки зрения, каждый из них прав. Но и тот, и другой поставлены своим положением на одностороннюю точку зрения. И оба, могущие быть равно добросовестными, — равно гибельные люди для Сицилии. Веррес управляет Сицилией незаконно, но думает, что иначе управлять ею нельзя. Цицерон хочет, чтобы Сицилия управлялась по законам, но не понимает, что это невозможно при том состоянии и на тех условиях, в каких поручена Сицилия Верресу. Но есть третья точка зрения, принадлежащая Юлию Цезарю, государственному человеку, положение которого внушает ему принимать в соображение как требования легальности, которыми исключительно занят юрист Цицерон, так и обстоятельства дел, которыми исключительно занят администратор Веррес. Юлий Цезарь говорит: «В настоящем положении дел Сицилией нельзя управлять законно и справедливо. В этом прав Веррес. Но беззаконное управление пагубно и несправедливо: в этом прав Цицерон. Итак, нужно изменить положение дел в Сицилии. Средства к тому я уж показал, дав Транспаданской Галлии права римского гражданства. Этим я улучшил нравы транспаданцев и водворил в Транспаданской Галлии законный порядок, которого прежде не существовало в ней».

В контексте статьи историческая притча Чернышевского становилась совершенно доступной всякому образованному читателю. Борьба с Верресами — Порфириями Петровичами — на почве данного общественно-политического строя — бесплодная и бессмысленная задача.

Чтобы искоренить все недостатки николаевско-александровского режима, нужно коренным образом, революционным способом демократизировать общественно-политический строй страны. Тогда сами собой, как следствие, отпадут многочисленные злоупотребления, описанные в «Губернских очерках» и против которых тщетно метали словесные громы либеральные краснобаи — российские Цицероны, — ровно ничего не понимавшие в историческом ходе событий своего времени.

Ту же точку зрения разделял и Добролюбов. Как и Чернышевский, он знал, что либеральная болтовня, слово, не подтвержденное делом, не даст абсолютно ничего для революционного преобразования России.

Статья Добролюбова посвящена подробному анализу талантливых натур из «Губернских очерков», в которых критик видит не обличение лиц, а изображение господствующего характера русского общества шестидесятых годов. Добролюбов не винит «талантливые натуры», как отдельных людей, за расхождение между словом и делом. В этом расхождении виноваты не психологические свойства, — наоборот, с точки зрения психологической, это довольно недурные живые и восприимчивые натуры, — а их социальное положение. Как помещики, как эксплуататоры, они не могут серьезно хотеть изменения обстоятельств, приносящих им слишком ощутимые выгоды. Если бы Корепанову необходимо было работать самому для приобретения хлеба и места, он был бы славным работником и не погиб бы для честной и полезной деятельности. Не в «лишних людях», не в бездельных фразерах, классово-корыстно заинтересованных в сохранении господствующего режима, заключается залог преобразования России. Щедрин правильно снял романтизирующий ореол с тургеневских лишних людей. Залог обновления России заключается в тех людях, которые, — пишет Добролюбов, — «до конца идут против враждебной силы, и если не успеют ее покорить, то падают, звуком самого падения созывая на

труп свой новых самоотверженных деятелей»¹⁾). Слов «революция», «революционер» Добролюбов не мог употребить в легальном журнале. Но призыв к революции, провозглашенный в данном случае как естественный результат критического анализа «Губернских очерков», звучал у Добролюбова еще более понятно, чем в статье Чернышевского. Добролюбов, умевший смотреть правде в глаза, не самообольщался. Он знал, что революционеров вокруг него немного, что революционер — еще исключительное явление среди болтающего моря «талантливых натур». Но немногочисленность революционеров в окружающем его обществе не ввергала Добролюбова в отчаяние. Революционеров мало, — значит, нужно стремиться к увеличению числа революционеров. Вот вывод, к которому приходил Добролюбов, ибо «горе тому обществу... в котором не будет с года на год увеличиваться число спасительных исключений».

Мрачная картина, нарисованная Щедриным в «Губернских очерках», побуждала Добролюбова к усилению критики либерального вранья и к усилению пропаганды революционной практики. Литература сама по себе не имеет «исполнительной власти». Исполнительная власть принадлежит политике, — развивал свою точку зрения Добролюбов. «Губернские очерки», даже независимо от того, понял ли это сам их автор, зовут к революционной практике.

Вывод этот должен был рано или поздно оттолкнуть от Щедрина его либеральных хвалителей, хвалителей со многими и многими оговорочками, и вернуть их снова в тот литературный лагерь, где им надлежало занимать место, — в лагерь сторонников чистого искусства. Добролюбову ко времени написания им критического разбора «Губернских очерков» уже не раз приходилось иметь дело с либеральными эстетиками, с любителями возвышенных чувств, благородных натур, идеальных

лиц в литературе. С точки зрения чистого искусства отнесся Тургенев к «Губернским очеркам». «Это совсем не литература, а чорт знает что такое» — отозвался он о них, по свидетельству Л. Пантелеева, прочитав их еще в рукописи¹⁾. Известно, что именно на основе отзыва Тургенева Некрасов отказался печатать «Губернские очерки» в «Современнике», о чем он впоследствии весьма жалел. Понимая, что в либеральных кисло-сладких славословиях «Губернским очеркам» таится немало тоски по литературе, восхваляющей status quo, учитывая, может быть, и отзыв Тургенева на «Губернские очерки», Добролюбов в статье о первом большом произведении Щедрина обрушивается на эстетов, на сторонников искусства для искусства, на любителей уйти от тяжелых картин действительности в «чародейство красных вымыслов».

Сторонники искусства для искусства выдвигали против обличительной литературы еще тот аргумент, что она все равно бессильна практически исправить зло действительности. На это Добролюбов отвечал: «А что литературные обличения не производят практически благотворных результатов, или производят их весьма мало, — так кто же опять виноват в этом? Неужели опять вы скажете, что литература? Да на нее и без того вы же сами возводите обвинения в излишней резкости, вмешательстве не в свои дела и пр. Она действует так сильно, как только может, а вы недовольны ее действиями и хотите их прекратить, потому что они слабы! Гораздо последовательнее было бы с вашей стороны, если бы вы сказали, что надобно поэтому усилить тон литературных обличений, для легчайшего достижения практических результатов. Тогда бы мы с вами и спорить не стали, хотя все-таки не решились бы обещать слишком заметного успеха в улучшении нравов посредством литературы. Литература в нашей жизни не составляет такой преобладающей силы, которой бы все подчинялось: она служит выражением понятий

¹⁾ Добролюбов. Полн. собр. соч. под общей ред. П. И. Лебедева-Полянского, т. 1, стр. 187. В дальнейшем статья Добролюбова цитируется по этому изданию.

¹⁾ Л. Ф. Пантелеев. — Из воспоминаний прошлого. «Academia», 1934, стр. 520.

и стремлений образованного меньшинства и доступна только меньшинству; влияние ее на остальную массу — только посредственное, и оно распространяется весьма медленно. Да и по самому существу своему литература не составляет понудительной силы, отнимающей физическую или нравственную возможность поступать противозаконно. Она не любит насилия и принуждения, а любит спокойное, беспристрастное и беспрепятственное рассуждение. Она поставляет вопросы, со всех сторон их рассматривает, сообщает факты, возбуждает мысль и чувство в человеке, но не присваивает себе какой-то исполнительной власти, которой вы от нее требуете. Нам приходится теперь на мысль начало одного знаменитого в свое время французского сочинения об одном важном вопросе. «Меня спросят, — говорит автор, — что я за правитель или законодатель, что смею писать о политике? Я отвечаю на это: оттого-то я и пишу, что я ни правитель, ни законодатель. Если бы я был тем или другим, то не стал бы напрасно тратить время в разговорах о том, что нужно сделать: я сделал бы, или бы молчал...»

Литература только пропагандирует, она только побуждает к действию, но она не может заменить самого действия, — рассуждает Добролюбов. Оружие критики имеет смысл только тогда, когда оно на какой-то ступени развития сменяется критикой оружием. Но из этого вытекает не пренебрежение утилитарным искусством, обличающей литературой, а усиление использования его пропагандистской силы до тех пор, пока передовым деятелям не удастся непосредственно начать действовать как политикам и законодателям, т.е. пока дело не дойдет до реальной революционной борьбы и до победы революции.

Добролюбов видел в «Губернских очерках» подтверждение правоты «гоголевского» направления в русской литературе, утилитарно-материалистического взгляда на искусство и доказательство необходимости перехода от слов к делу, от литературы к политике, от обличений к революционной практике.

Революционно-демократическая критика прочитала в нашумевшем произведении Щедрина осуждение всего общественно-политического строя России, как источника описанных сатириком конкретных злоупотреблений, она нашла в «Губернских очерках» аргументы в пользу усиления своей революционной агитации.

Два главных политических направления шестидесятников — либералы и революционные демократы — вели между собой классовую борьбу за использование «Губернских очерков», вели борьбу и за душу Щедрина, за привлечение его на свою сторону. Имела ли эта борьба какое-нибудь объективное основание? Если бы Щедрин как автор «Губернских очерков» был совершенно определенным человеком, строго определенного лагеря, такая борьба не имела бы места. Если бы Щедрин был последовательным сторонником партии Чернышевского — Добролюбова, он вместе с ней вел бы ожесточенную атаку на либералов и главные свои усилия сознательно видел бы в том, чтобы растолковать читателю необходимость революционных действий для искоренения описанного им зла. Если бы Щедрин был человеком одинаковых взглядов с Катковым и Тургеневым, он бы позаботился о том, чтобы противная партия не смогла использовать его сочинения в свою пользу. Щедрин не принадлежал к числу писателей, объективный смысл творчества которых определялся вопреки их намерениям или во всяком случае независимо от их сознательного политического расчета. Щедрин с самого начала своей литературной деятельности был политически мыслящим писателем, добивавшимся от своих художественных произведений определенного общественного эффекта. Естественно поэтому предположить, что оба лагеря, спорившие за «Губернские очерки», опирались на аргументы, вытекавшие из самого мировоззрения Щедрина, заимствованные из самого текста волновавшей читателей шестидесятников книги. Так оно и было на самом деле.

П. Лепешинский в предисловии к «Губернским очеркам» отмечает «некоторую

шаткость и неустойчивость мировоззрения молодого Щедрина во время переходной полосы его литературно-общественного самоопределения¹⁾. В «Губернских очерках» были черты, обнадёживавшие деятелей либерального лагеря, на основании которых они рассчитывали найти в новом писателе, так быстро завоевавшем себе большое имя, своего возможного союзника.

Эти черты сохранились и в окончательном тексте «Губернских очерков», сложившемся после нескольких правок автора. «Губернские очерки», сведенные после опубликования в журнале в книгу, оканчиваются изображением странной, бесконечной процессии, проходящей перед умственным взором автора. Процессия эта состоит из героев книги. Тут все персонажи «Губернских очерков», начиная с правителя губернии, князя Льва Михайловича, и кончая бедной Аринушкой. На всех лицах, участвующих в процессии, написаны забота, испуг, все чего-то ждут, чего-то трепещут. Самоуверенный Порфирий Петрович, достигший было всех земных благ, машет рукою, как бы давая знать: «Видишь, какая беда над нами стряслась!» Эта процессия — похоронная процессия. «Но кого же хоронят? Кого же хоронят?» — спрашивает автор у своего героя Буеракина, участника процессии. «Прошлые времена хоронят! — отвечает Буеракин торжественно...» Этот заключительный аккорд создавал впечатление, что Салтыков-Щедрин верит в то, что мрачная действительность, описанная им в «Губернских очерках», приходит к концу, что он полагается на реформаторскую деятельность правительства Александра II, как на действительный путь обновления России и ликвидации старого режима, «прошлых времен».

Журнальный текст очерков и их первых изданий еще увеличивал это впечатление. «Введение» к «Губернским очеркам» заканчивается объяснением цели теркулесовой работы Щедрина, обнадёжившего для всеобщего обозрения гниль и зло наследия николаевского режима.

¹⁾ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. сочинений, т. II, стр. 28.

«Много есть путей служить общему делу, — пишет Щедрин, — но смею думать, что обнаружение зла, лжи и порока также не бесполезно, тем более, что предполагает полное сочувствие к добру и истине».

За этим заявлением первоначально следовала фраза, показывавшая, что Щедрин мыслил тогда свою собственную деятельность в тесной связи и согласии с правительственными мероприятиями шестидесятих годов. «Смею думать, — шло дальше, — что все мы, от мала до велика, видя ту упорную и непрестанную борьбу со злом, предпринимаемую теми, в руках которых хранится судьба России, — все мы обязаны, по мере сил, содействовать этой борьбе и облегчить ее». Фраза эта была исключена автором только в 3-м издании, в 1864 году. Заключавшаяся в ней политическая мысль вполне удовлетворяла либералов, в политической программе которых Добролюбов применил гоголевские слова: «Слышим благородную русскую нашу породу... слышим приказанье высшее быть лучшими других». Левизна либералов простиралась именно настолько, насколько это требовалось и разрешалось правительством.

Приведенная фраза, исключенная из последующих изданий, не была случайной или необдуманной. Ее смысл подтверждается и другими аналогичными местами. Так, в очерке «Старец» раскольник, разочаровавшийся в «старой вере», следующим образом объяснял свой отход от фанатического изуверства: «А все, сударь, благодать! Она, одна она, совлекла с меня ветхого человека! Не просвети нас великий монарх своим милосердием, остался бы я, кажется, о сю пору непреклонен и все бы враждовал и, как зверь подземный, копал во тьме яму своему ближнему по крови. По той причине, что будь для нас время тесное, нет нам резону от своего отставать, всяк назовет тебя прелестником, всяк пальцем на тебя укажет... Ну, а мы хоть и мужики, а свою совесть тоже имеем. Теперь другая статья; теперь для нас любви действие видимо, или, по выражению святого писания: ныне наста время, всех освещающее. Ну, и идем мы с

упованием, потому что слышим глас любви, призывающий нас: вси приидите, вси напитайтесе».

Устами раскаявшегося расколоучителя Александр II назван здесь «великим монархом», а ослабление социально-политического режима после смерти Николая I, предпринятое для спасения самодержавия и крепостнических привилегий от революционного взрыва, рисуется как «любви действо», как наступление времени, всех освещающего.

Либеральные политические иллюзии, нашедшие себе место в «Губернских очерках», и послужили основанием для надежд либеральной критики ограничить действие произведения Щедрина поставленными ею целями. На них же базировалось и их стремление завербовать в свой лагерь самого автора. Даже Некрасов, человек лагеря «Современника», но политически менее проницательный, чем Чернышевский и Добролюбов, поддался было отзывам либералов о Щедрина. Он поверил Тургеневу, не нашедшему в «Губернских очерках» никаких художественных достоинств, и поверил либеральной критике, утверждавшей, что в «Губернских очерках» заключается осуждение лишь частных несовершенств, не распространяющееся на политико-общественную систему. Некрасов однако, в противоположность либеральной критике, в последнем обстоятельстве увидел не похвалу «Губернским очеркам», а осуждение им. В результате — письмо Некрасова к Тургеневу (от 27/VI 1857 г.): «Гений эпохи Щедрин — туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин. Публика в нем видит нечто повыше Гоголя! Противно раскрывать журналы, — все доносы на квартальных да на исправников — однообразно и бездарно!»¹⁾ Некрасов очень недолго держался такого мнения о Щедрина. Чернышевский же и Добролюбов вовсе не поддались либеральному истолкованию «Губернских очерков», хотя оба они стояли на совершенно последовательной революционной

позиции и не хуже других видели либерально-политические выводы, которые делал Щедрин из оценки описанной им действительности. Чернышевский в своей статье ни словом не упомянул о политических иллюзиях Щедрина, а Добролюбов только в одном месте мимоходом отметил необоснованность надежд Щедрина на наступление новых порядков под воздействием того, что либералы назвали «великими реформами». «Не дальше как в прошлом году сам господин Щедрин, — напоминал он, — похоронил прошлые времена. Но вот опять все покойники оказались живехоньки и зычным голосом отозвались в третьей части «Очерков» и в других литературных произведениях последнего времени»¹⁾.

Это попутное замечание Добролюбова было средактировано таким образом, что оно не звучало даже упреком Щедрина. Оно нужно было Добролюбову для усиления подчеркивавшегося им объективно революционного смысла «Очерков».

Чернышевский и Добролюбов обошли почти полным молчанием либеральные политические иллюзии Щедрина не из оппортунистической терпимости конечно. Во-первых, они понимали, что либеральные политические иллюзии Щедрина не настолько прочны, как это могло показаться. Щедрин, если и верил, что старые времена пришли к концу, то не очень все же был убежден, что на смену старым временам приходит нечто путное. «Вот оно и выходит, — говорит (не без сочувствия автора) купец Ижбурдин в очерке «Что такое коммерция?», — что старые порядки к концу пришли, а новых мы не доспелись. По той причине, что выдумывать еще мы не горазды, не выросли разума в меру». Словесно-либеральное оживление шестидесятых годов, не подкрепленное практическим делом, Щедрин не называл еще «глуповским

¹⁾ Некрасов. Собр. соч. под редакцией В. Евгеньева, Максимова и К. Чуковского. 1930 г. Т. V. Письма, стр. 312.

¹⁾ Добролюбов, т. I, стр. 197. В журнале и в первом издании «Губ. очерков» отдельные очерки цикла были помещены не в том порядке, в каком мы знаем эту книгу теперь. Очерк «Дорога», в котором дано описание похоронной процессии прошлых времен, не был последним. После опубликования «Дороги» последовал еще ряд обличительных очерков Щедрина, как из цикла «Губ. очерков», так и не вошедших в цикл.

возрождением», но все же окрестил его именем «общебуеракинского обновления» (по имени «талантливой натуры» — по имени и к а Буеракина), цель которого — поправление буеракинских обстоятельств. Замечание это содержало много политической дальнзоркости, при наличии которой можно было надеяться, что Щедрин с большими или меньшими трудностями, но расстанется со своей необоснованной верой в реформаторскую деятельность императорской бюрократии. Да и картина похорон прошлых времен, на которую намекал Добролюбов, заканчивалась болезненно-иронической нотой, которая с полным правом может быть отнесена и к Буеракину, в уста которого вложена ирония, и к самим надеждам на то, что прошлые времена похоронены безвозвратно: «Прошлые времена хороши, — отвечает Буеракин «торжественно» (спрашивающему автору). Эту часть его реплики мы уже приводили, а далее следует: «но в голосе его слышится та же болезненная, праздная ирония, которая и прежде так неприятно действовала на мои нервы...» Даже многоточие в конце поставлено, вместо определенной и завершающей точки, знак, в данном случае намекающий на неопределенность и неизвестность ближайшего будущего.

Но главное заключалось не в этом. О Щедрине периода создания «Губернских очерков» нельзя просто судить на основе его политических колебаний, на основе известной неясности в его позиции. При политической незрелости общества, в начальной стадии процесса его политической дифференциации, при малом политическом опыте, накопленном им, очень часто бывают важны при оценке того или иного деятеля не его политические выводы в их формальном виде, в их замкнутых в самих себе пределах, а те предпосылки, та идеологическая база, на основе которых эти выводы делаются.

Либеральное обличительство обращало свои грома и молнии против отдельных людей и отдельных отрицательных фактов. Оно носило ограниченно-эмпирический характер. По предпосылкам своим и по целям своим оно не интересовалось причинами, вызвавшими к

жизни обличаемый факт или поступок. Оно полагало, что негодного человека можно заменить годным, что можно исправить любую несправедливость, апеллируя к закону того политического строя, в рамках которого случилось остановившее его внимание отрицательное явление. На этом была основана вся либеральная критика, которая поэтому, как бы она шумна ни была порой, не затрагивала основ общественно-политического строя самодержавно-крепостнической России. Критика же Щедрина базировалась на куда более глубоком основании, чем политические выводы либерального обличительства. Щедрин прошел школу утопического социализма. Он не разделял выводов утопического социализма, но метод его он усвоил и с его отрицательными, и с его положительными сторонами. Из слабых сторон утопического социализма Щедрин усвоил игнорирование классово-борьбы, с чем нам придется считаться и при дальнейшем изучении мировоззрения и творчества Щедрина. Из сильных сторон утопического социализма Щедрин усвоил его учение о природе человека и о значении общественной среды. Как великие утописты на Западе, как Чернышевский и Добролюбов у нас, Щедрин считал причиной отрицательных явлений жизни не испорченность отдельных людей, а неправильное устройство общественной среды. Измените среду — изменится и человек, а не наоборот.

Этот метод подхода к общественным явлениям опирался на материалистическую философию и был глубоко прогрессивен. Щедрин, повторяю, заимствовал его из школы утопического социализма. Маркс в следующих словах обрисовывает связь между материалистическим учением о зависимости свойств общественного человека от среды и утопическим социализмом:

«Не надо большого ума, чтобы понять необходимую связь, существующую между учениями французского материализма о природной склонности к добру и о равенстве умственных способностей всех людей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии на человека внешних обстоятельств, о высоком

значении промышленности, о нравственной правомерности наслаждения и т. д. — с коммунизмом и социализмом. Если человек черпает все свои ощущения, знания и т. д. из внешнего мира и из опыта, приобретаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий его мир, чтобы человек получал из этого мира достойные его впечатления, чтобы он привыкал к истинно-человеческим отношениям, чтобы он чувствовал себя человеком. Если правильной понятый личный интерес есть основа всякой нравственности, то надо, стало быть, позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека совпадали с интересами человечества. Если человек не свободен в материалистическом смысле этого слова, т. е. если его свобода заключается не в отрицательной способности избегать тех или других поступков, а в положительной возможности проявления своих личных свойств, то надо, стало быть, не карать отдельных лиц за их преступления, а уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого отдельного человека. Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека. Если природа предназначила человека к общественной жизни, то, стало быть, только в обществе обнаруживает он свою истинную природу. Силу его природы надо изучать не на отдельных личностях, а на целом обществе»¹).

Материалист и социалист Чернышевский (как и его сподвижник Добролюбов) рассуждал точно таким же образом. «Даже и... в порочных людях, — писал он хотя бы в интересующей нас статье о «Губернских очерках», — человеческий образ не совершенно погиб, и, при других обстоятельствах, могли бы и эти люди отстать от своих дурных привычек». «Вообще надобно сказать, — продолжает он далее, — что общественные предубеждения и пристрастия быстро исчезают из нравов народа, как скоро

уничтожаются факты, которыми они подерживались. Если же какой-нибудь обычай, повидимому, неразумный и невыгодный, упорно держится в народных нравах, то не спешите называть его просто следствием предубеждений. Надобно прежде поискать, не опирается ли он на каких-нибудь фактах? Осуждать национальные обычаи очень легко, но зато и совершенно бесполезно. Упреками делу не поможешь. Надобно отыскать причины, на которых основывается неприятное нам явление общественного быта, и против них обратиться свою ревность. Основное правило медицины: «Отстраните причину, тогда пройдет и болезнь».

Щедрин, бывший петрашевец, Щедрин-материалист, — а по философским своим убеждениям Щедрин был фейербахианцем, — совершенно аналогичным образом расценивал природу общественного человека и совершенно аналогичным образом видел причины зла не в злой воле личности, не в данном отдельном факте, а в обстоятельствах, в устройстве общественной среды. Деятельная любовь к человеку, — полагал он, — может иметь место только при оптимистическом взгляде на природу человека. «Слабоумный и праздный человек! — восклицает Щедрин. — Ты праздность и вялость своего сердца принял за любовь к человеку и с этими дачными хочешь найти добро окрест себе! Пойми же наконец, что любовь милосердна и снисходительна, что она все прощает, все врачует, все очищает! Проникнись этой деятельною, разумною любовью, постигни, что в самом искаженном человеческом образе просвечивает подобие божие, — и тогда, только тогда получишь ты право проникнуть в сокровенные глубины его души». «Мы видим, что перед нами арестант, — пишет он в другом месте, — и этого слова достаточно, чтоб поднять со дна души нашей все ее лучшие инстинкты, всю эту жажду сострадания и любви к ближнему, которая в самом извращенном и безобразном субъекте заставляет нас угадывать брата и человека со всеми его притязаниями на жизнь человеческую и ее радости и наслажденья».

¹) Ф. Энгельс. — Людвиг Фейербах. С приложениями: I. Карл Маркс о французском материализме XVIII столетия. II. К. Маркс о Фейербахе. Перевод Г. В. Плеханова. 1918. Стр. 64.

Среди кунсткамеры карикатур на человека, окружавшей Щедрина в Крутогорске — Вятке, взор его с успокоением и надеждой останавливался на любом добром человеке, как бы незатейлив и прост он ни был. Сколько теплоты он вложил в описание благотворительной купеческой вдовы Пелагеи Ивановны, хотя умственный кругозор и бытовые нормы ее жизни не выходили за рамки Домостроя. А если человек зол, испорчен, низок, вял и пошл, то Щедрин не спешил винить его самого, возлагая ответственность на среду, на обстоятельства, особенно на засасывающие обстоятельства застойной провинциальной жизни. «Даже личность, одаренная наиболее деликатными нервами, — писал он, — редко успевает отделаться от сокрушительного влияния этой миниатюрной и, по наружности, столь непривлекательной жизни! Не вдруг, а день за днем, воровски подкрадывается к человеку провинциальная вонь и грязь, и в одно прекрасное утро он с изумлением ощущает себя сидящим по уши во всех крошечных гнусностях и дешевых злодействах, которыми изобилует жизнь маленького городка. Отбиться от них нет никакой возможности: они, как мошки в Барабинской степи, залезают в нос и уши и застилают глаза. И в самом деле, как бы ни была грязна и жалка эта жизнь, на которую слепому случаю угодно было осудить вас, все же она жизнь, а в вас самих есть такое нестерпимое желание жить, что вы с закрытыми глазами бросаетесь в прязный омут — единственную сферу, где вам представляется возможность истратить как попало избыток жизни, бьющей ключом в вашем организме. И вот провинциальная жизнь предлагает вам свои дешевые материальные удобства, свою лень, свои сплетни, свой нетрудный и незамысловатый раз-врат...»

Разве виновата засидевшаяся в девках княжна Анна Львовна, что ей хочется любить? Это такое естественное человеческое чувство, которое приходит в свой час к каждому живущему на земле. Пошла не жажда любви в Анне Львовне, пошло ее крутогорское определение, та форма, которую она принимает от со-

словной спеси, от сплетен, от жалкого нравственного уровня крутогорских аборигенов. Нет, человек не безнаден даже в Крутогорске. Расчитайте авгиевы конюшни крутогорских обстоятельств, и человек обретет достойный его светлый нравственный облик!

Из всех многочисленных критиков и публицистов, писавших о «Губернских очерках», эту сторону дела заметили только Чернышевский и Добролюбов. Мало того, они поняли, что во взгляде Щедрина на человека и общественную среду кроется ключ для оценки «Губернских очерков», что этот взгляд придает единство и цельность неистощимому разнообразию фактов и лиц, заполняющих страницы так взволновавшей общественное мнение книги. Критический разбор «Губернских очерков», сделанный Чернышевским, целиком построен на разрешении вопроса, виновата ли во всех описанных безобразиях злая воля отдельных людей, или объективная сила общественных обстоятельств: «Сущность беллетристической формы, чуждой силлогического построения, — объясняет свой ход мыслей Чернышевский, — чуждой выводов в виде определительных моральных сентенций, оставляет в уме многих читателей сомнение о том, с каким чувством надобно смотреть на лица, представляемые нашему изучению произведениями писателей, идущих по пути, проложенному Гоголем; сомнение о том, должно ли ненавидеть, или жалеть этих Порфириев Петровичей, Иванов Петровичей, Фейеров, Пересечкиных, Ижбурдиных и т. д.; надобно ли считать их людьми дурными по своей натуре, или полагать, что дурные их качества развивались вследствие посторонних обстоятельств, независимо от их воли. Сколько можно заключать из журнальных отзывов и из разговоров, которые каждый из нас много раз имел случай слышать в обществе по поводу произведений, подобных «Губернским очеркам» Щедрина, надобно думать, что очень значительная часть, быть может, большинство публики, склоняется на сторону первого мнения».

Именно потому, что либеральное большинство винило во всем самих лиц, вы-

веденных Щедриным, а не «посторонние обстоятельства», породившие столь печальных героев, либеральная критика не смогла ни правильно понять «Губернские очерки», ни сделать из них правильные революционные выводы.

Чтобы показать сущность «Губернских очерков» и обосновать свой взгляд на них, Чернышевский даже не прибегает к разбору в с о д е р ж а н и я книги. На нескольких примерах он с исчерпывающей убедительностью показывает, что в злоупотреблениях виноваты не люди, а социально-политические порядки, и что задача, стоящая перед передовыми русскими людьми, состоит не в том, чтобы сменить одних чиновников другими, а в том, чтобы коренным образом преобразовать самые основы российского общественно-политического строя.

В доказательство своей мысли Чернышевский анализирует обстоятельства жизни под'ячего, рассказывающего о прошлых временах. Под'ячий этот, в сущности, не такой бессовестный и бездушный человек, как может представляться на первый взгляд. Под'ячий не мог не брать взятки, ибо средств к существованию у него нехватало, а восполнить их другим заработком он не имел возможности. Как заседателю земского суда ему было «неприлично пред обществом, вредно по службе, убыточно в экономическом отношении и, наконец невозможно по личной его неприготовленности, искать пособий для своего существования в каком-нибудь торговом или промышленном занятии». Посторонних средств к увеличению доходов у него не было. Все свои доходы он должен был извлекать из своих должностных занятий. Беря взятки, он следовал общему примеру, общей привычке. Общая же привычка, обычай «никогда не возникает без причины; он всегда создается необходимою силою исторических обстоятельств». Нельзя осуждать человека за то, что он, по своим понятиям, не выше того общества, в котором вырос и живет. Под'ячий берет, но обещанное выполняет. Он считает грехом «живую душу губить». Предположение о возможности не брать взятки у таких людей, как откупщик, он рассматривает, как

вольнодумство. Попавшись на взятке, отрешенный от должности, он искренно полагает, что претерпевает несправедливость, что страдает безвинно: сейчас его отрешили от должности, и пошла писать. «Уличить-то меня доподлинно не уличили, а обпакостили всего да суду предали. И, верите ли, ведь знаю я, что меня учинят от дела свободным, потому что улики прямых нет, так нет же, злодеи, истомили всего. Лет десять все волочат: то справки забирают, то следствие дополняют. А я вот сиди без хлеба да жди у моря погоды».

И так как под'ячий сам по себе человек не плохой и целиком, как взяточник, является порождением строя, то в его жалобах есть в самом деле доля правды. Во-первых, обидно страдать одному за то, за что все другие имеют репутацию исправных и умных чиновников, а во-вторых, десять лет волочиться по судам это уже в самом деле наказание несоответственно большое. Под'ячий Щедрина не хуже и не лучше других под'ячих, он вовсе не какой-нибудь особенный злодей. Следовательно, ловить отдельных провинившихся под'ячих отдельно. Упреками отдельным под'ячим делу не поможешь. Надо устранить причины, делающие неизбежными проделки под'ячих. Как устранить, на это указывают прозрачные намеки Чернышевского на французскую и английскую революции.

Торговля в России была отсталой и нечестной торговлей, но купцы, выведенные Щедриным в очерке «Что такое коммерция», сами не виноваты в обираловском характере своей профессии. Купцы из «Губернских очерков» сами указывают на обстоятельства, под влиянием которых установились привычки их торговли. Купеческие дела в крепостнической России целиком зависели от чиновников. В России не сложился еще внутренний капиталистический рынок. Очень многие из купцов жили не производством на рынок и торговлей на рынке, а подрядами и поставками в казну. В таких условиях нравы чиновников, обычаи бюрократии, естественно, накладывали свой отпечаток и на характер обычаев в торгово-промышленной деятельности. После этого важнейшего об-

стоятельства следует еще учесть медленность и неверность торговых оборотов, как следствие отсутствия совершенных путей сообщения.оборот хлебной торговли требовал до двух лет времени. За такой период условия на рынке и внешне, и внутренне могли коренным образом измениться. В крепостнической России не было сложившейся буржуазии по западноевропейскому образцу: «У нас нет старинных больших торговых домов. Обыкновенно, богатые наши торговцы бывают люди, не наследовавшие никакого капитала, а бывшие в молодости торговцами очень бедными. Нет ничего, удивительного, что они сохраняют привычки мелочной торговли и тогда, когда посредством оборотов, ей свойственных, приобрели значительный капитал. Дети их обыкновенно спешат променять торговую деятельность на служебную. «Если мы сообразим силу всех этих обстоятельств, — резюмирует Чернышевский, — то не будем понапрасну обвинять личный характер людей торгового класса». Вывод, к которому приходил Чернышевский, был все тот же: «Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится характер».

Чрезвычайно важным для оценки «Губернских очерков» является то, что Чернышевский приходит к своим выводам не независимо от намерений художника, не на основе объективного только смысла «Губернских очерков», сложившегося вне прямого расчета писателя. Приступая к оценке более сложного типа, «талантливой натуры» Буеракина, Чернышевский устанавливает свое согласие со Щедриным в отрицании личной вины Буеракина, доброго на словах, крепостника на деле. Буеракин таков, как он выведен Щедриным, потому, что он помещик. Психологические особенности характера Буеракина не играют существенной роли в его оценке. Чтобы понять основное в Буеракине, расхождение между словом и делом, надо разобраться в объективных условиях его существования, понять сущность социального строя, чьим порождением он является.

О Буеракине надо судить не по тому, что он о себе думает, а по тому, что он

есть на деле, по его объективной социальной роли. Чернышевский на основе данных, представленных Щедриным, судит его согласно материалистическому положению, гласящему, что не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. «Два различные положения необходимо ведут к двум различным взглядам на вещи. С изменением положения человека изменяется его точка зрения, изменяется и характер его убеждений». И вывод, делаемый из всего этого Чернышевским, нам уже знаком: чтобы сделать поступки Буеракина, человека по натуре своей неплохого, согласными с его убеждениями, необходимо «освободить» его от власти над себе подобными, от возможности жить за счет эксплуатации крепостных рабов.

Такова же и суть оценки «талантливых натур» Добролюбовым. И Добролюбов в полном единомыслии с Чернышевским видит причину расхождения между словом и делом у них не в злой воле, а в рабовладельческом социальном строе, в котором они занимали положение эксплуататоров.

Нетрудно видеть, что примеры, которыми Чернышевский и Добролюбов доказывают справедливость своего толкования «Губернских очерков», не выхвачены случайно. Они вытекают из всего строя книги, и число их можно было бы многократно увеличить. Вот преждевременно испорченный мальчишка (из очерка «Елка»). Но автор не винит мальчишка. «Елка» не вульгарно-филантропический святочный рассказ. Он навеян отголосками идей утопического социализма, сочувствием к «униженным и оскорбленным», выросшим в кружке Петрашевского. В ранней испорченности, в несвойственной возрасту беззастенчивости ребенка виновата не его натура. Наоборот, натура ребенка свидетельствует о здоровых и положительных началах, лежащих в ее основе. В испорченности мальчишка виноваты бедность, жестокие условия мастерового быта, неравномерное распределение благ, при которых одним детям достается все, а другим ничего.

Очерки из раздела в «Остроге» также объясняют вины арестантов не личной злой волей, а силой обстоятельств, ино-

гда развращением воли с юных лет, или паталогическими особенностями характеров, не зависящими от произвола человека. Все это вполне укладывается в рамки юридических идей левого лагеря 60-х годов.

Либерально-филантропическое мышление полагало, что несправедливый чиновник может быть заменен добродетельным, чем и будет восстановлена нарушенная справедливость, причем свою критику лиц либералы обращали обычно не на крупных персон, а на мелких сошек. Щедрин ставил вопрос неизмеримо глубже. Опираясь на материалистические исходные предпосылки и некоторые идеи утопического социализма, он устанавливал, что отрицательные качества несправедливого общественного строя заражают не только верхи, власть имущих. Он прекрасно понимал, что, если человек низов ищет выхода из тяжелого положения в рамках данного эксплуататорского строя, только для себя, то он может мечтать только о том, чтобы из мелкой рыбешки самому превратиться в акулу. Бедный чиновник Техоцкий, разночинец, человек, на своей шкуре испытывавший все отрицательные стороны самодержавной бюрократии, сам мечтает получить место исправника, чтобы и у него были свои Техоцкие, которыми он мог бы помыкать, чтобы он сам путем взяток мог бы утолить свою жажду стяжания. Бюрократ покрупнее, Иван Никитич, также вышедший из разночинцев, сам прошедший всю невеселую школу мытарств и унижений маленького чиновника, вымещает все, что он претерпел, на спинах таких же маленьких и безответственных людей, каким он сам был когда-то. «Это точно, что бестия был этот Иван Никитич, — говорит чиновник Гирбасов из «Выгодной женитьбы». — Никакого человечества в нем не было. И ведь диво, кажется, сам через все это прискорбие произошел; сам, значит, знает, каково выносить эту эквилибристику-то».

«То-то вот и есть, — вторит ему Дернов, — что наш брат-хам — уже от природы таков: сперва над ним глумятся, а потом, как выйдет на ровную-то дорогу, ну и норовит все на других вы-

местить. Я, говорит, плясал, — ну пляши же теперь ты, а мы, мол, вот посидим да поглядим, да рюмочку выкушаем, покедова ты там штуки разные выкидывать будешь».

Бедный чиновник, мелкий человек, разночинец, часто не имевший сапог и приличной одежды, естественно, вызывает симпатии у Щедрина, но Щедрин не идеализирует его, не сентиментальничает перед его тяжелым положением. Щедрин видел, что мелкий человек, бьющийся в тисках жизни, как в тенах, но покорный перед жизнью, не борющийся с ней, не желающий коренного изменения ее основ, сам оказывается зараженным всей мерзостью и гнилью бесчеловечного режима. Рабская мечта и рабская фантазия не может возвыситься над стремлением из угнетенного стать угнетателем, из пожираемого пожирателем. Эти качества искривленного сознания обездоленного разночинца, не поднявшегося до уровня критики и борьбы, не вызывают ни у Щедрина ни у его читателей никаких симпатий, они — оборотная сторона той самой медали, на лицевой стороне которой вычеканены Змеищевы. Такой взгляд на вещи у Щедрина проистекал не от отсутствия человеколюбия конечно, а от той более высокой точки зрения, согласно которой, чтобы помочь человеку не за счет его собрата, надо изменить самые условия человеческого существования.

Такие исходные предпосылки критики самодержавно-крепостнического строя были много важнее политических выводов, к которым приходил сам Щедрин в «Губернских очерках». Об'ективный смысл его критики носил революционный характер, несмотря на иллюзорные либерально-ограниченные выводы, которые он делал. Чернышевский и Добролюбов имели все основания пренебречь этими выводами, сосредоточив свои усилия на вскрытие основных предпосылок критики Щедриным общественно-политических основ царской России. Об'ективный смысл сатиры Щедрина уже в «Губернских очерках» давал такой свет понимания, давал стимул к такому действию, которые могли воистину перевернуть мир, т.-е. привести к рево-

люционному преобразованию России. При этом даже из самого текста Щедрина вытекало, что процесс обновления России не может произойти фаталистически, без борьбы с конкретными носителями зла, с людьми, деятельность которых не просто являлась автоматическим следствием режима, а которые воплощали режим и строй, активно утверждая их существование. Щедрин различает свои типы по степени их отрицательных качеств, по тому, насколько они сохранили в себе человеческий облик или окончательно утратили его. Этим воспользовался Чернышевский, чтобы сказать, что, борясь со старым царским режимом, необходимо руководящее меньшинство его не исправлять, а устранять.

«В каждом обществе, — писал Чернышевский, — есть люди с дурным сердцем, с душою решительно низкою. И в древнем Риме, отечестве героев, были трусы, и в Германии, классической стране честности, есть люди коварные, недоброжелательные. Есть они, и во Франции, и в Англии, и в Соединенных Штатах. Есть такие люди и в нашем обществе. Попадают они и в числе лиц, выводимых Щедриним. Таков например Порфирий Петрович, принадлежащий к семейству Чичиковых, но отличающийся от Павла Ивановича Чичикова тем, что не имеет его мягких и добропорядочных форм и более Павла Ивановича покрыт грязью всякого рода; такова например мать приятного семейства, Марья Ивановна Размановская; таковы два-три из числа преступников, находимых Щедриним в городской тюрьме; таков особенно безымянный господин, элегантный и просвещенный, монолог которого мы читаем в очерке, имеющем заглавие «Озорники», — гнуснее этого человека читатель не находит во всей книге Щедрина. Этих людей защищать нельзя. Они действительно злы и ненавистны. Но в толпе лиц, выводимых Щедриним, они составляют очень малочисленное меньшинство, как действительно составляют меньшинство довольно малочисленное и в нашем обществе. Другие люди не таковы: в них вы откроете подле дурных качеств и не-

которые черты, примиряющие вас с их личностью. Дурные поступки и привычки их извиняются обстоятельствами их жизни и нравственною близорукостью, навеянною на них туманной средой, в которой развились и живут они.

Революционное преобразование России, устраняя «злое и ненавистное» меньшинство, открывало перспективы для перевоспитания многих других героев «Губернских очерков», чьи отрицательные качества не находили бы тогда питательной среды в преобразованном обществе. Критика Щедриним социально-политического строя России, данная в «Губернских очерках», была так основательна, что выводила за пределы литературы и вплотную ставила вопросы политики. Чернышевский и Добролюбов и поставили в своих статьях о «Губернских очерках» коренные политические вопросы дня. Это было им тем легче сделать, что обличение Щедрина направлялось и против политического режима в стране, и против его классовой основы. Несмотря на наличие либеральных предубеждений, «Губернские очерки» вскрывали антикрестьянский характер всей государственной машины самодержавной монархии.

Русское самодержавие сидело на мужике, черпая в нем и свои финансовые, и военные ресурсы. Показывая крестьян непомищичьей Крутогорской губернии, Щедрин говорит о подати и рекрутстве, как о первых жалобах мужика. Вот сценка из очерка «В остроге, посещение первое»:

— А знаете ли вы, что он под суд попал? Дело очень простое; мужичонка он простоватый, несмышленный, и жил в большой бедности...

— Правда это сущая, ваше благородие, правда, — заговорил арестант: — такая-то бедность, что и господи: в дому вот эконошкой корочки хлеба не сыщешь, — сущая это правда.

— Между тем пришло время за полугодие платить подать. Что тут делать, денег дома нет ни копейки, достать негде, а сборщик требует настоятельно...

— Истинно так, ваше благородие, — опять перебил арестант: «я, говорит, те-

бя нагишом в снег посажу, доколе все до копейки не заплатишь»... и посадил бы, ваше благородие, именно посадил бы...

— Вот и задумал он в бурлаки... а эпроче́м, рассказывай сам, коли перебиваешь.

— Иду я, ваше благородие, в волостное — там, знаешь, всех нас скопом в работу продают, такие есть и подрядчики — иду я в волостное, а сам горько-разгорько плачу: жалко мне, знаешь, с бабой-то расставаться, Хорошо. Только чую я, будто позади кто на телеге едет — глядь, а н это дядя Онисим. «Куда, говорит, путь лежит?» — «А вот, говорю, в волостное» — «Почто в волостное?» — «Продаваться в бурлаки; а ты, говорю, куда?» — «А я, мол, в Опенино, полведра купить».

А мне, ваше благородие, только всего и денег-то надобно, что за полведра заплатить следует... Вот и стал мне будто лукавый в ухо шептать... «Стой, кричу, дядя, подвези до правленья». А сам, знаешь, и камешек за пазуху спрятал... Сели мы это вдвоем на телегу: он впереди, а я сзади, и все у меня из головы не выходит, что будь у меня рубль семьдесят, отдай мне он их, заместо того, чтоб водки купить, не нужно бы и в бурлаки итти...

Арестант задрожал и заплакал.

— Кончилось тем, — договорил Яков Петрович, — что он швырнул в дядю Онисима камнем и, взявши у него ни больше, ни меньше, как рубль семьдесят копеек, явился в волостное правление и заплатил подать».

Этот рассказ пострашнее рассказов о взятках. Если Чернышевский и Добролюбов не поместили его в центр своего разбора «Губернских очерков», то только потому, что этого нельзя было сделать по цензурным условиям. Рассказ о мужике, который для уплаты рубля семидесяти копеек подачи должен был или продаться через волостное правление в бурлаки, или убить, глубже вскрывает суть политического режима, чем самая черная картина самых беззастенчивых взяток.

Рекрутство в представлении крестьян, как это изображено например в очерке

«Общая картина», рисуется как проявление страшной и чуждой силы, неотвратимой и безнадежной на-смерть.

Изображение крестьянских страданий еще увеличивало силу сатирического разоблачения Щедриным несостоятельности политического строя в стране. Оно делало совершенно очевидным, что «Губернские очерки» объективно были направлены и против социального строя, при котором крепостническое дворянство являлось высшим правящим классом в стране. Щедрин зло издевается над дворянской спесью, над понятием дворянской чести. Защитники идеи дворянской чести представлены в лице Забиякина («Просители»), который немедленно норовит в морду, если «кудей проходит мимо тебя и смеет усмехаться» или если ему не понравится чья-либо фамилия («И фамилия-то какая анафемская. Ну, как же таких людей не бить-то?» — сочувственно поддакивает Забиякину прогоревший поручик Живновский). И эти люди, несостоятельные даже и материально («Где же благородному человеку наличных взять? Благородный человек является как есть с открытой душой...»), транжирившие остаток средств на прихоти и похоти, на замазывание уголовных дел в роде убийства чернорабской мещанской девки Пучеглазовой, давно уже несостоятельные нравственно, владели рабами, крестьянами, людьми, чей духовный облик в «Губернских очерках» изображен несравненно более светлыми красками. Даже прогоревший Живновский, никогда не имевший человеческого облика, помыкаемый всеми в дворянско-купеческой среде, имел раба. В изображении крепостного права Щедрин ничего не затушевывает: фактически у дворян-рабовладельцев не было предела власти над человеком. Старая и хворая, не способная уже ни на какую работу Аринушка, и та должна все же приносить пользу помещику. Если она не может работать, то она может побираться, а за невыполнение заданной нормы ей доставались «тасканцы». И это дворянство, пережившее себя во всех отношениях, было первым сословием в государстве. Дворянин-чиновник сидел полным хозяином над купцом, над промыш-

ленником. В ежовых рукавицах Фейера купечество пикнуть не смело. В крепостническом обществе даже размер состояния не мог предохранить от дворянских поборов до причуд и дать гарантию прочности и коммерческой целесообразности в управлении предприятием. Миллионер Пазухин обязан воздавать чиновнику дань и деньгами, и почтением, рискуя в противном случае *получить небезжество*. Шестимиллионный откупщик Хрептюгин, владелец чугунного завода, безропотно выносит самые оскорбительные издевательства столоначальника Боченкова «потому что ты как там ни ломайся, а у меня все-таки кости дворянские, а у тебя холопские».

В то же время критика Щедрина уже в «Губернских очерках» была дальше, чем по крепостничеству. Школа утопического социализма оставила свои следы в мировоззрении Щедрина. Щедрин критикует и капитализм, его нравы, его нравственность. Правда, Щедрин в «Губернских очерках» останавливается главным образом на моральной стороне дела. Тайна капиталистической эксплуатации остается для него еще недоступной, — по крайней мере в «Губернских очерках» он не касается классово-экономической сути взаимоотношений капиталиста-эксплоататора с эксплуатируемыми. Но ненависть и едкий сарказм Щедрина в «Губернских очерках» были направлены и против страсти стяжания, против власти денег. Единственный побудительный мотив жизненной карьеры Порфирия Петровича, цель взяточной свистопляски мелких и крупных подъячих — это деньги, жажда наживы. Главное в фигуре Хрептюгина, как ее рисует Щедрин, это конечно не зависимость от дворян-чиновников, а отвратительные черты хищника-капиталиста, все меряющего на аршин «своей мощны, не знающего иной морали, кроме морали купли-продажи, просяживающего для удовлетворения своего брюха и тщеславия тысячи, но жалеющего другругивенный на-чай ямщикам и прощ милостыни нищим-богомолкам».

Характеристические черты Хрептюгина — родовые черты капиталиста, а не индивидуальные черты неотесанного выскочки, только вчера бывшего сидель-

цем, а сегодня ставшего миллионером. Они не слабеют, а, наоборот, усиливаются в дальнейшей смене поколений. Вот как Щедрин рисует восьмилетнего сына Хрептюгина, рожденного уже «по приобретению Иваном Онуфриевичем благ цивилизации»: Деметриус Иваныч, хотя и одет в бархатную курточку, но так как «от свиньи родятся не бобренки, а все поросенки», то образ мыслей и наклонностей его отстоит далече от благоуханной сферы, в которой находятся его родители. Сыздетства головку его обуревают разные экономические операции, и хотя не бывает ни в чем ему отказа, но такова уже младенческая его жадность, что, даже насытившись до болезни, все о том только и мнит, как бы с отеческого стола стащить и под комод или под подушку на будущие времена сохранить. К изучению французского языка и хороших манер не имеет он ни малейшего пристрастия, а любит больше смотреть, как деньги считают, или же вот заберется к подвальному и смотрит, как зеленое вино по штофикам разливают, тряпочкой затыкают да смолкой припечатывают. «Брысь, слякоть», скажет ему подвальный Потапыч, а он ничего, даже не обидится, только сядет в уголок, да и наслаждается оттуда полегоньку. «Лютая bestия из тебя выйдет, Митька!» — скажет Потапыч и примется снова за свое дело. В настоящее время Митька беспрестанно вынимает из карманов своих шаровар что-нибудь съедобное и меланхолически пожевы-вает».

Отрицательные черты купца-капиталиста, так же, как и отрицательные черты крепостника-дворянина, оттеняются Щедриным положительной характеристикой крестьянина. Очерк «Хрептюгин и его семейство» заканчивается картиной морального превосходства ямщиков-крестьян над миллионщиком-капиталистом:

«Иван Онуфрич весь синь от злости; губы его дрожат, но он сознает, что есть-таки в мире сила, которую даже его бесспорное и неотразимое величие сломить не может. Все он себе покорил, даже желудок усовершенствовал, а придорожного мужика покорить не мог».

В отрицании, направленном не только против крепостничества, но и против черт капиталистического порядка, заключен также признак того, что оппозиция Щедрина уже в «Губернских очерках» была иной, чем либерально-буржуазная оппозиция. Идеологически антикапиталистические ноты в «Губернских очерках» — свидетельство влияния на Щедрина утопического социализма, социально — они признак того, что критика Щедрина уходила своими корнями в гораздо более глубокие народные толщи, чем критика дворянско-буржуазного либерализма.

Отрицание общественного строя в его целом связано с определенными классовыми тенденциями. Тот, кто остается в стане господствующих и эксплуатирующих, тот, кто не переходит более или менее сознательно на сторону эксплуатируемых низов, тот не может найти угла зрения для оценки первопричин общественного зла, тот остается на позиции реформистской критики отдельных недостатков.

Утопический социализм открыл Щедрина мир униженных и оскорбленных, мир, полярно противоположный среде, к которой он принадлежал по рождению. Когда русские писатели, под влиянием утопического социализма, обращали свои взоры на общественные низы, они охотней всего делали своим героем труженика-чиновника, придавленного высшей над ним социальной пирамидой. Так было и с Щедриным еще в 40-е годы, до вятской ссылки. Таковы в «Губернских очерках» Дернов из «Выгодной женитьбы» и в особенности чиновник-арестант из очерка «Первый шаг». Этот последний — подлинная жертва строя, основанного на неравенстве. Человек неразвитый, но одаренный положительными задатками, женившийся по прекрасному человеколюбивому движению сердца, из жалости, на непомерно бедной девушке из чиновничьей же семьи, он неумело попытался взять взятку, чтобы спасти от голода семью, — и попался. «Это, ваше высокоблагородие, даже не всякому понять возможно, как это ничего-таки есть в доме нет, а между тем это истинная правда», — просто и в то

же время трагически объясняет он, «Первый шаг» — один из сильнейших очерков книги.

Однако оппозиция к строю неравенства, опирающаяся на сочувствие к мелкому обездоленному чиновничеству, не могла быть слишком прочной. Из этой струи, в дальнейшем неизбежно выходящей в обычную филантропию, не могла бы развиваться вся последующая линия творчества Щедрина. Сочувствие Щедрина к общественным низам носило более определеннный характер. Это было сочувствие пусть еще недостаточно зрелого, но все же крестьянского демократа. Уже в этот период Щедрин издевается над либерально-филантропическим, ничем не обязывающим народолюбием.

«Я вообще чрезвычайно люблю наш прекрасный народ и с уважением смотрю на свежие и благодушные типы, которыми кишит народная толпа, — пишет он в «Губ. очерках». — Конечно, мы с вами, мсье Буеракин, или с вами, мсье Озорник, слишком хорошо образованны, чтобы приходить в непосредственное соприкосновение с этими мужиками, от которых пахнет печеным хлебом или кислыми овчинами, но издали поглядеть на этих загорелых, коренастых чудачков мы готовы с удовольствием. Я даже с гордостью сознаюсь, что, когда на театре автор выводит на первый план русского мужичка и рекомендует ему отхватать вприсядку, или же, собрав на сцену достаточное число опрятно одетых девиц в телогреях, заставляет их оглашать воздух русской песней, я чувствую, что в сердце моем делается внезапный прилив, а глаза застилаются туманом, хотя конечно в «Камаринской» нет ничего унылого».

«Grand dieu, — говорю я себе, выходя из театра: — как мы, однакож, выросли, как возмужали. Давно ли русский мужичок, *set ours mal leché*, являлся на театральный помост затем только, чтоб сказать слово: «кормилец», «шея лебединая, брови соболиныя», чтобы прокричать заветную фразу в роде «идем!» «бежим!» или же отплясать где-то у воды полуиспанский танец — и вот теперь он, как ни в чем не бывало семенит ногами и кувыркается на самой

авансцене и оглашает воздух неистовыми криками своей песни. Grand dieu, как мы выросли».

Народолобие Щедрина иного порядка. Противопоставление народа господствующим классам, оценка действительности с точки зрения народных низов, с точки зрения крестьянства носит уже и в «Губернских очерках» достаточно ясно выраженный характер. «Губернские очерки» пронизывает сознательная антитеза крестьянства и дворянско-чиновничье-купеческих кругов. Эта антитеза начинается с первых страниц «Очерков». Уже во введении Щедрин противопоставляет крутогорскому «обществу», его чиновникам и негоциантам, его гостиным городские улицы, базар, загорелые лица и говор крестьянской толпы. Раздел, в котором Щедрин по преимуществу описывает народ, — «Богомольцы, странники и проезжие», — начинается и заканчивается противопоставлением сытым, праздным, изнеженным, грязным и пошлым верхам Крутогорска бедного, нищего, но нравственно чистого трудящегося люда. Щедрин не удовлетворяется созданием контрастной рамки, в которой положительные качества народной массы выступают более выгодно освещенными. Он самый рассказ, внутреннюю ткань очерка постоянно оттеняет сравнением сочувственно изображенного народа с пошло-самодовольной крутогорской аристократией и вообще крутогорским имущим обществом. При этом Щедрин весьма явственно показывает, как складываются реальные взаимоотношения отрицательно-изображенного «общества» с сочувственно рисуемым народом. «Ты, мужик, чего тут стал! разве здесь твое место?» — кричит во время народного праздника частный пристав Рогуля, расчищая место генеральше Голубовицкой и ее свите. Простодушный рассказ солдата Пименыча все время оттеняется иронически-глумливыми замечаниями писаря, вкусившего от благ «образованности». Пименыч такое отношение к себе со стороны верхов (к которым он относит и писаря) считает вполне «естественным». Кончив свой рассказ, — повествует автор, — «Пименыч пристально посмотрел мне в лицо, как будто хотел

подметить в нем признаки того глумления, которое он считал непременно принадлежностью «благородного господина». «Но этого глумления не было» — рассказывает Щедрин, рисуя свое необычное отношение к народу.

Очерки Щедрина и носят сатирический характер только по отношению к господствующим; по отношению же к народу они, наоборот, являются идеализирующими, даже сентиментально-идеализирующими.

Сентиментальный оттенок очерков Щедрина, посвященных народу, создается жалостью к «нужам», к страданиям, болям и горестям народным. Эта жалость сентиментальна, ибо она не достигает энергической силы, переходящей в призыв к борьбе, для устранения причин, вызывающих народные страдания. Народная покорность, безответственность не возмущают, а умиляют Щедрина в «Губернских очерках», вызывают в нем не революционное, а филантропическое настроение. Само изложение приобретает в этих случаях у него какой-то смиренный тон. Он прибегает к уменьшительным суффиксам, к подражанию народному сказу, к сентиментально-скорбному речитативу. Щедрин в этот период еще идеализирует внутренние отношения в среде народа, придавая им несколько слащавый характер. Особенно умиленно рисует Щедрин религиозность крестьян, видя в ней проявление непосредственности и неспорченности, давно потерянных господствующими классами. Прислушиваясь к говору богомольцев, Щедрин замечает: «Я сам начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимого стремления к душевному подвигу, которое так просто и так естественно объясняется всеми жизненными обстоятельствами, оцепляющими незатейливое существование простого человека. На меня веет неведомою свежестью и благоуханием, когда до слуха моего долетает все то же тоскливое голошение убогих нищих».

Незаметно для себя самого Щедрин начинает идеализировать «нужу», страдания народа, как момент, неразрывно связанный с его душевной чистотой. «Так ведь душевное дело нужой-то еще

больше красится» — говорит отставной солдат Пименов, и Щедрина всем ходом очерка подтверждает эту реплику.

Неприятно-слащавое отношение Щедрина к народу является результатом его кратковременного увлечения славянофильством. Демократ Щедрина далеко не сразу и не до конца принял программу подлинных выразителей интересов крестьянской демократии в России — Чернышевского и Добролюбова. Он вырабатывал свои взгляды медленно и с оглядкой, тщательно и неспеша, взвешивая на весах своего разума все возможности и все факты окружающей его жизни. В этом медлительном движении вперед ему показалась на момент наиболее народолюбивой и наиболее реальной программой славянофилов.

«Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов, — писал Щедрина профессору Павлову 23/VIII 1857 г., — и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления». Известно также, что весь раздел книги «Богомольцы, странники и проезжие» был первоначально посвящен автором С. Т. Аксакову.

И все же, несмотря на несомненность кратковременного увлечения Щедрина славянофильством, он никогда не переходил на сторону славянофилов. Увлечение славянофильством со стороны Щедрина шло из того самого источника, из какого вытекали некоторые надежды Чернышевского на возможность привлечения кое-кого из славянофилов в демократический лагерь.

Идеализация народного смирения славянофилами имела целью сохранение крепостнических отношений, у Щедрина же она была следствием политически еще не достаточно зрелого, но все же несомненного стремления к изменению существующего строя в интересах обездоленного народа. Славянофилы, стремясь к сохранению иерархического и сословного порядка, выступали против пробуждения самостоятельности в личности; Щедрина же в «Губернских очерках» говорит о «жгучем чувстве личности», как о начале, противостоящем сложившемуся традиционному крепостническому порядку. Известно, что проблема личности была

в русской публицистике разработана не славянофилами конечно, а Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым и имела глубоко прогрессивное значение. Славянофилы говорили о народе в оптимистически-мажорном тоне, считая, что он находится в положении, не нуждающемся в улучшениях. Щедрина писал о народе в жалостливо-пессимистических тонах, с горечью и болью рисуя его невыносимо тяжелые страдания. Славянофилы принимали мистико-религиозные верования забитого и невежественного крестьянства всерьез, они сами выступали в роли пропагандистов православной ортодоксии. Щедрина не глумился над религиозными верованиями народа, он умиляется перед духовной чистотой, проявляемой народом в религии, но он сам вовсе не разделяет этих верований, он даже пытается их материалистически объяснить. Религиозная экзальтация Аринушки есть результат ее невозможного положения, — голодная, раздетая, выгнанная на улицу, она на пороге смерти бредит райскими видениями горнего Ерусалима.

«Вдруг она, знаешь, заговорила, — рассказывает крестьянин, приютивший больную Аринушку, — да так-то внятно, словно совсем у ней отлегло.

— А что, говорит, до Ерусалима-града да едечка отсель будет?

— Что ты! Христос с тобой, тетенька. Какой такой Ерусалим-град, мы и не слыхивали.

— А Ерусалим — град Христов, — говорит: — мне сегодня повечеру беспрерывно поспеть туда надоть.

И опять на печке растянута и обеспамятела. Губы-то у ней шевелятся, а чего она ими бормочет, не сообразишь. То Ерусалим опять называет, то управительшу поминает, то «Христа ради!» закричит, и так, братец ты мой, жалостно, что у меня с бабой ровно под сердце что подступило».

Нам неприятна поэтизация Щедриным народной убогости, религиозности, покорности, незлобивости. Не эти стороны книги обеспечили ей успех в демократической части русского общества. Но все же необходимо понять их происхождение и их значение. Эти черты «Гу-

бернских очерков» объясняются неподдельным сочувствием автора тяжелому положению народа. Они продиктованы подлинной демократической любовью к поработанному народу. Щедрин любил и русского мужика, и незатейливую сеньскую природу, в обстановке которой протекал крестьянский труд. Но в то же время Щедрин не верил в революционные силы народа. Создавая «Губернские очерки», он ни разу не подумал о том, что для ликвидации многочисленных народных «нуж» надо искать в народе не смиренность, а революционного протеста. С тогдашних политических позиций Щедрина не была видна и полная правда о народе. Щедрин, человек большого и трезвого ума, в «Губернских очерках» сделал то, чего он впоследствии уже ни разу не повторит во всей своей дальнейшей литературной деятельности. Он записал в качестве черт, характеризующих народ, не то, что он видел своими глазами, а что было подсказано ему сентиментально-славянофильским отношением к народу. В качестве черт, характеризующих народ, он записал только «непрекословность», незлобивость, смирение, терпение, покорность. Слов нет, многовековое рабство принизило облик русского крестьянина. Но в шестидесятые годы в русском крестьянстве уже начали сказываться и проблески непокорства, проблески революционного недовольства своим положением. Мужик начинал бунтовать. Правдивое изображение крестьянства накануне отмены крепостного права не могло не отразить вызревания пусть еще слабого, но все же несомненного крестьянского революционного протеста. Сама реформа 19 февраля была в значительной степени вызвана страхом перед перспективой крестьянской революции. Реалистическое изображение жизни русского крестьянства подкажало бы Щедрина и другой выбор персонажей: он вывел бы не бедных странников и арестантов, воспринимаемых тоже как несчастенькие, а крестьян в их труде, в их отношениях к помещику и к власти. Потенциальная революционная сила крестьянства таилась не в среде убогих и юродивых, а в среде крестьян, занятых эко-

номическим производительным трудом, поставленным в рабские условия.

«Губернские очерки» сыграли большую самостоятельную роль, но эта книга во многом еще переходная для Щедрина. Она — этап на длинном и трудном пути развития великого сатирика. «Губернские очерки» свидетельствуют уже о переходе Щедрина на сторону крестьянской демократии, но в то же время на них лежат следы мучительного процесса отрыва его от той классовой среды, к которой он принадлежал по рождению, по службе, в них видны следы колебаний и ошибок автора на новом пути, Щедрин уехал в Вятку под господствующим впечатлением идеалов кружка петрашевцев. «Помню я, — вспоминает он в «Губернских очерках», — и долгие зимние вечера, и наши дружеские, скромные беседы, заходившие далеко за полночь. Как легко жилось в это время, какая глубокая вера в будущее, какое единодушное надежд и мысли оживляло всех нас! Помню я и тебя, многолюбивый и незабвенный друг и учитель наш. Где ты теперь? Какая железная рука сковала твои уста, из которых лились на нас слова любви и упования?» Зарядка, полученная Салтыковым в кружке Петрашевского, была достаточно велика. Неожиданная осылка потрясла Щедрина, но не обескуражила его совсем. Он приехал в Крутогорск — Вятку с неостывшим сочувствием к народу, с намерением не просто тянуть ляжку чиновника, а послужить общему делу, принести пользу своему народу.

Горько и дико показалось юноше в провинциальной глуши, в пошлом обществе, спавшем беспробудным сном, лишенном каких бы то ни было идеальных побуждений. Он был со своими идеалами один. Не с кем поделиться живым словом, нет людей, с которыми не то чтобы бороться вместе, а помечтать о лучшем будущем можно было бы. «Вокруг меня мгла и туман, — вспоминал Щедрин, — Порфирий Петровичи, Яков Астафьевичи, Федоры Герасимовичи жадно протирают ко мне голодные руки и не дают мнедохнуть...»

«Где я, где я, Господи!» Это был вопль одиночества, вопль человека, по-

павшего в звериный вертеп. Острое чувство одиночества, испытанного Щедриным в Вятке, пропитывает всю книгу. Я один, как перст, в целом мире» — твердит он. «И мне действительно делается внезапно так грустно и горько, — снова повторяет он в другом месте, — что я чувствую, как слезы душат и дают меня... я как будто лишний на белом свете... я один, всегда один».

Одному не по силам не только бороться за осуществление идеала, одному трудно просто устоять перед засасывающей силой провинции, перед этим миром зловоний и болотных испарений, миром сплетен и жирных кулебяк. «О, провинция! — восклицает Щедрин. — Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать»...

«Да, жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию. Незаметно, мало-помалу, погружается он в тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имеет ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, сам бессознательно делается молчаливым поборником ее. А там подкрадется матушка-лень и так крепко сожмет в своих объятиях новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругом: ведь живут же добрые люди, и живут весело — ну и сам станешь жить весело.

И вот об'емлет автора чувство бессилия, чувство невозможности что-либо сделать, сознание бесплодности труда и энергии.

«Когда я ехал в Крутогорск, — рассказывает он, — то мне казалось, что и я должен на деле принести хоть частичку той пользы, которую каждый гражданин обязан положить на алтарь отечества. Думалось мне, что в самой случайности, бросившей меня в этот край, скрывается своего рода предопределение... Юношеские мечты, тщетные мечты, сколько в них, однако ж, свежести и чистоты, сколько жажды добра и истины.

Что же я сделал, какие подвиги совершил?

Я думал в кичливом самообольщении, что нет той силы, которая может сло-

жить энергию мысли, энергию воли. И вот оказывается, что какому-то неопрятному, далекому городку предоставлено совершить этот подвиг уничтожения. И так просто, почти без борьбы, потому что какая же может быть борьба с явлениями, заключающими в себе лишь чисто отрицательные качества.

А услужливый голос нашептывает: «Э, батюшка, нам с вами вдвоем всего на свой лад не переделать... выпьем-ка водочки, закусим селедочкой да сыграем пулечку в бостон: печаль, как рукой, снимает».

Все же, как ни горько было положение Щедрина, провинция уже не могла засосать его. Слишком глубоко пустили и в голову, и в сердце его корни новой идеальной действительности. Но от воспоминаний о кипении умов и мечтаний в кружке Петрашевского в обстановке крутогорского болота делалось еще горше, отчаяние овладевало Щедриным, нашептывая ему мысль о самоубийстве, как, может быть, о единственном достойном выходе.

«И отчего все эти воспоминания так ясно, так отчетливо воскресают передо мной, отчего сердцу делается от них жутко, а глаза покрываются какою-то пеленою? Ужели я еще недостаточно убил в себе всякое чувство жизни, что оно так назойливо напоминает о себе, и напоминает в такое именно время, когда одно представление о нем может поселить в сердце отчаяние, близкое к мысли о самоубийстве».

В этой смрадной атмосфере, в этом, казалось, безвыходном болоте даже то, от чего уже оттолкнулся Щедрин, начало вдруг мерцать мягким, успокаивающим и тоже обессиливающим светом. О детстве своем, об усадьбе, в которой он вырос и крепостническую изнанку которой он себе представлял слишком хорошо, он вспоминает еще не так, как впоследствии, в «Пошехонской старине», а с умиленным сердцем, с каким-то чувством резиньяции и успокоения:

«А потом фантазия незаметно переносит меня к далеким временам моего детства. Встают передо мной и сельский наш дом, и тополи в саду, и церковь на небольшом пригорке, и фруктовый сад,

о котором мы, дети, говорили не иначе, как «тот сад», потому, что он был разведен особняком от усадьбы, и потому, что нас пускали в него весьма редко. И как тихо становилось во всем доме по субботам, после всенощной, когда священник, окропив святою водою все комнаты и дав всем нам благословение, уходил домой. Говор и шум умолкали и в девичьей, и в детской, и везде, где в течение дня было так суетливо и людно; все как будто сосредоточивалось и углублялось в себя; все ждало грядущего празника...»

Трудно человеку оторваться от прошлого, когда оно, даже начав гнить, все еще окружает его плотной стеной, когда путь отрыва надо пройти в одиночку, когда лучшее будущее неверно и смутно. Вот кончилась ссылка, началось оживление шестидесятих годов. Щедрин получает возможность вернуться в Петербург, к той полной жизни, о которой он мечтал. Но освобождение пришло в Крутогорск извне, никаких самостоятельных сил, способных совершить переворот, в самом Крутогорске тогда еще не обнаружилось.

В столицах шум, гремят витин,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, —
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...

Что же удивительного, что будущее казалось Щедрину смутным и неверным, что чувство перемены перемешивалось у него с сожалением о напрасно прожитых лучших годах, что будущее не казалось ему радужным: «Что ждет меня впереди: новые борьбы, новые хлопоты, новые искательства, а я так устал уж, так разбит жизнью, как разбита почтовая лошадь ежечасною ездой по каменистой твердой дороге».

Совершенно понятно поэтому, почему Щедрин, приехавший после семилетней ссылки в Петербург, привезший с собой знание об отсутствии активных революционных сил в провинции, теоретически стоявший, как и социалисты-утописты, на точке зрения сотрудничества

классов, не мог разделять тактической программы Чернышевского — Добролюбова. Политически между Щедриным и Чернышевским было огромное расхождение: первый не разделялся еще с либеральными иллюзиями, первый верил еще в реформаторскую деятельность царя, второй со своими сторонниками — весьма, правда, немалочисленными — последовательно и решительно стал на путь революции. Но в смысле классовой принадлежности Щедрин и Чернышевский оба стояли уже в лагере крестьянской демократии, хотя несомненно, что Щедрин выражал значительно более отсталые политические настроения крестьянской демократии, чем Чернышевский. Зато принадлежность Щедрина к лагерю крестьянской демократии делало безнадежными попытки либералов завоевать его на свою сторону, а для него самого открывало самые благоприятные перспективы для развития его сатирического таланта. Сила сатиры Щедрина состояла в ее беспощадности, а подлинно беспощадной могла быть только оценка российской самодержавно-крепостнической действительности с точки зрения угнетенных и эксплуатируемых масс.

Классовой позицией Щедрина и его сохранившимися еще политическими предрассудками вполне объясняются очерки, посвященные лишним людям, — «Талантливые натуры». Большинство современной Щедрину критики видело в Корепанове, Лузгине и Буеракине вариант тургеневских лишних людей. Мнение это было ошибочно. Талантливые натуры Щедрина коренным образом отличаются от лишних людей Тургенева. Если их можно сопоставить с последними, то только полемически. Уже одно то, что Щедрин поместил «бельома» Горехвастова, шулера, живавшего на содержании у пожилых купчих, в разряд талантливых натур, свидетельствует об ином классовом отношении его к типу лишнего человека по сравнению с Тургеневым.

Тургенев критиковал лишних людей справа, не за расхождение слова и дела, а за оппозицию к помещичьему укладу жизни, за расшатыванье его. В «Рудине» истинное отношение Тургенева к своему герою несколько завуалировано,

но все же легко обнаруживается при внимательном чтении. Прототипом Рудина был Бакунин, но революционный лагерь видел в Рудине не портрет, а карикатуру на Бакунина; «как будто лев годится для карикатуры» — добавлял при этом Чернышевский. Еще явственней трактовка Тургеневым типа лишних людей выступает в «Дворянском гнезде». Лаврецкий — лишний человек не потому, что он протестует против взрастившей его среды, не переходя от слов к революционному делу. Он — лишний человек в том смысле, что ряд обстоятельств личной жизни расшатал его связи с дворянской средой, превратили его в одиночку-несчастливца. Тургенев во все не желает подсказать читателю необходимость превращения личного разлада Лаврецкого в сознательный революционный протест. Наоборот, его мораль — мораль смирения и покорности перед законами старого дворянского быта. «Дворянское гнездо» дает либеральное и опозитизированное выражение формулы самодержавно-крепостнической Руси. Если в официальном выражении она звучала как самодержавие, православие и народность (понимаемая в смысле крепостного права), то в романе она звучала смягченно, как патриотизм, бог и народ (оставляемый перед гнетом крепостнических пережитков и после «освобождения»), причем как на самое необходимое для народа указывалось на «утешение, церкви». Тургенев обеими ногами стоял в дворянском лагере. Не даром впоследствии Щедрин сделал печального тургеневского героя Лаврецкого ближайшим приспешником помпадур Феди Кротикова.

Щедрин же осуждает лишних людей, как представителей бездельного поколения сороковых годов, как полужнаек, дилетантов, палец о палец не ударивших для того, чтобы изменить общественно-политический строй, несправедливость которого они отрицать уже не могли. У губернского Печорина, Корепанова, недовольство средой есть только поза, облагороженная форма той же губернской сплетни. По существу — он лежебока, который не желает изменить сложившихся крутогорских порядков, в ко-

торых ему живется спокойно и не плохо. «Я, милостивый государь, — заявляет он о себе, — человек не простой; я хочу, чтоб не я пришел к занятию, а оно меня нашло; я не люблю корпеть над книжкой и клевать по крупнице, но не прочь был бы, если б нашелся человек, который бы знание влил мне в голову ковшом, и сделался бы я после того мудр, как Минерва...»

Другая талантливая натура — Лузгин. В молодости он кипел и горел, читал Белинского, спорил об исполнении Мочаловым роли Гамлета, клялся идеалами добра и искусства, а попозже женился, зажил у себя в имении бездельным трутнем, пил, жрал, лгал и хвастал, лицемерно утешая себя тем, что «и теперь жару еще пропасть осталось, только некуда его девать... сфера-то у нас узка, разгуляться негде...» Лузгин, вспоминая свою молодость, вспоминая тех, «кто в наши молодые души семя добра заронил», не забывает попросить направить дело об аренде казенной мельницы таким образом, чтобы она в обход закону, мошенническим образом, досталась «своему человечку».

Наиболее ярко изображен Щедриным тип идеалиста-сорокадесятника в лице Владимира Константиновича Буеракина. Буеракин был сын богатого помещика, скептика и вольтерьянца, для которого однако убеждения были родом забавы, а не руководящим началом в практической жизни. Разлад между словесно исповедуемыми убеждениями и жизненной практикой еще обострился, выявился рельефней в сыне.

«С одной стороны, — характеризует Буеракина Щедрин, — не подлежало сомнению, что в душе его укоренились те общие и несколько темные начала, которые заставляют человека с уважением смотреть на всякий подвиг добра и истины, на всякое стремление к общему благу. Но, с другой стороны, рядом с этими убеждениями воспиталось в нем и другое чувство — чувство исключительности, заставлявшее его думать, что цивилизация, со всеми ее благами и плодотворными последствиями, может принадлежать в полную собственность лишь ему и другим Буеракиным. Поэтому, если

он и ладил со школьною молодежью, которая по обыкновению густою толпой окружала благовидного и богатого барича, то тайные, живые его симпатии стремились совсем не к ней, а к господам Буеракиным, которые близки были его сердцу и по воспитанию, и по тем стремлениям к обще-буеракинскому обновлению, которое они считали необходимым для поправления буеракинских обстоятельств. В сущности, Владимир Константинович был весьма близко к своему папѣ, по пословице: «От свиньи не родятся бобренки, а все поросенки». В нем обретался тот же диллетантизм, то же бессилие к чему-нибудь определенному и положительному; только формы были несколько мягче и общедоступнее».

Живя помещичьей жизнью, тунеядствуя и эксплуатируя крестьян, Буеракин, усвоивший клочки идеалистической философии, возводил свой образ жизни в принцип, презирал действительность, иронизировал над практической деятельностью («Вы — люди практические и, следовательно, ограниченные. Вам бы вот только блоху поймать, да и сжечь ее на свечке») и относил себя к людям мысли: «Ну, а мы, — люди мысли, люди высших взглядов и общих соображений, — мы смотрим на это дело иначе: нас занимают мировые задачи... так-то-с».

Нужды нет, что мировые проблемы, которые разрешал в созерцательно-диалектическом усердии Буеракин, ни на волос не отличались от умствований гоголевского Кифы Мокиевича: «Оттепель, — рассуждает Буеракин, — возрождение природы; оттепель же — обновление всех навозных куч». И конечно у этого идеалиста, жившего идеями не от мира сего, секли крепостных на конюшне с тем же зверским усердием, с каким это делалось на конюшнях его менее образованных и идеалистически настроенных соседей. Если он еще конфузится несколько обнаруженной его крепостнической сути перед образованным гостем, то истинная причина его беспокойства — чисто помещичья. «Того и гляди, полиция пронюхает — ну, и опять расход... Ах, ты, господи».

Разное отношение Щедрина и Тургенева к лишним людям либералы втайне

и сами понимали. Несмотря на все похвалы «Губернским очеркам», их кололо и раздражало злое перо Щедрина. Они ему предпочитали акварельную кисть Тургенева — не за художественную манеру конечно, а за разное отношение к русской действительности. Никитенко, ознакомившись с ненапечатанным еще «Дворянским гнездом» Тургенева, записал у себя в дневнике: «Был у И. С. Тургенева. Он написал новый роман совершенно в художественном направлении. Вот это хорошо. Пора перестать делать из литературы только деловые записки о казусных происшествиях (намек на «Губернские очерки». — В. К.) и считать ее исключительно исправительным бичом»¹⁾.

Щедрин взглянул на так называемых идеалистов сороковых годов с точки зрения крестьянской демократии. Это позволило ему вскрыть классовую и политическую природу «лишних людей». Дело расходилось со словом у «лишних людей» не вследствие каких-нибудь психологических особенностей их характера, не вследствие нравственных дефектов в их облике. «Лишние люди», все эти Буеракины, Лузины и Корепановы, Лаврецы и Рудины, были помещиками, и как помещики они не могли не быть заинтересованными в сохранении своих помещичьих привилегий. Политически это делало их либералами, т.-е., по особенностям русской истории, разновидностью того же крепостнического лагеря. Классовые позиции Щедрина дали ему возможность дать оценку русскому помещичьему идеализму и либерализму, аналогичную той, которую дал им Добролюбов в своей статье об «Обломове».

Есть однако и весьма существенная разница между позицией Добролюбова и Щедрина. Добролюбов противопоставлял помещичьей бездельной фразе программу революционного действия, Щедрин — программу честной и нелицеприятной практики неревolutionного порядка. «В жизни требуется труд, — поучает Н. Щедрин Лузгина, — и она дает не то, чего от нее требуют каприз-

¹⁾ Никитенко. Записки и дневник, т. I, стр. 541.

ные дети, а только то, что берут у нее с бою люди мужественные и упорные». Буеракин практическое každодневное дело называет «ловлей блох». Н. Щедрин подымает перчатку: «Согласитесь, однако ж, — отвечает он, — что если бы все смотрели на это так же равнодушно, как вы смотрите; если бы никто не начинал, а все ограничивались только разговорцем, то куда же бы деваться от блох.

— Так вы серьезно верите в злодеев, верите в злоупотребления? — спросил он (Буеракин), останавливаясь передо мной.

— Как нельзя более серьезно.

— И думаете, что все эти действия, которые вы называете злодействами и злоупотреблениями, что вся эта галиматья, одним словом, проникнута какою-нибудь идеей, что к ней можно применить принцип «вменения»?

— Да.

И Н. Щедрин дает урок практического дела, проникнутого идеей, отказываясь порадеть «своему человечку», отказываясь устроить приятелю аренду мельницы на мошеннических условиях. Справедливость требует отметить, что в «Губернских очерках» есть и потаенная нота сомнения, не окажется ли программа практического дела, сведенного к изловлению злоупотребляющих станковых и замене их честными служаками, только донкихотством, но все же несомненно, что Щедрин в «Губернских очерках» еще доверял реформаторской деятельности правительства Александра II и полагал возможным обновить Россию практическим делом в рамках законной деятельности.

Впрочем, в общественном мнении эта сторона взглядов Щедрина в «Губернских очерках» осталась почти незамеченной. Огромное впечатление, произведенное книгой, было вызвано ее разоблачительной и сатирической стороной, ее демократической направленностью, а не нашедшими в ней место либеральными иллюзиями.

Для того, чтобы исчерпать содержание «Губернских очерков», необходимо еще хотя бы вкратце остановиться на очерках, посвященных расколу и раскольникам. Таких очерков два — «Старец» и «Мавра Кузьмовна». Отсутствие поли-

тических революционных убеждений избавило Щедрина от идеализации раскола и раскольников, свойственной революционерам-народникам, в частности бакунистам. Идеалистический взгляд на историю, неумение определить движущие силы революции, ставка на произвол и случайность вызывали во многих народнических кругах необоснованные надежды на раскол, как на источник прогрессивной оппозиции официальному государству, даже как на силу предстоящего революционного восстания. Нечего и доказывать сегодня, что эти надежды были тщетны, что они проистекали от неправомерной идеализации реакционного движения. Щедрин трезво смотрел на раскол, он сумел довольно правильно разглядеть и его суть, и его внутренние взаимоотношения, сумел увидеть, что в среде раскольников господствовала кучка по-азиатски свирепых и беспощадных эксплуататоров.

Щедрин знал, что есть теория, рассматривающая раскол, как «земство», как демократическое начало, противопоставленное официально-государственному, но он не придавал ей значения. Он считал, что раскольники, искренно преданные вере, или исчезли, или исчезают. В современном ему расколе он видел систему эксплуатации, сопряженную с многочисленными жестокими преступлениями и развратом, да схоластическое бездушное изуверство.

Очерки о раскольниках написаны без всякого сочувствия, с каким Щедрин пишет о народе вообще. Мало того, в них видны следы оправдания служебной практики Щедрина, в круг обязанностей которого входили и розыск по делам о раскольниках. В них видно даже увлечение следователя трудной задачей розыска. «Время, предшествующее началу следствия, — сказано в очерке «Мавра Кузьмовна», — самое тягостное для следователя. Если план следствия хорошо составлен, вопросы обдуманы, то нетерпение следователя растет, можно сказать, с каждой минутой. Все мыслящие силы его до такой степени поглощены предметом следствия, что самая малейшая помеха выводит его из себя и заставляет горячиться и делать ты-

саячу промахов в то самое время, когда всего нужнее хладнокровие и расчет.

Это не значит, что Щедрин закрывал глаза на неслыханный произвол властей по отношению к раскольникам. Щедрин приводит не мало случаев такого произвола. Но рассказы Щедрина, посвященные раскольникам, все же свидетельствуют о недостаточной политической зрелости автора в момент написания им «Губернских очерков». Для революционного демократа центр тяжести лежал в разоблачении царизма, преследовавшего раскольников, отказывавшего им в элементарном праве свободы вероисповедания. Положение раскольников было лишь частной модификацией положения всего русского народа в условиях абсолютистского режима. Вовсе не нужно было идеализировать раскол и закрывать глаза на его недостатки, чтобы понять это. В первых же двух изданиях «Губернских очерков» перевес был на стороне разоблачения изуверства и преступлений раскольников, а не произвола правительства. В третьем издании «Очерков» Щедрин устранил наиболее одиозные места, но все же и в окончательном тексте главы, посвященные раскольникам, носят оттенок объективизма дурного тона. Только в повести «Такое пристанище», написанной позже (правда, так и оставшейся неизданной при жизни автора), Щедрин правильно распределил свет и тени при изображении раскола. Нисколько не изменив своего трезвого, лишенного всякой степени идеализации, взгляда на раскол, он сумел показать, что главным злом, с которым нужно было бороться в шестидесятые годы, были не недостатки раскольников, а тиранический абсолютистский режим.

Очерки о расколе лишены раз свидетельствуют о том, что «Губернские очерки» еще во многом были переходной книгой для Салтыкова-Щедрина. В основном его социальное лицо уже определилось, голос его прозвучал, как голос крестьянской демократии, но книга свидетельствовала и о том, что в позиции Щедрина было много неясного, не установившегося до конца. В шестидесятые годы, в обстановке политического кризиса, люди вызревали быстро, но бы-

стрый темп политического развития в условиях, когда не было массовых оформленных политических партий, всегда оставлял за собой известную незрелость убеждений. Так было например с Писаревым. Щедрин, вообще-то говоря, эволюционизировал медленно, но и для него переход от семилетнего пребывания в вятском захолустье к «петербургской весне» начала александровского царствования был резок. В новой обстановке он не растерялся, не впал в обычное либеральное словословие, он занял позицию в лагере демократии, но в то же время он сохранил за собой и много предрассудков, в том числе и либерального характера.

Неустановившийся окончательно характер общественной позиции Щедрина сказался и на художественной стороне «Губернских очерков». В «Губернских очерках» уже определилось, что сатира является самой сильной стороной его таланта. Но «Губернские очерки» вовсе не являются целиком сатирическим произведением. В них есть, кроме сатирических очерков, и очерки сентиментально-народолюбивые, в которых Щедрин не разоблачает, а, наоборот, любовно описывает такие стороны народной жизни, которые впоследствии также станут объектом его сатирического негодования. Таковы например народная незлобивость и покорность перед лицом начальства. Есть очерки, в которых превалирует над сатирическим элементом объективистское изложение факта. Таковы очерки, посвященные описанию раскольников. Есть очерки, построенные на описании интимно-лирического состояния автора, созданные несомненно под влиянием лирических страниц «Мертвых душ» («Скука», «Христос воскрес»). Самый сатирический метод автора еще не выработан. Он и в «Губернских очерках» уже далеко не является просто описательным методом. Как уже было показано выше, у Щедрина уже и тогда мы имеем дело не с простым констатированием отрицательного явления, а с целой концепцией, объясняющей его происхождение. Но все же Щедрин в «Губернских очерках» больше прибегает к отбору отрицательных

явлений (например в «Прошлых временах»), чем к усилению явления, к раскрытию его внутренней сущности и обнаружению его в вымышленных, нелепых, но правдоподобных, а потому вполне реальных эпизодах. В «Помпадурках и помпадуршах» Щедрин уже вполне выработал и осознал характер своего сатирического метода. Он пишет там:

«Литературному исследованию подлежат не только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает. Развяжите человеку руки, дайте ему свободу высказать всю свою мысль — и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условностями, с необычайною яркостью вызовет наружу свойства, остававшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит на задний план то, что, на поверхностный взгляд, составляло главное определение человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той другой действительности, которая любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению».

В «Губернских очерках» есть уже зародыш такого сатирического метода (см. например очерк «Хрептюгин и его семейство»), но он еще не выработан до конца. В «Губернских очерках» Щедрин только начал вырабатывать генерализующий, обобщающий характер своего стиля, он в обобщениях еще слишком часто связан, а потому и ограничен данным эмпирическим материалом. Поэтому-то многие герои его в «Губернских очерках» так портретны. Прототипом Фейера был городничий Мейер. Последний даже знал, что он описан в «Губернских очерках», и был этим обстоятельством весьма доволен¹⁾.

¹⁾ См. биографию Щедрина, написанную Кривенко, стр. 26.

Язык Щедрина еще также не выработан. Он еще не так точен и гибок в определениях, как впоследствии, еще не выработана его генерализующая сила, он подчас грубоват и тяжел. Чернышевский в своей первой рецензии на очерки цикла, только что появившиеся в «Русском вестнике» («Заметки о журналах», сентябрь 1856 года¹⁾) просто уклоняется от рассмотрения их художественных достоинств, рассматривая «Губернские очерки», как род мемуаров: «Мы смотрим на эти рассказы, как на отрывки из мемуаров, — так, вероятно, смотрит на них и сам автор. Ни ему, ни нам нет никакого дела до требований, каким могут подлежать рассказы о приключениях, о лицах, создаваемых фантазией. В литературном отношении у нас только одно условие относительно мемуаров: чтобы они были написаны недурно, — не более. совершенств и красот мы в них не ищем, — напротив, эти красоты иногда только мешают существенному достоинству мемуаров — точной правдивости рассказа. «Губернские очерки» г. Щедрина совершенно удовлетворяют этому условию: никто не скажет, что рассказ автора не хорош. Большого публика и не потребует. Мы не имели еще случая слышать, какой успех имеют в публике «Губернские очерки», но вперед можно быть уверенным, что успех этот не уступит успеху «Семейной хроники».

Чернышевский отнесся слишком строго к художественной стороне начавших печататься очерков Щедрина. Мало того, в его отзыве было и противоречие. Составление «Очерков» с «Семейной хроникой» С. Т. Аксакова содержат в себе похвалу художественным достоинствам «Очерков». Верно однако, что в «Губернских очерках» талант Щедрина еще не успел развернуться.

Но в то же время в «Губернских очерках» видно неистощимое в своей творческой силе дарование. Чернышевский подсчитал количество персонажей нашумевшей книги Щедрина — и насчитал их больше двухсот. При этом уже в «Губернских очерках» видны основные качества таланта Щедрина —

¹⁾ Чернышевский, собр. соч., т. II, стр. 604.

глубокая идейность его сатирических разоблачений, обобщающее значение его образов и наполненность их конкретным материалом, взятым из действительности. Щедрин был сатириком-реалистом, выступавшим на стороне поработанного народа против его поработителей. Лагерь демократической крестьянской революции справедливо зачислил его книгу в свой актив. «Все отрицание г. Щедрина, — писал Добролюбов, — относится к ничтожному меньшинству нашего народа, которое будет все ничтожнее с распространением народной образованности. В массе народа имя г. Щедрина, когда оно делается там известным, будет всегда произносимо с уважением и благодарностью: он любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых или неверно направленных, инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках. Их-то защищает он от разного рода талантливых натур и бесталанных скромников, к ним-то относится он без всякого отрицания». В книге Щедрина Добролюбов видел доказательство близости народной рево-

люции, надежду на то, что народ в своей революционной борьбе будет последователен до конца. Народ, изображенный Щедриным, «это не то, что фразеры, о которых говорили мы в начале статьи, — заканчивал Добролюбов свою статью о «Губернских очерках». — Толками тех господ нечего увлекаться, на них нечего надеяться: их станет только на фразу, а внутри существа их господствует лень и апатия. Не такова эта живая, свежая масса: она не любит много говорить, не щеголяет своими страданиями и печалью и часто даже сама их не понимает хорошенько. Но уж зато, если поймет что-нибудь этот «мир», толковый и дельный, если скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться».

На народ можно надеяться — это значило в устах Добролюбова, что народ практически осуществит революционное преобразование России.

«Губернские очерки» Щедрина сыграли революционизирующую роль в классовой борьбе шестидесятых годов.

3. РИСУНКИ В. А. СЕРОВА 1)

Н. Соколова

Блестящий творческий отчет художника — выставка Серова в Государственной Третьяковской галерее — демонстрирует не только законченную продукцию мастера, но и пути предварительной работы над образами, его лабораторию, его учебу, его работу над собой. Прекрасные портреты двух девочек, освещенных солнцем, и поздние живописные работы Серова общеизвестны. Значительно меньше известен Серов-рисовальщик. Выставка, собрав воедино богатое наследие художника, раскрывает огромную культуру рисунка, упорные и характерные для Серова поиски лаконических и четких средств выражения.

¹ Эта работа в основном представляет собой извлечение автора из его монографии о Серове, печатающейся в издательстве Ленинградского союза советских художников.

Искания сжатой, ясной и выразительной речи объединялись у Серова с поисками большого стиля. Серов, вырвавшийся в эпоху угасания буржуазной культуры, нередко сбивался с большой дороги в сторону стилизаторства, как на первых порах, в борьбе за правдивое искусство, нередко сохранял черты непреодоленного эмпиризма. В этом трудном (в социальных условиях Серова) движении маяком художнику служили старые мастера, старые реалисты.

Радостные образы художников эпохи Возрождения влекли его неудержимо всю жизнь. Большой стиль искусства был его навязчивой идеей. И в малых видах искусства, в книжной иллюстрации, он стремился за пределы обычных узких рамок и единичных образов. Отдельные рисунки Серов объединял в

циклы, из случайного заказа на книжную иллюстрацию создавал декоративную эпопею, от станковых портретов рвался к монументальным декоративным фризам.

Рисунки Серова дают возможность на сравнительно ограниченном, легко обозримом, материале вскрыть характерные тенденции его творчества, подступы к созданию стиля и источники, питавшие художника в разные периоды его жизни. Создание большого стиля, создание классически ясного и выразительного художественного языка немислимо без большой и серьезной культуры рисунка. Поэтому проблема рисунка в наши дни приобретает исключительно важное значение.

Выделить рисунки Серова из всего комплекса его искусства в качестве особой художественной категории, имеющей самостоятельное значение, можно только условно. И в живописи Серова рисунок играет значительную, а во многих случаях прямо решающую, роль.

Это почти безоговорочно относится к парадным, официальным портретам Серова, где общая линейная концепция составляет самую суть произведения, и к портретам-гротеск и к поздним декоративно-стилизаторским опытам: панно «Ида Рубинштейн», по существу, является раскрашенным рисунком.

Даже в раннюю фазу творчества Серова, в его наиболее полноценных в цветовом отношении работах, и в его импрессионистических вещах, где совершенно естественно доминирование цветовых ощущений, передаваемых тонкими переливами цвета, линейные координаты в композиции и контурная линия в построении тела не устранились целиком. Они не только продолжают присутствовать, в той или иной мере организуя пространство и цветовую массу, они подчас даже конкурируют с теми импрессионистическими элементами, которые по праву должны были их уничтожить. Структура людей, предметов, линейная перспектива только вуалируются целой системой тонких свето-цветовых отношений («Мика Морозов», «Дети» и т. д.). Характерно также, что у Серова нет чисто импрессионистического пейзажа. Импрессионизм в пейзаже он себе позволяет при одном условии, — если

этот пейзаж является фоном для человека, детской группы, группы лошадей. Фигуры помещаются на первом плане, тем самым явственно выделяясь в смутных очертаниях природы. По большей части они сохраняют свою контурную линию, характер которой крайне разнообразен и в той или иной мере индивидуализован. Характерный, изощренный, плавный, витиеватый, слегка стилизованный, нарочито растрепанный, но по большей части строго организованный, замкнутый линейный узор составляет основное специфическое свойство серовских работ, резко отличающее его живопись от искусства его учителя, Репина, и от его товарища, К. Коровина, наиболее последовательного русского импрессиониста. Эта разница резко бросалась в глаза, ее подчеркивал и сам К. Коровин, вспоминая в некрологе Серову свою с ним коллективную работу¹⁾: «Серов писал Христа, я — озеро и все остальное. Выше всего Серов ставил в живописи рисунок и его особенно усердно добивался», «Я же больше увлекался колоритом», «Мы сочетали наши особенности».

И, чем более зрелым становился художник, чем более осознавал он сам свои искания, тем большее значение приобретал для него рисунок, тем более характерной, индивидуальной становилась его линия, компанующая картину в целом и в ее отдельных частях, пока в конце первого десятилетия XX века рисунок Серова не превратился в самодовлеющую ценность, способную самостоятельно раскрывать образ.

К у л ь т у р а л и н и и — такова по существу основная задача, владевшая Серовым во всех его творческих исканиях и в конце концов почти вытеснившая из его искусства проблему колорита. Непрестанно мечтавший о полнозвучной гамме Тициана, в последний год жизни Серов, по собственным словам, стал «подбираться» к Энгру и Рафаэлю.

Академическая школа, которую прошел Серов, сыграла очень значительную роль в формировании его творчества, хо-

¹⁾ Заказная картина для костромской церкви «Хождение по водам».

тя она далеко не была столь цельной, как например старая академия XVIII и первой трети XIX в. Глубокий перелом, который переживала русская художественная общественность после утраты передвижниками доминирующего значения, сказался на всех участках, где Серов получал свое художественное воспитание. Можно сказать, что тогда уже не было единой, цельной художественной системы, не раз'едаемой внутренними противоречиями. Серов вырос в среде мелко-буржуазной демократической художественной интеллигенции, пронизанной идеями либерального народничества. К этому присоединялось личное воздействие на Серова радикальных настроений Репина, В. В. Стасова, Антокольского.

Эта сумма художественно-идеологических воздействий была той первой ступенью, по которой поднимался Серов к осознанию своих собственных художественных задач, к завоеванию своего собственного места под солнцем. И впоследствии Серов — модернист и «свободный художник» — не раз в своей творческой практике переживал рецидивы воспитанных в нем демократических народнических настроений.

Первым учителем Серова, с которым он был тесно связан многие годы, был Репин. Точно по традиции старых мастеров, Репин поселил Серова у себя и учил его так, как учили его самого в академии, вырабатывая в нем четкость рисунка и формопонимания на гипсах, на картинах старых мастеров, которых Серов копировал в Эрмитаже, и на собственных работах, которые также служили ученику для копирования.

Годы ученичества Серова у Репина были решающими и для самого Репина. В нем окончательно укрепились те живописные искания, которые стали в противоречие с академической системой, еще борющейся в Репине 70-х годов. В период ученичества Серова у Репина Репин создает свой идейно-острый «Крестный ход в Курской губернии». Репинский стиль Серов усваивал именно по этой работе, о чем свидетельствует этюд горбуна, написанный Серовым. В своих воспоминаниях Репин рассказы-

вает об уроках живописи, которые он давал Серову: «Днем, в часы досуга, он [Серов] переписал все виды из окон моей квартиры... доводя до полной прелести свои маленькие холсты масляными красками. Кроме этих свободных работ, я ставил ему обязательные этюды... первый — поливной кувшин, калач и кусок черного хлеба на тарелке. Главным образом строго штудировался тон каждого предмета... Второй этюд изображает несколько предметов почти одного тона — крем: череп человека с различными оттенками кости... ятаган, рукоять которого оранжевой кости... И все эти предметы лежали на бурнусе шерстяной материи... который... близко подходит к цвету кости... Третий этюд... медный таз... на дне, в его блестящем палевом кругу... большая сочная ветка винограда... мой главный принцип в живописи: материя как таковая».

На выставке представлена среди многочисленных рисунков Серова сделанная в мастерской Репина гипсовая лошадка, 1879 г. Четырнадцатилетний ученик Репина обнаруживает очень серьезное отношение к точной формовке предмета и желание 'передать карандашом фактуру гипса. Он тщательно прорабатывает детали натуры, намечая легкой штриховкой мускулатуру лошади. Рисование с гипсов и у Репина, и в дальнейшем продолжало играть очень заметную роль в учебе Серова; будучи уже маститым художником и преподавателем двух высших училищ живописи, Серов придавал большое значение этой муштровке художника на гипсах.

К 1879 г. относится и сохранившаяся копия Серова с рембрандтовской старухи. Основная трудность таких копий, предлагавшихся Серову Репиным, заключалась в том, чтобы в карандаше суметь передать живописные светотеневые эффекты с оригиналов, писанных маслом. Ранние рисунки Серова сделаны частью в Абрамцеве — этой своеобразной «вольной» художественной академии, где роль российского Медичиса играл московский меценат Савва Мамонтов — колоритный представитель русской грюндерской буржуазии. В 90-х гг. абрамцевский худо-

жественный кружок был одним из крупных художественных центров нового искусства, новой художественно-идеологической системы — декоративного национал-романтизма Васнецова и Нестерова, импрессионизма К. Коровина, декоративного символизма Врубеля. В этой среде Репин и выросший под его влиянием молодой Серов стояли особняком и уже не в авангарде.

Можно сказать, что свои абрамцевские рисунки Серов, еще почти мальчик, делал в творческом соревновании с Репиным, Васнецовым, Е. Поленовой и др. Но в основном в них сохранилось влияние учителя. Абрамцевские рисунки — это по большей части зарисовки знакомых лиц, домашних животных. Преобладает интерес к предмету близкому, осязаемому, ограниченному в пространстве.

В начале 1880 года Серов едет с Репиным на свою производственную практику в Запорожье, где перед ним ставится новая задача — изучение и зарисовка человека в пейзаже, в открытой степи, освещенной солнцем, всадника — в движении.

Пятнадцать лет Серов поступает вольнослушателем на живописное отделение Академии художеств. Лет 20 назад Академия художеств, эта цитадель дворянского художественного мировоззрения, подверглась штурму разночинной демократической интеллигенции. Штурм был отбит, но цельность Академии была нарушена. В нее просочились реалистические тенденции, «низкие» жанры. Однако и в 1880 г., когда Серов был принят в класс живописи, учебная система Академии была только расшатана, в ней явно обозначились внутренние противоречия, но старые принципы уничтожены не были. В 1881 г. на большую золотую медаль по исторической живописи стояла тема «Св. Сергей благословляет Дмитрия Донского и отпускает с ним на битву двух иноков»; на малую золотую медаль: «Вулкан приковывает Прометея к скале Кавказа». В этом году сам Серов компоновал эскиз для классной работы на тему: «Обручение Марии с Иосифом», подражая рисункам академика Бруни. В 1883 г., в 400-летие со дня

рождения Рафаэля, в Академии было проведено торжественное чествование, возрождавшее интерес к классическому искусству. В следующие учебные годы Серова в тематических планах Академии пестрят те же Вулканы, Гекторы, св. Михаила Черниговские: карамзинская героиня сочетается с античной мифологией. Серов компанует рисунок «Нарцисс, влюбленный в свое изображение в источнике» и «Одиссей у циклопа» (эти рисунки сейчас на выставке).

Индивидуалистическая буржуазная система мировоззрения, формировавшаяся в 90-х гг. в качестве господствующей системы, подтачивала все решительнее феодально-авторитарные устои Академии.

Преподавательский состав в Академии во времена Серова был далеко не блестящий. В подавляющем большинстве преобладали рядовые, приличные представители академической выучки, вроде В. П. Верещагина, Венига, фон-Бока и др. На этом фоне крупнейшими фигурами были Айвазовский, Якобий, Семирадский, К. Маковский. Ближайшим преподавателем Серова был П. Чистяков, постоянно затираемый академическим начальством и преподавательской аристократией рядовой академический живописец, но выдающийся педагог. Научный курс живописно-скульптурного отделения заключался в изучении трех основных предметов: истории искусств, анатомии и перспективы.

По вступительному научному экзамену в августе 1882 г. Серов перечисляется в академисты. Он проходит систематический курс по классу гипсовых голов, гипсовых фигур, натурному, натурно-живописному, классу композиции. Хотя и Чистяков, и Врубель отмечали выдающиеся качества Серова, он учился на средних номерах, постоянно опережаемый тем же Врубелем, а очень часто и теми академистами, которые впоследствии канули в неизвестность.

В 1885 г., удостоенный серебряной медали за этюд с натуры, Серов получает в подарок за историческую композицию — тот высокий жанр, который был особенно ценен старой Академией.

Это предпочтение живой природы перед традиционным жанром было одним из признаков протеста против стародворянской эстетики, который назревал совершенно явно уже в Серове-академисте.

В 1885 г., после пятилетнего пребывания в Академии, получив аттестат об окончании научного курса, в котором отмечены его «хорошие» успехи, Серов покидает ее, не выполнив последнего зачета по специальности.

Те художественные воздействия, которые испытывал Серов и о которых мы говорили выше, продолжали оказывать свое влияние и в эпоху пребывания Серова в Академии. Они резко противоречили академической программе. «Академия по старой памяти навевает какой-то холод», — писал Чистякову уже маститый Серов. Врубель, старший товарищ Серова по Академии, разбивал перед ним мечты о самостоятельной работе по образцу итальянских и парижских студий.

Репин рекомендовал своего ученика П. П. Чистякову, у которого Серов работал не только в учебное время, но и на дому. Чистяков и Серов очень ценили друг друга. «Да единственно Ваше мнение в Академии было для меня высоко и дорого», — писал впоследствии Серов своему профессору. И позже: «От души радуюсь Вашему желанию учить. Помню Вас как учителя и считаю Вас единственным (в России) истинным учителем вечных, неизблемых законов формы — чему только и можно учить... буду думать, что и ученики (достойные) поймут вас и оценят» (Архив Русского музея).

Чистяков подвергал своих учеников длительной и упорной работе над натурой. Ученики штудировали голову натурщика, фигуру натурщика, обнаженного натурщика, натурщика в костюме: практическое изучение анатомии и перспективы было положено во главу угла учебной системы Чистякова. «Высокое, серьезное искусство живописи, — говорил Чистяков, — без науки не может существовать. Наука в высшем проявлении ее переходит в искусство. Для высокой техники в живописи

главные и самые необходимые науки суть: анатомия и перспектива... чтобы изобразить фигуру человека верно, т.-е. как она есть, как существует, надо знать построение ее, составные части, надо знать, надо изучить анатомию. Но ведь всякое тело в натуре не есть плоскость только; ... из построения глаза и относительного расстояния предметов вытекает наука перспективы. Знать анатомию и перспективу еще не очень много значит. Надо... уметь смотреть на природу, ловко и вовремя применять на практике к делу. Этому можно научиться, делая опыты...». «Теперь перейду на практику. Беру для образца «Баяна» г-н Вельонского. Посмотрите пальцы на руках и ногах, возьмите скелет, и вы увидите, что у него не палочки, состоящие из одного сустава, в пальцы, действительно имеющие в совокупности 14 косточек. И все это исполнено энергично, не померно и сознательно... Каждый светик не зря положен, а по форме кости и сознательно. Вот это направление академическое. Теперь посмотрите кисти рук у фигуры в картине К. Е. Маковского. Крендельки, сосульки, крючки, сосульки и пр. И все на один лад и одним цветом. Вот эти работы для Академии не хороши». (ЛОЦИА. Дело Чистякова).

О чистяковской «системе» с благодарностью вспоминает и сам Репин, и целая плеяда его современников. Сохранившиеся рисунки молодого Серова, перешедшего из рук Репина к Чистякову, свидетельствуют о том внимательном, скрупулезном изучении природы, схемы ее построения, анатомической верности и тщательности внутренней лепки формы, которое обуславливало соответствующую проработку фактуры, когда «каждый светик не зря положен, а по форме кости и сознательно».

Отсюда ясно, какое огромное значение придавала чистяковская система рисунку, рисунку с природы с соблюдением анатомической верности и линейной перспективы. Сохранившиеся этюды натурщиков, сделанных Серовым, иллюстрируют академическую школу изучения тела, которой подвергся Серов. Природа берется в сложных поворотах, отдельные части

гела в ракурсах, чтобы показать уменьше ученика построить каждую часть тела в отдельности и связать ее с целым. При сравнении натурщика Серова, сделанного в духе Академии 80-х гг., и натурщиков старой Академии начала XIX века очевидны особенности позднего академического натурализма, борovéhoся против микель-анджелловской скульптурности и преувеличенности формы и брюлловской патетики, которые в старой Академии из каждого натурщика делали идеального атлета.

В 80-х гг. наблюдается определенное снижение академического канонического стиля. И хотя в отчетных работах попрежнему дается установка на официальную идеализующую героику, снизу, из этюдных классов, из непосредственной учебной практики вырастает принципиально иная творческая система, базирующаяся на натуралистическом изучении простой человеческой формы, ее наукообразном, эмпирическом наблюдении.

Чистяковская система, при всей своей видимой стройности, также заключала в себе внутренне-противоречивые черты. Чистяков исходил из Брюллова как идеального образца для изучения законов формы. Но эта нормативная эстетика корректировалась самым убежденным изучением живой природы. По существу, устанавливались правильные требования изучения природы с целью ее творческого преодоления.

По части колорита Чистяков учил соединять уроки старых мастеров с непосредственными наблюдениями природы. В идеологическом отношении Чистяков оставался типичным академиком — проводником идеи свободного искусства, лишённого каких бы то ни было «утилитарных» задач. В этом отношении он смыкался с новым буржуазным искусствоведением, которое вступило в резкое противоречие с демократической эстетикой 60-70-х гг.

Серов чрезвычайно добросовестно воспринял уроки Академии и в частности Чистякова. Рисунки его, датированные 1883-84 гг., носят определенный отпечаток новых, не репинских приемов, привитых Серову Чистяковым. Они отли-

чаются более рационалистическим, более схематическим характером. Но эта манера в рисунке, доминирующая в эти годы, не является у Серова единственной. Он крайне чуток к разным воздействиям, в частности конечно к тем, что исходят от Репина.

Снижение большого академического стиля в поздней Академии сказалось особенно наглядно на характере композиции. Мы почти не имеем у Серова многофигурных, сложно-члененных композиций. Обуржуазивание академической системы, разложение ее феодальных основ принципами индивидуализма и натурализма, совершенно естественно, приводило к обеднению, камерности, замкнутости композиции. Обобщающие импозантные идеи, требующие впечатляющего движения масс, утратили соответствующую базу. Художники ограничиваются камерными сценами, интимными диалогами; интерес к общему заменился интересами к отдельному, частному, интимному.

Огромное количество крайне беспомощных, слабых рисунков Серова-академиста, большое число повторений, вариации одной и той же фигуры, показывает, что работа над композицией и рисунком не давалась Серову легко и скоро. Колоссальная работа, которую проделал над собой этот большой художник — одна из поучительнейших страниц его творческой биографии.

Первые дебюты Серова после окончания Академии и короткой заграничной поездки в Мюнхен (в 1885 г.) обнаруживают в нем солидную художественную подготовку. Серов решительно ориентируется на буржуазное наследие — Веласкеза и старых голландцев. Под знаком освоения этого живописного реализма проходит первая фаза серовского творчества. В применении к Серову не может быть речи о последовательном материализме. Но в первый период его творчества он безусловно стоит на почве стихийного, неоформленного, философски-бессознательного убеждения в объективной реальности внешнего мира.

Пейзаж и портрет в пейзаже занимают основное место в тематике Серова в этот период. Как по теме, так и по ее осуществлению Серов дебютирует как буржуазный художник, решающий в противовес канонам Академии проблему «живого» человека в живом окружении природы, в ее многообразном, эмпирически данном, колористическом богатстве. С наибольшей, исчерпывающей полнотой этот этап в творчестве Серова был представлен его двумя известными портретами — «Девочки с персиками» и «Девушки, освещенной солнцем» (1877—1888 гг.). В «Девочке» сконцентрированы черты раннего серовского реализма. Своими пленэрами конца 80-х, начала 90-х гг. Серов поднял достижения своих предшественников в этом отношении на высший этап, который и стал заключительным в развитии этого жанра в России.

Серов сам говорил, что впоследствии он уже не мог вернуться к столь свежему и цельному восприятию мира, к столь радостной и полноценной цветовой гамме, к столь, прибавим мы, объективному познанию природы. Серов не мог вернуть своего «наивного реализма», как не могла буржуазия 900-х гг. вернуть пройденного этапа своего развития. Большая роль рисунка в построении объемно-пространственной формы и в этих портретах Серова бесспорна. Серовские планеры — завершение определенного этапа, в котором еще очень сильны следы буржуазного позитивизма, естественного отражения культуры наук о природе.

Начало самостоятельной деятельности Серова совпадало с началом экономического подъема русской буржуазии, еще сдерживаемого длительной реакцией 80-х гг. Реализм Серова, направленный на познание материального мира природы и равнодушный к социальным отношениям людей, эволюционировал вместе с основным потоком буржуазного сознания 90-х гг. в сторону импрессионизма, субъективизма. Процесс созревания буржуазного сознания есть процесс внутренне-противоречивый. На данном этапе развития буржуазной культуры наряду с успехами изучения материального



Серов, В. А. — Девочка с персиками.
1887 г.

мира идет резкое «обратное» движение к потере веры в окружающую реальность, скат к философскому идеализму, ознаменовавшему особенно сильно эпоху реакции.

Отражая общие процессы саморазвития буржуазии, обогащая свое мастерство и технику, Серов конца 90-х гг. утрачивает цельность и полноту познания объективного мира, окрашивая свои новые работы поисками субъективных впечатлений. Таковы основные этапы диалектического развития его мировоззрения 90-х — 900-х гг. Выйдя из Академии, Серов более решительно подвергается эстетским воздействиям художественной атмосферы нового искусства. И в его рисунках появляется новая, эстетская игра линий, игра красивой, своеобразной штриховки. В этом отношении несомненное влияние оказал Врубель, который был введен Серовым в мамонтовский кружок и стал его центром.

«Мы очень сошлись, — писал в академические годы Врубель о Серове. — Дороги наши одинаковы, и взгляды как-то вырабатываются параллельно». Эти два художника развивались дей-

ствительно не одним, но именно близкими, «параллельными» путями. И в лермонтовской иллюстрации, заимствуя у Врубеля общий декоративно-фантастический фон, усваивая его фактурный блеск, Серов воспринимал Врубеля поверхностно, в основе своей и тут оставаясь реалистом. Серов и фантистическую тему как бы примеряет к реальной действительности. Влияние Врубеля на Серова, как и на многих других художников, шло более сложными и опосредствованными путями.

В 90-х гг. Серов положил начало циклу рисунков к басням Крылова. Эта работа по своему содержанию и характеру оформления полностью коренилась в реалистической фазе развития художника.

Работая над ними с большими перерывами в течение 15 лет, Серов отразил в них сложный процесс живого движения своих мыслей, своей творческой перестройки.

Но в основном единая тема подсказывала ему единство стилистического решения, единое реалистическое устремление. В этом большая ценность его рисунков для нас; в этом существеннейшее значение «басен» для характеристики творческого лица самого Серова.

Серов любил эту работу. Он рисовал «басни» по большей части летом, в месяцы отдыха. Он как бы берег их для себя. Это были те рисунки, в которых он чувствовал себя вполне свободным от заказчика, и издавать их собирался на свой страх и риск.

«Звериная тема» была модной в художественной литературе модернизма. Она была отражением культа иррационального. Ремизов, Соллогуб, С.-Ценский вскрывали и возвеличивали в человеке животные инстинкты, считали их могучими источниками человеческой силы, разрушенной цивилизацией. Поэтому и звери в модернистской литературе являлись символическими носителями страшного и таинственного начала, которое гнезилось в глубинах подсознательного.

«Звериная тема» Серова выросла на ином идейном и психологическом корне. Линия символической и патоло-

гической трактовки животной темы была безусловно чужда Серову. Он работал над своими баснями прежде всего как исследователь-натуралист. «Многие эпизоды из басен, по его словам, — вспоминал художник Державин, — Серов не мог себе представить иначе, чем в обстановке наших мест, и потому много рисовал с натуры, бродя по имению и окрестностям, заставляя позировать и родных, и рабочих, и крестьян; ездил искать подходящих кочек для басни «Волк и журавль», долго искал в лугах тощую крестьянскую коровенку для басни «Крестьянин и разбойник», наконец определенную ель, на которой он всегда представлял сидящей ворону в басне «Ворона и лисица», он рисовал, взобравшись на высокую лестницу, чтобы быть на уровне предполагаемой вороны». (Архив Русского музея).

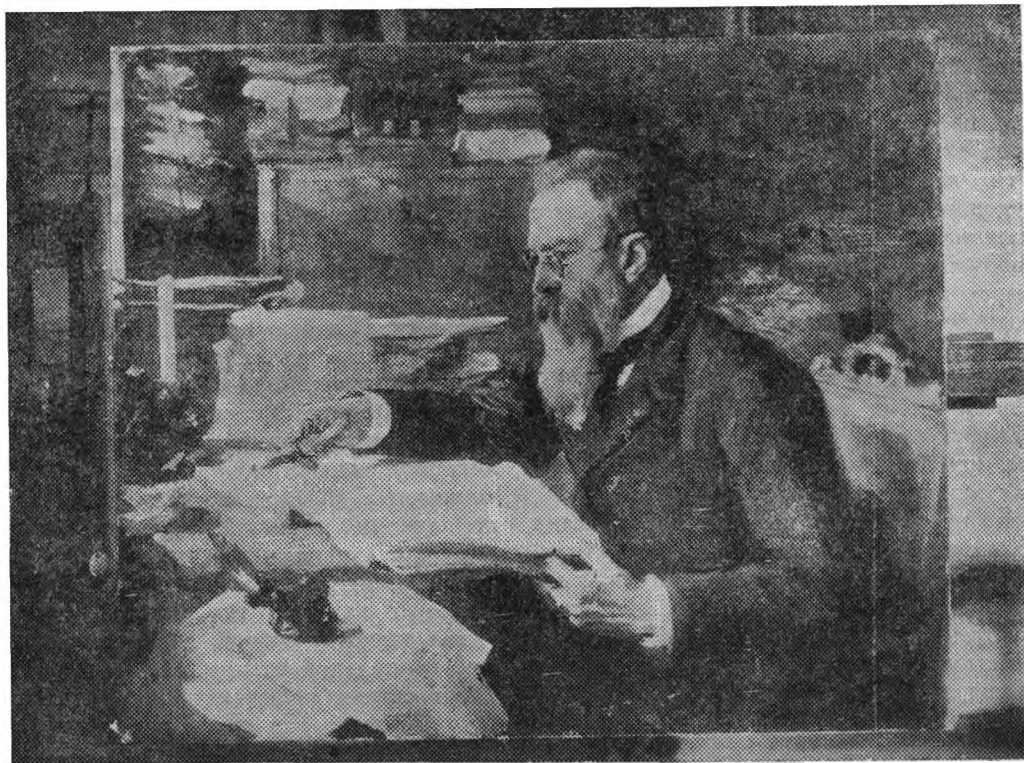
И характер рисунков, и воспоминания очевидцев достаточно наглядно иллюстрируют метод Серова, искавшего нужных ему образцов в живых наблюдениях действительности. Среди полей и лесов Тверской и Ярославской губерний Серов, как охотник, выслеживал след и повадку зверя, присматривался к пейзажу, к тому природному окружению, в котором этого зверя можно поселить. Ранние басни Серова — это своеобразные «записки охотника», который накопил огромный эмпирический материал и ставит перед собой задачу нарисовать на его основе короткие, выразительные, острые в психологическом отношении сцены из жизни зверей. В ранних рисунках к басням Серов не справляется с композицией, не овладевает динамическими драматическими приемами Крылова. Часто он уходит в детальную проработку второстепенных элементов пейзажа; драматическая связь действующих лиц, требующая активных композиционных методов, на первых порах ускользает от художника.

Но уже в ближайшее время Серов углубляет свои рисунки, осмысливая и заостряя каждый образ со стороны психологической. Он как портретист ищет специфического «выражения лица» лисицы, мартишки, медведя, которое бы вместе с соответствующей позой, ухват-

кой изображало хитрость, сметку, лукавство, глупую услужливость и т. д.

Характерным для Серова является самый метод раскрытия общих, типичных свойств сквозь призму индивидуального, конкретного, живого образа. В своих зрелых баснях Серов овладевает этой задачей, он подымается над эм-

мартышку в качестве дирижера, медведя—виолончелиста и т. д. Художник организует мизансцену, юмористически обыгрывает действующих лиц, т. е. выступает толкователем, драматургом, психологом. И самый характер рисунка в соответствии с новым характером образов стал активным, острым, выра-



Серов, В. А. — Портрет Н. А. Римского-Корсакова. 1898 г.

пирикой, и его рисунки становятся интересными и тонкими образцами психологического реализма.

Образы басни должны быть соединены между собою драматически, они действуют, они сталкиваются между собою. В баснях «Три мужика», «Волк на псарне» и др. Серов подымается на следующую ступень. Композиция усложняется и разнообразится. Из пассивного наблюдателя Серов превращается в режиссера («Квартет»). Ему уже не обойтись простой имитацией животных в их естественных позах. Художник реконструирует эти позы, воображая себе

зительным, лаконичным. Вместо мелких штришков появляется обобщающая линия, вскрывающая основные направления смешной посадки, характерной позы, типического выражения.

Некоторые басни сделаны в легкой манере импрессионизма, сохраняющего, как и в живописи Серова, психологическую и реалистическую основу («Откупщик и сапожник», «Кот и повар» и др.). Как в ранних баснях Серов преодолел натурализм, так преодолевает он и эскизность импрессионизма, ослабляющую остроту образа. Серов стремится к предельному лаконизму. «Та самая кочка»,

которую Серов выискивал в имени Державина и которую тщательно зарисовывал в ранних баснях, начинает терять свой облик, видоизменяться и в поздних работах находит свое простейшее условное изображение. Пейзаж приведен к нескольким обобщенным линиям, вполне достаточным для обозначения места действия.

Психологические состояния, которые вкладывал Серов в образы зверей, разнообразны. В альбомах Серова встречается много зарисовок льва в различных положениях. Львиные портреты Серова отличаются большой серьезностью. Эти карандашные наброски служили художнику в качестве подготовительного материала, из которого в результате творческого оформления должен был вырисоваться образ могучего и благородного героя басен.

Соответственно с содержанием задуманного образа Серов ищет героической линии, линии пафоса. Крайне разнообразится выражение глаз, посадка головы, ищется самая общая, монументальная линия тела.

Басня «Лев в старости» написана Крыловым в манере высокого стиля. Там, где речь идет о леве, ритмическое ее построение торжественное. Эта торжественность пропадает, как только в действие вступает осел. Эти две линии — линия пафоса и комедийная, линия величия и гротеска — проходят и в серовском рисунке. В 900-х гг. Серов начинает искать декоративного обобщения и в соответствии с новым этапом своего художественного развития приходит к стилизаторскому упрощению образа. Его вол из поздней басни «Мор зверей» очень напоминает символического быка из «Похищения Европы».

К лучшим рисункам относятся выполненные в 1896—98 гг. и снова очень осторожно пройденные в 1911 г. «Ворона в павлиньих перьях», «Тришкин кафтан» и ряд других.

Рисунок первой из этих басен отличается необыкновенно ясным, ритмическим и певучим линейным узором. Красивые, плавные линии спин, хвостов, павлиньих шей и самой вороны с длинным павлиньим хвостом очень тонко

связаны друг с другом в спокойной, широкой горизонтальной композиции.

Образ каждой птицы типичен и обобщенно реален. Каждая линия подчеркивает характерное в образе и вместе с тем органически вплетена в непрерывное течение рисунка всей группы в целом. Сохраняя все качества правдивой обработки реальности, этот рисунок есть уже явление подлинного стиля, основанного на предварительной исследовательской работе над живым образом.

Басни «Крестьянин и работник» и «Тришкин кафтан» показывают умение Серова юмористически обыграть образ. В обоих случаях найдены очень типичные и чрезвычайно забавные лица, позы, жесты.

По остроте юмора «Тришкин кафтан» занимает исключительное место во всем творчестве Серова. Такого заразительного смеха, такого подлинного юмора в толковании человеческих образов Серов не давал ни в рисунке, ни в живописи. По силе живого непринужденного юмора, по линейной выразительности, по реализму типических образов, по стильности всей композиции «Тришкин кафтан» конкурирует с лучшими рисунками Федотова.

Серов, выбирая басни, совершенно игнорирует как-раз ту группу, которая имела значение острой, язвительной, бичующей социальной сатиры.

Он останавливается на тех сюжетах, которые дают ему повод для либерально-шутливого психологического обыгрывания общечеловеческих слабостей: лукавства, глупости, чванства и т. д.

Правдивость образов Серов понимает как объективистское приятие, объективистский показ данности. Он не выносит этой действительности социального приговора, как не имеет и никаких дидактических намерений. Серов не выходит за границы морально-эстетических оценок.

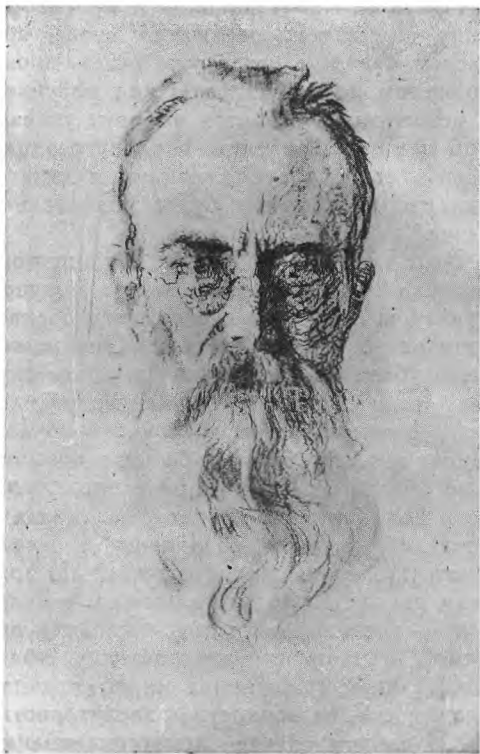
Борясь за реалистическое изображение действительности, Серов лишен глубокой идейной базы. Его классовая группа не давала ему уже достаточных стимулов для глубокой, подлинно реалистической революционной интерпретации басенного материала. Живое, здоровое, оптимистическое ядро серовских рисунков к басням, веселый смех, прони-

зывающий рисунки Серова в каждом образе, ярко ощутимая связь с живой действительностью, глубокая исследовательская работа, положенная в основу творческого процесса, и наконец замечательная культура рисунка — таковы те основные свойства, которые делают наследство Серова и в этой части значительным.

Но в том же 1912 г. родились другие басни. Опираясь на стиль Крылова, Демьян Бедный создал басню — острую классовую сатиру. В свете этой новой интерпретации народного эпоса и крыловского стиля обнаруживаются отрицательные качества Серова, его идейная беззубость, пассивный оттенок его юмора.

90-е годы XIX в. — значительный и своеобразный этап в развитии классовой борьбы в России. Оставив позади период тяжелой реакции, страна стояла в преддверии революции. Вместе с тем вызревавшее внутри буржуазной системы ее основное противоречие еще не было достаточно оформлено, чтобы дать отчетливый тревожный резонанс в область художественной идеологии. Конец 80-х, начало 90-х гг. — наиболее цельный этап в художественном развитии Серова, этап беспорочно реалистического творческого метода. В конце 90-х гг., в меру углубления социальных противоречий, и в буржуазной культуре пробиваются первые вестники кризиса. В противоречивом методе Серова обозначаются сознательные поиски преодоления реализма, но процессы эти еще очень нечетки. Серов не овладел в полной мере и импрессионизмом, хотя именно импрессионистические элементы видоизменяли творческие методы Серова 90-х гг.

1899 г. дает целую группу рисунков, в которой характер и границы серовского варианта импрессионизма нашли себе довольно полное выражение. Это пушкинский цикл и ряд портретов. Характерно, что в противовес мирискусникам, которые, обращаясь к пушкинскому времени, стремились передать прежде всего «стиль эпохи», ее архитектурно-декоративное оформление, Серов изображал живого Пушкина, его человеческий реальный облик, его настроения. Элегиче-



Серов, В. А. — Портрет Н. А. Римского-Корсакова. 1908 г.

ский пейзаж, едва намеченный легкими мазками туши, связан с настроением поэта (Пушкин на скамье и в Михайловском). Приемы импрессионизма используются Серовым в целях психологического раскрытия образа.

Вместе с нарастанием субъективизма в серовских рисунках все отчетливее происходит процесс дематериализации формы и облегчения, утончения линии. Линия стремится к эмансипации, к освобождению от груза формы. Серов прибегает к легкому поддвечиванию рисунков, хотя уже сами по себе его карандаш и уголь передают и цветовые отношения, и разный характер фактур предметов, и психологическую выразительность образа. Легкий воздушный рисунок двух девочек Боткиных (1900 г.) только намечает на породившую его объемно-пространственную, материальную форму: линия струится, испаряется, оставляя легкий, мгновенный след.

При всей запутанности и противоречиях творческого развития Серова, при частом возврате его к уже оставленным позициям процесс работы над рисунком в основном развивается именно в указанном нами направлении. В эпоху реакции крен в сторону субъективизма и дематериализации рисунка будет значительно резче.

Этот тип воздушного и лаконичного рисунка требовал не только большой культуры линии, но и огромного предварительного знания натуры. Он может быть убедительным только в одном случае,—если дает возможность умозрительной реконструкции цельного образа. Иначе говоря, вся та работа по построению образа, которая раньше проделывалась Серовым, так сказать, на глазах у зрителей, сейчас в значительной своей части проделана в воображении. До зрителя доводится только конечный результат — графический намек. При всей видимой бесплотности этих детских головок целиком сохраняется их объективная значимость, их конкретная характеристика. В данном случае дематериализация формы обусловлена желанием художника показать нежную, неоформленную детскую психику, опозитивировать реальный образ. Серов берет из окружающей его действительности именно те факты и те образы, которые менее всего напоминают «кусочек жизни грубой и бедной». Он выбирает образы, легче всего поддающиеся его эстетическому оправданию и в конце концов менее всего связанные с реальной будничной действительностью.

Художественное развитие Серова было сложным и противоречивым, с творческими тупиками и наплывами, с глубокой расщепленностью сознания. Он ставил перед собой метафизическую проблему найти законы «вечного искусства», и в поисках этих законов он прометался всю жизнь, пробуя себя в разных стилях, в разных областях искусства, обращаясь то к современности, то к старым мастерам, бросаясь от станкового искусства и иллюстрации к монументальной росписи.

Он принадлежал к той группе буржуазной интеллигенции, которая не понимала движущих сил истории, но бессом-

нительно предпочитовал крах буржуазной системы. Мало того, она желала гибели того старого мира, в пределах которого не находила исхода своей мучительной раздвоенности.

Индивидуализм Серова, его мечта о свободном искусстве, свободном от социального (в его условиях—буржуазного) заказа, его мечта о безграничном развертывании творческих возможностей человека не могут быть оценены по заслугам без учета тех реальных исторических условий, в которых они вырастали. В тех условиях, в условиях капиталистической действительности, которая своим уродством вызывала острое отвращение Серова, принципы свободного искусства были своеобразной формой романтического бунта, были эстетическим приговором этой действительности.

Незадолго до революции 1905 г. Серов готовился к тяжелой операции. Философов, проводивший эти дни у больного, писал о нем: «Приходится молча выслушивать мысли, чувства и жалобы сознательно умирающего художника, не умеющего и не желающего простить уродства жизни» (Архив ИРЛИ). В психике Серова намечались те черты, которые с такой страстью и гиперболичностью развернулись впоследствии в пессимизм, бредовую тоску Маяковского. В противопоставлении своего творческого «я» миру Серов находил иллюзию свободы от той общественной среды, от того денежного мешка, к которому он был прикован всю жизнь. Социальная трагедия Серова заключалась в том, что, презирая своего буржуазного заказчика, он не видел, да и не искал, выхода за пределы буржуазной системы. Он сам с его индивидуализмом и эстетизмом был ее продуктом. Процесс его творчества развивался в контакте с ограниченной сферой чувств, мыслей господствующего класса.

Отсюда та идейная и тематическая ограниченность работ Серова, тот «формализм», в пределах которого мучительно билась его творческая мысль.

Вопрос о значении революции 1905 г. для русского изобразительного искус-

ства до сего времени не только не изучен, но еще и не поставлен. В лучшем случае идет речь об успехах политической карикатуры. А между тем первая революция, эта генеральная репетиция Октября, это первое в России открытое, партийное выступление всех классов на арену политической борьбы, оставило глубочайший след на всей идеологической жизни страны. Только в свете революции 1905 г. обнажаются до конца классовые корни всех наиболее значительных художников 80—90—900-х гг.—Репина, В. Васнецова, Нестерова, В. Маковского и др. В великом историческом прологе к Октябрю, резко расслоившем интеллигенцию по ее классовому признаку, происходила перестройка творческого метода и мировоззрения художников в связи с революционной действительностью, т.-е. намечалась в той или иной мере проблема, развернувшаяся во всей полноте, остро осознанная всем художественным фронтом в эпоху победоносной социалистической революции. Художники, подобно В. Васнецову оказавшиеся в лагере черносотенной контрреволюции, т.-е. связавшие себя с отживающей идеологической системой, самым наглядным образом демонстрировали свое творческое оскудение. Наоборот, для художников, активно связавших себя с революцией, этот период оказался весьма плодотворным. К таким художникам принадлежал Серов.

Первые симптомы перестройки Серова обозначились в тот период, когда, по выражению ленинской «Искры», «мужает и проявляет свою политическую зрелость русское рабочее движение», а на его базе всплывает буржуазно-либеральная оппозиция. Этим симптомом была первая имевшая политическое значение карикатура Серова—«Набор». Как тема, так и ее оформление были характерны как первый образец либеральной антипатриотической агитки, нарисованной в эпоху искусственно разжигаемого правительством патриотизма в связи с Японской войной. Загулявший новобранец, нескладный парень, едва волочит ноги на призывной пункт. Актуальное, острое, психологически выразительное содержание потребовало от Серова и бо-



Серов, В. А. — Портрет А. М. Горького
1904 г.

лее активных средств оформления. Пассивная, эстетская, созерцательная линия Серова уступает место линии динамической, ломающейся под острыми углами, активизирующей восприятие.

Новое отношение к действительности сказалось и на центральной теме Серова — на портрете. Если прежде ему случалось писать царей, Николая II, рисовать Победоносцева, проявляя в их трактовке, мягко выражаясь, либеральный «объективизм», то в 1904 г. Серов пишет портрет Горького. Горький был любимцем широких кругов демократической интеллигенции. Он был символом нарастающей революции. В него уже летели ядовитые стрелы Зинаиды Гиппиус, прозревавшей в его популярности гибель буржуазной цивилизации. Портретировать Горького значило искать художественную формулу для нового, революционного человека. Уже самим выбором нового объекта для портрета Серов, так же, как и Художественный театр горь-

ковской пьесой («На дне»), шел навстречу революционной волне.

Серов трактует Горького прежде всего как убежденного агитатора, т.е. сознательно ставит задачу социального раскрытия образа. В свете этой идеи построена композиция. Вместо спокойной созерцательной посадки модели (обычный прием Серова), в Горьком найден динамический разворот фигуры в трех планах. Серов как бы завинчивает фигуру, имея в виду передать состояние собранности к действию. Поворот Горького предполагает рядом с ним наличие еще каких-то фигур, к которым обращена эта внутренняя зарядка агитатора.

Жест, прежде бедный в портретах Серова, имеющий обычно условно эстетическое значение, в этом портрете продуман также с точки зрения смысловой, психологической выразительности, как жест убеждения.

В самом рисунке заключены черты легкого гротеска, той угловатости и остроты графического построения, которые характерны для этого периода серовского творчества.

Революция 1905 г. вызвала в Серове подьем общественного самосознания; он работает в журналах политической сатиры, т.е. непосредственно связывает себя с революционной борьбой против царизма.

Это был стихийный протест художника против гнуснейших форм насилия над вооруженной народной массой, это был горячий протест против угнетения личности, против нарушения прав человека. Серов страстно сочувствовал освободительному движению Финляндии, но не понимал задач Декабрьского вооруженного восстания.

Возмущенный событиями 9 января, он отверг звание действительного члена Академии, ибо во главе ее стоял командующий войсками «9 января» Владимир. В качестве протеста Серов стал отказываться от официальных заказов и как бы в противовес им осуществил замечательную серию портретов общественных деятелей — писателей, поэтов, актеров, музыкантов. Эта серия выросла на основе того огромного творческого люд'ема, которым Серов был обязан ре-

волюции. Апологеты Серова называют его «последним убежденным певцом человека». Эта формулировка крайне обща, социально не раскрыта. А между тем здесь безусловно заключается основное зерно мировоззрения Серова — типичного индивидуалиста конца XIX в. В указанной серии индивидуализм Серова нашел себе наиболее тонкое эстетическое раскрытие. Серов был убежденным певцом красивого и прежде всего творчески одаренного человека, «свободного художника». Творческая, артистическая индивидуальность была с мировоззренческой позиции Серова той абсолютной ценностью, которая требовала максимального утверждения на земле.

Он приветствовал революцию прежде всего потому, что она несла с собой неограниченные возможности для свободного творчества.

В период от 1904 по 1908 г. Серов написал и нарисовал, кроме Горького, артисток Федотову и Ермолову, Леонида Андреева, Бальмонта, Шаляпина, Римского-Корсакова, Станиславского, Качалова, Москвина и др.

Одно из замечательных свойств Серова заключалось в том, что при своей огромной практике портретиста он почти не знал стандарта. Так и в этой — артистической — серии каждое новое лицо находило свое, индивидуальное решение. Поиски динамического, острого, «актуального» творческого метода отмечают весь революционный период Серова. Его художественные аспекты на человека, на модель приходят в резкое столкновение. В каждом человеке он ищет характерное, «изюминку», свойственную только ему. Например в модном тогда поэте Бальмонте Серов беспощадно показывает «нечто козлиное». Но этого мало. Серов всегда оценивает свою модель с точки зрения своего эстетического идеала. Поэтому в его портретах конкретные особенности модели служат поводом для эстетического обобщения. Это подымает Серова и над случайностями эмпиризма, и над условностями формализма. Красивая картинная форма его портретов неразрывно связана с содержанием портрета, с оценкой, с миро-

воззрением художника. Вероятно именно поэтому Репин с такой любовью следил за работами Серова, чем далее, тем более отличавшимися от его собственных.

В портрете Ермоловой (1905 г.), фиксируя со всей откровенностью лицо старой женщины, Серов создает подлинный монумент прекрасной трагической актрисе. Он дает свою оценку данному образу, возвеличивая творческие начала в человеке. Он ищет монументальных, строгих и четких линий рисунка, строгого и торжественного колорита. Портрет стареющей актрисы, сохраняющей индивидуальные, конкретные черты, переведен в план большого стиля.

Аналогично трактовал Серов в 1905 г. и Шаляпина (рисунок музея Большого театра; сейчас на выставке).

Для характеристики демократических симпатий Серова в эпоху революции показательны те этапы революционного движения, которые привлекли к себе его внимание: «Расстрел рабочих 9 января», «Похороны члена МК большевиков Баумана», и наконец расстрел рабочих в период Декабрьского вооруженного восстания. Тематически это та программа-максимум в осознании ведущей силы революции, до которой, кроме Серова, не поднялся ни один художник либерального лагеря. Серов шел за гробом Баумана, потрясенный величием невиданной по размерам и политической насыщенности демонстрации. Он мечтал изобразить демонстрацию как монументальное зрелище. Но мечты были мечтами, а возможности возможностями.

Революционный период был одним из этапов диалектического роста художника. Серов не сумел выйти за пределы декоративного и камерного толкования темы о массовом движении. Даже в революционное время он не смог драматически изобразить революционное движение масс. Серов участвовал в революции как художник, находившийся в оппозиционном лагере буржуазной интеллигенции; но он стоял на ее левом буржуазно-демократическом фланге. Серов вышел на время из буржуазного салона на революционную улицу, из созерцателя превратился в карикатуриста и изо-



Серов, В. А. — Портрет М. Н. Ермоловой.
1905 г.

репортера. И в свою центральную тему он внес более зоркое, более активное и, сказали бы мы, более принципиальное отношение. Для себя он вынес из этой эпохи тему о человеке-художнике, о творческой человеческой индивидуальности. Тема эта стала для этой полосы творчества Серова центральной. То, что он дал в ее осуществление, составляет, на мой взгляд, ценнейшее для нашего изучения наследие.

Тяжело пережив разгром революции, Серов с еще большей остротой презирует российскую действительность. Он не верит ни в манифесты, ни в Думы.

но и не мечтает о твердой власти. Он продолжал верить в неизбежность революции, которая будет выражена условиями реакции. Но с этих пор всякая общественная активность покидает Серова. Чем гуще была реакция, тем глубже уходил он в мечты о свободном искусстве.

Установки на дематериализацию предмета, которые Серов выработывал в рисунке дореволюционной поры и которые, естественно, заглохли в эпоху революции, всплыли с новой силой и именно в эпоху реакции развернулись полностью в качестве определенного ведущего направления в его работе. В эпоху реакции он все мучительнее и острее ищет методов преодоления натурализма, реализма, их материалистической сущности. Будучи по существу дуалистом, Серов постоянно переживает конфликт между той материальной формой, в которой он как художник должен был показывать душевную жизнь человека, и между жизнью этого «духа», который теперь он полагал обрести только в отрыве от материальной формы. Серов уточняет рисунок, от масла переходит к гуаши и темпере, охотнее оставляет портрет в одном рисунке. (Римский-Корсаков, портрет 1908 г.).

Происходит сознательное разрушение формы как материи во имя формы как функции умозрительного образа. Идея об актере высокой интеллектуальной и моральной культуры, об актере-творце легла в основу замечательных портретов рисунков 1908 г. На первом месте должен быть поставлен портрет Москвина. Серов учит тому, как давать идеальные в хорошем смысле образы без поверхностной и внешней идеализации. Серов не боится ни некрасивого лица Москвина, ни одутловатых припухлостей стареющего Станиславского. Он даже не стремится подчеркнуть красоту премьеры Качалова. Но все три образа, особенно Москвина и Качалова, подлинно прекрасны. В каждом из них художником вскрыт тот «душевный мотор», то повышенное состояние перед выступлением, о котором образно говорила Айседора Дункан. В индивидуальном, конкретном, крайне похожем облике Серов сумел

раскрыть актера определенного характера, актера определенной (психологической) актерской системы.

Советский художник, трактующий интеллектуальную и душевную жизнь в ее материальной и социальной обусловленности, найдет тем не менее в этих портретных рисунках Серова интереснейший материал по части методов раскрытия внутренней сущности человека с точки зрения его объективной ценности.

Беда Серова заключалась в том, что его дуализм и рационализм лишила его возможности полноценного раскрытия образа; в конце 80-х гг. он видел прекрасную, конкретно-чувственную оболочку мира природы. Но духовное, идейное содержание мира шло как бы мимо него; в эпоху реакции в поисках «духа» он безнадежно тосковал об утерянной свежести восприятия конкретно-чувственного мира. В обоих случаях проблема решалась для него разорванно: или—или. С портретами-рисунками 1908 г. оборвалась психологически акцентированная продукция Серова. Психологическая острота и значительность мелькает в конце его жизни как эпизод, и то в историческом жанре и до известной степени в иллюстрациях к басням.

Чем глубже реакция, тем сильнее доминируют в его творческой практике черты стилизаторства, формализма, эстетства с определенным гедонистическим привкусом.

От рисунков-портретов Качалова, Москвина к балерине Павловой и Карсавиной — следующая ступень по пути чисто эстетического, пассивно-созерцательного искусства, по пути снижения его идейно-психологического качества, по пути чистого, самодовлеющего мастерства.

Рисуя нежные профили балерин, Серов не переставал тосковать о героических людях, о людях большого действия, о полноценных человеческих образах. Он искал героя. Овладев опромной культурой рисунка, одной четкой контурной линией вскрывая характерное в облике человека, Серов стал часами просиживать в библиотеках и музеях, изучая и без конца зарисовывая одно характерное лицо, одну порывистую фигуру, стреми-

тельное движение угловатого тела. Так родился целый цикл, посвященный Петру I. Очень важно для понимания классовой позиции и мировоззрения Серова и то, что он нашел героя в историческом прошлом, а не в современности, и то, что герой этот отыскан в рядах правящей верхушки, хотя бы и в облике «царя-мастерового», и что он трактовал Петра как великого индивидуалиста, противопоставленного истерзанной, нищей стране (рисунок «Петр об'езжает работы»).

В своих первых исторических, необычайно изысканных и стильных рисунках (царские охоты) Серов, как и художники «Мира искусства», не подымался выше эстетского декоративного обыгрывания сюжетов. Но и в них он взял курс на индивидуализацию образов. «Петр на работах» (представлен на выставке), сделанный Серовым в разных, но очень близких вариантах, полнее других раскрыл общую историческую концепцию Серова. Мрачный пейзаж с грозовым небом и ветром, треплющим гриву лошаденки, лаконичен и суров. Это русская равнина, вздыбленная Петром, усеянная могильными крестами. Вдали узкая полоска воды и два корабля. По берегу охалки стройматериалов.

Оставив декоративные ухищрения, обеднявшие внутреннее содержание первых замыслов, Серов заговорил прозой. Он расширил свои рамки, столкнув Петра с тем народом, которого он понукал, которому грозил кулаком. Вместо демонической маски дано реалистическое лицо. Интересен образ мужичка; Серов придает ему безнадежно унылый вид, с опущенными плетью руками, с трясущейся бородачкой. Петр обращает к нему страшное, свирепое лицо, грозит кулаком и мчится дальше.

И возница, везущий царя, и лошаденка, запряженная в неизменную одноколку, — понурые, как и встречный мужичок. Это и есть символические образы — убогой, понурой, взнуздываемой Петром Руси. Этим «Петром на работах» 1910—1911 гг. Серов показал действительную личность, конкретно-реальную трактовку исторического лица, воплотив в край-

не простой реалистической форме свое историческое мировоззрение. Петровский цикл был закончен «Петром в Монплезире». Ранним серым и бурным утром Петр вскочил с постели и вглядывается в окно на гибнущие корабли. Таков трагический финал «дела Петра». Таков роковой конец «героя». Единоборство кончается гибелью. Творческая индивидуальность остается одинокой. Героическая тема окрашивается пессимистически. Перспектив для героики нет.

Пока Серов осваивал тему, он экспериментировал в области техники, искал изысканно декоративных решений («Царские охоты»). Но, как только тема проникла глубже в его творческую лабораторию, в его мировоззрение, как только захватывала она его глубоко эмоционально и идеологически, он круто поворачивал в сторону реализма.

В 1911 г. в Риме открылась международная художественная выставка. Среди многочисленных вещей Серова были показаны портрет «Иды Рубинштейн» и рисунки к басням, над которыми Серов заново произвел работу в 1911 году.

«Ида Рубинштейн» в той же мере противоречива по отношению к реалистическому пути Серова, в какой и закономерна, ибо была порождением противоречивого развития буржуазного мировоззрения, в эпоху реакции уходящего все дальше от реального познания действительности. В рисунке к портрету особенно наглядна отвлеченность и схематика композиции, нарочитая, как у кубистов, условная деформация тела. Примитив и гротеск сочетаются с подчеркнутой изысканностью. Линия фигуры ломается под острыми углами, однако движение, определяемое ритмическим чередованием верхних и нижних точек, постепенно сходит на-нет, замирает, успокаивается. Этот схематизм построения и ритмическое решение характерны для рисунка модерн. Но это модерн позднего классицистического порядка. «Ида Рубинштейн» могла появиться в результате двух скрещивающихся художественных воздействий. С одной стороны, она была подготовлена декоративным модерном Врубеля, с другой, — стилем мо-

дерн игры и танца самой «Иды» — парижской артистки и танцовщицы.

В противоположность Врубелю, который деформировал натуру, разлагая ее на кристаллы, что давало ему возможность доделывать и переделывать уже готовую картину, в противоположность Врубелю, который, терзая себя и натуру, искал чудовищных, экстатических образов, Серов отливал свои мысли в законченные, логически ясные, цельные образы. Он шел, как академик и канонизатор, рационализируя неоформленные эмоциональные замыслы, в частности того же Врубеля. Характерно, что в подавляющем большинстве композиции Серова — уравновешенные, центрические; расположение фигур первопланное; членение композиции логически ясно, закончено. Неожиданность поворотов его фигур — кажущаяся: на самом деле в большинстве случаев это застывшая поза.

Работы последнего периода Серова не были конечно разделены друг от друга непроходимой стеной. В самых условных вещах Серова обычно остается некоторая нить, которая связывает их с реализмом. Однако на данном этапе реализм потерял для Серова свое ведущее, организующее значение. И тем не менее окруженный стилистами-мирискусниками, подталкиваемый в сторону декоративизма Александром Бенуа, который, по словам самого Серова, своими рецензиями 1911 г. «короновал его», Серов, смущенно разводя руками, говорит им: «Я все-таки, извините за выражение, реалист». Таково было его субъективное сознание. Оно было тем более острым, что вокруг него искусство было целиком захлестнуто декоративизмом, символизмом, стилизаторством разных оттенков.

В конце первого десятилетия XX века старый модерн в архитектуре вытесняется неоклассическим, который, по существу, представлял собою гибридную форму классики и модерна. И ампир, и врубелевский модерн сдавались в архив. Архитекторы-ретроспективисты — Перетяткович, Желтовский — взяли курс на Рим, изменив интимизированным особнякам-ампир. Буржуазия, заждав-

шись своего национального Ренессанса, на худой конец везжала в хоромы, воспроектировавшие Палладио на Спиридонке.

«Уже был ощутим запах гари, железа и крови» (А. Блок). Нарастал кризис буржуазного гуманизма. Готовятся небывалые классовые бои. Буржуазия желает утверждения в веках, желает иллюзии стабильности, классической ясности, монументальности и гармонии, которых в давних конкретных условиях у нее уже давно не было и быть не могло. И в архитектуре, и в литературе появляются элементы «неоклассики». Поистине все дороги вели в Рим.

Таким серовским Римом оказались две последние работы художника, на которых его застала преждевременная смерть. Серов сразу освобождается от своего модерна и создает яркие образцы русского неоклассицизма в живописи.

Его линейное построение становится плавным, гармоничным, по образцу итальянского классицизма XVI в. Композиция вписывается в овал. Генриетта Гиршман в широких одеждах и простом тюрбане предстает в образе Мадонны. В связи с характером рисунка Серов берет мягкие материалы, уголь, мел, пастель. В этом портрете воскресает реалистическая лепка лица, правда, с налетом академической условности.

В портрете кн. Щербатовой (последний рисунок художника) восторжествовал репрезентативный стиль. Основная композиционная задача в этом портрете заключалась в том, чтобы сгармонировать плавное течение линий статуарно решенной фигуры в одну пластическую группу с рядом стоящей ампирной вазой и внедрить эту пластическую группу в импозантное архитектурное пространство.

Связь этого портрета с архитектурой очевидна. Повидимому, в этом плане поздний Серов решал проблему большого стиля, причем решал ее, преодолев и схематику, и модерн декоративного панно «Ида Рубинштейн». Не надо забывать, что в тот же год Серовым был написан портрет финансиста Гиршмана — злейшая эпиграмма на буржуавысочку, типический, реальный образ.

Таким образом, проблема портрета большого стиля, в противовес основным художникам «Мира искусства», решаема Серовым на основе реалистического восприятия человеческого образа.

В этом величие позднего Серова, в этом залог того, что его поздние мастерские рисунки и картинные портреты будут глубоко продуманы и критически использованы советскими художниками.

4. „ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАНИФЕСТЫ ФРАНЦУЗСКИХ РЕАЛИСТОВ“¹⁾

Н. Славятинский

Группа ленинградских литературоведов, Б. Г. Рейзов, М. К. Клеман и П. Н. Берков, сделала полезное дело, собрав в одной книжке ряд важных и характерных теоретических выступлений мастеров буржуазного реализма. Хотя далеко не все выступления, приведенные в книге, являются литературными манифестами в узком смысле слова, но почти все они сыграли более или менее крупную роль в борьбе за реализм. Это видно из простого перечисления материала книги. Стендаль представлен отрывками из «Расина и Шекспира», заметкой о «Вальтере Скотте» и «Принцессе Клевской» и знаменитым письмом к Бальзаку по поводу статьи последнего о «Пармском монастыре», Бальзак — предисловием к «Человеческой комедии», Шанфлери — отрывками из книги «Реализм», Гонкуры — двумя предисловиями (к романам «Жермини Ласерге» и «Братья Земгано»), Эмиль Золя — предисловием ко второму изданию романа «Тереза Ракен» и статьями из сборника «Экспериментальный роман», наконец Мопассан — предисловием к роману «Пьер и Жан» и статьей «Эволюция романа в XIX веке». Если принять во внимание небольшие размеры книжки (одиннадцать печ. листов, из них четыре с лишним листа отведены комментариям и статье), то следует согласиться с тем, что в пределах ста двадцати страниц основного текста составители дали действительно все наиболее существенное. И все же это только фрагменты, которые не дают цельного представления ни о литературных взглядах данного писателя, тем более об их эволюции, ни об эстетике реализма в целом, — задача, которая потребовала бы гораздо большего по объему труда, участия целого коллектива критиков, а главное, в качестве основной предпосылки, — большой степени разработанности всей темы (проблемы эстетики французского реализма). Комментарии своими связующими ремарками несколько смягчают неизбежную в таких условиях фрагментарность, но и на них сказывается сравнительно слабая изученность литературных взглядов и творческого метода крупнейших классиков французского буржуазного реализма. Стоит например прочесть комментарии Клемана, редактора всего сборника и автора вступительной статьи, чтобы убедиться в том, что наше литературоведение делает лишь первые шаги в области этой темы. Автор обнаруживает местами большую фактическую осве-

домленность, в особенности в том, что касается Золя, но даже его терминология, не говоря уже о выводах, делать которые он избегает, шатка, эмпирична, неуверенна, слишком часто вуалируется кавычками, затушевывается оговорками. Статья М. Клемана «Проблема реализма у французских романистов» не решает ни одной проблемы, связанной со стилем, анализируемой ее автором. По существу, это вводный комментарий к напечатанным в книге документам. И если бы М. К. Клеман отчетливо ограничил себя рамками вводного комментария, то его статья от этого только выиграла бы.

Есть в статье спорные положения, например о позитивизме, представлявшем будто бы философскую основу всего французского реализма. Это популярное представление неверно по отношению к Стендалю, находившемуся под сильным воздействием сенсуализма, материализма XVIII в., и по отношению к Мопассану, воспринявшему ряд философских влияний (агностицизм, Шопенгауэр и др.). Неверно это и по отношению к Флоберу, в переписке которого есть немало чрезвычайно резких замечаний по адресу отца позитивизма — Огюста Конта. Что касается Бальзака и Золя, то и тут это общее утверждение нуждается в уточнении, в спецификации, которые могут существенно изменить обычные представления о философской основе их творческого метода. Вызывает удивление, что М. Клеман, написав статью о французской реалистической литературе, имеющей для нас, с точки зрения усвоения культурного наследства, огромное значение, не сделал даже попытки связать тему о буржуазном реализме с темой о реализме социалистическом. Проблема их взаимоотношений даже не намечена у него, хотя большой документальный материал, напечатанный в книге (да и не только одно это), казалось бы, должен был подсказать настоятельную необходимость рассмотрения проблемы французского реализма именно в этой связи. Вдобавок серьезные недостатки изложения ослабляют значение статьи. Обычно там, где автор дает общую характеристику эпохи, он ясен, но выражается давно примелькавшимися фразеологическими комплексами, вроде: «Наступала эпоха расцвета промышленного капитализма, но призрак коммунизма продолжал бродить по Европе. Созданное в 1864 году свой международный центр, рабочее движение привидело в трепет собственников» и т. д. (стр. 25). Этот стиль сохраняется от начала до конца статьи, причем иногда подобные штампы сопровождаются рядом суще-

¹⁾ «Издательство писателей», Ленинград, 1935 г., стр. 204.

ственных стилистических срывов, как например в следующем абзаце (начало статьи): «Февральская революция, сбившая (!) господство финансовой аристократии и примыкавшего к ней крупного землевладения, привела к политической власти более широкие слои буржуазии, враждующие фракции которой сошлись на кандидатуре Наполеона III, как наиболее приемлемого главы государства, полицейская опека которого обеспечивала утормоленные (?) темпы мирной капиталистической эксплуатации, после грозных лет революционных потрясений, после разгрома рабочего восстания в июне 1848 года. Эпоха Второй империи была эпохой расцвета промышленного капиталистического хозяйства, удвоившего и утроившего свою продукцию в течение двух десятилетий пятидесятих и шестидесятых годов».

Эти две выдержки приведены не только ради «красоты стиля», которых гораздо больше в переводах, сделанных самими составителями: они приведены для того, чтобы показать, что историческая характеристика, данная вначале, несколько не обогащается, не конкретизируется на протяжении всей статьи, как в этом может убедиться всякий, кто ее внимательно прочтет. Это беда не одного М. К. Клемана. Большинство наших литературоведов все еще находится в плену непреодоленных общих мест, когда дело заходит об исторических характеристиках. Мы не сделали для себя необходимых выводов из постановлений ЦК по вопросам истории. Нам все еще очень недостает живого, конкретного знания истории, когда понимание тенденций исторического развития сочетается с большой фактической осведомленностью.

Несколько беглых замечаний о качестве переводов. «Все документы даны в новых, выверенных переводах» — заявляют в предисловии составители. И они правы, обращая такое внимание на качество научного перевода. Не думаю, чтобы в их переводах можно было обнаружить крупные промахи в том, что касается содержания. Но по своей стилистической отделке большая часть переведенных манифестов (написанных большими мастерами слова) значительно тусклее оригинала и не лишены того геллертовского налета, который свойственен и стилю статьи (там, где автор ес-

не впадает в «социологический пафос»), и стило комментария. Все же о переводчиках этих литературных манифестов едва ли можно повторить то, что говорит Шанфлер о некоторых переводчиках художественных произведений: «Все мы питались иностранными поэтами и романистами в переводах, которые, за некоторыми исключениями, заказываются малоподготовленным к этому писателям, редко когда уважающим оригинал и воспроизводящим на жалком французском языке великие мысли, которые только ослепляют их, не придавая им никакой силы» (стр. 80). Наши переводчики, составители книги, уважают оригинал, но они не всегда придают мыслям переводимых писателей надлежащую силу. Кроме того, в тексте перевода то и дело встречаются всевозможные шероховатости, кое-какие неясности, срывы.

Бальзак будто бы выражается следующим образом: «Писатели, которые имеют свою цель, если даже цель эта — возвращение к принципам, которые заключались в прошлом уже вследствие того, что они вечны, постоянно принуждены расчищать почву» (стр. 56). Эта фраза попросту невразумительна. Несколькими ниже Бальзак якобы говорит: «Лютер и Кальвин отлично знали, что делали, когда они, как считом, пользовались затронутыми материальными интересами! Поэтому они прожили всю свою жизнь». Но ведь о любом покойнике можно сказать, что он прожил всю свою жизнь! Переводы, представленные в этой книге, изобилуют множеством таких частных погрешностей, и это немало вредит книге, которую следовало бы иметь у себя каждому интересующемуся литературой. К сожалению, она издана ничтожным тиражом (три с половиной тысячи экземпляров). Назовем этот тираж экспериментальным и будем ждать нового издания, которое следовало бы значительно пополнить, например высказываниями Флобера (отрывки из предисловия к песням Булье, ряд тематически подобранных писем), высказываниями Дюранти и, быть может, документами, рисующими разложение романтизма, его переход в эстетизм, в теорию искусства для искусства, игравшую такую видную роль в высказываниях некоторых реалистов.

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Редакция:

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».